

Д·Л·МОРДОВЦЕВ



СОЧИНЕНИЯ



Д. Л. МОРДОВЦЕВ



СОЧИНЕНИЯ

В ДВУХ
ТОМАХ

●

Д. Л. МОРДОВЦЕВ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ



Москва
«Художественная литература»
1992

Д. Л. МОРДОВЦЕВ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ

2

МАМАЕВО
ПОБОИЩЕ
•
ЗА ЧЬИ ГРЕХИ?
•
СИДЕНИЕ
РАСКОЛЬНИКОВ
В СОЛОВКАХ
•
СОЦИАЛИСТ
ПРОШЛОГО
ВЕКА



Москва
«Художественная литература»
1992

ББК 84Р1
М79

СОСТАВЛЕНИЕ И КОММЕНТАРИИ

Ю. В. Лебедева

ОФОРМЛЕНИЕ ХУДОЖНИКА

В. Н. Ходоровского

М $\frac{4702010101\text{-}184}{028(01)\text{-}92}$ без объявл.

ISBN 5-280-02677-8 (Т. 2)
ISBN 5-280-02676-X


МАМАЕВО
ПОБОИЩЕ

I. ИГРИЩЕ ДИД-ЛАДО И ТАТАРСКИЙ НАБЕГ

В тихий, светлый летний вечер, у села Карачарова, на берегу Оки, на лужайке, называемой «девичьим полем», совершается «игрище»: девки и парни хоровод водят.

Это было летом 1376 года. В то далекое время народные игрища совершались так же, как и в настоящее время в глухих захолустьях русской земли, но только с большею обрядностью и строгостью, словно бы это было нечто религиозное, торжественное, с такими унаследованными от старины приемами, отступление от которых казалось неуместным, чем-то как бы греховным. В этих игрищах — и в их приемах, и в напевах песен — жила нетронутою та незапамятная старина, когда браки совершались посредством «умыкания девиц у воды», на этих самых игрищах, когда «молились под овином», «кланялись роду и рожанице», пели песни Перуну, и Дид-Ладе, и Дажбогу [1]. Для этих обрядовых игрищ были особые места у сел и городов, большей частью лужайки у воды, и назывались они «девичьими полями», каковые имелись около каждого города и села.

Такое игрище совершалось в один летний вечер 1376 года у села Карачарова, у того знаменитого села Карачарова, в котором когда-то родился богатырь Илья Муромец.

Девки в белых сорочках и понявах, а иные, по девственной наивности того наивного времени, в одних срачицах и с бусами или с красным шиповником вместо бус на шее, а парни в рубахах и портах и босиком, точь-в-точь как изображены они еще в виде «скифов» на Трояновой колонне в Риме и на кульобской скифской вазе [2], взявшись за руки и сплетаясь и расплетаясь, то сходясь плетнями, то расступаясь, ведут то «коло», то «кон» и поют звонкими, здоровыми, чистыми, как у детей, голо́сами величание таинственному Дид-Ладе.

В то время, когда молодежь творит игрище и оглашает воздух величанием неведомых богов старины, старцы и пожилые мужи и жены сидят кто под своими

избушками на завалинках, кто на траве, кто под старинным дубом, под которым когда-то совершались еще приношения лешему и русалкам, сидят, любуются играми молодежи и говорят о старине, о современных порядках, о татарщине, об «удельных раздорах», «усобицах» и «розратьях». Тут же и дети, и большею частью белоголовые, непременно босые, часто совсем голенькие, то, копаясь в песке, играют в «татар», «темников» и «баскаков»[3], то «собирают дань великому князю», то «гонят в орду полоняников», большею частью девочек.

А «коло» звенит молодыми голосами: парни, наступая лавой на девок и хорохорясь, молодечествуя перед ними, потряхивая русыми кудрями и притопывая босыми, широкими, как у молодого медведя, лапами, выкрикивают:

А мы просо сеяли, сеяли,
Ой Дид-Ладо, сеяли, сеяли.

А девки, держась за руки плетнем, задорно улыбаясь и поводя плечами и широкими, как квашни, бедрами, как бы нехотя уклоняются от парней и вызывающе вывизгивают:

А мы просо вытравим, вытравим,
Ой Дид-Ладо, вытравим, вытравим.

— А Илья Муромец, поди, тоже, как молодым был, так здесь на игрище игрывал.

Это говорила молодая, курносенькая, светлоглазая бабенка, которая сидела на земле у завалинки и «искала» в склоченной рыжей голове с такою же бородою, лежавшей у нее на коленях.

Косматая голова повернулась боком.

— Что баишь? — проговорила она спросонья.

— Я, чай, и Илья Муромец, баю, игрывал здеся на игрище, как молодым был, — повторила бабенка, продолжая «искать» в голове мужа.

— Что ты, дура-баба! Илья, чай, тридцать и три года сидел сиднем сидячим, покуль не пришли к нему калики перехожие и он не выпил с ними ковша браги... Где ж ему на игрищах было игрывать! — наставительно проговорила косматая рыжая голова.

— Ах, чтой-то я, дура! И забыла, Перун-те бей! — спохватилась баба.

— Мама! Мама! — подскочила к ней голенькая с льняными волосками девочка, лет пяти. — Добрынька велит мне по-татарски молиться, кусту.

— Да он играет, он тебя нароком в полон взял, — успокаивала мать мнимую полонянку.

А голоса парней гудели в «коле»:

А чем-ту вам вытравить, вытравить?
Ой Дид-Ладо, вытравить, вытравить!

А горластые девки перекрикивают:

А мы коней запустим, запустим,
Ой Дид-Ладо, запустим, запустим!

— Я не хочу, мама, в полон! — твердила белоголовая девочка.

— Ну, ин не играй с Добрынькой, — утешала ее мать, — играйте сами девочки в Ярилу [4].

Девочка побежала к сверстницам, радостно восклицая: «В Ярилу! В Ярилу!»

— Ишь, девка боится полону татарского, — улыбнулся плечистый, рослый молодой мужик с огромной, словно браслет, медной серьгой в ухе, сидевший тут же на завалинке рядом с седым как лунь стариком. — А топерево татары-те уж не то, что в старину были, не больно страшны... Вон как в те поры мы ходили с суждальскими, да с нижегородскими, да с московскими дружины, под воеводой под князь Димитрием Волынскием, Казань город громить [5], так выпущали они, татаровя, на нас громы-те со стен, уж и перунили же гораздо собаки! Да выпущали на нас велбудов стадо, страховиты таковы, с горбами, шеи что у гуся либо у лебедя, ревут и саплют страх! А мы ну их громить, ну громить и вогнали в город-ат, и князи их, Гасанки да Махметки, нам челом добили и окуп большой дали.

А мы коней выловим, выловим,
Ой Дид-Ладо, выловим, выловим.
А чем-ту вам выловить, выловить?
Ой Дид-Ладо, выловить, выловить!
А мы уздом шелковым, шелковым,
Ой Дид-Ладо, шелковым, шелковым...

— Так-ту так, Малютушка, — качал седой головою старик, прислушиваясь к звонким голосам игрища, как парни хотят выловить коней «уздом шелковым», — токмо коли бы у нас, на Руси, не усобицы княжьи, коли

бы Москва с Тверью не короталися да суждальски князи с рязанскими розратья не чинили да татаровей на нас не водили... А то, что год, то нас же и свои князья, и татаровя пустошат и бьют и в полон продают... Последни времена настали...

— Что ж, дедушко, ноли в стары времена лучше было?

— Не в пример... При покойном царе Озбяке[6] нас, русских людей, никто не смел обижать: как он десять князей-ту наших сказнил в орде, так наши-те князья стали ниже травы, тише воды, да и дань-ту брали по-божески... А ноне с нас и рязанской князь кожу сдирает, и московской, и суждальской: станешь за Олега рязанского, Митрей московской зорит и пустошит, за суждальского станешь, пронской доезжает... Пропадай они пропадом!

И старик, казалось, весь погрузился в созерцание прошлого, когда жилось лучше, когда и царь Озбяк был могущественнее всех царей, и великие князья были тише воды, ниже травы, и солнышко грело жарче молодые кости, и небо было голубее, зелень зеленее... Он, казалось, и видел, и слышал это дорогое, незабываемое прошлое в чужой молодости, вот в этих звуках, что неслись с игрища... Все, все изменилось; не изменились одни старые игрища, не изменился голос величания Дид-Лада, величания, под которое когда-то и он, стар-престар человек, скакал молодыми босыми ногами, выслеживая свою зазнобушку, толстокосую и широкобедрую, в одной, в единой лишь срачице лебедь белую, младую Рогнедь-девку, которая так же, как вот и эти девки, своим лебединым гласом величала:

А мы дадим сто куниц, сто куниц,
Ой Дид-Ладо, сто куниц, сто куниц!

А он, ныне стар-престар человек, а тогда еще млад, русокудр Рогволодушко, своим зычныем голосом выгукивал своей Рогнеде-девке:

Не надоть нам сто куниц, сто куниц,
Ой Дид-Ладо, сто куниц, сто куниц!

А она, Рогнедь-девка, заплетаясь плетнем с другими девками, как свирель, свиристела:

А мы дадим семь вдовиц, семь вдовиц,
Ой Дид-Ладо, семь вдовиц, семь вдовиц!

А он, млад Рогволод-парень, с прочими парнями ответствовал:

Не надоть и ста вдовиц, ста вдовиц,
Ой Дид-Ладо, ста вдовиц, ста вдовиц!

Тогда Рогнедь-девка, подымая на Рогволода свои глаза, эки были зенки с поволокой, тихо выговаривала, маня к себе Рогволода:

А мы дадим девицу, девицу,
Ой Дид-Ладо, девицу, девицу!

И Рогволод, широко расставляя босые лапищи, медведем шел на Рогнедь и выговаривал:

Ох, надоть нам девицу, девицу,
Ой Дид-Ладо, девицу, девицу!

Плетень девичий и плетень из парней совсем переплетались, и слышались возгласы то мужские, гогочущие, жеребячьи, то девичьи, лебединые:

— А котору вам девицу? — звенел лебединый голосок.

— Доброгневу! Доброгневу! — брало несколько глоток.

— Прекрасу! Гориславу! — перекрикивали их другие глотки.

— Верхуславу! Милолику! Вышеславу! — брали третьи, смотря по тому, какая кому девка нравилась.

— Давай всех девок! Мы их всех...— завершал здоровенный голосище широкоплечего, широколицего, почти без профиля парня, который, раскрыв мускулистые руки и растопырив толстые, как обрубки, пальцы, казалось, хотел заграбить под себя всех девок.— Всех их!..

— Любо! Любо! Ярополк правду говорит! Ай да Ярополкушко! Всех их! Всех! — восторженно кричала вся мужская половина.

Но эти восторженные возгласы покрыты были мгновенно отчаянными раздирательными криками детей, которые, несколько в стороне, на возлесье, «играли в татар и в великих князей», заставляя меньших ребятишек и девочек кланяться «царю Мамаю», которого изображал из себя босой и без штанов Добрынька, шустрый черноголовый мальчуган, заставлявший потом своих «улусников» и полоняников кланяться калиновому «кусту».

— Татары! Татары! — кричали не своим голосом дети, стремглав несясь от лесу к селу, цепляясь друг за дружку, падая и снова отчаянно голося. — Татары! Таторовя!

Действительно, из-за лесу показались характерные шапки золотоордынцев, синеордынцев, ясов и черкесов с саблями в руках и зубах, с арканами и луками за плечами. С страшным гиком и алалаканьем неслись они прямо на игрище, подняв высоко правые руки с арканами.

Как испуганное стадо, бросились врассыпную парни и девки, последние с страшным визгом, кто в село, к избам, кто мчался к лесу, кто прямо бросался в Оку и плыл на ту сторону.

Началась дикая ловля полоняников: кто скакал за убегающей девкой, кто пускал аркан вослед бегущему парню, и аркан, описывая в воздухе дугу и свистя, захлестывал шею бегущего, и тот со всего размаху падал навзничь, вскидывая к небу отчаянные руки; иной уже тащился на аркане, как сноп; другого страшная волосяная петля захлестнула в воде и тащила к берегу; тот отчаянно бился в реке и тонул; то там, то здесь извивалось на седле женское тело, болтались голые ноги и руки, развевались по ветру распущенные девичьи косы, жалобно выли детские и женские голоса, ревел скот, отгоняемый от села хищниками, голосили бабы, причитали старухи.

Зажженное с разных сторон Карачарово горело, как гигантская свеча, словно бы силясь лизнуть голубое небо своими огненными языками.

Вихрем налетевшие хищники вихрем и исчезали... Остававшиеся целыми и спасшиеся в лесу, в воде и по оврагам карачаровцы сходились к пылающему селу, отчаянно ломая руки и тщетно разыскивая тех, которые еще так недавно величали милосердого Дид-Ладу.

А те, кого оставшиеся искали, — Доброгневы, Верхуславы, Гориславы, Прекрасы, Милолики, Переславы, Добрыни и Ярополки — велись в далекий, неведомый край, в страшную, ненасытимую орду...

II. ЦАРЕВИЧ АРАПША И ПОРАЖЕНИЕ РУССКИХ ПРИ ПЬЯНЕ-РЕКЕ

Старый Рогволод, помнивший еще владычество над Русью грозного царя Узбека, был отчасти прав, говоря, что под прежними золотоордынскими царями

Руси жилось легче, чем стало теперь, при Мамае. Все это произошло, можно сказать, на глазах старого Рогволода. Татары, а еще менее их цари, сами никогда не вмешивались в то, каким образом шла жизнь в покоренных ими улусах на святой Руси и что делали там их «улусники», великие и малые князья в своих уделах. Золотоордынские цари одно наблюдали: чтобы русские князья неукоснительно раз в год являлись в их ставку пред светлые очи царя для поклона и для поднесения раз положенной дани. Но едва какой-нибудь из князей забывал свой долг перед грозным властителем, как тотчас же из Орды являлись баскаки, темники и всякая темная сила и вооруженною рукою собирала дань, «взымала недоимку». Тем дело и кончалось. Но зло росло не в Орде, а в недрах самой русской земли. Царская власть, какую князья видели в Орде, стала прельщать и ослеплять их: им самим захотелось быть царями; а этого можно было достигнуть или утопивши других удельных князей клеветой перед царем Кипчака[7], или подольстившись к нему данью большею, чем давали другие князья, другие «улусники»...

И вот с этих пор, как заметил седой Рогволод, «стала стонать русская земля». Князья ссорились между собой из-за уделов, из-за более крупных ломтей русской земли, и ходили войною один на другого, воевали таким образом свою же, русскую землю, пустошили русские города и села. Грызясь друг с другом, они обирали свой народ как липку, лишь бы было чем выслужиться в Орде, поднести больший куш «владыке владык» и тем насолить князю-соседу. Тверской князь грызся с московским, московский с рязанским, рязанский с пронским, но более всех грыз соседей московский, который забирал силу, поняв ранее других, что сила в деньгах. А поняв это, он стал собирать дани втрое больше того, что давал в Орде, а остальное копил на черный день...

В ту пору, с которой начинается наш рассказ, Москва уже богаче стала всех своих сопротивников, и Твери, и Рязани, и Нижнего, и осилила всех их, а Орда после грозного Узбека стала понемногу расшатываться. Москва это видела и иногда показывала самой Орде, что не даст себя в обиду. Мало того, Москва успела побывать под стенами Казани и там показала свою силу. Это, по выражению старого Рогволода, «Москва показала Орде зубы»...

«Так надо эти зубы выбить»,— решил Мамай, ставший около этого времени царем в Орде[8] и владыкою всей русской земли. Он так и сделал.

Сам Мамай пока не двигался с места, а послал наказать своих «рабов и улусников» царевича Арапшу, пришедшего к нему из Синей Орды с толпою хищников[9]. Хищники расселялись небольшими партиями по окраинам рязанской, муромской и нижегородской земли. Левым крылом они захватили Карачарово, Муром и с добычею поворотили к востоку, чтобы соединиться с главными силами Арапши, двигавшимися по направлению к Нижнему.

Весть о нашествии Арапши быстро пронеслась по нижегородской, суздальской и московской землям. Удельные князья этих областей поняли опасность и поспешили соединить свои рати, усилив их свежими дружинами. Союзные рати бодро шли навстречу врагу, помня, что они уже не раз в прежних стычках с татарами «давали сдачи» своим бритоголовым господам, а недавно и под самою Казанью «ратоборственно утерли пота за русскую землю». Рати двигались на полдень, по направлению к реке Пьяной, которой не должны были миновать «толпища» Арапши, следовавшие по возвышенному сырту от Волги, по сырту, составлявшему водораздел трех систем рек, Волги, Дона и Оки, и представлявшему наименее трудных переправ через реки, чего особенно не любили степные хищники. К московским и суздальским дружинам примкнули муромцы и карачаровцы, уцелевшие от последнего набега левого крыла «арапшатины», захватившей в Карачарове и в Муроме немалый полон девками, парнями и малыми детьми. Захвачен был и тот маленький, босоногий, еще «не доросший до портов» Добрынька, который на последнем игрище изображал из себя «царя Мамая» и заставлял своих босоногих сверстников и сверстниц, якобы «великих князей», кланяться и себе, и калиновому «кусту», вызывая тем неудержимый плач маленьких девочек, боявшихся, что в кусту сидит «бука», сам «дедушка леший».

Русские рати шли, по любимому тогдашнему выражению, «аки борове» — словно лес, словно темный бор, а не как ошибочно переводил это выражение покойный историк, высокочтимый Сергей Михайлович Соловьев: «Точно боровы, кабаны»... нет, словно темный бор...

Рати перешли через Пьяну-реку: уже за «шеломянем» осталась русская земля. Начиналась земля мордовская. Наступал август [10], самая жаркая пора, последние знойные дни лета. Рати двигаются тихо, с развалкою; да иначе нельзя, и невмоготу: солнце, поворотив с лета на зиму и как бы прощаясь с зеленью полей и лугов, с голубыми озерами и реками, с красно-желтыми песками из берегов и яруг, с темною зеленью лесов, печет и марит невыносимо. Птицы, что еще кое-где покрикивали и звенели в зелени дубрав, от жару и упеки попрятались в чащу и смолкли. Ратные кони, допекаемые жарой и удрученные тяжелыми боевыми доспехами, идут лениво, потряхивая головами и пофыркивая. И конникам жарко и душно: они едут, расстегнувши все петли, распахнувши охабни и сарафаны. Пешие рати, истомленные упекой, идут вразброд, словно стада с водопоев, раздетые до рубах и портов, босиком и с голыми большею частью руками: сулицы, копья, рогатины и стрелы с луками и колчанами свалены в обоз, на телеги, чтобы вольготнее было идти.

Гул, говор, ржание коней, да и то ленивое, скрип немазаных телег, и над всем этим пыль клубами так и стоит, лениво клубясь, не будучи относима ветром... Ветру нет, и ему жарко, и он устал дуть... Два-три стяга трепались в воздухе, блестели золотом шитья белых княгининых да боярышниных ручек, да и те уже не треплются, сложены в обоз.

— Привал бы уж, могуты нет, братцы,— слышатся усталые голоса.

— Вон тамотка, где борочек зелен, добро бы...

— Да и вода тамотка, братцы, ах!

— Да то Пьяна-река, чу, лукою излучилась.

Слышны речи в передовом полку. Им отвечают на крыльях везде:

— Привал! Любо! Любо!

Все оживились, куда и усталость девалась! Лошади весело поднимали головы и ржали словно наперебой одна другой. Ратники бросились к воде, на бегу срывая с себя рубахи, крестились и со всего размаху кидались в воду. Крик, смех, плеск воды, перебрасыванье шутками, стоном стонал весь излучистый берег речки, которая скоро совсем была запружена человеческими телами и, казалось, вышла из берега от этих масс брошенного в нее жаркого человеческого мяса... Самая вода, казалось, нагрелась этими жаркими телами и больше не холодила купающихся.

Выкупавшиеся спешили одеваться, прыгая и валяясь по примятой траве. Кто потерял рубаху, кто искал порты. Путались одеждой, отнимали друг у дружки — тот кричит: «Не замай, мое!» Тот: «Ан мои порты, мой гашник!» — «Врешь! Моя рубаха!» — полетели в воздух крепкие слова, какие и татарину «неудобь есть глаголати»... «Да ты не лайся! Не крепи словесами!» — «Я не креплю! Я не пес!» — «Да мне что! Да я тебя растак!..»

— Стой, братие, не лайся,— усовещивает товарищей старый воин, благочестивый, расчесывая медным гребешком мокрые волосы.— Аще который человек коего дни матерны излает, и тово дни уста его кровию закипят злого ради словесе и нечистого ради смрада, исходящего из уст...

— Ну, пошел, святитель, плести «аще»! — смеется молодежь.— Поучи татаровей, как придут, а то еще!..

— Аще, братие, великое слово, не смейся над ним, не лайся... Сия бо брань...

— Сказывай! Слышали...

— Се есть, братие, брань песья; псом бо дано лаяти. А в которое время человек матерно излает, и в то время небо и земля потрясается о таковом словеси...

— Ан вон, чу, не потряслась, как Микитка тебе загнул.

К привалу между тем подоспел и обоз, нагруженный оружием, сулицами, рогатинами, копьями, стрелами, красными, как огонь, щитами, провиантом, бочонками с пивом, медами, зеленым и не зеленым винами для князей и воевод. Целый огромный табор образовался из обоза. Обозные распрягали лошадей, кричали, ругались, спеша скорее выкупаться и выкупать лошадей. Шатровая прислуга разбивала наскоро шатры для военачальников и бояр, которые также, томимые жаром, плескались в Пьяной, охлаждая свое боярское тело и выполаскивая свои бороды и головы от пыли и поту.

Из возов вытаскивались бочонки с прохладительными и горячительными напитками и подкатывались к разбитым шатрам. Вынимались дорожные погребцы с золотою и серебряною посудою для еды и питья, с чарами, стопами, кубками, ендовами, братинами.

Скоро все союзное воинство начало утешаться брашнами и питием. Простые ратники ели сухари и хлеб, заедая луком и огурцами, у кого таковые были, и за-

пивая водой, брагой и зеленым вином. Бояре кушали кокурки, печеные яйца, всевозможные копченые и соленые полотки гусиные, утиные и лебединые. Тот поедал копченого куровя, тот баранью ногу, гложа прямо из рук, по-божески, и вытирая засаленные пальцы либо об ширинки, либо прямо об русы кудреюшки. Бояре кушали, распоясавшись, потому упека. Бог теплынью пожаловал. Петли у рубах и охабней отстегнуты, вольготно так, хорошо. А меды пьяные так и пенятся в рогах и чарах: рога и полные братины переходят из рук в руки, от одних жарких уст к другим боярским да княжеским устам. Хмель бьет в голову, вызывает хороборство, похвальбу, засучиванье рукавов.

— Да мы-ста их, кобыльих детей! Мы им покажем, каковы суть ноне русичи хоробрые! — похваляется молодой воевода, князь Иван Димитриевич, сын нижегородского князя Дмитрия Константиновича, тестя московского великого князя Димитрия Ивановича [11].

— Мы их, кобылятников, вспарим! Не то ныне времечко стало, что было, мы их, конеядцев! — подбавлял жару московский воевода, засучивая рукава и рыгая на всю княжескую ставку.

— Не устрашит ноне хоробрих русичей и сам Мамаишко, пес, а то на! Арапша, Арапшишко некий, синеордянин... Мы ноне и на Золотую Орду плевать хотели!

— Нам ноне подавай семерых татаровей на единого русича!

— Противу нас никто! Никто же на ны! С нами Гюрги-победоносец, вот кто!

В стороне от воеводских и боярских шатров, по берегу Пьяной, кучами сидели простые воины и также проклажались. Карачаровец Малюта рассказывал, как они с воеводою, с князем Димитрием Волынским, Казань добывали, как при этом на них «велбуды» ревели и как они тех «велбудов» не испужались. Один молодой воин, что звали Микиткой и что хитрец был всякое крепкое слово загнуть, сидел вместе с другими ратными под ракитовым кустом и лениво тянул, подперши щеку ладонью:

Ахти во Москве у нас, братцы, нездорово!
Заунывно в большой колокол звонили...

— Полно выть! — перебивал его другой ратный.— И без твово вытья кручинно.

— Что кручинно? Или по бабе? Так не спеть ли тебе про Чурилью-игуменью?

Кабы русая лига голову клонила,
Пошла-то Чурилья к заутрени,
Будто галицы летят, за ней старицы идут,
С молодым пономарем Иванушкою,
Молоды белички с девьим старостою,
Что больно горазд был к заутрени звонить...

— Тьфу ты, окаянный! — огрызался невеселый ратный.

— Так не ту завел? Не люба? — дразнил его Микитка. — Так може эту?

При старце было при Макарье,
Было беззаконство великое...
Старицы по кельям родильницы,
Черницы по дорогам разбойницы...

— А в кое время кой человек что бологое поет, доброе, и в оно время аньдел ево радуетца, а бес плачет, а в кое время человек той похаб поет, и в то время аньдел, крылышками закрывшись, плачет, а бес скачет и руками плещет, — ораторствовал старый благочестивый воин в назидание младым игрецам.

А младой игрец, как бы назло благочестивому, играя пальцами на губах, как на балалайке, затянул еще более разухабистую:

От обедни да к игумне,
От вечерни да в харчевню,
Всякой день он напиваетца,
В кабаке пьяной валяетца...

— Ну, выходи, кто есть жив человек! Подавай мне татаровей поганых! Всех зашибу! — хорохорился совсем уже опьяневший суздалец, поплевывая в ладоши и грозя неведомо кому.

— Так их! Так жеребячьих сынов! — подзадоривал Микитка.

— Ай да богатырь! Ай да ратнище Игримище! Не спущай им, босым головам!

Вдруг с разных сторон послышалось дикое, неистовое гиканье, точно бы неслись откуда-то целые стада взбесившихся зверей, собак и волков. В воздухе засвистали и завыли стрелы, зазвенело оружие, заржали лошади. Облака пыли полузакрывали что-то страшное, темною тучею охватывавшее с трех сторон растерявшиеся русские рати.

— Арапша! Арапша! — пронеслись по всему стану испуганные крики.

Растерянные от неожиданности, обезумевшие от страха, пьяные и непьяные, кидались воины к обозу, ища своего оружия, спотыкаясь и падая. Испуганные кони неслись через стан к реке, опрокидывая все на пути — шатры, телеги, бочонки с медами, мечущихся ратных.

А стрелы напирающего со всех сторон нежданного врага уже пронизывали шатры, впивались в землю, сбивали листья с деревьев, вонзались в беззащитное тело русичей, ранили и доводили до бешенства коней...

Татары уже тут, в самом стане. Князь Иван Димитриевич, наскоро облачившись в тяжелые боевые доспехи и ступив в стремена подведенного к нему коня, кричал, надрывая грудь, чтобы строились в ряды, подымали стяги... Напрасно! Голос его замирал в невообразимом гаме и реве нечеловеческих голосов и воплей...

Пошли в ход арканы, сабли, рукопашная свалка. Впереди татарского войска, на белом арабском коне, какой-то маленький, сухой, тщедушный и черный, как эфиоп, татарчонок дико визжал, отдавая приказания и сверкая в воздухе изогнутым клинком: это был сам Арапша-царевич, свирепый азиат, выросший на седле и вскормленный постоянною войною.

Русичи опрокинуты в воду... Как овцы, бросились они в реку, тонули, топили и давили друг дружку. Пьяна была скоро запружена русскими телами. Иные по этим телам перебирались на тот бок реки и спасались бегством...

Весь обоз, шатры, запасы, оружие, одежда — все было во власти татар.

По ту сторону Пьяной, у самого берега, из помятой осоки блестел золоченый шлем над молодым мертвым лицом: молодой утопленник был военачальник злополучных русичей, князь Иван Димитриевич нижегородский.

Долго помнили потом русичи реку Пьяную.

III. РУССКИЕ ПОЛОНЯНИКИ В ОРДЕ

После несчастной для русских битвы на берегах реки Пьяной Арапша, опустошивши на сотни верст кругом города и села, с огромною добычею и полоном

возвращался в Орду. Через земли мордовских князей, которые ему помогали, он вышел на Волгу и направился к малой столице ханов, к Укеку, стоявшему на возвышенном берегу этой реки, в двенадцати верстах ниже нынешнего Саратова.

В конце августа, когда загоны Арапши приблизились к Укеку, погода стояла ясная, совершенно летняя, хотя уже без летнего зноя. Загоны следовали по возвышению, с которого глазам путника открывались виды на необозримое пространство. Полоняники и полонянки, которых было несколько сот, шли с обозом, а более слабые, особенно же молодые девушки и дети, были посажены на телеги, нагруженные добычею, или же на смирных вьючных лошадей. Пешие шли сворами, навязанные на длинные канаты, и только некоторые из них, более беспокойные и сильные, были прикованы к телегам или скованы попарно ручными и ножными кандалами. На одной стороне шли рядом с телегою знакомые уже нам карачаровцы, которых татары захватили на игрище в самый разгар величаний таинственного Дид-Лада. Ражий, здоровенный детина, которого называли Ярополкушкой и который за «выкуп коней», «потоптавших просо», требовал не одну «девицу», а «всех девок», был прикован к тележной оглобле и шел, словно продажный жеребец в легкой пристяжке, без хомута.

Рядом с ним шла большекосая и полногрудая Доброгнева, карачаровская красавица, босая, как была и дома, и с каменными пестрыми бусами на загорелой шее. Хоть татары иногда и отгоняли ее от прикованного молодца, отводили в другую свору полоняников, но она от этого так худела и спадала с тела, что ее опять, как телку к корове, подпускали к Ярополку, и она опять полнела и здоровела. Тут же шли и другие карачаровские девки — Горислава, Прекраса, Верхуслава. Маленький Добрынька, что еще недавно выдавал себя за Мамая, не мог выносить долгого пути в орду и потому был посажен татарами на телегу в виде погонщика.

Полоняники поражены были видом, который развернулся перед их глазами с нагорного берега реки, никогда ими не виданной. Прямо перед ними — город, обнесенный высокими зубчатыми стенами. Это Укек, от которого в настоящее время уцелели только кучи мусора. На поворотах стен возвышаются остроконеч-

ные башни. В разных местах торчат тонкие иглы минаретов. Чем-то сказочным вставал перед глазами изумленных полоняников этот город, в котором не было ничего похожего на то, что доселе ими было видано. Казалось, что не люди там живут, а что-то тоже сказочное: змеи-горынычи, стерегущие прекрасных полонянок, бабы-яги, летающие в ступах, или соловьи-разбойники.

А там далее — широкая, как море, река. Не видать ни начала, откуда она несет целое море воды, ни конца, к которому стремится эта голубая вода. Там и сям виднеются плывущие суда.

— Ока-матушка! Родненька! — невольно вырвалось из груди Доброгневы.

— Не Ока это, Гневынька,— печально покачал головой прикованный к оглобле молодец.

— Не Ока, баишь? — удивилась Доброгнева.

— Не Ока, Ока у нас, в Карачарове... А это, поди, Дунай...

— Что в песне-то поется?

— Он, Гневынька.

И оба замолчали в тяжелом безнадежном сознании, что их загнали на край света, к песенному тихому Дунаю да к морю Хвалынскому. А за этим Дунаем виднеется бесконечная степная даль, которая сходится с концом света и на которую опустилось краем голубое небо.

В это время впереди показался обоз из нескольких колымаг, крытых и некрытых. Новый обоз пересекал путь, по которому следовали полоняники. В колымагах и около них виднелись черные фигуры с черными шапочками и покрывалами на головах, напоминавшие монахов.

Татары, сопровождавшие полоняников, с криками и высвистами обскакали обоз со всех сторон, по-видимому требуя, чтоб обоз остановился. Он действительно тотчас же остановился. Некоторые из черных фигур перекрестились.

— Мати Божа! Никак, наши, кресты творят! — изумленно воскликнула Доброгнева.

— И то наши: не то попы, не то чернецы, Микола Угодник! — удивился и прикованный малый.

— Чернецы, чернецы и есть! Матушки.

И полоняники толпою сунулись к обозу, обступили его, несмотря на татарские нагайки, которыми отгоняли любопытных от колымаг.

Подскакал и Арапша на своем белом аргамаке. Слышались крики, вопросы. Из передней, самой обширной и богато убранной колымаги, поддерживаемый чернецами, вышел высокий старик в белом клобуке и с золотым крестом на груди. В руке у него был посох. Седая длинная борода, старческий вид и кроткие, проникающие в душу глаза внушали, по-видимому, страх и почтение самим татарам.

— Мир вам, Людие, чада единого Бога! — кротко произнес старик, благословляя на все стороны.

Арапша, приподнявшись на седле всею своею тщедушною фигурою, сказал что-то стоявшему рядом с ним всаднику в богатом татарском одеянии. Тот кивнул головой, на которой красовалась зеленая чалма.

— Ты кто еси, старче? — спросила зеленая чалма с горловым татарским выговором.

— Аз есми Михайло, божиею милостию и ярлыком Атюляка-царя, митрополит киевский и всея Руси,— отвечал старик.

Зеленая чалма передала эти слова Арапше. Арапша снова сказал что-то чалме.

— А где твой ярлык Атюляка-царя? — спросила чалма.

Митрополит распахнул свою черную мантию, под которой висел у него на груди складной образ, украшенный дорогими камнями, и, раскрыв складень, достал оттуда сложенную вчетверо бумагу.

— Се ярлык Атюляка-царя,— сказал он, подавая бумагу зеленой чалме.

Чалма взяла бумагу, бережно развернула ее и, показав Арапше, тихо пояснила: «Тамга — салгат — карапчи...» Арапша кивнул головой и опять что-то промолвил.

— «Бессмертного Бога силою и величеством,— громко читала ярлык зеленая чалма,— из дед, из прадед, от первых царей и от отец наших, Атюляк-царь слово рек, Мамаевою мыслию дядиною».

При словах «Атюляк» и «Мамай» Арапша прикасался пальцами ко лбу и прижимал ладонь к тому месту, где у него должно бы было быть сердце.

— «Ординским и улусным всем и ратным князем,— продолжала зеленая чалма,— и волостным дорогам и князем, писцем и таможником, и побережником, и мимохожим послом, и сокольником, и пардусником, и бураложником, и сотником, и заставщиком,

и лодейником, или кто на каково дело ни пойдет, и многим людем. От первых царей при Чингис-царь, и по нем иные цари, Азиз и Бердибек, и тии жаловали церковных людей, а они за них молились. И весь чин поповский, и всии церковнии людии, не токмо жаловали их, какова дань ни буди, или какая пошлина, или которые доходы, или заказы, или работы, или кормы, ино тем церковным людем ни видити, ни слышати того не надобь, чтоб во упокои Бога молили и молитву за них воздавали Богу...»

Арапша прервал чтение, взял из рук читающего ярлык и стал его рассматривать: посмотрел на «алую» тамгу, оборотив ее, взглянул на шнурок и, снова приложив руку ко лбу и к сердцу, подал бумагу митрополиту.

— Велик ярлык,— улыбнулась зеленая чалма,— и ала тамга есть... Дан ярлык не заячьего, а овечьего лета, дарыка в семьсот осьмое лето... Хорош ярлык, крепка... А куда, старче святой, едешь?—спросила чалма.

— Из Орды в Киев, на свой стол,— отвечал митрополит, пряча ярлык в складни.

— С Богом, старче.

Арапша ударил в ладоши. Стоявший за ним татарин затрубил в рог, и Арапша вместе с зеленой чалмой поехали далее к Укеку.

Полоняники бросились к митрополиту целовать руки. Женщины и дети плакали. Старик усердно крестил их, поднимая к небу глаза, на которых тоже блистали слезы.

— Не плачьте, дети... Молитесь Богу единому в троице, той освободит вы из пленения,— говорил он, усаживаясь в свою колымагу.

— Батюшко! Голубчик! Угодничек!—плакалась Доброгнева, целуя мантию митрополита.

— Молись за нас, святой митрополит!—слышались другие голоса полоняников.

— Буду, буду молиться о страждущих, плененных, буду, детки мои!—говорил старик, осеняя крестом толпившихся около колымаги злополучных соотечественников.

Опять затрубили рога, послышались татарские возгласы, удары нагаек... Все двинулось в путь, и колымаги, и телеги с черными фигурами скоро скрылись из вида.

Встреча полоняников с своими черными соотечественниками была так неожиданна и так глубоко поразила их, была притом так кратковременна, что им казалось, будто они все это видели во сне в этом заколдованном царстве змея-горынчища. А вот и его город за высокими стенами, город Укек... С испугом глядят на него карачаровцы, крестятся со страху... Что-то еще будет с ними? Куда-то еще погонят их?

— Я убегу, как только откуют меня,— сказал вдруг Ярополк, глядя на укекские стены.

Доброгнева с боязнью и тоской посмотрела на него.

— Дорогу я помню, найду... все степью да междулесьем,— продолжал как бы про себя прикованный.

— А я-то... что со мною будет? — с испугом спросила Доброгнева.

— И ты, Гневынька, со мною,— успокоил он ее.

Но полоняников не вогнали в город, а расположили на берегу Волги, вдоль городских стен.

Едва в городе узнали о пришествии загонов с добычею и полоном, как кучи татар и татарчат высыпали на берег поглазеть на полоняников. Татары рассматривали их, приценивались, иногда плотоядно посматривали на девушек. Татарчата прыгали около них, пели, дразнились, высовывали языки.

Между тем на берегу реки уже готовились лодки для перевоза полоняников на ту сторону Волги: одна часть их должна была идти к Сараю тою стороною Волги, луговою, а другая — нагорною. Карачаровцы оказались в числе той половины, которая должна была переправиться за Волгу.

Все это было так скоро сделано, что полоняники разных городов и сел, успевшие за дорогу перезнакомиться и привыкнуть друг к дружке, теперь не могли проститься порядком, как очутились уж в больших плоскодонных лодках. Поднялся плач и с той, и с другой стороны. Пошли гулять по спинам несчастных татарские нагайки.

Но вот лодки отчалили. Татары-гребцы налегли на весла, и лодки быстро удалялись от берега.

Вдруг на одной из лодок послышался отчаянный крик, и что-то белое, мелькнув перед глазами, бултыхнуло в воду.

— Матушки! Кто-то в воду кинулся! Богородица, спаси!

— Верхуслава! Верхуславушка кинулася!

Некоторые из лодок приостановились и ждали. На том месте, где исчезла под водою молодая полоняночка, выходили из воды пузыри, отходя все далее и далее вниз по течению.

Наконец, далеко ниже лодок, что-то вынырнуло из воды. Показалась рука, мелькнула голова.

— Вымырнула! Голубушка, вымырнула! — всплеснула руками Доброгнева.

Не успела она вскрикнуть, как рыжий Ярилушко, рванув цепь, которою он был прикован к носу лодки, оборвал ее и кинулся в воду. Снова отчаянные крики.

Но ражий детина не пошел ко дну. Напротив, работая руками, точно веслами, и встряхивая мокрыми волосами, он в несколько взмахов очутился около утопающей и схватил ее за косу. Он упорно боролся с течением реки, но его относило все ниже и ниже. Лодка ударила по воде веслами и погналась за утопающими полоняниками. Она скоро настигла их. Ярополку подали багор, и он уцепился за него, держа другою рукою утопленницу.

Скоро их обоих втащили в лодку; но с несчастной девушкой, казалось, все уже было покончено: она лежала бледная, бездыханная... Другие девушки, ее подруги по игрищу, горько плакали над нею...

IV. «МАМАЙ ИДЕТ». РУССКИЕ КНЯЗЬЯ У СЕРГИЯ. ПЕРЕСВЕТ И ОСЛЯБЯ

Оставим злополучных полоняников в их томительном странствии к далекой столице ханов и воротимся на святую Русь, где также было немало горького.

Поражение русских на берегах Пьяной реки не успокоило и не удовлетворило алчного Мамая: ему одного хотелось — больше и больше денег, целые горы денег, целые груды блестящего «алтын-деньга». Его, «всемогущего царя царям», возмущало и то, что русские «улусники» и «подручники» его, «рабы рабов» его, которых его прадед, пресветлый Чингис, держал у своего стремени, а пресветлый дед его, Узбек-хан, резал десятками, как баранов на шашлык, что вдруг эти князья-«улусники» не только не гнут покорно свои рабьи шеи, но еще смеют поднимать головы и даже вступать в бой с его загонами, как это было на Пьяной.

Надо унять их, надо доказать им, что «велик Бог Мамаев», что как он один — владыка всей вселенной, земли и воды, солнца и свету, луны и звезд, так и он, великий Мамай-хан, один хан под луною, один может поить коня своего во всех реках и озерах вселенной, и как все реки несут свою дань океану, так и все его князья-«улусники», все эти Димитрии и Олеги, Михайлы и Александры, московские и рязанские, тверские и суздальские, все должны покорно нести ему дань, много дани, как много воды изливают в океан подручные ему реки.

И вот в 1377 году Мамай опять посылает новую орду на Русь. Орда валит на Нижний, берет его на вороп, пустошит, палит огнем и тысячи пленных гонит в свои необозримые заволжские степи. Другая орда идет на московское княжество через рязанскую землю наказать «улусника» Димитрия, московского «князя». Но московский князь не ждет гостей к себе на дом, в Москву, и спешит перестреть их в дороге. С ним два союзника — полоцкий князь Андрей Олгердович и князь пронский [12]. Москва сшибается с татарами на Воже-реке и повторяет татарам урок, данный русичам Арапшею на реке Пьяной. Татары захлебываются мутными и кровавыми водами Вожи, а что не захлебнулось, беспорядочно бежит в свои степи.

Мамай окончательно свирепеет. Он посылает третье полчище разорить рязанскую землю за то, что один из ее князей, пронский, участвовал в битве при Воже, и сам собирается идти и посыпать пеплом, залить кровью всю московскую землю и загатить реки ее трупами князей, бояр и ратных и нератных людей. Он начинает собирать несметное ополчение, но не из одних татар, а из народов всего известного ему мира. Глашатаи его рассыпались по Азии, по предгориям и горам Кавказа, по ногайской земле и по Крыму: фряги из Крыма, Черкесы и Ясы — все шло в его «толпища»...

Олег, князь рязанский, видел неминучую гибель и стал просить пощады у рассвирепевшего татарина. Он называл себя «верным рабом» Мамая, его «посаженником» и «присяжником», а самого Мамая — «восточным вольным великим царем царям», «пресветлым» и «милостивым». Он советовал ему идти на Димитрия, называя его Мамаевым «служебником» и «улусником», который осмелился оказать своему

повелителю «непокорство» и «гордость». Олег только для себя просил пощады и милости, но не для Димитрия. «Мы оба,— писал он в своей униженной грамоте,— рабы твои; но я служу тебе со смирением и покорством, а он к тебе с гордостию и непокорством»...

В то же время Олег снесся с Ягеллом, князем литовским. И его он просил идти против Димитрия, соединиться с Мамаем, выгнать московского князя из Москвы и овладеть московскою землею...

Вот какая гроза собиралась над московскою землею.

Весною 1380 года Мамай со всеми своими силами из Орды двинулся на русскую землю. Он шел левым путем, к Воронежу, чтоб пощадить землю покорного «улусника» и «раба» своего, Олега рязанского.

Димитрий московский видел, что грозная туча, нависшая над русскою землею, должна была разразиться громами над его именно головой и потом уже пронестись разрушительным ураганом над всею тогдашнею Русью, над землями московскими, суздальскими, владимирскими, нижегородскими, тверскими, белозерскими, каргопольскими, устюжскими, ярославскими, ростовскими, серпейскими, новосильскими и иными, над всеми мелкими уделами, на которые была тогда разбита русская земля, словно риза, сшитая из лоскутков. Надо было все эти лоскутки сплотить воедино, чтоб укрыться от грозы, и это трудное дело пришлось делать Димитрию. Он сделал его: он первый объединил всю русскую землю в Москве, и с тех пор Москва стала сердцем Руси. Это величайшая заслуга Димитрия: не Иван III и не Иван IV были «собирателями» русской земли, а Димитрий — он ее совокупил духом. Не будь этого духовного совокупления, едва ли скоро последовало бы и объединение земельное, гражданское.

Как же Димитрию удалось сделать такое великое дело? А очень просто: ему помог тот же Мамай своею ошибкой, и ошибка эта была громадная, непоправимая. Прежние ханы овладели русскою землею, не насилуя ее веры; мало того, они даже оберегали русскую церковь своими ярлыками, какой мы уже видели в предыдущей главе в руках киевского и «всея Руси» митрополита Михаила Митяя: этот ярлык дан был ханом Атюляком по совету своего дяди, Мамая, «Мамаевою мыслию дядиною». И вдруг этот добрый

дядюшка, сковырнув с ханского трона своего недалекого племянничка Атюляка и рассердившись на Димитрия московского, велел объявить русской земле «Мамаево слово таково»:

— Возьму русскую землю, разорю христианские церкви, их веру на свою переложу и велю кланяться Магомету; где были у них церкви, там поставлю мечети...

Понятно, что Мамай этим уже не Димитрию грозил, а задирал всякого «русича» — и Карпа, и Сидора, Митяя и Миняя, Рогволода и Микитку, который умел «загибать гораздо». Услыхав таковое «Мамаево слово», все Микитки и Добрыньки, что называется, «окрысились» за себя: «Нет, шалишь, брат: не трожь нас, не замай нашу веру, сдачи дам!»

И действительно дали!.. Димитрий понял дух Микиток да Добрынек и воспользовался им. Он разослал по всей северной русской земле увещательные и призывные грамоты к великим и малым князьям и князькам удальным, а те оповестили своих бояр, ратных и черных людишек, этих бессмертных в своей совокупности Миколок да Добрынек, что так и так-де: «Безбожный-де Мамай хочет православную веру переложить на бусурманскую, на агарянскую да на срацынскую ересь...» — «Каково! На срацынскую! Да уж срамнее этой, срацынской-то веры и на свете нет, сказать стыдно! А! Срацынская! Да уж это последнее дело, не роди мати на свет, коли срацынами поделаться и срацынским крестом креститься! Уж это что ж! За это помирать надо!..»

Загалдели Микитки да Добрыньки об срацынской вере, взвыли бабы по всей русской земле! А уж коли бабы взвоют, так тут и святых вон уноси...

И вот валом повалили русские люди, князи и бояра, ратные и охотные люди, чернопашенные людишки и всякая смердь — всё повалило к Москве с своими князьями: «Не пущать на Русь срацынскую веру, биться за свою веру до последней капли крови...»

В течение лета в Москву сползлись, словно мыши в овин, тучи ополченцев с своими князьями и князьками, лыком шитыми, да все же православными, с каргопольскими, устюжскими, белозерскими, ярославскими, ростовскими, серпейскими...

Первым делом Димитрий московский повел их к Троице. Это была тогда еще бедненькая обитель, вся

охваченная дремучим девственным лесом, сколоченная из этого же лесу руками преподобного Сергия и его немногочисленной братии. Мрачно смотрел пустынный бор, когда ранним утром Димитрий вместе с другими удельными князьями узкою тропою пробирался в святую обитель. Тропа была так узка, что можно было пробираться только гуськом, конь за конем. Мертвенно тихо было в бору. Слышалось только, как дятел долбил кору сухого дерева да белка, прыгая с ветки на ветку, стучала сбитыми ею еловыми шишками. Гигантские ветви елей и сосен, протягиваясь через тропу над головами путников, казалось, силились закрыть от них просветы голубого неба, которое смотрело слишком отрадно для этой уединенной, прячущейся и от неба, и от людей дорожки, протоптанной в обитель горьких слез и отчуждения от света и его радостей.

Димитрий и его спутники ехали молча, с раздумчиво опущенными головами, как будто бы каждому, словно перед последнею исповедью, хотелось припомнить прожитую жизнь, оглянуться на пройденный путь, которому нет возврата, и к тому роковому решению, которое каждый из них принял бесповоротно, неизменно, как обет, как последнюю схиму. Раздавалось иногда в этой мертвой тиши фырканье лошади, брязг стремени или оружия, треск переломленного копытом сушника, и снова невозмутимая могильная тишина... Там, выше этого мрачного бора, в голубой, почти невидимой выси, иногда прокрячет своим звонким криком сокол; а здесь, под шатром ветвей, тихо, мертвенно, как будто бы строгая и молчаливая природа отогнала отсюда всякую жизнь, всякое движение, отогнала туда, где живут люди с их обманчивыми радостями, с их мимобегущим счастьем, которое отлетает как сновидение при пробуждении, как кадильный дым над могилой.

Длинна и узка, как путь ко спасению, эта лесная тропа. Вот уже который час едут, а конца ей нет. Солнце уже высоко поднялось над бором, но его, этого божьего ока, не видать за гигантскими деревами, и только в просветах небо кажется еще голубее да видимые вершины бора ярко окрашиваются им одним видимым светом.

Но вот по чаще пронесся плачущий металлический звук. Все вздрогнули и перекрестились: кони подняли

головы, насторожили уши. Звук повторился, за ним третий, четвертый, ожил лес, заговорил...

— Било благовестное... То голос Божий зовет нас...—набожно промолвил Димитрий.

— Добрая година, впору достигли обители,—отвечал ехавший за ним друг его, князь Владимир Андреевич [13].

Скоро бор как бы раздвинулся. Вместо узкого голубого просвета показалась целая голубая пелена, раскинувшаяся над лесною полянкою, на которой стояла бедная обитель, ставшая впоследствии первоклассною святынею русской земли. Маленькая деревянная церковка, крест которой не досягал даже до вершин соседних столетних елей и сосен; маленькие низенькие келейки с маленькими же оконцами, более приличными надмогильным голубцам, чем жилью человеческому,—все это, вся эта полянка с обителью в чаще бора казалась живым кладбищем...

Приезжие, очутившись на полянке, сошли с коней и привязали их к соседним деревьям. Ни души кругом: вся обитель была в церкви на молитве.

Приезжие пошли в церковь. Странным казалось, как массивное, тучное тело Димитрия могло пройти в эту узенькую дверь скромного храма, поместиться в нем; странно бросались в глаза эти золотые и серебряные доспехи на приезжих, это бряцающее оружие...

В мрачной церкви шла служба. Тускло теплились восковые свечи в паникадилах и в свечных ячейках у образов. Дым от ладану ходил клубами над невысоким амвоном и запахом своим напоминал смерть, отпевание, «последнее целование» кого-то... Все отдавало могилой, смертью, последним расчетом с жизнью...

Князья тихо, боясь бряцать оружием, вошли и както оторопели. Молодой, прекрасный грудной голос читал: «Братие моя, не на лице зряще имейте веру Господа нашего Иисуса Христа славы. Аще бо внидет в сонмище ваше муж, злат перстень нося, в ризе светле...»

Великий князь невольно глянул на своего друга Владимира, потупился на себя, и краска стыда залила его полное, красивое лицо, окаймленное густою русою бородой... Ему казалось, что это именно о нем читают: у него и «перстень злат», и «риза» цветная, золотная, и золотая гривна на шее...

И Владимир глянул на него и понял его мысль...

— «...внидет же нищ в худе одежде,— продолжал звучный молодой голос,— и воззрите на носящего ризу светлу и речете ему: ты сяди зде добре. И нищему речете: ты стани тамо, или сяди зде на подножии моем. И не рассмотристе в себе и бысте судии помышлений злых...»

Великий князь стал всматриваться в того, кто читал это. Лицо показалось ему знакомым. Это молодое, мужественное, хотя бледное лицо, оттеняемое черною, как смоль, и мягкою, как шелк, небольшою бородою, этот низкий, матовой белизны лоб, полузакрытый черною скуфейкою в виде повязки, эта статная, массивная фигура, обрисовывавшаяся и под черною рясою, мужественная осанка, рост, голос,— все приковывало к себе внимание князя. Знакомо ему это красивое лицо. Не тут, не в этой мрачной обстановке он видел его, и не тут ему место, не в этом живом склепе с заживо похороненными людьми, вдали от жизни и ее жгучих требований. В золотном платье ему следовало бы быть, в блестящем вооружении, с золотою гривною на шее, в самом водовороте жизни... Где он видел его? Кто он?.. А он, этот молодой чернец-богатырь, продолжал все читать что-то в душу проникающее...

— «Слышите, братия моя возлюбленная! — звучал прекрасный голос.— Не Бог ли избра нищия мира сего, богаты в вере и наследники царствия, еже обеща любящим его? Вы же укористе нищаго. Не богатии ли насилуют вам и тии влекут вы на судища? Не тии ли хулят доброе имя, нареченное на вас?..»

Великому князю становится страшно: это его обличают... Он обходил нищих, отвращал лицо свое от их лохмотьев, потому что ему, князю, этих нищих было стыдно и их лохмотьев... Не за это ли Бог посылает на него меч свой, чтоб отнять у него достояние его и людей его, которых он не одел, а обобрал, пригнетая поборами многими?

Он обвел церковь глазами, как бы ища помощи... Черные головы стоят, низко склонившись, и что-то глубокое думают... О нем думают, об его неправдах, о том, как он забывал этих нищих, ползая перед Мамаем, выпрашивая ярлык на великое княжение... Он глянул на образа, и те прячут от него лики свои...

Кто-то глубоко и тяжко вздыхает... Кто-то тяжко бьет себя в перси...

Смущенный и тревожный стоял князь во все время службы и за молебном. Он, казалось, неслышно исповедывался невидимому Богу во всем, что тяготело над его совестью, над его памятью, над всеми его делами... Не он ли погубил тверских князей?[14] Не на его ли душе кровь многих погибших в Орде и на Руси? Не за его ли грехи изнывают в полоне, в степях Кипчака и далее, тысячи несчастных?

К нему подошел ветхий, согбенный старичок с крестом в руке и глянул ему в глаза своими детскими, моргающими глазами... Как глубоко взглянули в него эти добрые глаза!.. Они, казалось, видели все-все, что было в его жизни дурного, злого, грешного, неправого, и некуда спрятаться от этих добрых, но неумолимых своим всеведением глаз...

— Отче святый! — робко пробормотал великий князь, склоняясь перед крестом.

— Благодать Господня на тя, княже! — прошептал внятно старческий голос.

Старичок благословил князя. Князь опять глянул на него: бледное, мертвенно-матовое лицо, серебро волос, выбившихся из-под клобука, бледная рука с крестом, рука такая худая и бессильная, что едва держит крест... Где же эта сила в этом живом мертвеце?.. А князь пришел просить у него силы, поддержки и чувствовал, что тут эта сила, тут, в этом видимом бессилии... Это был преподобный Сергий.

По окончании службы Сергий пригласил князей в обитель, в трапезную. Бедно и мрачно было и в трапезной, как бедно кругом и как мрачно в дремучем лесу, через который путники проехали. И трапеза была бедна, совсем не княжеская. Все иноки были в трапезной, и трапеза совершалась, так сказать, соборне. Димитрий часто поглядывал на того красивого, мужественного чернеца, который читал в церкви. Он вспомнил, что видел его когда-то в числе дружинников князя Волынского, в то время как дружины его возвратились из-под смиренной им Казани. Чернеца этого звали Пересветом: военная слава его, как и слава брата его Осляби[15], гремела тогда на всю Москву; храбрость их была беспримерная; о силе их говорили как о силе сказочных богатырей; московские девушки, боярыни и княгини, видевшие их хоть разок, хоть мельком, не могли забыть их красоты и долго потом вздыхали по младом Пересветушке и свет Ослябюшке. Были они из

богатого и знатного рода. Впереди их ждали слава, почет, власть, полная радостей жизнь... И вдруг они отказались от всего — от почестей, от друзей, от славы и от всего света: знакомою уже нам лесною тропою пробрались они к преподобному отшельнику Сергию и умолили его принять их в свою обитель... Как ни отговаривал их этот святитель, видя красоту и молодость воинов, но когда они открыли ему свою душевную тайну и выдержали строжайший искус, он совершил над ними обряд пострижения.

Ослябя был тут же, великий князь тотчас узнал его, как увидел и услыхал его голос: такой же рослый, красивый, как близнец похожий на брата, только с оттенком грусти на бледном лице и в задумчивых серых глазах. Ослябя читал затрапезные молитвы, и тут Димитрий услыхал его мелодический голос.

Трапезование совершалось безмолвно: все молча слушали то, что читал Ослябя. Это, казалось, не был обед, а поминовение кого-то, или того, кого уже нет на свете, или тех, которые сегодня здесь, сидят и трапезуют, а завтра, может быть, над ними будут плакать те, от кого они уйдут в неведомый мир... Великому князю уже казалось, что в голосе Осляби он слышит знакомый, надрывающий душу плач по нем, по князе, и это ее плач, дорогой ему княгини... И Димитрию почему-то вспоминается Путивль... раннее утро, заря еще чуть брезжит, а на городской стене уже стоит кто-то, смотрит в туманную даль и, ломая руки, жалобно плачет-надрывается... Это та, которая давно когда-то горькою кукушкою куковала по своем друге милом, по князе Игоре, и ветру-ветриле плакалася, и Днепру-славутичу... И на московской стене рисуется ему плачущая женщина, и она глядит в туманную даль, ждет кого-то... Кого же больше, как не его?.. А дождется ли?..

Трапеза кончилась. Князь стал просить у святителя благословения на брань. Сергий задумался: на лице его отразилась глубокая скорбь...

— Отче святый, благослови, помолись за нас,— повторил князь.

Сергий поднял на него свои грустные глаза.

— Княже, да мимо идет чаша сия,— тихо сказал он.

— Не како же я хощу, но како он,— возразил князь тем же текстом.

Старец грустно покачал головой.

— Он... нечестивый Мамай,— как бы с собою рассуждал он.

— Так, отче, то его воля.

— Его... Ино почти его дарами и честью... Господь узрит смирение твое и вознесет тя, а его неукротимую ярость низложит.

— Отче! — снова возразил Димитрий.— Я уже сотворил тако, и он тем паче несется на меня с гордостию.

— Да будет воля Господня!

Старец велел подать стоявшую на столе чащу с святою водою, благословил и покропил князя и всех его подручников.

Димитрий взглянул на Пересвета и Ослябю, которые стояли рядом и молча смотрели на то, что около них происходило. Что-то неуловимое пробегало по их лицам, что-то особое светилось в серых глазах: сожаление ли то о прошлом, воспоминание ли о том, что они не в силах были забыть, отогнать от себя, похоронить в этих тихих кельях?.. Князь видел это что-то на их лицах, чуял своим сердцем; но что оно такое было — он не знал...

— Отче! — обратился он к Сергию.— Отпусти со мною на брань своих двух иноков! Мы ведаем про них: они были великие ратники, крепкие богатыри, смышлены к воинскому делу и к наряду.

Сергий взглянул на братьев. Они стояли бледные, безмолвные, с потупленными в землю глазами.

— Братия моя возлюбленная! — сказал старец дрожащим голосом.— Слышите, что молвил великий князь?.. Великую честь воздал он вам...

Румянец залил бледные щеки Пересвета. Он глянул на брата, глаза их встретились, и румянец радости и счастья перешел со щек Пересвета на красивые щеки Осляби.

— Буди воля Господня и твоя, владыко! — разом сказали они, кланяясь.

— Я велю вам готовиться на ратное дело,— решил старец.

Подойдя потом к аналою и отворив его, он вынул две черные мантии. На мантиях было нашито по большому белому кресту, а под крестами такие же белые мертвые головы, покоившиеся на положенных крестнакрест костях. Это были схимы, мертвая одежда молчальников, Сергий возложил схимы на головы Пересвета и Осляби:

— Се вам покров, носите в шлемов место... Се вам доспех нетленный, вместо тленного.

Братья припали к сухим плечам игумена и целовали его ризы.

— Возьми же их с собою, великий княже! — обратился святой муж к Димитрию.— Се тебе мои оружники, твои извольники.

Князь со слезами на глазах благодарил старца. Все присутствующие оживились. Некоторые из братии плакали: они так полюбили этих прекрасных, сильных, благородных молчальников, которые своими могучими руками помогали каждому иноку, брали на себя самую тяжелую работу, ходили за больными.

Слезы дрожали в голосе Сергия, когда он обратился к молодым схимникам с прощальным, задушевным словом.

— Мир вам, возлюбленные братья, Пересвет и Ослябя!.. Да не смущается сердце ваше, да не ослабеет ваша мощь бранная... Пострадайте, братия, аки доблестные воины Христовы! Аминь.

— Аминь! — повторила вся обитель.

— Аминь! Аминь! Аминь! — с воодушевлением воскликнули князья.

V. ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПОХОД

Утром 20 августа 1380 года Москва провожала свои рати против «безбожного» Мамая.

В то время Москва была еще далеко не тем, чем она стала впоследствии. В 1380 году она не была еще «сердцем России», куда! Об этом громком названии она не смела и думать. В то время еще и самой «России» не существовало, не было такого слова, а было нечто похожее на него: было одно слово, которое иногда произносили для обозначения русской земли, слово робкое, ничего почти не выражавшее в то время, хотя уже носившее в себе залог величия и силы. Слово это — «Русия», «вся Русия». Слово это понималось не в государственном, не в политическом смысле, а в народном. Под понятием «всеа Русии» разумелись все эти Микитки и Добрыньки, Карпы и Сидоры, Митяи и Миняи, Рогволодушки да Ярополкушки, Доброгневушки да Верхуславушки, все эти русые и рыжие бороды, босые и в лаптях, жившие «нечисто, яко зверь

некий», «сеявшие просо» и величавшие Дид-Ладу, все эти «мужики» — не «мужики́», а «му́жики», уменьшительные и уничижительные от «мужа», «мужие», «мужи», которыми имели право называться только князья, бояре да воеводы, а все остальное — не «мужи́», а «му́жики», нынешние «мужики́», коих попы и называли собирательно «хрестьянством», в отличие от «поганых», и кои впоследствии превратились в «крестьян», как «человек» в «лакея», в «челаэка»! «Эй, челаэк! Подай трубку!..» Вот кто составлял «всю Русию».

А вместо «Россия» в настоящем смысле были «княжества», «великие» и просто «княжества» — тверское, рязанское, московское, нижегородское и иные, которые назывались и «землями» — земля рязанская, суздальская, московская и многие иные. А не было «России», не могло быть и «сердца ее». Не могла быть поэтому и Москва «сердцем России». Да и где было ей думать об этом, когда над нею брали перевес то Тверь, то Суздаль, то Нижний. Да и величиною Москва была тогда не больше Суздаля, не более Твери, Рязани, а уж с «господином Великим Новгородом» или с «вольным» Псковом ей и тягаться было нечего: те не в пример были и многолюднее, и богаче ее. И вмещалась вся-то она в пределах Кремля, а за Кремлем были бедные хижинки, из которых обыватели тотчас убегали в Кремль, как только грозила опасность, нашествие соседей или иноплеменников.

Не была еще тогда Москва и «белокаменною», потому что была вся срублена из дерева.

Не было тогда в Москве ни «Ивана Великого», ни «Василия Блаженного», ни вообще «сорока-сороков», ни «царь-колокола», ни «царь-пушки», ибо тогда еще о «пушках» и понятия не имели, а «цари» сидели не в Москве, а в Сарае, да и «царей» тогда еще не было, а назывались они «ханами», и «царем» тогда над «Руссиею» был Мамай «безбожный». Ничего тогда не было такого, чем теперь славна Москва.

Но и тогда уже существовал «Охотный ряд»: в нем-то и образовалось то, что потом стало «сердцем Москвы», а после «сердцем России». Существовала тогда и Красная площадь, нечто вроде сенного и обжорного базара, на который окрестные Микитки да Добрыньки свозили для продажи свои нехитрые продукты и на котором этих самых Микиток и Добрынек, за «воровство» и другие вины, секли кнутом «нещадно» или

казнили смертью на особом, весьма уютном местечке, названном «Лобным».

Так вот эта-то маленькая, но уже загребистая Москва 20 августа 1380 года провожала свои и союзные рати против «безбожного сыроядца» Мамая.

В Успенском соборе шла служба, на которой присутствовал великий князь, как старший стратиг. Он жарко молился, хотя, по-видимому, мысли его часто убегали из собора и витали то в тереме его, где он провел столько счастливых лет с другинею своею, с княгинею Евдокиею, то в мрачной обители преподобного Сергия Радонежского, то там, далеко, на неведомом кровавом поле, где ждет его суд божий. А каков будет этот суд, этого никто не знает... Рядом с ним стоит друг его и родственник, неизменное копье, Володимер свет Андреевич, серпуховский князь: он также горячо молится, изредка поглядывая то на друга своего Димитрия, то на лик Богородицы, освещенный полосою летнего солнца, ворвавшегося сквозь узенькое соборное окно. Его лицо покойно и мужественно. Тут же молятся и другие князья: белозерские, каргопольский, устюжский, ростовский, серпейский — и все главные воеводы, между которыми особенно бросаются в глаза своею молодцеватостью Михайло Бренк и братья-иноки Пересвет и Ослябя с схимами на головах.

Когда кончилась служба, Димитрий и все другие князья приблизились к мощам Петра митрополита и упали перед ними ниц.

— О чудотворный святителю! — воскликнул Димитрий, стоя перед мощами угодника.— Погании идут на меня, неизменного раба твоего, и крепко ополчилися, вооружаются на град твой Москву!.. О чудотворче! Тебя проявил Господь последнему роду нашему... тебе подобает молиться, мы твоя паства...

Далее он не мог говорить, слезы заглушили его голос...

Владимир Андреевич задумчиво глядел на мощи. Открытое, мужественное лицо его, казалось, говорило: «Экое махонькое, сухонькое тельцо святительское... что в ем весу! одне косточки... а великая сила в костях сих праведных обретается, где нашей силе!..»

Из Успенского собора князья и воеводы пошли в Архангельский. Молились и там. Димитрий кланялся гробам своих прародителей... Из Москвы, из этого темного собора, мысль его почему-то невольно

перенеслась в Киев, в далекий Киев, которого он никогда не видел... «И там мои прародители,— думалось ему,—и баба Ольга, и прабаба наша великокняжеская, и Володимер равноапостольный, и Ярослав мудрый, и Володимер Мономах... блаженни в успении своем... ими не володели поганые... а мы — мы улусники татарские, холопи Мамаевы... Сором мне пред вами, отцы и праотцы мои!..»

И краска стыда залила его полные щеки... Он взглянул на Владимира Андреевича и со стыдом отвернулся от него...

— Ты что, господине княже?—с недоумением спросил тот.

— Сором, друже... Иссоромотили есмы сами себе,—загадочно отвечал Димитрий.

— Чем же иссоромотилисмо, княже?

— Неволею татарскою... перед прародителями сором.

Владимир понял своего друга и судорожно сжал рукоятку своего длинного меча...

— Там ляжем костьми... мертвии бо сорома не имут,—с дрожью в голосе сказал он.

— Аминь... Положим головы за гробы отцов и за честь нашу...

Князья вышли на площадь, где происходило молебствие перед дружинами. Громко и стройно пело все собравшееся московское духовенство, призывая победу на христолюбивое воинство и погибель на «поганые агаряны». Торжественно звонили колокола московских церквей, которых было тогда еще немного, но звон этот, казалось, воодушевлял бородатые рати, чувствовавшие всю строгость минуты. По многим щекам текли слезы.

Когда князья были покроплены святой водой и начались уже проводы, «последнее целование», тогда весь Кремль огласился женским плачем. Больше всех, казалось, плакала великая княгиня Евдокия. Светлые и голубые, как незабудки, глаза ее совершенно распухли. Обхватив своими пухлыми белыми руками воловью шею своего «лады милого», она так и застыла на высокой, обтянутой кольчугою груди князя и только шептала пересохшими губами: «На кого ты меня, хоти юну твою, ладо мое, покидаешь?.. Ох, ладо мое, ладушко! Княжец мой, Митюшка! Оох!»—«Не плачь, не стени, хоти моя милая, супруга моя Евдокия желанная! Не стени, кукушечка моя, младо зезулица!»—утешал

ее Димитрий... А у самого слезы тоже готовы были брызнуть, да нельзя... сором перед ратью... вся Москва смотрит...

Всех оплакивали, обнимали, крестили, целовали... Только и видны были взмахи женских рук, что заплетались за шеи своих воев милых, да слышались женские причитания, словно свирели голосистые, и шмелиное жужжание мужских голосов, утешавших своих другинь, жен, сестер, матерей...

Одни только схимники Пересвет и Ослябя одиноко стояли в стороне, потупив глаза в землю и стараясь никого не видеть: с ними некому было прощаться, некому было пожалеть об них, припасть на могучие груди, потому что... потому... да потому, что уж им так на роду было написано... не было тут милых женских рук, которые бы обхватили их шеи, прикрытые черными схимами...

После молебствия рати по трубному знаку стали выходить из Кремля тремя воротами: Фроловскими, что ныне Спасские, Никольскими и Константино-Еленинскими, выходившими тогда к Москве-реке, ныне не существующими. В воротах стояли дьяконы и протодиаконы с огромными мисами святой воды, а попы и архиереи, макая в мисы кропилами, брызгали святою водою на воинство, шедшее рядами и блиставшее доспехами на теле и слезами на глазах и щеках. Сзади шли толпы жен, матерей, детей и иных сродников и оглашали воздух рыданиями: последний раз они обнимали своих ладушек милых, как птицы белыми крыльями, а теперь этими руками остается только отирать горючие слезы...

Выехали из Кремля с своими ополчениями князья и воеводы. Димитрий ехал на своем белом арабском коне, которого он любил так, как Олег вещий любил своего коня боевого, от которого ему и смерть приключилась. Грузно, но картинно сидел великий князь на своем любимце, опираясь на золоченые стремена и блистая доспехами своими, золотою «кордою» и золоченым шлемом, блестящею «колонторою» и великолепною княжескою «подволокою»...

— Ох, в якову лепоту облечеся, князь наш великий! — слышалось в толпе.

— Дюрди победоносец, воистину Дюрди...

Рядом с ним ехал друг его неразлучный, Володимир. Взор его был полон отваги. «Ляжем костьми, не

посрамим земли русские»,— так, казалось, и говорили серые глаза его, сверкавшие из-под нависших бровей.

Выехав из Кремля, они невольно остановились в немом восторге. Ратям, казалось, конца не было, и красота их была неописанная. Они стояли нескончаемым рядом вдоль кремлевской стены, глядя на московские святыни и как бы в них самих почерпая отвагу. Копья и сулицы торчали как лес, и солнце, играя на остриях колчар, на металлических бляхах колонтор, на яловцах остроконечных шлемов, кидало густую тень от тесно сплоченных коней, украшенных цепями и гремучею наборною сбруею. А огромные красные щиты, которыми был прикрыт левый бок и плечо каждого ратника, зловеще говорили о багровой крови врага, о целых потоках крови, которые потекут под этими огненными щитами.

— О, княже господине! — невольно воскликнул Владимир.— Какова рать наша!

— Воистину таковой рати не бывало, как и Русь стоит,— тихо отвечал Димитрий.

Он поехал вдоль строя и, остановившись на середине, поднял правую руку, как бы на молитву. Все замолкло кругом; даже женщины и дети удержали свой плач.

— Братия! — воскликнул великий князь голосом, который пронесся от одного конца ополчения до другого.— Лепо нам, братия, положить головы наши за правоверную веру христианскую!.. Да не возьмут поганые городов наших, да не запустеют церкви наши, да не будем рассеяны по лицу земли, а жены наши и дети да не отведутся в полон на томление от поганых! Да умолит за нас Сына своего и Бога нашего Пречистая Богородица!

— Слава великому князю! Слава! — загремело по рядам.

— Мы приговорили положить свой живот за русскую землю и прольем кровь свою за нее! — слышались ближайшие голоса.

Все князья и воеводы проехали по рядам, осматривая каждый свою часть, свой полк, свои отдельные рати, конников и пехотинцев. Все оказалось в порядке.

По знаку великого князя ударили поход. Завыли ратные трубы страшным, нечеловеческим воем, загремели варганы. Прощальный, проводной звон колоколов, топот и ржание коней, невообразимый брязг и лязг оружия, сбруи и всяких звенящих доспехов,

вопль провожающего населения, лай испуганных собак — все это заставляло трепетать удалью и «хоробрством» сердца робких и провожающих.

Впереди черным пологом колыхалось в воздухе огромное, черное как ночь, великокняжеское знамя, «стяг великий», с изображением на нем страстей Христовых... Знамение, приличное страшному, кровавому деянию, которое должно было твориться под его сенью... Издали оно казалось черною птицею, которая реяла над войском...

Великий князь ехал под самым стягом: это его голову осеняла своими крыльями черная птица, реявшая над ратями «хоробрых русичей»...

А сзади, в Кремле, на вершине златоверхого терема великокняжеского, под южными окнами, в набережных сенях, сидела великая княгиня, окруженная воеводскими женами. Удерживая потоки слез, которые мешали им видеть удаляющееся войско и которые все-таки лились неудержимо, покинутые своими «ладами» женщины не спускали глаз ни с этой, кажущейся птицей, черной точки великокняжеского стяга, ни с этой массы двигающихся коней и всадников с блестевшими на солнце остриями копий; но ни лиц, ни отдельных фигур уже нельзя было отличить, все покрывалось дымкою дали и пылью, встававшею над войском. Москва сразу, казалось, опустела, как опустело в сердце каждой из этих плакавших женщин, и все казалось унылым, осиротелым, мрачным, как могила...

— Сестрицы мои, голубицы мои! Ох! — плакалась Евдокия, — стяг, стяг-от черный княжецкий, вижу, вон он, аки вран черен реет... а его, князя моего милого, не вижу... О! Тошно мне!..

VI. ОПОЛЧЕНИЕ В КОЛОМНЕ

Ополчение двинулось по направлению к Коломне. Там, где в наши времена лежит гладкий, широкий шоссейный путь с сторожевыми будками и станционными домами и где теперь неумолкаемо гремят день и ночь паровозы с сотнями товарных и пассажирских вагонов, пролетая железным путем мимо тысяч телеграфных и верстовых столбов с нитями телеграфных проволок, мимо сторожек, будок, застав и богатых

станционных зданий, обдавая дымом возделанные поля, оголенные, как русский подбородок при Петре, лесные рощи, города, села, деревни, сады и роскошные замки железнодорожных «русичей», «немцев», «агарян» и иных «бесермен», там в описываемое нами время лежала кругом ужасающая глушь, леса, болота и невозделанные поля. Только узкая полоса земли, по которой иногда проходили караваны купцов «сурожан» да проезжали за данью и «поминками» татарские баскаки и темники или проходили немногочисленные рати удельных князей, чтоб погрызться друг с дружкой из-за стола великокняжеского или из-за города, нахрапом взятого соседом, только эта проезжая полоса представляла возможность передвижения; все же кругом было пустынею дремучею и трясиною невылазною с медвежьими, волчьими, куньими, рысьими и иными звериными путями, по которым свободно рыскало всякое зверье, а иногда хоробрые Микитки да Добрыньки для добычи шкур и мяса этого зверья, шкур на подати князю и его тиунам, а мяса — себе и своим двуногим звереньшам «хрестьянам» на корм.

Этим-то диким путем, прародителем нынешнего цивилизованного рельсового пути, двигались к Коломне рати «русичей». Понятно, что они двигались медленно, часто гуськом, между непроходимыми борами, а иногда вразброд, стадами, где открытое поле представляло к тому возможность. Десятки верст заняты были этими ратями, за которыми, бешено скрипя колесами, тащились тысячи телег с провизиею, котлами, таганами и всевозможным скарбом. Дикая пустыня ожила: никогда не видала она такого множества людей и коней, никогда мертвая тишина ее не нарушалась таким невообразимым ржанием лошадей, людским говором и громом оружия. Дикие звери, заслышав необычайный шум, спешили укрыться в чаще лесов, а иногда, озадаченные нечаянным появлением такого множества народа, застигнутые как бы врасплох, звери эти, мало еще напуганные, приходили в необыкновенное смятение, медведи, выходя из чащи леса, становились на задние лапы и рычали страшно на людей и на коней, волки отчаянно выли на скрипящие обозы, лисицы выползали из нор и трущоб и, точно в «Слове о полку Игореве», «лаяли на червленые щиты» ратников и на их блестящие доспехи. Птицы кружились стаями и наполняли воздух криками, ибо и непривыч-

ной птице казалось, что это не люди двигались, а что леса дубравные, «борове великие», снялись с своих мест и идут неведомо куда на полдень.

Во время привалов, по вечерам и на утренней заре, гул над ратями стоял еще более страшный и в этих пустынных местах неслыханный. Прислужники, холопы и рабы разбивали княжеские, воеводские и боярские шатры и наметы. Пестрота шатров была невообразимая, и чем владелец шатра был богаче и знатнее, тем шатер был больше и пестрее. В самой середине обоза разбивался намет великокняжеский, пестревший всеми цветами, возможными в природе, и блиставший позолотою украшений, коньков, петушков, еловцев и мишурою шнуров и кистей. Над ним всегда чернел большой великокняжеский стяг, тоже с золочеными еловцами и золотыми кистями. Вокруг этого шатра, как вокруг соборного храма, разбивались меньшие шатры, наметы удельных князей. За этими шатрами — шатры простых воевод и бояр. И эти шатры пестрели цветами своих уделов и областей: где резал глаза красный цвет, где зеленел ярко-зеленый, где синий и алый. Удельные и полковые стяги имели также свои отличительные цвета и изображения: на одном страсти Христовы, на другом святой «Дюрди», или Георгий Победоносец, на третьем «Микола Чудотворец».

Ратные люди разводили костры, зажигали целые рощи и распускали такое зарево, что оно будило всех зверей и птиц, и всю ночь окрестности стонали от звериного реву и вою, от птичьего грая и клекота.

К кострам приставлялись таганы и треноги, кипели котлы с варевом, шипели волы и бараны на огромных вертелах.

В палатках слышался говор князей и бояр, звон чаш, стоп и братин: один удельный князь угощал другого с его воеводами и боярами, а бояре, князья и воеводы других земель чествовали соседей, пировали и братались, меняясь крестами и оружием, ибо в то время боярам и князьям разных уделов, городов и земель нелегко было съезжаться при непроходимости путей и при постоянных усобицах: муромцы пировали и обнимались с суздальцами; верейцы целовались и братались с серпуховцами, боровитяне угощали угличан, тверитяне белозеров... Вспоминались общие обиды, претерпенные от «поганых», упоминались имена князей и бояр, замученных в Орде, не забывалось

и о тяжких данях, наложенных «безбожными сарацинами»...

И простые воины разных земель и уделов знакомились между собою: все эти «хрестьяне», Рогволоды да Ярополки, Микитки да Добрыни, карачаровцы и москвитяне, устюжане и володимерцы, синие рубахи с красными ластовками и красные рубахи с синими ластовками по землям и городам — все это сходилось к общим шатрам, говорило и шутило разными местными говорами, «окали» и «акали», «цвокали» и «чвокали», «вякали» и «дзякали». Москвитяне смеялись над половчанами, тверитяне над нижегородцами, у одних хаялись шапки, у других шляпы, у тех порты осмеивались, у этих зипуны и лапти, «звычаи» и «обычаи», «норов» и «ухватка»; тех дразнили, что они якобы «своего бога с кашей съели», других — якобы «овину свечи ставят», третьи — «лаптем шти хлебают», у четвертых — «черт детей качает...». Говор, смех, а там — сон всего ополчения и сторожевые оклики часовых да вой потревоженных зверей по полю и по дубравам...

Чуть заря, все снималось с прежним шумом и гамом и двигалось далее на полдень...

На восьмой только день ополчение подошло к Коломне. В нескольких верстах от этого города ополчение встречено было воеводами новых полков, которые, по увещательным грамотам из Москвы, сошлись на Коломне из разных областей земли русской: Микула Васильевич — воевода полка коломенского, Андрей Серкиз — воевода полка переяславского, Иван Родионович — воевода полка костромского, Тимофей Валуевич — воевода полка юрьевского, князь Роман Прозоровский — воевода полка владимирского, князь Федор Елецкой — воевода полка мещерского, князья Юрий и Ондрей — воеводы муромского полка. Военачальники обнимались и целовались между собою, словно бы это было светлое Христово воскресение...

В коломенских воротах ополчение встречено было епископом Герасимом, а коломенские церкви звонили во все колокола. Никогда такого множества ратей не видала Коломна и вся высыпала на улицы, на площади, за город. Бабы-коломнянки и богатые люди расхаживали по рядам и поили ратных квасами, медами, брагами и угощали калачами и баранками; все эти вои, сошедшиеся в первый раз со всех концов русской земли,

казались «своими», «ближними», «сродниками», несмотря на различие одежды и говоров...

— Сестрицы мои милые! — с умилением говорила одна коломнянка другим бабам с ведрами за плечами. — Как они, ратные-те, погнали своих коней на Оку-реку на водопой, так я, голубушки мои, думала, что кони-то всю Оку выпьют, — таково много коней!

— Где, мать моя, комонем Оку испити! Не испить ее, — успокаивала ее другая баба.

— Ковшом моря не исчерпати, — пояснила третья.

— Что и говорить! А много воев, ох, много! Ино голуби со страху послетали с церквей и не ведают, где сести...

Особенно поражали всех два рослых красивых воина, которые на богатых конях и в дорогих доспехах неотлучно следовали за великим князем, имея на головах черные покрывала с нашитыми на них белыми черепами... То были Пересвет и Ослябя.

На другой день по прибытии к Коломне великий князь велел всем ратям, и с ним прибывшим, и до него, выстроиться на лугу, под самым городом, на месте, где совершали коломняне свои обрядовые «игрища» и пели «Ой Дид-Ладо» да величали Ярилу. Луг этот, как и в Карачарове, как и под Москвою, назывался «девичьим полем».

Нельзя было без умиления и восторга, конечно со стороны тогдашнего «русича», смотреть на это небывалое зрелище, на обширное, ровное, зеленое поле, усеянное несметным воинством, необозримыми полчищами, каких еще ни разу не приводилось видеть ни одному русскому с тех пор, как началась русская земля: ни на печенегов и половцев, ни на хозар и касогов, ни на черных клобуков и греков русская земля не высылала такого множества ратей, и притом такого поражающего разнообразия, разнообразия в цвете одежды, в ее покрое и качестве, разнообразия в доспехах, в вооружении, шишаках и кольчугах... И над всем этим царил, поражая зрение, яркий, огненно-красный, «червленый» цвет огромных щитов, которые стояли и колыхались в поле, точно живые, подвижные заборы, с глядящими через них человеческими головами в шишаках и с длинными копьями-«колчарами»... И над всем этим реяли, как большекрылые птицы, разноцветные стяги, знаменовавшие собою всю собравшуюся воедино северно-русскую землю.

— О, велика ты, земля русская, земля православная! — с трепетом воскликнул великий князь при виде поразительного зрелища и молитвенно поднял к небу руки, как бы призывая милость неба на этот цвет русской земли.

— И еще не вся она, княже, собралася,— со вздохом заметил Володимир Андреевич.

— Не вся, друже... Кто же будет кокош оный, иже соберет птенцы своя под крилы, вся птенцы?

— Ты, господине княже, кокош оный...

Великий князь грустно покачал головой, светя золотою еловицею шлема... «Ни-ни, друже... Мал бех в дому матере моея, святой Руси, мал я буду...»

— Слава великому князю! Слава! — прогремели ряды, завидев Димитрия.

— Слава великому и христолюбивому воинству! Слава! — отвечал громко великий князь, кланяясь на седле и подъезжая к «первому суйму», к передним рядам середины ополчения, расположившегося полукругом, так что по сторонам его были «правая рука» и «левая», или правое крыло и левое.

Ополчение расположено было «по землям» — земля суздальская, земля московская, земля тверская, земля володимирская, а все вместе изображали собою русскую землю. «Большим воеводою» «правой руки» был Владимир Андреевич, «левой» — Лев Брянский, «середины» — сам великий князь.

Войска осмотрены. Приказ отдан: протрубили трубы звонкие выступать в поход назавтра, августа 30, на память славного и святого князя Александра Невского, прародителя великого князя Димитрия.

Ратным людям уготовано было всем городом великое кормление, трапеза и питие богатое. Трапезовали тут же, на «девичьем поле», под открытым небом, сидя купами на траве. За трапезою служили все коломенские поголовно, от мала до велика, разносили по купам яства, разливали зелено вино, квасы и меды сладкие. А князья и воеводы трапезовали особо, в городе: их почтил трапезой Герасим епископ.

Хорошо потрапезовали и выпили ратные. Разгорелась кровь молодецкая, развязались языки, пошел гул и говор по полю.

Особенно живая беседа шла в одном кругу, именно в муромском полку. Ратные люди собирались вокруг знакомого уже нам краснобая Малюты-карачаровца,

того самого ратного, которого мы видели в селе Карачарове около «игрища» в беседе со старым старцем Рогволодом и который хвалился, что когда-то он с князем волынским Казань громил, а потом вместе с прочими бежал с поля битвы на берегах реки Пьяной, когда русские потерпели поражение от царевича Арапши. Теперь Малюта сидел на траве, поджавши ноги, и важно отвечал на предлагаемые ему вопросы.

— Так земляк твой был, Илья-то Муромец?

— Стало, земляк, коли из одного села.

— Ой ли! С самого Карачарова?

— Из него... И избы-те наши, моя и Ильина, чу, Муромца, рядом стоят.

— Что ты! Ах! И сказку про него сказывать, поди, горазд?

— Где не горазд!

— А ну, скажи, человече, мы послушаем.

— Скажи, братец, потешь нас, уважь! — приставали другие ратные.

Малюта начал было ломаться; но потом, вняв общим мольбам, откашлялся и начал тягучим, однообразным голосом, покачиваясь из стороны в сторону:

В старину было в стародавнюю,
Ишшо Володимер князь да стол держал,
В ту пору было в славном городе во Муроме.
В большом селе Карачарове
Жил хрестьянин Иван Тимофеевич.
У тово ли у хрестьянина изо всех детей
Было детище едино любимое,
Илья Муромец да сын Иванович.
Как сидел он сиднем ровно тридцать лет,
Тридцать лет не имел ни рук, ни ног,
На печи ли яму под собой протер.

— Ах! — не вытерпел один ратничек. — Под собой яму протер, слышь...

— А ты не перебивай!.. Ишь Бога-ту свово с кашей съел, да туда же лезет! — осадили его соседи.

Ратничек, съевший якобы своего Бога с кашей, заморгал глазами и замолчал.

Поощренный общим вниманием, Малюта продолжал:

Приходило тут время-то летнее,
Время страдное, дни сенокосные,
Уходил осударь ево, со матушкой
Да со всем семьем любымыим,
На работушку на ту хрестьянскую,
Очищать от дебья-колодья поженку —

Оставался дома один Илья.
Идут тут мимо старцы незнаемые,
Нища братия, калики перехожии,
Становились под окошечко косящато,
Говорили Илье таковы слова:
«Ай ты гой еси, Илья Муромец, хрестьянской сын!
Восставай-ка на резвы ноги,
Отворяй-ко ворота широки,
Выпускай-ко калик во храмину,
Подавай-ко каликам напитися...»

— Испей, касатик, испей на здравие.

Это словно из земли выросла баба с ведрами на плечах, та самая, что боялась, как бы ратные кони всей Оки не выпили. Только теперь у нее была не вода в ведрах, а брага, да такая ядреная, что как стали ратные люди испивать ее ковшами, то забыли и про Илью Муромца, да так до ночи и кружил коломенский ковш...

VII. ТАИНСТВЕННЫЙ БОБРОК

Прошла еще неделя. Ополчение продолжало двигаться к югу, оставив за собою Оку и вступив в совершенно уже неведомые области, так мало знали тогда русские люди свою русскую землю. Тут уже приходилось ополчению идти под руководством знающих дело «вожей». Кто ж мог быть тогда этими «вожами» — проводниками, как не торговые люди «сурожане», которые бродили из страны в страну, пробирались от моря Сурожского к морю Хвалынскому, от Хвалынского в страны тмутараканские, торговали и в Булгарах на Волге, и в Сарае, и в Итиле, толкались и по базарам Херсонеса и Козлова, прислушивались и к звяканью кандалов на ногах невольников, продаваемых в Кафе на рынке, и к рокотанью струн «Боянов вещих» на полузапустелых улицах города Киева...

Таких «вожей сурожан» находилось при русском ополчении десять человек. Один из них особенно поражал своим умом, всезнанием и «ведовством». Сорок лет он ходил и ездил морями из одной земли в другую, знал норовы и обычаи всех стран и народов, говорил на всех языках, знал он и по-сурожски, и по-русски, разумел и татарскую речь, и греческую, говорил и по-немецки, и по-венедски, и по-кафински, и польскою, и сербскою речию. А как станет рассказывать о своих

походах да торгах, да чудесах заморских, так волос дыбом становится! В Цареграде он видел самого царя греческого Палеолога и ризу Богородицы, что руссов, сказывают, потопила[16]. В Киеве в пещерах бывал и Золотые Врата видел, и песни киевских слепцов слышал. Когда была на Руси «черная смерть», так он тогда был молодым и, прослышав про мор, ушел из Пскова за море в Галанскую землю. Когда ходил в сербинскую землю, то видел, как хоронили царя их, Степана Душана, и кутью на его поминках ел. И в Булгарах за Волгой алатырем-камнем торговал, и в Сарае бывал и самому Озбяку царю большой алатырь-камень подарил, а Мамаю — саблю «едимашку».

Таков он был, этот «сурожанин»! Путь он узнавал по звездам да по месяцу. Знал, где в какой земле какие звери есть, и птицы невиданные, и камни самоцветные, что ночью без огня горят и путь показывают. Видел и кита в море, и людей морских, что до половины баба, да половины же рыба с плесом и плавниками, в ясный день, перед бурей, из моря выскакивают и в ладоши плещут.

Но более всего поразил этот «сурожанин» великого князя и его дружину рассказом о том, как он на одном венедицком корабле, когда ехал в Кафу, ел ту самую рыбку, которую сама Богородица-матушка ела да не доела...

— Как же сие приключися, человече? — с удивлением спросил его Димитрий.

— Сицевым образом, сказывают, княже: когда жидове распяли на кресте Господа нашего Исуса Христа, пречистая мати его, Богородица, много молилась и плакала и три дня пост держала. А через три дня начала оная Богородица поминати Сына своего и Бога нашего и поминала его рыбкою, рыбку кушала. В он час прииде к ней Мария Магдалина и рече: «Христосдеи воскрес». А Богородица отвеща ей: «Како может мертвый кресити не? Тогда, говорит, мертвый Христос воскреснет, когда-де сия рыбка оживет...» А рыбку оную Богородица уже до половины скушала, один бочок начисто обглодала... И как она рекла словеса оные, что тогда-деи поверю, что Христос воскресе, когда сия рыбка оживет, рыбка та, оле чудесе! скок на стол, да со стола и оживе! И живет доселе в море...

— И ты ее едал? — изумился великий князь.

— Едал, господине княже.

— Какова ж она?

— Нарочито невеличка, с лещика будет, токмо круглее, аки ладонь большая, и один бочок, так и видно, обглодан, и одного глаза нет, с одним глазом рыбка...

— А как именуют рыбку ту?

— Камбалою именуют.

В это время вдали, за передовым отрядом, завыли рога. Рати невольно стали прислушиваться: какие вести трубят рога? Привалу еще рано быть: солнце клонилось к западу, но вечер еще не наступил, хотя в этом завывании рогов не было ничего тревожного, боевого, а, напротив, слышалось что-то приветственное, однако все изумленно и тревожно смотрели вперед... А если «поганые»?.. А «литва»?..

— Рог незнакомый,— заметил великий князь,— это не наши рога.

— Не наши,— подтвердил и Владимир Андреевич,— голоса чужие.

— Киевские голоса,— заметил в свою очередь всеведущий «сурожанин»,— хохлацки... это киевские рога, я знаю...

Димитрий, Владимир, Пересвет, Ослябя и другие «извольники»-князья поскакали вперед.

Навстречу ополчения шло облако пыли, приветливо трубили звонкие рога, и из-за пыли виднелись цветные знамена, полоскавшиеся в воздухе. На еловцах знамен блестели кресты...

— Наши! Наши! Хресты видать! — закричали ратные.

— У поганых хрестов нет на стягах, хрестьяне идут!

— Трубчане, братцы, идут, да брянчане, их одежда, их посадка и стяги!

Действительно, во вновь приближавшихся ратях ничего не было видно враждебного либо иноплеменного: все — и люди, и стяги, и доспехи, и одеяние — все напоминало «русичей». Впереди, под алым с золотом стягом, ехали два молодых всадника, а третий уже пожилой. Под первыми были вороные кони, а под третьим громадная рыжая лошадь, с необыкновенно развитой грудью и с целым лесом волос в гриве. Хотя вся внешность этих трех всадников и особенно рати их ясно говорили, что это не татары и не литва, однако чем-то особенным веяло от этих трех молодцеватых фигур: двое младших были белокурые, тонкие, жидкие,

с голубыми глазами юноши, совершенно не русского «образа», а как бы литовского; таких тоненьких и стройных княжичей на Руси не видывано, русичи полновеснее, тельнее, сдобнее; да русичи притом или бородатые, или совсем безбородые отроки, как мученики-княженята Борис и Глеб; а у этих нет бород, зато есть усики, да еще подвитые кверху, совсем по-тараканьи... Нет, это не русичи... А уж третий, старший, совсем смотрит чем-то невиданным: черные усы, «аки косы девичьи», падают на грудь, а борода голена, вот что диво! А еще дивнее диво: из-под высокой шапки виднеется бритая голова, бритые виски и — оле чуда невиданного! — настоящая коса девичья, черная что смола, только не заплетена, а перекинута за ухо... Вот чудище! Точно Соловей-разбойник либо идолище какое... А смотрит ласково, осклабляется и усом моргает...

Увидав первых двух молодых всадников, великий князь тотчас же узнал их и заметно обрадовался. Он приподнялся на седле, рот его невольно раскрылся в приветливую улыбку, и правая рука приложилась к груди, на которой висел массивный золотой крест под такою же гривною.

— Добро пожаловати, князи честнии! — воскликнул он.— Благословен грядый во имя Господне.

Молодые всадники поклонились и приложили руки к груди.

— Друг друга обымем! — продолжал великий князь, подъезжая к всадникам.

Он обнял по очереди и того и другого.

— Доброго пути и врагом одоления! — сказали разом оба молодые всадника.— Мы и рати наши челом бьем тебе, господине княже.

— Братия моя милая! Оба есте князи, оба Олгердовича, Ондрей и Димитрий! [17] Положим есмы головы за Русскую землю, за домы божьи! — говорил Димитрий.

— Затем пришли, того и искать будем, а с нами и наши добрыи молодцы, брянчане и трубчане,— отвечали Олгердовичи.

Прибывшие молодые всадники были братья, князья Андрей и Димитрий Олгердовичи. Они были братья и Ягелла, великого князя литовского, но, будучи обижены им, перешли на сторону Димитрия московского, и один из них, Андрей, был призван на княжение

в Полоцке. Теперь они и привели с собою в помощь русским ратям против Мамая свои дружины, брянчан и трубчан.

— А се, господине княже,— начал было Андрей Олгердович, показывая на странного черномазого всадника с огромными усищами и косой за ухом, который молча сидел на своем богатырском коне и крутил ус,— се, княже...— И остановился...

К великому князю, на страшно взмыленных конях, едва переводя дух, подскакали еще два всадника. Пот ручьями лил с их лиц, шишаки их и бороды были в пыли, кони тяжело дышали...

— С какими вестями, братие? — тревожно спросил великий князь прибывших.

— Яз, Петрушка Горской, да Карпунько Олексин, мы есмя гонцы от воеводы Семена Мелика,— торопливо отвечал один из прибывших.

— Так с чем прислал вас Семен? — торопил их Димитрий.

— Прислал сказать: нечестивый-де Мамай стоит на Дону, на Кузьминой-Гати и ждет к себе Олега рязанского да Ягелла литовского.

Точно облачко пробежало по полному, красноватому лицу Димитрия... дрогнули веки... зрачки расширились... рука судорожно ухватилась за сердце...

— Так и Олег... окаянный,— невольно шептали его губы.

Краска сходила с его полных щек... губы дрожали... Но он силился овладеть собою...

— А сколько у Мамая силы? — спросил он гонцов.

— Не перечести,— был короткий, но страшный ответ.

Димитрий опустил голову, снова поднял ее, глянул на Олгердовичей, которые стояли бодро и весело, на черномазого с косой, и тот глядит бойко, соколом, и улыбается одним усом... Димитрий глянул на друга своего, на Владимира Андреевича, на воинов-схимников, и вид их несколько ободрил его...

— Обонпол Дона стоит нечестивый? — снова обратился он к гонцам.— За Доном?

— За Доном, господине княже,— отвечал один.

— У Красной-Мечи,— пояснил другой.

— А что делает Семен Мельник с дружиною?

— Бьется с передними ордами,— отвечал первый.

— Разведному полку путь преграждает,— пояснил второй.

— А крепок Семен? Стоит?

— Крепок, господине княже.

— Ево дружина все нарочиты мужи-богатыри, что дубы стоят...

— Секут поганых гораздо...

Великий князь, снова оглянувшись кругом и поглядев на солнце, уже спускавшееся к горизонту, приказал трубить привал.

Взвыли рожки и трубы, заржали кони, застонала окрестность от тысяч голосов.

Великий князь, обратясь к стоявшим около него князьям и воеводам, просил их к себе в ставку, которая тут же и была разбита на маленьком возвышении, а Пересвета и Ослябю послал сейчас же звать остальных князей и воевод в свой шатер.

— Совет держать,— пояснил он.

Воины-схимники стрелой помчались в разные стороны.

Через полчаса все князья и воеводы были в сборе. Великий князь сидел посередине шатра, а кругом него все военачальники. Рядом с ним — Владимир Андреевич, против — оба Олгердовича с своим черномазым, усатым и носатым спутником, в стороне, у выхода — Пересвет и Ослябя, как две черные кариатиды.

Великий князь перекрестился, а за ним замахало руками все собрание.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — начал Димитрий.

— Аминь! — был общий отклик.

— От воеводы от Семена сына Меликова пришли вести: нечестивый Мамай стоит обонпол Дону, на Кузьминой-Гати, что к Красной-Мечи, и ждет окаянного Олега рязанского и Ягелла литовского... Сила поганых неисчислима... Воевода Семен с нарочитыми мужи преграждает путь передним ордам...

Димитрий остановился и глянул кругом, как бы желая почерпнуть мужества у воевод и перевести дух. Грудь его, высоко подымаясь, колыхала золотой наперсный крест. В палатке было тихо, несмотря на то что кругом, над всем ополчением, стоял гул и смешанный рокот.

— Братия! — продолжал Димитрий дрогнувшим голосом.— Приспе година... Что советуете, да учиним?.. Переходить ли на ту сторону Дона? Ждать ли на сей стороне?

Он замолчал, тяжело и ускоренно дыша. Все молчали, сопя и дыша усиленно.

— Идти или стоять? — повторил великий князь.

— Стоять, княже господине,— послышался один робкий голос.

— Подобает остаться на сей стороне Дона,— заговорил другой, смелее.

— Правда: враг неисчислим, и татаровя, и рязанцы, и литва,— подкреплял третий.

— Истинно: покинем за собой реку, ино трудно будет назад идти... ненадобет переходить...

— Овва! — раздался вдруг странный голос, точно из трубы.

Все оглянулись. Это тот усатый и черномазый, что сидел рядом с Олгердовичами, издал такой странный звук. Димитрий посмотрел на него вопросительно. Олгердовичи лукаво улыбались.

— Я, Митро Боброк [18], волынянин, совет даю такий тоби, пане великий князю, и всем панам князем и воеводам: ити на тот бок и битись с погаными, бо хто сам бьеть, того не бьють, а хто сам не бьеть, того бьють...

Эта неожиданная, сказанная никому не известным пришлецом и таким странным языком речь произвела сильное впечатление. Все сидели ошеломленные, Пересвет и Ослябя, видимо, любовались незнакомцем.

— Пан Боброк истину говорит, господин княже,— поддержал незнакомца Олгердович, Андрей,— коли ты хощешь крепкого бою, вели ныне же перевозитись за Дон, дабы ни у кого и в мыслях не было возвращаться вспять... Пускай всяк из нас без хитрости бьетца, пусть не думает о спасении, а с часу на час себе смерти ждет... Тогда мы одолеем поганых...

— Добре! Добре, князю Олгердовичу! — отозвался таинственный Боброк.

— И я реку: добре! — сказал и другой Олгердович, Димитрий.— А что, сказывают, у поганых силы велики, так что на сие смотреть! Не в силе Бог, в правде! — Как бы в подтверждение этих слов о том, что и Бог и сила — в правде, в палатку вошел старый чернец, весь запыленный, видимо с дороги, и, осенив себя крестным знамением, низко всем поклонился.

— Мир вам! — сказал он.— Преподобный Сергий, игумен смиренные обители святые Троицы, прислал

тебе, великому князю, и всем соратникам твоим свое пастырское благословение и грамоту.

Все встали с мест. Черный посланец достал из кожаной сумы маленький свиток и подал его великому князю. Дрожащими руками развернул князь свиток, нагнулся к нему, пробежал глазами, и лицо его осветилось радостью.

— Благодарю тебя, Господи! — воскликнул он, поднимая руки.— Святой отец вторицею благословляет меня на брань... Знамение сие великое! За нас помощь всемогущего Бога и Пресвятые Богородицы!.. «Дерзай, чадо!» — глаголет преподобный... Воскликнем и мы с псалмопевцем: «Си на колесницех и си на конех, мы же во имя Господа восстахом и исправихомся!»... Восстанем же, братие! Честная смерть уне есть злого живота: уне бо было не ити противу безбожных, не чем пришед до сих мест и ничто же сотворив, возвращатися вспять...

— Добре! Добре! — прогудел таинственный Боброк.

В этот момент в палатку вошло новое лицо. Пришедший был, видимо, с дороги. Это был мужчина уже немолодой, с сильно хваченною проседью бородою и ясными серыми глазами на шибко загорелом лице. Доспехи его были покрыты рубцами и запекшейся кровью...

— Брате Семене! С какими вестями? — тревожно воскликнул князь Димитрий.

— С добрыми для хороброго! — отвечал прибывший.

— Что нечестивый Мамай?

— Все силы темные, силы всех властей и князей своих ведет на нас Мамай... Уже он на Гусином-Броду... Едина токмо ночь промежду нашими и его полками... Вооружайся, княже! Заутра нападут на нас поганые... Уже слышно ржание коней их...

— Добре! Добре! — снова прогудел голос Боброка.— Комони ржуть за Сулою, гремит слава по Дону, великий князь Димитрий вступает в злат стремен... Идемо на поганых!

Все с изумлением посмотрели на говорившего; но никто не возражал... Только великий князь возвел очи горе и перекрестился...

— Быть посему... Да будет воля твоя, Боже всемогущий!..

VIII. НОЧЬ НАКАНУНЕ БИТВЫ. ПРЕДСКАЗАНИЕ БОБРОКА

Кто же был этот таинственный Боброк, слово которого, можно сказать, решило судьбу русской земли, двинуло нерешительного Димитрия и его рати за русский рубикон?

Летописи говорят, что он был «волынец», выходец из южной Руси, которая во время татарского ига порвала все связи с северной, московской, тверской, владимирской, суздальской и всей прочей, подтатаренной. Прикрывшись Днепром и восточными степями, этими естественными преградами, от страшных поработителей северной Руси, южная — киевская, волынская и подольская Русь медленно воскресала после первого батыевского погрома, распускалась и зацветала новыми цветами, как потоптанная копытами трава. В ней все оставалось прежнее, как было еще при киевских князьях, при Игоре и Святославе, при Ольге и Ярославе-«законнике», при Владимире — «красном солнышке» и Владимире Мономахе: не было только князей, а были и прежние Бояны, которые свои «вещие персты на живые струны возлагали» и «славу» не князем, а своим удалым богатырям «рокотали», и удалые богатыри вроде «Ивася Кожемяки» — древнего «Яна-Усмошевця» и Добрыни Никитича...

К таким южнорусским богатырям принадлежал и Митро Боброк-волынянин. Он любил свою певучую и цветущую сторонку, любил ее песни, ее «красные девы — дивчата», знал наизусть старую богатырскую думу «Слово о полку Игореве...».

В то время самую окраину южной Руси составляла Червонная Русь, могучая отчина князей Романа и Даниила галицких, по своей столице Галичу так прозванных, страна, не потоптанная копытами татарских коней, забиравшая под свою руку и Литву, которая плакалась на Романа: «Романе! Романе! не добром живеши — литвою ореши...»

В этой-то сторонке, на Волыни да в Червонной Руси, вырастал Митро Боброк, а когда вырос, то вольною птицею летал и по возрождавшейся Киевщине, и по Литве, и по степям левобережного Поднеприя, задираючи с такими же, как он сам, вольными сынами «казаками» поганую татарву, что пробовала иногда от Дона и Волги пробраться саранчою в ожи-

шую и расцветавшую цветами и людьми южную Русь — «мати Украину».

Называл себя Митро Боброк почему-то «козаком», как называли себя и другие подобные ему молодцы. А что значило слово «козак», он и сам не знал, да и никто этого не ведал: «Так люде дражнят козаками, козаки и пошли гулять по свету...»

И говорил Боброк как-то особенно, кажись бы и по-русски, и слова больше русские, знакомые, так выговор какой-то чудной, новгородский, да и того чуднее: «хлеб» у него выходит «хлиб», «человек» — «чоловик», «конь» — как-то уж совсем чудно — не то «кинь», не то «кунь», не то «куинь». А иное такое соврет словцо, что и не уразумеешь его: «год» у него «рок», «сапоги» — «чоботы», собака лает — у него она «брешет», и «врет» у него «брешет», и бояр да господ у него нет, а все «паны»: так чудной язык, косноязычие некое, казалось русским и особенно московским людям... «Маленько сшиблись языком хохлатые люди», — говорили они с сожалением.

Вот из таких-то «хохлатых людей» был и Боброк. Пришел он из своей земли, из «хохлатой», в Литву, служил и у Кейстута и Олгердовичей; а как услыхал, что русские люди подымаются на поганых, то не утерпел и он, просил Олгердовичей взять его с собою! А Олгердовичи уважали его, как отца родного, уж очень был сведущий человек в ратном деле и «ведун» великий: знал все, что прежде было; знает и то, что будет. И по «птичьему-то граю» он узнает будущее, и по «чоху», и по «встрече»; слышит, как и земля говорит, разумеет и то, что трава шепчет, лист на дереве выговаривает...

Несказанно дивился его «ведовству» и великий князь, которого «хохлатый человек» сразу расположил в свою пользу и своим открытым, умным лицом, и своими смелыми, мудрыми речами, особенно же когда Димитрий узнал, что Боброк бывал и в Киеве, и маливался печерским угодникам, лобызал их святые мощи. Только эта странная коса у Боброка, этот длинный «хохол» приводил великого князя в смущение.

— Ишь ты! — дивился великий князь вместе с дружиною. — У нас на голове гуменце простригают, а у них вон что, хохол еще оставляют.

— И усы нарочитые! — дивились прочие русичи.

Но Боброк объяснил великому князю, что и предки его, князья великие киевские, носили «хохлы», только

они называются в киевской земле «чубами». Уверял этот чудной Боброк, что и хоробрый Святослав князь носил «чуб», и Игорь князь, и Олег вещий...

— Да откуду ты все сие ведаешь, брате Димитре? — еще более дивился великий князь.

И Боброк объяснил, что когда он маливался в киевских пещерах и живал в них подолгу, так читал там «Летописца», руки самого преподобного Нестора «книжного», и знает, «откуду пошла есть русская земля», и что в ней было, и какие князи княжили, и какие знамения на небеси бывали...

Одним словом, Боброк сразу очаровал всех. Еще была в нем одна особенность, которая пришлась по душе всем: это его веселость, живость характера при внешней, казалось бы, суровости и насупленности; но насупленность происходила просто от расположения бровей и крутизны лба и надглазных костей. Боброк умел пошутить и рассмешить, и под его шуткой как-то сглаживалось, смягчалось и расплывалось все, даже самое страшное... Как ни торжественен был момент, когда Боброк соединился с ополчением великого князя и когда решено было перевозиться через Дон, как ни тревожно все были настроены, Боброк и тут казался беззаботным и веселым; мало того, он шутил, снуя на своем рыжем жеребце по берегу Дона и указывая, где удобнее наводить мосты, где пускаться вброд, и, как бы в подтверждение легкости этого подвига, перекинул на ту сторону Дона свою шапку и тут же бросился в воду, стоя, а не сидя на седле, и через несколько секунд был уже там и махал оттуда своей барашковой шапкой с красным верхом.

Увидя «хохлатого дьявола» на той стороне, все тотчас же стали переходить Дон то вброд, то по наскоро сколоченным плотам, и раньше полуночи русские рати были уже за Доном и расположились на ночлег.

За полночь, когда великий князь, оберегаемый Пересветом и Ослябею, еще не спал, а молился, стоя на коленях и с трепетом помышляя о завтрашнем дне, как бы силясь поклонами и слезами разорвать страшную пелену будущего, повисшую между этою ночью и предстоящим днем, в шатер вошел кто-то тихонько и остановился у входа. Димитрий вздрогнул, но тотчас узнал Боброка и успокоился.

— Се ты, брате Димитрие? — спросил он неожиданного гостя.

— Я був колись, княже,— был ответ.

— Почто пришел еси, брате?

— Та по казацкому дилу, княже... Хочешь, я покажу тоби таки прикметы, що тоби знати буде, що станется завтра,— отвечал Боброк таинственно.

— Прикметы, сказываешь, брате? Какие оные прикметы? — удивился князь.

— Та так-таки прикметы казацьки, княже... У нас есть таки прикметы...

Димитрий задумался. Ему тотчас же пришло в голову, не греховное ли это дело, не бесовское ли искушение... Ему припомнился и Саул царь у Аэндорской волшебницы[19], и Олег князь у кудесника... Но в то же время брало сильное искушение заглянуть за эту страшную пелену, приподнять ее, взглянуть в очи неведомому будущему...

— А не греховно ли сие, брате Димитрие? — нерешительно спросил он.

— Ни, княже, не гриховне... мы с святыми хрестами,— успокаивал его Боброк,— помолимось...

После некоторого раздумья Димитрий решился. Они сели на коней и, не говоря никому ни слова, как будто бы ехали осмотреть сторожевые посты, выехали из обоза, стараясь не звякнуть ни стременем, ни доспехами, не топнуть копытами коней.

Перед ними расстилалось окутанное ночною мглою, широкое, ровное, казалось, бесконечное поле, сходившееся с темным, зловеще смотревшим на них своими очами-звездами небом. Ни вправо, ни влево не видно было ничего, кроме темной дали и неба, и не слышно было ни звука; все спало, и небо, и земля, и это бесконечное поле. Только иногда по темно-голубой выси золотистою ниткою пробегала падающая звезда и исчезала в пространстве. При виде падающей звезды Димитрий всякий раз крестился... Ему казалось, что через эти очи на него кто-то глядит... «Души умерших прародителей глядят оттуду... Может, и княгиня не спит и глядит на сие небо, звездами, аки бисером, измечтанное...» Ему пришли на память пророческие слова преподобного Сергия: «Господь Бог будет тебе помощник и заступник... Он победит и низложит супостаты и прославит тя...» Вспомнилась и вчерашняя благословенная грамота Сергия: «Дерзай, чадо!..»

Долго они ехали молча. Мертвая тишина, казалось, давила более и более. Чувствовалась какая-то ото-

рванность от всего живого, так томительно было это молчание природы.

— Мне страшно,— невольно прошептал Димитрий.

— Не бойся, княже... Се Куликово поле,— тихо сказал Боброк,— куликив десь до-Гаспида, сто копанок...

Он остановился. Остановился и великий князь.

— А ну, княже, повернись до татарской стороны и слухай,— еще тише сказал Боброк.

Князь вперил очи перед собою, во мрак, где должны были быть татары, и напряженно слушал, так напряженно, что слышал, как под кольчугою тукало его сердце... И он услыхал... В ночной тишине, действительно, слышалось в той, татарской стороне, как звучали трубы, стучало и звенело глухо оружие, раздавались неясные голоса... Справа слышны были завывания волков, их грызня, протяжный лай... С левой стороны тоже говорила ночная мгла: кричали неведомые птицы, клектали орлы...

— Що чуешь? — спросил Боброк.

— Страх и гроза,— трепетно отвечал Димитрий.

— Теперь,— сказал Боброк,— повернись, княже, на руський полк.

Оба поворотили коней и стали лицом к Дону. Опять стали прислушиваться. У Димитрия еще более колотилось сердце, он только его и слышал...

— Что чуешь? — снова спросил Боброк.

— Ничего не слышу,— отвечал великий князь,— тишина великая... вижу токмо якобы от множества огней зарево...

Боброк немного помолчал. Еще раз повернулся на седле, поглядел на все четыре стороны, как бы нюхая воздух или ища движения ветра, снова послушал. Князь тревожно ждал...

— Господине княже! — торжественно сказал, наконец, Боброк.— Благодари Бога, и пречистую Богородицю, и великого чудотворца Петра, и всих печерських угодникив: огни — то доброе знамение тоби... Призывай Бога на помочь и молись ему часто, не оскудивай вироюдо Его, и до пречистой Богородици, и до пастыря вашего московьского и молебника, великого чудотворца Петра, и до наших печерських угодников... Се добри прикметы... А в мине есть еще одна прикмета...

Боброк сошел с коня, лег на землю и припал к ней правым ухом. Он долго лежал так и к чему-то, ему одному слышному, прислушивался.

Страшно опять стало великому князю в этой тишине... Ему вспомнилась старая сказка про богатыря Добрыню Никитича, как он бродил в поле незнаеме, отыскивая Змея Горынчища, и приникал ухом к сырой земле:

Припадал Добрынюшка ко сырой земле,
Услыхал тут посвист по-змеиному,
Услыхал он покрик по-звериному...

Боброк встал с земли, снова припал на траву, приложил ухо к земле и слушал.

Димитрий ждал. Тревога росла в нем от этой неизвестности, от мертвой тишины... «Молчит Боброк — знать, дурное слышит...»

Боброк встал и казался тревожен. Он, видимо, не смел взглянуть в глаза Димитрию и стоял понуро, мрачно.

— Ну что, брате Димитре? — с боязнью спросил князь.

Молчит Боброк, на лице его смута и печаль. Великий князь опять спрашивает. Боброк продолжает упорно молчать. Великий князь умоляет его Господом Богом...

Боброк горестно замотал головой и закрыл лицо ладонями...

Ужас напал на великого князя...

— Димитре, брат мой! Прорцы мне, поведай... у меня сердце зело болит, все изныло...

Боброк отнял руки от лица и решительно тряхнул головой, чтобы отрясти слезы, которые текли по его загорелым щекам...

— Господине княже! — сказал он глухо. — Тоби одному повидаю, а ты никому не кажи о моих прикметах... Одна на велику радость тоби, друга — на велику скорбь и тугу...

Князь приложил руку к сердцу и поднял глаза к темному небу.

— Сказывай все, — чуть слышно прошептал он.

— Я, — продолжал Боброк так же тихо, — припадав до земли ухом и чув, як земля горько и страшно плакала: с одного боку, сдается, будто плаче женщина-мати о дитях своих и голосить по-татарьски и розливаеться слезами; с другого боку, чулось мени, будьто дивиця плачет свирельным голосом, у великий скорби и печали. Не мало я битв перебув, много прикмет

испытав, и знаю я их: уповай, княже, на милость божию, ты одолеешь татар; но твоего христьяньского воинства паде под горстием меча многое множество.

Заплакал великий князь, услыхав это, и припал к гриве своего борзого коня, как бы чуя сердцем, что и верный конь разделит его горе... Умный конь тихо заржал, поворачивая к князю свою красивую голову...

Но князь недолго плакал. Он выпрямился на седле и перекрестился.

— Как угодно Господу, тако и да будет! Кто воли Его противник?

Он обнял Боброка и поцеловал. «Отныне будеши мне друг и советник»,— сказал он с чувством.

— Господине княже! — еще раз сказал Боброк.— Не подобае тоби казати о сих прикметах никому в полках, дабы у многих не уныло сердце... Призывай Господа Бога на помочь и Пречисту Богородицю, и великого чудотворця Петра, и всех святых и печерських угодников... Оружися животворящим хрестом Исусовым, то Его оружие непобедиме.

И они повернули в свой стан. Ночь казалась еще непрогляднее, еще страшнее: за ними во мраке протяжно выли волки, так что волосы становились дыбом. Казалось,— говорит современное повествование о «Мамаевом побоище», — будто волки со всего света сбежались... А с другой стороны каркали вороны, звонко клектали орлы, поджидая зорю... Страшна, ужасна была эта ночь...

Димитрий, воротившись в свой шатер, так и не уснул до утра: ему казалось, что он все слышит то плач женщины-матери о детях, татарское причитанье, то свирельный голос плачущей девицы, то вой волков, то грай воронов и клекот орлов...

А там начинала заниматься заря, наступал роковой день, 8 сентября 1380 года...

IX. ПОЛЧИЩА СХОДЯТСЯ

Туманное вставало роковое утро. Тревожно, но без шума вставало войско, зная, к чему оно готовится. Будили друг друга молча, без слов, или шепотом, встряхивая с себя росу, крестились на восток, молча прощались друг с дружкой, кланялись в ноги, припадая головами к росистой земле и траве, и троекратно

целовались, как с покойником. У кого была чистая рубаха, тот надевал ее, как подобает перед смертию или перед причастием. Молча седлали коней, надевали доспехи, вынимали из-за пазух родную землицу, что по щепоти завернута была в тряпицы и повешена на крестах, крестились, целовали эту землицу, кто суздальскую, кто московскую, кто тверскую, кто муромскую, карачаровскую, верейскую, коломенскую, серпуховскую...

Не видать солнышка родного... Может, и не увидать уж больше, туманом затянуто, что мертвым саваном повито... Так и ходит туман клубами по полю, может, по кладбищу...

Тихо передавали друг другу ратные о дивном чуде некоем: как в эту самую ночь, «глубоце нощи, бысть некоему мужу знамение, видение дивное...». Одни говорили, что муж сей, сподобившийся видения, был Фома Кацюгей, другие утверждали, что Фома Хаберцыев. Муж сей был некогда разбойником, но, приде в покаяние, раскаялся во всем, рассказал все попу на духу, и поп наложил на него «питимью» омыть свои злодеяния своею собственною кровью за правое дело. А Кацюгей этот был богатырь, необычайной силищи человек и отваги несказанной. Вот этого-то Кацюгея, передавали друг дружке ратные, и поставили на ночь в сторожевое место от татар. Вот стоит он ночью, «глубоце нощи», и видит: от восточной страны выступает на воздесех неведомо какое полчище, а полагать надо, татарское. Выступает оно так страховито, ужаса исполненно, и ужасеся муж тот, рекомый Кацюгей, и нача крестное знамение творити. И се абие видит, оле чюда дивнаго! видит со полудня два вьюноша идуща, на воздесех же, и доспехами вооружены гораздо. И начаша оные вьюноши поражать оное татарское полчище, мечами сечи, так и секут, как капусту. И слышит оный Кацюгей, как оные вьюноши запрещали оному полчищу идти на русскую землю, аркучи тако: «Кто-де вам велел погублять наше вотечество? Нам-де его даровал Господь!» И многих оные вьюноши посекли мечами, а других разогнали и распудили, словно овец. Наутро оный Кацюгей и поведал о том видении великому князю, а великий князь и уразуме, яко оные вьюноши суть страстотерпцы Борис и Глеб, ево прародители, иже вчну молятся ко Господу о родной Руси и помогали некогда, также

на воздусех, князю Александру Невскому в битве ево со свеями.

Так рассказывал всем старый благочестивый ратник, что всегда восставал против «крепкого слова» и в особенности против буеслова Микитки-серпуховитина, любившего «загинать» и кстати и некстати.

Солнце взошло, но туман, нависший над полем непроницаемою пеленою, заслонял его и все окрестные предметы. Не было видно и татар, которые, может быть, оставаясь на прежнем месте, поджидали к себе Олега рязанского и Ягелла литовского, чтоб ударить разом на «забрыкавших рабов, безрогих телят московских и овец» и загнать их всех в овчарню, а может быть, прикрываясь туманом, они двигались на несчастное русское воинство и вот-вот заалалакают и закричат, как верблюды... Надо готовиться ко всему, надо готовить груди свои для стрел и копий, а шеи для арканов поганых, надо строиться в ряды, в «суймы» и в «лавы»... И русские строились так же тихо, как тихо они вставали перед тем и молились.

Великий князь, выйдя из палатки в сопровождении Владимира Андреевича, Боброка, Пересвета и Осляби, приказал «искреннему» своему, Михайле Бренку, везти черное великокняжеское знамя вперед, на первый «суйм», на передний, и сам последовал за ним, осматривая в тумане и строившиеся по полю полки. По временам, казалось, по нем пробегала дрожь от этого тумана, и он глядел в ту сторону, где должно было показаться или солнце, или страшное лицо неприятеля; но ни солнца, ни татар не было видно. Лицо Димитрия было бледнее обыкновенного и необыкновенно задумчиво. Владимир Андреевич тревожно на него посматривал и тоже что-то раздумывал. Пересвет и Ослябя были молчаливы и спокойны как всегда, следуя, как две черные тени, за великим князем. Один Боброк был оживлен и сообщал свои замечания то великому князю, то присоединившимся к великокняжеской свите Олгердовичам.

В самой середине поля, вместе с передним «суймом», осеняемый великокняжеским стягом, поставлен был белозерский и московский полк с своими князьями, Федором и сыном его Иваном Белозерскими, тут же должен был находиться и сам Димитрий с любимцем своим Бренком и «извольниками» Пересветом и Ослябею. На правом крыле становился предводи-

телем, или «воеводою правой руки», Владимир Андреевич с Боброком и Олгердовичами. Воеводою левой руки оставался Лев Брянский.

— Готовы ли есте, милая братья? — ласково обратился великий князь к Олгердовичам, когда они с Владимиром Андреевичем и Боброком, построив в «суймы» правое крыло ополчения, подъехали к середине его для окончательных уговоров насчет предстоящего боя.— Все ли в порядке живет? На своем ли месте ваши трубчане и брянчане хоробрыи?

— На своем месте, господине княже,— отвечали в один голос Олгердовичи, осаживая коней.

— Наши-те трубчане и брянчане,— улыбаясь проговорил Боброк,— сведоми кмети, под шеломами повити, концем копия вскормлены, луки их натянуты, тули отворени, яруги им знаеми, сами скачут, як сирии вовцы, ищущи соби чти, а князю славы...

Великий князь, мало начитанный, не понял поэтического намека Боброка, думая, что это он говорит от себя...

— Так-так, друже,— заметил он при этом,— токмо не мне подобает та слава, а Господу Богу и пречистой Богородице...

Олгердовичи переглянулись с Боброком.

— Из писни, княже, слова не выкинешь,— пояснил этот последний и прибавил: — а у нас, княже, в киевской и волынской земли, так поводиться, коли вовк ускочет у овчарню и задерет овцю, так его не зараз бьют, а тогда як нажреться и не сможе скоро бигати... Так повели, княже, нам у засад зайти и там вовка ждать...

К Боброку присоединился и Владимир Андреевич, и Олгердовичи.

— Мы на черную годину пригодимся,— пояснил Владимир.

Великий князь согласился, и Владимир с Боброком и Олгердовичами повели свое крыло вверх по Дону, где темнелся лесок: они засели в засаду.

Никто, а тем менее неприятель, не мог видеть это боковое движение правого крыла русских.

Наконец, когда все ополчение расположилось в боевой порядок, великий князь стал объезжать ряды в сопровождении Пересвета и Осляби. Издали виднелась его массивная фигура, одетая в богатую княжескую «подволоку» с золотою гривною на шее и блестящим

крестом на груди. Конь его, поводя ушами, нетерпеливо грыз серебряные удила и фыркал, видя такое множество своей братии — коней и как бы гордясь тем, кто сидел на нем так величаво, хотя и с холодом, с тайною тоскою и боязнью в сердце.

— Отцы и братья! — то и дело возглашал он, останавливаясь перед рядами.— Ради Господа, подвизайтесь за веру христианскую и за святые церкви... Умрите бодро за божье дело: смерть не в смерть, а в живот вечный.

— Постоим, княже, положим головы свои за веру! — гудело по рядам.— Утрем пота за русскую землю! Костьми ляжем, ино тылу не покажем!

— Я буду на челе вашем, отцы и братия! — возглашал Димитрий.— Я поведу вас на нечестивых... С нами Бог и преподобный Сергий: он дал мне сих оружников своих, Пересвета и Ослябю...

Все с удивлением смотрели на эти мужественные молодые лица, прикрытые схимою, на их борзых боевых коней, на доспехи воинские, выглядывавшие изпод черных саванов с мертвыми головами, и на длинные, как жерди, копья.

А они ехали за князем молча, опустив глаза на гривы коней...

— Матушка! Помолись за нас окаянных! — с каким-то стоном прошептал Пересвет.

Ослябя услыхал этот знакомый голос-стон своего брата и глянул на него...

— Она молится,— прошептал он,— ныне мы увидим ее.

И память, острая и жгучая память переносит их в прошлое, в далекую татарскую сторону... Они, молодые ратники, вместе с суздальцами, и нижегородцами, и московскими полками князя Волынского добывают крепкую, злую Казань... Вот уже сколько дней громят они таранами эти несокрушимые стены, а с этих проклятых стен что-то страшное гремит на них громом и огнем, словно сам Перун с неба посыпает их каменным градом, а с боков напирают на них своими ревущими верблюдами проклятые татары... Со стен татары и татарки поливают их кипящею смолою, льют на головы горячую воду, посыпают истомившиеся ряды горящею серою... Жупел и ад кругом... Страшная жажда мучит, палит их внутренности... А надо добыть Казань, особенно им, братьям, юным воинам Пересве-

ту и Ослябе: там у них, за этими грозными стенами, скрыто то, что им, Пересвету и Ослябе, дороже и роднее всего на свете, там их мать родная вот уже более десяти лет томится в полону... Как живую они видят ее перед собою, да она и должна быть жива, такая красивая, высокая, ласковая, с соколиными бровями... Их родной город горит, а татары, запалившие его, грабят дома, хватают женщин, убивают мужчин... Вот и отец их лежит в крови, с рассеченною дамасским клинком надвое головою, а мать их татары уводят... Она оглядывается на труп мужа, на детей, на Пересвета и Ослябю, что припали к мертвому телу отца и не видят, как уводят их мать... Она вскрикивает страшным голосом... Пересвет и Ослябя бегут за ней; но татарин, перекинув полонянку через седло, скрывается в толпе своих будущих соплеменников... И вот они идут добывать свою мать из полону...

Теперь перед ними встает, как мертвец из могилы, воспоминание этого страшного дня. Сыплется на них каменный град с казанских стен. Ревут верблюды, высоко подымая свои длинные, змеиные шеи. Татары теснят русских, и князь их, Гассан, стоя на стене, поднимает к небу руки в знак торжества. Но он не видит, что по приставленной к стене лестнице, за углом башни два русских воина уже взобрались на стену. Это Пересвет и Ослябя, они ищут мать свою. За ними взбираются другие. Пересвет и Ослябя по карнизу обходят башню и уже вынули свои мечи-кладенцы, чтобы разить Гассана и молнией вместе с прочими упасть на внутренний город... Но в этот момент из башни выбегает татарка... С отчаянным воплем «Гассан! Гассан!» она бросается к своему князю... «Гассан! Гассан!..» Но меч Осляби поражает ее в спину у самой лопатки... Она вскрикивает и оборачивается к нему... В этот момент Пересвет колет ее в грудь... Страшный, нечеловеческий крик вырывается из груди пораженной татарки: «Пересвет! Ослябя! Детушки мои! Милые! Соколики! Вы мать свою убили!..»

Это была их мать, татарская княгиня, любимая жена Гассана, мать, которую они искали... холодеющею рукою она указала им крест на своей груди, она осталась христианкою...

Несчастные юноши не видели, что делалось кругом них, внизу, на стенах, в городе... Они припали к умирающей матери, рвали на себе волосы, а она истекала

кровью из двух страшных ран, нанесенных ей руками ее любимцев, «соколиков» близнецов, которых она с такими муками родила когда-то и вскормила своею молодою грудью... «Пересветик мой, Ослябюшка, детки мои... какие же вы хороши выросли»,— шептала она, умирая на руках Пересвета...

А там — город уже взят, в воротах развевается русский стяг... Побежденный Гассан просит пощады, предлагает выкуп...

— А отец... родитель ваш? — спрашивает умирающая.

— Преставися, матушка, убит.

— А я... я жила, окаянная... Бог так судил...

— Бог, матушка, не мы это... А бусурманена ты?

— Нет... не бусурманена... свою веру держала... вот хрест святой...

— Благослови нас, матушка, помолись за нас.

— Благослови вас Бог, детушки... в своей вере помираю...

И померла, так на казанской стене и померла... А Пересвет и Ослябя, похоронив ее с честию, пошли к Сергию, все поведали ему и навеки остались в обители замаливать свой великий, хотя невольный грех...

А великий князь все следовал вдоль рядов, воодушевляя воинов своею речью, хотя у самого на душе был холод. Пересвет и Ослябя молча сопровождали его, погруженные в тяжелые думы и переживая прошлое. Когда Димитрий воротился на свое место, на первый «суйм», Бренок, передав стяг Пересвету и сойдя с коня, поклонялся великому князю до земли.

— Ты что, друже Михайло? — удивленно спросил князь.

— Челом бью тебе, господине княже, от всея русской земли,— отвечал великокняжеский знаменосец,— соблюди живот твой, княже.

— Живот мой, друже, в руце Божии, я же повинен блюсти вся, яже есть Богова.

— Молю тебя, господине княже,— продолжал Бренок,— не стой на первом суйме, но стани позади: паче тысящ воинов стоит нам живот твой.

Подъехали и другие князья и воеводы и молили Димитрия о том же.

— Ей-ей, княже, сохрани живот твой, укройся плечами нашими,— упрашивал храбрый Мелик.

— Братия! — возражал Димитрий.— Како же дерзну я глаголати тогда: братья! Потягнем вси, как один человек! Сам же буду хоронитися... Аз же не словом токмо, но паче делом хощу быти первым посреде вас, и яз первый пред всеми готов есми положить голову за христиан!

— Ей-ей, господине княже! — настаивал Мелик.— Падет пастырь, и разбегутся овцы.

Тогда Бренок, высокий и здоровенный мужичинище, массивнее самого Димитрия, снял с себя шелом и охабень и поднес к великому князю.

— Возьми, княже, мой охабень и мой шелом,— сказал он,— прикрой им величие и ясность твою: гривну блистающу и подволоку златом исткану, да не познают тебя погании посреде нас, како солнце красное на небе...

И воеводы приступили с этою же просьбою. Тогда великий князь, переменившись одеждою с Бренком и вкусив благословенного хлебца, повелел ратям двинуться. Он ехал впереди под самым великокняжеским стягом и читал молитву, прикладывая руку ко кресту, что висел у него на груди...

Воздух колыхнулся ветерком, и туман погнало на ту сторону Непрядвы. Показалось солнце и осветило все поле, по которому двигались русские рати.

Скоро они увидели, что и татарские полчища, как черные тучи, двигались на них с противоположного холма.

— Потягнем, братия, за веру! Приспе година! Потягнем! — воскликнул великий князь.

Завыли рога с той и другой стороны и огласили все поле: это враждебные полчища приветствовали одно другое боевыми кликами, это люди глянули в очи смерти и хотели криками отогнать ее, как страшное привидение.

X. ЕДИНОБОРСТВО ПЕРЕСВЕТА С ТЕЛЕБЕЕМ

Мамаевы толпища двинулись рядами, словно облака тучами. Тучи эти были черны, потому что татары одеты были в одежды темного цвета. Страшнее всего казались их копья: это был целый лес копейных древков, и притом различной длины; в первом ряду копья были обыкновенной длины; во втором ряду были уже

длиннее, в третьем еще длиннее. Это делалось для того, чтоб задние ряды клали свои копья на плечи передним, и таким образом первый ряд превращался в какой-то страшный частокол, в котором только и виделись острия копий, разом поражавших противников во всю ширь колонны... Так устроены были и знаменитые фаланги македонские, нечто вроде страшных чудовищ с бесчисленным множеством смертоносных ног.

Толпища двигались медленно, сверкая на солнце остриями копий и кольчугами и производя странный, неуловимый шум движения многих тысяч тел и неясный топот еще большего количества ног. Поле все более и более заполнялось этими черными, безмолвно двигавшимися массами и ползло, надвигалось медленно, зловеще...

Вот уже можно различать лица тех, которые подвигались все ближе и ближе, можно крикнуть, и они услышат... Черная туча нависала все грознее и грознее.

Двигались навстречу им и русские рати, так же медленно и молча, как и татары, тучею; но эта туча не была черна, как татарская. Солнце светило ей почти в лицо; притом русские воины были не в темных одеяниях, а большею частью в светлых и цветных, а кто познатнее и богаче, так в шелковых и золотых платьях, в блестящих шеломах с позолоченными еловцами, на конях с наборною сбруею, с светлыми знаменами, кроме черного великокняжеского, иногда с очень яркими, от которых пестрело поле, словно от весенних цветов. Ярко горели на солнце золотое сребро и сталь; золото на образах цветных знамен, на стяжных золоченых яблоках и кистях, на золотых гривнах князей, на золотых грудных крестах; серебро — на серебряной сбруе коней, на чумбурах и стременах; сталь — на кольчугах и на остриях копий, на шеломах и на острых еловцах...

Но ярче всего горели щиты русских, большие, красные, горевшие как жар... Недаром «лисицы брехали на эти червленые щиты»... А теперь на них играет яркое солнце и, отражая свой «червленый» блеск, слепит им глаза татар...

Тихий ветерок колышет и поскрипывает знаменами и образами... Сдается, что это крестный ход на водосвятие, вот-вот запоют попы...

Великому князю разом почудилось, что он в Москве, что вот-вот загудят колокола... Он глянул на черное

знамя... Нет, не то, не Москва... Он вспомнил, что забыл что-то в Москве, а что забыл, забыл ли сделать или сказать, или так что забыл очень необходимое ему, очень теперь дорогое, он не знал, не мог припомнить... княгиню? Нет, он знал, что покидает ее... Нет, что-то другое он забыл, более важное... Хоть бы вспомнить, так нет, не вспоминается... Вот так и винтит в мозгу, в сердце, а не припоминается...

Он глянул вдаль, чтоб отвязаться от этой назойливой мысли... На возвышении, за татарскими полчищами, он ясно увидал кого-то... Он узнал его, да, это он, тот ужасный человек, которого он трепетал, которому униженно кланялся, у которого выпрашивал себе ярлыка, Москвы, власти... Он, этот страшный человек, стоит на холме и через голову своего коня глядит на него, на Димитрия... Он узнает его, узнает, что он переряжен в одежды Бренка, из страху переоделся... И краска стыда от сердца бьет к лицу, разливается по щекам, жарко становится, в пот бросает...

Что же он забыл в Москве?.. Не помнит, не помнит!.. Та же мысль скребла его душу и тогда, когда он ездил в первый раз в Орду кланяться хану и Мамаю, и тогда он все вспоминал, что что-то оставил в Москве, забыл, не захватил с собой... Что же это было?.. И теперь оно скребет его...

Ни друга Володимира нет близко, ни Боброка, без них еще тошнее...

Вдруг от татарской конницы отделяется что-то большое, черное и движется по полю, все ближе и ближе... это всадник, это ясно видно... В руке у него длинное копье, и он бросает его в воздух и ловит на лету... Это татарин, росту невиданного, широта в плечах богатырская... Опять мечет копье в воздух и ловит... Многим вспомнилась «былина» про «Сокольника-пахвальщика»:

А пахвальщик едет на добром коне,
Потешается утехою молодецкою:
Мечет остро копье в поднебесье,
Говорит сам, похваляется:
«Как легко вертеть мне острыим копьем,
Так же будет мне вертеть Ильею-Муромцем...»

Но вот татарин подъехал уже почти на полет стрелы... Конь под ним так и роет землю, и конь богатырский, и сам чудищем богатырем смотрит... Слышно,

кричит что-то, вызывает на бой кого-либо — силой померяться... Да, точно, кричит зычно...

— Гой-гайда! Хто са мном силы мерил! Хады суды! Гайда!

Татарин кричит и потрясает копьем вызывающе, задорно...

— Богатырь Телебей, богатырь Телебей! — прошел ропот по русским рядам.

— Супротив нево никто не устоит...

— Он быка за рога через себя перекидывает...

— У нево копье в полтретья пуда и больши тово...

А богатырь все задорнее и задорнее гаркал: «Гайда! Хады суды! Хады капьем! Гайда!..»

Димитрий глянул на Бренка, стоявшего около него и державшего стяг, глянул по рядам, все, казалось, прятали глаза в землю... Великому князю страшно стало... «Голиаф, Голиаф, зело страшен,— промелькнуло у него в уме.— А я не Давид... Нет у меня Давида...»

— Хады, москов! Хады суды. Ля иллях иль Аллах! — кричал богатырь.— Ала-ла-ла!

Пересвет глянул на брата. Глаза их встретились. И в тех и в других сверкнул огонь...

— Я иду,— глухо сказал первый.

— Нет, я,— так же глухо возразил второй.

— Нет, я первый...

— Я первый проколол е е в спину...

— А я в грудь... я убил ее...

— Я начал...

— А я кончил... от моей руки умерла о н а... мне и подобает идти...

Ослябя уступил и молча поднял глаза к небу. Пересвет стал перед великим князем и поклонился.

— Я, господине княже, иду на него,— сказал он.

У Димитрия не то радостью, не то жалостью сверкнули глаза.

— Бог благословит тебя... Бог подкрепит,— торопливо заговорил он.

Пересвет опять поклонился.

С краю первого «суйма» стоял священник с крестом. Пересвет подъехал к нему, сошел с коня и стал на колени...

— Благослови, отче,— сказал он,— положити голову за русскую землю и за домы божии.

Священник благословил его. Пересвет поцеловал крест и руку священника.

— Дерзаешь, сыне, противу Телебея? — спросил священник.

— Дерзаю, отче... повелением игумена Сергия...

Пересвет снова сел на коня, надвинул схиму через еловец шелома почти на глаза и выступил вперед.

— Отцы и братья! — громким, зычным голосом крикнул он так, что слышно было во всех рядах, — простите мя грешного. Брате Ослябя! Моли за меня Бога! Отче Сергие, помози ми молитвою твоею!

— Хады суды! Хады, гайда, го! — продолжал выть богатырь.

Сколько дикого и ужасающего было во всей фигуре, постати и вое татарина-Голиафа, столько же страшного и фантастического представлял вид скачущего Пересвета с копьем наперевес и с треплющеюся в воздухе черною схимою на голове и на плечах.

Вихрем несся Пересвет на своего ужасного противника, а иной, силясь творить молитву, невольно повторял в уме докучливый стих из «былины»:

Поразъехались они на добрых конях,
Да назад съезжалися, сразилися,
Приударили во копья мурзамецкии,
Били друг друга не жалеючи,
Не жалеючи да по белым грудям —
Копья в чивьях поломалися,
Друг друга они не ранили —
Только оба из седел попадали...

И эти съехались, остановились, смерили друг друга глазами, крикнули каждый по-своему и разъехались на целые полверсты вдоль рядов своих ополчений... Постояли с секунду, крикнули и понеслись друг на дружку... Страшно было видеть эти две несущиеся одна на другую силы с огромными копьями наперевес...

И вот они столкнулись... Великий князь невольно зажмурил глаза и перекрестился...

Бег был так стремителен и столкновение так велико, что оба копья пробили насквозь груди противников и на пол-аршина вышли сзади, пониже лопаток... Стон прошел по рядам и того, и другого полчища...

Кони сразившихся пали окарач; летописец говорит даже, что «кони падоша мертви», а противники лежали на земле безжизненные, и из груди Пересвета торчало длинное и толстое, как жердь, древко копья Телебеева,

а из груди Телебея торчало древко копья Пересветова... Поменялись!..

Первый акт страшной битвы кончился, ничья не взяла: взяла смерть двух самых могучих бойцов...

Ржущие кони богатырей, чувствуя свою осиротелость, поскакали каждый к своему войску.

Ослябя схимой утирал слезы, тихо катившиеся по бледным щекам: и он остался сиротой... только надолго ли?..

XI. ПОБОИЩЕ. МАМАЙ ОДОЛЕВАЕТ

Падение Пересвета и Телебея было сигналом к битве стоявших друг против друга полчищ.

По всем рядам затрубили трубы, ударили в варганы.

— Боже, помоги нам! — раскатами грома прошел крик по рядам русских ратей.

— Алла! Алла! Алла! — страшно, потрясающе взвыла другая сторона.

И полчища сшиблись. Казалось, что дрогнули земля, и воздух, и небо. С первых же моментов послышались среди бранных кликов отчаянные, раздирающие душу вопли, крики и стоны раненых, проколотых копьями, рассеченных мечами. Татарские копья, целыми частоколами упиравшиеся в русские ряды, пронизывали насквозь эти ряды и клали их на месте, как скошенную траву. За скошенным рядом стоял новый ряд, и его прободали и повергали на землю кровавые жерди врагов. Эти кровавые жерди двигались все вперед, сметая целые ряды, и татарские ноги уже шагали по трупам первых рядов, переднего «суйма», и скользили по горячей крови. Раненых, не доколотых до смерти, давили ногами или рассекали саблями, когда иной, не добитый и не задавленный еще, хватался за татарские ноги и в бессильном отчаянии грыз их зубами, как собака грызет распоровшего ей живот кабана. Другой раненый подымался с земли и, приняв в объятия не ждавшего его врага, как сноп падал с ним на землю, в лужу крови, и давил его коленками, грыз его лицо, стараясь разгрызть шею. Это была не стрелометательная битва, не огнестрельная, а ужасная рукопашка, даже не сеча, негде размахнуть руку, поднять меч... Сплошь и рядом среди этой страшной рукопаш-

ки катались по земле кровавые клубки, это противники, иногда несколько татар и несколько русских, которые сплелись руками и ногами и, катаясь клубком по земле, душат один другого, рвут за волосы, стараются вывихнуть у врага руку, ногу, сломать пальцы или своими пальцами и когтями вырвать у врага глаза, разодрать рот. Иной ногами топтал лицо поверженного на землю противника и с рассеченною другим противником головою падал мертвым на своего врага. Вот один громадный ростом москвитянин, проколотый насквозь татарским копьем, хрипя и изрыгая потоком кровь, сам вдавливает в себя это пронзившее его копье, чтобы по нему добраться до своего врага и задушить его. Другой в безумном исступлении хватает с земли свою собственную, отсеченную татарскою саблею руку и неизвестно зачем сует за пазуху, а сам не человеком рычит от боли и от ярости... Вопли, стоны, треск ломаемых копий, хряст разбиваемых щитов, лязг железа...

А с боков напирала и производила страшное опустошение туча татарской конницы. Сминая под себя целые ряды русских, она топтала их копытами, докалывала копьями. Там лошадиная нога, ступив на голову упавшего ратника, превращала ее в безобразную массу, а другими ногами ломала ребра несчастного, руки, пробивала грудь... Озверели и лошади: они с визгом кусали одна другую, вздыбались на дыбы, били копытами...

Часа два шла эта страшная, небывалая на Руси бойня. Люди задыхались в тесноте свалки, живые умирали, будучи задавлены грудами мертвых, раненые захлебывались и тонули в лужах русской и татарской крови...

Русские, наконец, дрогнули... Дрогнули собственно московские люди, «небывальцы в бранях», как их называет новгородский летописец. Они бросились врассыпную, пустились к Дону... Татары вломились в самую гущину их...

Огромное великокняжеское знамя, черное как ворон, подобно ворону ширило под ветром свои крылья среди целого леса других мелких знамен, среди мелких воробьев. Под этим знаменем татары думали найти великого князя и яростно устремились к этому пункту, все опрокидывая и сминая под ногами в своем стремительном натиске. Они достигли, наконец, этого

знамени и увидели великого князя в его блестящей одежде. Призывая на помощь своей ярости Аллаха, которого они считали таким же глупым и свирепым по глупости, как сами, они всею силою налегли на тот пункт, где надеялись найти его и не нашли. Черное знамя было подбито, грохнуло на татар же, схвачено ими, скомкано, изодрано в клочки и брошено в кровь. Древко от знамени изломано в щепки и также разметано по крови и среди трупов. Под знаменем пал и обезображенный Бренок, которого татары, судя по его блестящей одежде и по княжеской «подволоке», приняли за самого Димитрия...

Где же был Димитрий и что он делал?

Вопрос этот, судя по расколу, возникшему по поводу него в русской исторической литературе, стал одним из тех вопросов, которые Гейне называет «проклятыми».

Почему же он стал «проклятым»? Что обострило его так?

Да все этот ужасный нигилист-историк Костомаров, всему причиной его ядовитое историческое шипение. Тысячу лет вон верили россияне, что был у них некогда доблестный муж Гостомысл, который якобы призвал из-за моря варягов «правити и володети рускою землею, которая велика и обильна, а порядку в ней нет». И вдруг этот исторический змей-горынчище, Костомаров, доказывает, что никакого Гостомысла не было и никаких варягов он не призывал, что все это бабьи бредни, сочиненные впоследствии, как сочинено и самое имя Гостомысл: «гость» и «мыслити», то есть «призывающий гостей». Тысячу лет верили также добрые россияне, что были призваны из-за моря три брата, три варяжских князя, Рюрик, Синеус и Трувор. И эту веру ужасный старец Костомаров разрушил, «ни во что же вмени»: говорит, что и это сказка, совершенно такая же сказка, как и поныне существуют подобные, «о трех братьях», «о двух умных и третьем дураке». Верили россияне, что у них был Сусанин, наслаждались даже музыкой Глинки в «Жизни за царя», где этот Сусанин поет такие прелестные вещи, как «Что гадать о свадьбе — свадьбе не бывать», или «Страха не страшусь», и т. д.; сам ужасный Костомаров страстно любит этого музыкального Сусанина и вдруг все разрушил разом: говорит, что и Сусанина

не было! Мало того: сам этот ужасный человек написал целые томы о Богдане Хмельницком, о его подданстве России, и прочая, и прочая... Теперь Хмельницкому благодарная Россия ставит памятник, а ужасный Костомаров вдруг объявляет, на основании документов, что Хмельницкий был союзником и данником султана! [20]

Точно таким же образом поступил этот историк Тамерлан и с Димитрием Донским. Все россияне с детства научились верить, что Димитрий Иванович, великий князь московский, получил наименование «Донского» за свои личные доблести на Дону, на Куликовом поле, в битве с Мамаем. Не тут-то было! Неумолимый историк Тамерлан разбил и эту иллюзию: он доказывал, что во время Куликовской битвы Димитрий лежал, спрятавшись под ветвями срубленного дерева...

Правда, за все эти продерзости покойный Погодин [21] обещал Костомарову «ребра переломать», но умер, не исполнив своего обещания...

Вот вследствие чего вопрос о поведении великого князя Димитрия на Куликовом поле стал вопросом «проклятым».

Однако, по преклонности ли своих лет, или чая приближения того момента, когда великий историк должен стать лицом к лицу с теми историческими деятелями, о которых он при жизни поведал миру то или иное слово, маститый старец, во втором издании своих монографий, вышедших в нынешнем году, старается смягчить свой приговор о Димитрии Донском.

Почтенный и даровитый, хотя такой же, как Тацит, сердитый, историк говорит, что известие о трусости якобы Димитрия взято из известной древней «Повести о Мамаевом побоище».

«Повесть эта,— продолжает Костомаров,— заключает в себе множество явных выдумок, анахронизмов, равным образом и преданий, образовавшихся в народном воображении о Куликовской битве уже позже. Эта повесть вообще в своем составе никак не может считаться достоверным источником... В этой повести рассказывается, будто Димитрий еще перед битвою надел свою княжескую «подволоку» (мантию) на своего любимца Михаила Бренка, сам же в одежде простого воина замешался в толпе, а впоследствии, когда

Бренок в великокняжеской одежде был убит и битва кончилась, Димитрий был найден лежащим в дубраве под срубленным деревом, покрытый его ветвями, едва дышащий, но без ран. Такое переряживание могло быть только из трусости, с целью подставить на место себя другого, во избежание опасности, грозившей великому князю, которого черное знамя и особая одежда издали отличали от других: естественно, врагам было всего желательнее убить его, чтобы лишить войско главного предводителя. Если принимать это сказание, то надобно будет допустить, что Димитрий переря-дился в простого воина под предлогом биться с татарами зауряд с другими, а на самом деле для того, чтобы скрыться от битвы в лес. Судя по поведению Димитрия во время случившегося позже нашествия татар на Москву, можно было бы допустить вероятие такого рассказа; но следует обратить внимание на то, что в той же повести говорится, что русские гнали татар до реки Мечи и начали искать великого князя, уже возвратившись с погони. Искали его долго, наконец, нашли лежащим под ветвями срубленного дерева. От места побоища до реки Мечи верст тридцать с лишком; неужели, пока русские гнали татар до Мечи и возвращались оттуда (вероятно, возвращались они медленно, вследствие усталости и обремененные добычей), Димитрий, не будучи раненным, все это время пролежал под «срубленным деревом»? Очевидная нелепость!» (Историч. монограф. и исслед. Н. Костомарова, т. III. Издание второе. 1880, с. 39—41).

Так говорит историк. Историк нынче и не может говорить, ему на все подай «документы», факты: нет документов, он и ни утверждать, ни отрицать не может и ограничится лишь заключением: «Может быть, да, может быть, нет». Так и тут. В одном только сказании говорится, что Димитрия нашли под деревом; другие сказания этого не повторяют, да они и вообще ничего не говорят о том, где был и что делал Димитрий в разгар битвы. Но так как в сказании, где говорится о лежании под «срубленным деревом», историки не все считают верным, то, значит, и известие о лежании под деревом не верно. Им, видите ли, подавай на все документы, да не по одному документу, а по два, по три: им хочется, чтоб все летописи сказали о срубленном дереве. Конечно, это прием хороший. Но зато, за

недостатком «документов», история почти ничего и не знает наверное и сегодня отрицает то, что утверждала вчера, а завтра будет открещиваться от того, что утверждает сегодня. Оттого история и является часто порядочною сплетницею и во всяком случае напоминает собою двух гоголевских дам, «даму просто приятную» и «даму приятную во всех отношениях»[22], которые по поводу того, что на одной материи был узор — «глазки да лапки» — все спорили: одна — «ах, пестро!» — другая — «ах, не пестро!» — «ах, пестро!» — «ах, не пестро!». Так и историки: «ах, лежал под срубленным деревом!» — «ах, не лежал!» — «ах, лежал!» — «ах, не лежал!»...

Совсем иначе относится к этим вопросам «незаконное дитя истории и фантазии», то есть «дитя любви», как называл когда-то Сеньковский «исторический роман» (а говорят, что «дети любви» всегда бывают даровитее и талантливее детей законных, «детей долга» и обязанности, что и понятно). Этот «незаконный сын истории» решает «проклятые вопросы» на основании общих законов жизни, не обходя в то же время и исторических «документов»: если история не дает ему «документов», то, принимая в соображение всю сумму данных об известном лице, об известном событии и эпохе и исходя из требований общих законов жизни, он говорит: хотя документы и ничего не говорят о том, было ли или нет то-то и то-то, но по сумме таких-то и таких-то данных оно должно было быть, и потому было... Если влюбленные были на свидании, то они не только что «вероятно» поцеловались, но поцеловались «непременно»... а тайные поцелуи редко заносятся в «документы»... Так их и отвергать истории?..

Такие-то преимущества находятся на стороне «незаконного сына истории». На его стороне есть и еще одно громадное преимущество перед своею «матушкою», историею: старушка история, по своей дряхлости и слепоте (ее очки — «документы», а эти очки — не всегда бывают у старушки), не может сама рыскать по полям сражений, переноситься из столетия в столетие и видеть все своими глазами; а незаконное чадо ее, «тайный плод любви несчастной», прижитый с фантазиею, видит все сам, живет во все века, был на всех битвах... Он был и на Куликовом поле и все видел сам...

И видел он следующее.

На несчастье Димитрия московского и всего союзного воинства русских князей, татары всею тяжестью обрушились на центр союзного ополчения, а этот центр, «середину» ополчения, и составляли по преимуществу рати великого князя, неумелые москвитяне, «небывальцы в бранях», как их называет летописец. В «середине» же этой находился и сам великий князь. Татары потому именно наперли прежде всего и сильнее всего на «середину», а не на «правую» и не на «левую руку», что видели в этой середине огромный черный великокняжеский стяг; он-то и манил их; он указывал, что там ядро, матка всего русского ополчения, что, убив матку, они легче распудят осиротелых пчел и всех их передавят. Да и притом все, что было блестящего в русских ратях, золотые гривны, богатые кольчуги, лучшие кони, блестящие доспехи, цветные одеяния,— все кучилось около середины, около черного знамени.

Когда пали первые ряды русских, пронизанные копьями, а за ними и на них упали вторые и третьи, когда началась затем рукопашка со всеми ее ужасами, с грызней, вытьем и стонами, когда тут же налетела вихрем татарская конница и стала давить людей и коней, когда сабли крошили москвитян и коломнян с боровитянами и серпуховитянами, как капусту, великий князь, которого испугавшийся конь вынес из этой сечи, почувствовал внезапный холод в теле, и ему опять припомнилось, что он забыл что-то в Москве, такое что-то забыл, что теперь бы ему очень пригодилось; но что, он опять не мог вспомнить... Холод, несмотря на жар солнца и на жар сечи, заставлял дрожать его, а это что-то забытое в Москве сверлило его мозг, мучило душу... «Что ж оно такое! Боже Господи! Что я забыл в Москве!» — стонал в душе несчастный.

А впереди все редело и редело...

Вдруг, как подкошенный колос, упало черное знамя... Димитрий вздрогнул и перекрестился. Он пришел в себя, он понял весь ужас своего положения... Он увидел лица русских! Русские поворотили в тыл и бежали!.. Он ясно видел и испуганные русские лица, и свирепые, торжествующие татарские...

«Алла! Алла! Алла!» — завыли кругом него страшные волки.

«Княже! Княже! Спасайся!»

Димитрий узнал голос Осляби и увидел его, словно во сне... Ослябя, впереди его, неистово махал мечом, отбиваясь от целой толпы нападавших на него... Он сразу перерубал копья, но в щите у него торчало уже их до пяти древков... Он бросил щит и стал снова рубиться... Вонзилось другое, третье...

«Княже! Княже!» — захрипел он и свалился с коня, зацепившись ногою за стремя.

Удары посыпались на Димитрия... Он окончательно опомнился и стал махать мечом направо и налево... Но удары продолжали падать ему на голову, на плечи, на бока... Он изнемогал... только шлем и дорогая кольчуга защищали его голову, тело...

«Забыл, забыл что-то в Москве... прощай, княгиня моя, прощай, Евдокия... Господи!.. Конец мой пришел... Приими дух мой!..»

Но конь, раненный копьем, одыбился, сделал отчаянный скачок и унес обезумевшего князя...

Князь пропал без вести... Русские рати, уничтоженные наполовину, спасались бегством... Куликовская битва была проиграна, Мамай победил...

XII. ЗАСАДА И ПОРАЖЕНИЕ. ДИМИТРИЙ ПОД РАКИТОВЫМ КУСТОМ

Так казалось всем, и татарам, и русским.

Казалось так и тому крылу русского ополчения, которое под начальством Владимира Андреевича, вместе с князьями Олгердовичами и Боброком, еще до начала битвы отошло по течению Дона и засело в засаду, прикрываемое лесом и возвышением.

Оттуда, из-за лесу, русские с трепетом и потом с ужасом следили за ходом битвы. Они видели, как сходились рати и молча измеряли силы друг друга. Они видели, как из татарского полчища выехал богатырь и долго вызывал охотника на единоборство, потрясая в воздухе огромным копьем. Видели, как потом от русских ратей отделилась черная фигура, и узнали в ней Пересвета. С ужасом и горем увидели они дальше, как Пересвет, оставив свое копье в груди великана, с его копьем в своей груди грохнулся на землю.

— Ох, Редедю закололи, и Редедя заколол,— качая головою, горестно проговорил про себя Боброк.

— То не Редедя, а Телебей,— поправил его Владимир Андреевич,— а у нас Пересвета не стало...

Боброк ничего не отвечал.

Видели из засады, как произошла затем общая сшибка и кровавая сеча, как пали первые русские ряды, пронизанные татарскими копьями, как падали, подкашиваемые, как спелая рожь, вторые и третьи, как увеличивались кучи мертвых, как отражалось солнце в разлитой крови...

— Ох, наши падают,— стонал тихо Владимир Андреевич.

А Боброк все молчал, не спуская глаз с битвы.

Видели из засады, как татары, по трупам русских и поражая живых, ринулись к черному знамени, как упало это знамя, и Бренок упал...

— Стяг великокняжеский пал, ох, братцы, православные! — послышались испуганные крики в засаде.

— И князь упал, горе нам!

— Горе! Горе!.. Идем на поганых!

Владимир Андреевич, весь бледный, с сжатыми кулаками и стиснутыми челюстями, схватился за голову...

— Братия! Православные!

— Стой! Стой! — грозно крикнул на него Боброк.

Владимир бросился было на него с мечом, но Боброк осадил его взглядом.

— Димитрий! Что ж это такое! — дрожал князь серпуховский.— Кому пользует наше тут стояние? Кому мы помогать будем?.. Беда приходит!

— Так, княже, беда великая,— тихо отвечал Боброк,— та нам ще не пришла година... Потерпимо ще мало, поки прийде нам час воздати противнику...

— Чего терпеть! Вон наших бьют, что овец.

— Молись Богу да дожидай восьмого часу, буде вам благодать и Христова помочь.

— Осьмой час, Господи! Сжалься над людьми твоими!

Владимир беспомощно опустился на траву, ломая руки...

— Ох, горе, горе! — слышалось по рядам засады.— Вон князь Федор Белозерский пал, ево конь скачет сиротою по полю...

— И сын ево Иван пал же, все отца собою заслонял...

— А вон-вон, братцы, ох! На Волуй Окатьича, на воеводу наперли, вон он разит их... их! И ево закололи!.. Вон с седла, родной, падает...

— А вон и Семен Мелика обошли поганые...

— И Микул Васильича, ох, братцы!

— Ослябя-то, Ослябя, гляди, разит! Ах! В щите копий-то что! Ах, братцы! Бросил щит...

— Упал! Упал! Ослябя!

— Ох, беда головам нашим! Последний час пришел...

— Бегут наши... Володычица!.. На угон пошли. Ох! О-о!

Многие ратники со слезами бросились к Владимиру Андреевичу и к Боброку.

— Веди нас, княже! Что нам ждать!

— Наши братья все головы положили, а мы ждем!

— Нам сором перед людьми! Умрем с братьями!

Заволновались брянчане с трубчанами, которых привели Олгердовичи.

— Ведите нас, княжичи! Али мы пришли на сором свой смотреть!

— Лепо нам умерети, нечем сором такой!

Олгердовичи с трудом остановили их.

— Братия! — сказал им Андрей Олгердович.— Уже бо нам мертвых не крестити, а о себе помыслим скоро... Пождите осьмого часу...

— Какой там осьмой!

— Скоро будет осьмой, братцы: когда татары притомятся,— пояснил другой Олгердович, Димитрий,— коли у поганых поту не станет, тогда и мы утрем пота...

Но воины никого не слушались. Они готовы уже были сами броситься из засады на одолевающих врагов. Тогда выступил Боброк с обнаженной саблей. Он был страшен, глаза его горели.

— Вы знаете Боброка? — обратился он к брянчанам.

— Знаем,— робко отвечал один старый воин, на которого смотрел Боброк.

— А знаете, что Боброк учинил с Литвою под Смоленском? — продолжал этот последний.

— Знаем... потопил целую рать...

— А чем потопил?

— Единым словом,— был робкий ответ.

Боброка считали «ведуном», который повелевает и водою, и ветрами, и громами. Все его боялись, и все ему верили.

— Эх, дурни вы дити, русичи! — сказал Боброк.— Погодить малость, ще есть ис ким вам утишатися, пити и веселитися...

Но вот настал и «осьмой час» — по тогдашнему счету часов не наш осьмой, а тогдашний: это был час третий пополудни...

Татары ушли далеко вперед, гоня русские рати и добивая недобитых... Русские падали от утомления, утомились не менее того и татары-победители... Засада очутилась в тылу татарского войска, в упоении победы потерявшего всякий строй... Это было уже не войско, а стадо...

Боброк выступил вперед.

— Княже Володимире,и вы, князи Ондрий и Димитрий, и вы, русины русичи, братия и други! — громко и торжественно возгласил он.— Час приспе, и година пришла... Идемо! И да поможет нам благодать Святого Духа!..

Засада выступила из-за лесу. С неистовым гиком и криком бросились свежие русские силы на разбившееся на беспорядочные кучи и истомившееся татарское ополчение: летели соколы, по выражению летописца, на стадо журавлиное... И Бог, и природа, казалось, помогали им: южный теплый ветер дул им в тыл, унося к татарам грозные клики точно из земли выросшего ополчения...

Татары оглянулись и остолбенели. Им казалось, что небо послало на них свои небесные силы и что настал их последний час. Строиться вновь в боевой порядок было некогда, да и невозможно: все спуталось и перемешалось; конница рассеялась в погоне или сбилась в кучи с пехотою; одни части стали на место других; отряды не знали, где их военачальники; военачальники отбились от своих отрядов; сами отряды спутались, перебились, растерялись... Растерялось все... Одни переменяли тыл на лицо, другие бежали дальше...

Русские не давали им опомниться. Боброк с своими страшными усами и косой казался дьяволом.

— Го-го-го-го! — стонали свежие русские силы.— Бей поганых!

— Руби! Коли! Не оставляй на семены!

— За падшую братию! За кровь хрестьянскую!

Стон прошел по татарскому ополчению, стон ужаса, отчаяния... Слышалось только имя Аллаха...

— Ала-ла-ла-ла-ла! Ала-ла-ла-ла! — лопотали тысячи языков, тысячи пересохших от утомления глоток.

Но не помогал Аллах. На мертвые кучи русских валились новые мертвецы, убийцы прежних... татарские трупы укрывали трупы русские; но покрывавших было более, чем покрытых...

Татары шатались как пьяные и падали. Их тут же кололи, рассекали саблями и топтали. Бежавшие запрудили ручьи, и скоро вода их превратилась в кровь...

— Братцы! Пить нечего, вода кровава,— говорили русские воины, искавшие, где бы им промочить пересохшее горло.

— Пей! Они нашу пили...

— Их кровь погана...

— Это вам за Пьяну-реку, проклятые! — кричал Микитка-серпуховитин, загоняя в воду целый загон обессилевших и обезумевших татар.

— Это вам за село Карачарово! — ревел Малюта-карачаровец, бывший под Казанью.— Это за Доброгневу! За Гориславу! За Верхуславу!

— Око за око, зуб за зуб,— пояснил благочестивый воин, что преследовал Микитку-серпуховитина за «крепкие, неудобь сказуемые словеса»,— в Писании сказано — оже убьет муж мужа...

— Али татарин муж! — огрызается Микитка.— Татарин собака, кобылий внук!

Другие части татарского ополчения, преимущественно конница, ударились в бегство в другую сторону, правее, к Красной-Мече. За ними погнался Боброк с отборными «комонниками». Поражаемые ужасом и русскими копьями, татары падали с коней и погибали под копытами и ударами победителя. Другие поднимали руки к небу, прося пощады...

— Они не пощадили великого князя, не щади и их! — охрипшим голосом кричал Владимир Андреевич.

— За князя, братцы: за хрестьянску, за княжецку душу собачьи губи! — кричали рассвирепевшие ратные.— У них нету души, пар один собачий.

— За княжецкой живот самово Мамая давай! Десять Мамаев!

— Князь жив,— сказал Боброк,— не поминайте князя.

— Жив ли воистину?— обрадовался Володимир серпуховский.

— Жив... побачишь, княже... а теперь пийте, братци, кроваве пиво...

Мамай, увидав с возвышения гибель своих полчищ, затрепетал и, подняв к небу руки, воскликнул, говорят летописцы: «Расул Аллах! Велик Бог христианский!..»

Он так был потрясен неожиданной кровавой развязкой, что не догадался послать в дело свежие, находившиеся около него рати, а сам поворотил своего коня и бежал, окруженный сонмом своих князей, мурз и баскаков...

Поражение татарского войска было полное. Недобитое, не утонувшее в речке, оно в беспорядке бежало, покинув свой обоз, возы, шатры, добычу...

— Недостало, братцы, кровавого вина,— говорил Боброк, возвращаясь от Красной-Мечи по полю, усеянному трупами и умирающими в муках.

— Довольно, досыта упились и так, брате Димитрие,— грустно заметил Владимир Андреевич,— а великого князя все нет...

. . . .

Где же был великий князь?

Когда Ослябя, выпустив из рук щит с вонзившимися в него несколькими копьями, был сам пробит тремя ударами и свалился с коня, великий князь, поражаемый ударами, потерял сознание... Из глаз его все исчезло, небо, люди, кровь... в ушах только раздавался звон, словно все колокола московские зазвонили... Не это ли он забыл в Москве? Не звон ли?..

Он потерял память...

Когда он очнулся, то увидел над собою голубое небо и зеленые ветви ракитового куста... Он лежал около этого куста, а коня около него не было... Он слышал какой-то особенный шум битвы, не такой, какой был раньше... Что с ним? Он чувствовал боль во всех членах, в голове, в руках... Он видел, что доспехи его покрыты рубцами и кровью... Но чья это кровь? Его собственная?..

Он ясно услыхал голос Боброка и голоса русских...

— За падшую братью! За кровь хрестьянскую!

— За великого князя!

Сердце его болезненно сжалось. Неужели он убит?.. Так вот что забыл он в Москве, живот свой, свое великокняжение, свою княгиню милую, все забыл, все пропало...

Он приподнялся было на колени, хотел встать и не мог. Внутри у него горело, губы запеклись, горло засохло: он чувствовал пожирающую жажду... А где взять воды?.. Дон далеко, а он двинуться не мог... Да и Дон ли это? Не сонное ли видение все это? И вся жизнь не была ли сон... Нет, не сон, он видит это бездонное голубое небо, которое раскинулось над ним, и над всею землею, и над Москвою, там, далеко-далеко, где он забыл что-то... Нет, не сон, он видит, как качаются над ним зеленые ветви ракитового куста и как шелестит ими ветерок... Так не на кладбище ли уж он? Не из могилы ли все это видит? Да, раз когда-то, утомленный охотой, он заехал к Сергию и лег там на чьей-то могиле под деревом, и так же видел голубое небо, и так же думал о смерти... Не сон, не сон это; он чувствует, как огонь палит его внутренности, как болят все его члены... И глухой шум битвы он слышит, все глуше, глуше — верно, дальше уходят, дальше гонят... А кто кого гонит? Русские татар? Татары русских? Да что ему до этого! Как все это, что делают люди и что он делал, как все это жалко, и мелко, и греховно... И для чего он добивался великокняжения, для чего кланялся хану и Мамаю? Суета сует! И что в том, что он одолел тверского князя, что ему теперь из этого!.. А сколько погибло душ христианских из-за того, что ему нужно было это великокняжение!..

Смолк шум битвы... Все ушло куда-то, тихо, мертво кругом... Забыли, бросили его, бросили своего великого князя... Да что он им! Что ему самому великокняжение, престол, подволока!.. Суета сует!.. Вон и Бренок был в княжеской подволоке и гривне, а пал, лежит мертв... Все суета...

Нет, не мертво все кругом: слышны стоны, это такие же, как и он, умирающие... А отчего он не стонет?..

И великий князь глухо застонал... Что это? На кусте сидела ворона, и стон испугал ее, она слетела

с куста... Чего она тут сидела?.. А! Она сидела затем, чтобы его, великого князя, клевать... Великокняжеское тело в снедь вороне, хуже того, червям... Что-то такое сделали с великим князем, повергли его на землю, в прах, под ракитов куст, и он уже не великий князь, а снедь вранам...

И конь жалобно проржал... по ком? По себе, он тоже ранен... слабо проржал... И конь, и великий князь, конь и всадник, добыча птицам... Кости одни останутся на поле Куликове... А он еще думал, что его кости будут покоиться в Архангельском соборе, рядом с костьми прародителей... А они были великие князи, а что от них осталось! Кости сухие, истлевшею великокняжескою подволокою прикрытые... Вон и кости Бренка будут тлеть под подволокою... Все тлен, все суета... А только схимы на главах Пересвета и Осляби не тлен, то не тлен...

Опять ворона села на куст, заглядывает ему в глаза... Что глядишь! Лети в поле, там много таких, что уже не смотрят глазами... А не все ли равно! Только бы залить этот пекельный огонь в груди, в душе, во всем теле... А не огнь ли это вечный? Не он ли палит?..

Пчела жужжит над головою... Чего она жужжит?.. Цветов она ищет, как он тоже всю жизнь искал... А для кого? Вот для вороны этой... И пчела не для себя ищет, и у нее отнимут и мед и воск... И будет из воску свеча, и из меду канун поминальный... и будут поминать великого князя Димитрия, на брани убиенного... а княгиня будет плакать и горько причитать...

Он почувствовал, как что-то горячее, не то кровь, не то слеза, выкатилось из глаз и по щеке сбежало под забрало...

Муха жужжит, кровь и смерть чует... На шелом села, с шелома на лицо... лицо сморщилось судорожно, муха перелетела на грудь, на руку... крови ищет... а кровь уже засохла...

О Господи! Сжалься... хоть бы капля воды... палит внутренности... за что же!.. А за неправды, за зло, за князя тверского, за его гибель, за Олега Рязанского... Господи! Все бы княжество за ковш воды!..

Он опять сделал усилие и со стоном поднялся... Ворона замахала крыльями и улетела...

Он глянул на поле... и се поле полно тел человеческих!.. И кожа на них, плоть, духа же не бе... Волосы,

казалось, встали под шеломом на голове... Одни телеса — а где дух!.. Душе живый! Где ты? Куда отлетел!

Вон лошадь на трех ногах... треплется грива... четвертая нога поджата... Это его конь, великокняжеский... Одна нога пробита копьем, и копье в ноге торчит... а конь щиплет кровавую траву... бедный!.. А о своем князе забыл... все о нем забыли...

Князь, держась за кусты и деревья, двинулся в дубраву, к Дону... Там он найдет воду... Он остановился, чтобы передохнуть, и оглянулся назад... Конь, подпрыгивая на трех ногах, продолжал щипать траву...

«Забыл меня добрый конь... забыл... все забыли меня...»

Как бы в ответ на его мысль, конь жалобно заржал и стал глядеть по полю, ища кого-то, должно быть хозяина, а скорее конюха...

«Нет, не забыл конь... люди забыли... Где ж они все?.. Неужели всех в полон угнали татары и оставили его только с этими — с мертвецами?..»

У него потемнело в глазах... Он схватился за ветви какого-то срубленного дерева и упал головой под срубленный ствол...

XIII. ОСМОТР ПОЛЯ БИТВЫ

Когда великий князь вторично пришел в себя, он заметил над собою то же голубое небо и ту же зелень ветвей, только ветви казались гуще, и солнце склонилось уже к западу.

Он видел, как над ним с ветки на ветку прыгала белка, поглядывая на него своими живыми глазками, а когда он пошевелился и тяжело вздохнул, белка ускакала на другое дерево.

Димитрию показалось, что он чувствует себя легче, хотя жажда по-прежнему палила внутренности и тело все ныло от боли.

Ему явственнее стало припоминаться все, что было еще так недавно и в то же время казалось так давно случившимся. Но теперь он слышал гул огромного множества голосов и ржание коней.

Скоро голоса послышались совсем недалеко, и радостный трепет пробежал по всему его телу. Он узнал

голоса Боброка, князя Владимира Андреевича, Олгердовичей...

— Должно, его конь занес куда, а куда, Бог ведает,— узнал Димитрий голос своего друга Володимира,— спаси его, Господи...

— Коня нашли и князя найдемо,— уверенно прозвучал голос Боброка.

— Среди убиенных не обретают великого князя,— сказал кто-то, голос которого был, казалось, незнаком Димитрию,— я раненых напутствовал святыми дарами и вопрошал о князе: никто не слыхал о нем.

— Я здесь! — силился крикнуть великий князь, но только глухо простонал.

— Кто-то стонет...

— Где? Кто?

— Сейчас простонало, а где, не ведаю.

— Ищите, други, Бога для...

Стон повторился... ближе, явственнее...

— Стонет! Стонет!

— Близко, под деревом точно...

— Друже мой! Брате! — совсем явственно послышалось.

— Княже! Господине! Где ты?

— О, Владычица!

— Здесь я...

— Тут, тут он... ох! Ищите!..

— Та ось вин, пид ялиною... найшли! Живый!

Зоркие глаза Боброка первые увидели лежавшего под ветвями срубленной ели великого князя. Все с радостным криком бросились к нему, свернули ель в сторону...

— Княже! Друже искренний! — припал перед ним на колени Володимир.— Что с тобой! Ох! Боже!

— Умираю я, друже,— слабо отвечал великий князь.

Все припали к нему, стоя на коленях.

— Нет... Бог милостив... Теперь только жить...

— Мед-вино пить та татарву бить,— весело добавил Боброк.

— Ты победил, княже,— торопливо говорил Владимир,— мы все поле загатили трупом... нечестивый Мамай бежал, гоним гневом божиим...

— Я победил,— громко сказал великий князь, приподнятый друзьями,— кого я победил! Меня победила сень смертная...

— Победа преславная, каковой не бывало, как и свет стоит...

— Ох! Промочите гортань мою... умираю... огнь жжет мою душу,— с усилием проговорил поддерживаемый раненый князь.

— Я напою тебя кровию Христовою, господине княже, и дам ти воду живу.

Это проговорил тот голос, что упоминал о напутствовании раненых. То был священник, благословлявший Пересвета на единоборство с Телебеем и теперь стоявший около князя с сосудом и дарами, которыми он причащал все время раненых, ходя по полю и отыскивая великого князя.

Князь радостно взглянул на священника.

— Отче! Сподоби мя, грешного, тела и крови Спасителя нашего...

Князь приподнялся. Он набожно крестился, повторяя за священником причастную молитву...

— Причащается раб божий Димитрий...

— Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите,— проговорили присутствующие.

Боброк между тем снял висевшие у него за плечами на перевязи фляжку и рог в серебряной оправе, налил в рог из фляжки то, что в ней оставалось, и поднес к губам великого князя.

— Пий, господине княже,— сказал он,— се теплота...

— Что сие, брате Димитрие?— спросил князь.

— Вода жива... оковита... аква витэ римски... после причастна теплота...

— Вино? Церковное?

— Угорськое, добре... запридух...

Князь с жадностью припал губами к краям рога...

— Пий усе, пий и здрав будеши,— поясняет Боброк.

Димитрий жадно пил. По мере того как все выше поднимался острый конец рога, бледное лицо князя более и более играло краскою, глаза оживлялись...

Рог опорожнен дочиста... Боброк даже крякнул от удовольствия...

— От так добре буде...

— Добре, добре, брате,— оживился Димитрий,— во мне силы прибыло, слышу сие...

— Та прибуло ж, як у Илья Муромца с ковша браги...

Действительно, вино и радостные вести так оживили великого князя, что он сам мог идти к своему шатру, раскинутому наскоро, хотя Владимир Андреевич и поддерживал его. Он видел, что все поле, от леса, где он лежал, до самой Непрядвы, усеяно телами человеческими, и по этому полю ходят люди, нагибаются к земле, рассматривают убитых и раненых, переворачивают, приподымают их и то перетаскивают с места на место, то сваливают одного мертвеца на другого, то отделяют одного убитого от другого, если случалось, что русский и татарин, в предсмертной борьбе, удушая один другого или перегрызая противнику горло, умирали или друг на дружке, русский на татарине, татарин на русском, или обнявшись в этой борьбе и сплетаясь руками и ногами. Казалось, люди ходили по полю и искали ягод, цветов или грибов, нагибаясь и всматриваясь в то, что у них под ногами. Но это не было искание ягод и грибов: иной, увидя что-либо ужасное, горестно ломал руки или отчаянно всплескивал ими, другой — с яростью прикалывал копье к земле, или рубил саблей ненавистный труп врага, или домучивал его, если он еще обнаруживал признаки жизни, стонал, ползал, безнадежно поднимал руки к небу, прося смерти у неба и, редко, пощады у победителя. Иной обдирал, раздевал или разувал богато одетого мертвеца татарина, снимал с него золотые и серебряные украшения и обвешивался ими сам, или ловил на аркан, либо голыми руками оставшуюся без хозяина либо раненую лошадь, снимал с нее седло и дорогую сбрую, или загонял к себе в обоз. Зрелище представляло вид ярмарки и жатвы в одно и то же время, но только жнецы нагибались не над спелыми колосьями ржи и пшеницы, а над мертвецами. Слышался говор, и стон, и ржание коней. Раздавались и отдельные причитанья, плач по родным, друзьям и товарищам ратного дела... И на всем этом играли золотисто-красноватые лучи заходящего солнца, южный ветерок просушивал траву и землю, обрызганную кровью, и превращал в черный, застывший кисель кровавые лужи и ложбины, наполненные кровью...

Как ни было потрясающе зрелище, которое открылось глазам великого князя, однако теперь оно не произвело на него того безнадежно-подавляющего и мрачно-отчаянного впечатления, какое произвело несколько часов назад, когда он, после падения с лоша-

ди, в первый раз очнулся под ракитовым кустом и когда над ним сидела ворона, ожидавшая поживы, а с мертвого поля доносились только стоны раненых да тоскующее ржание его осиротелого коня. Теперь это мертвое поле казалось ему живым, цветущим, радостным: оно представлялось теперь роскошным вертоградом, полным цветов и плодов, за которыми прятались и лужи крови, и страшные лица мертвецов и которые радостно окрашивались лучами солнца, солнца, светившего в его душе, в нем во всем, солнца, каждый луч которого радостно дрожал в нем, согревал его и неустанно шептал: «Ты победиши, ты победиши, ты победиши!..»

И только теперь он отчетливо вспомнил, что, казалось ему, он забыл в Москве: теперь то, что казалось ему забытым в Москве и утраченным, что гвоздем винтило его мозг и сердце, от чего в душу проникал холод и от чего не мог он отмахиваться всею своею волею и памятью, теперь это забытое в Москве, утраченное, само воротилось, нашлось вот на этом мертвом поле, среди тысяч мертвецов, пришло с воздуха, с неба, принеслось к нему на крыльях южного ветерка... Это забытое было — покой духа, бодрость, уверенность, безбоязненность, чувство жизни и сладость надежды, которые вновь забили в нем ключом, полились по всем жилам горячею кровью... «Али это и точно вода жива, что дал мне Боброк? Или же се есть пречистое тело Христово и кровь его живая?» — думалось ему... А еще так недавно все это было забыто, потеряно, задавлено глухим и слепым страхом неведомого грядущего часа.

В палатке его раздели и осмотрели, нет ли ран на теле. Но ран не оказалось. Видно было лишь несколько синяков; на некоторых частях тела чувствовались ушибы, но не тяжкие: ясно, что хороший панцирь и кольчуга, а равно шелом хорошо защищали великого князя.

Он хотел в подробностях знать, как совершена была победа, когда, казалось, все было потеряно, и Владимир Андреевич вместе с Боброком рассказали ему, как они выжидали в засаде роковой минуты, как боялись за исход дела, как рвались на защиту братий, которые гибли на их глазах тысячами, и как Боброк удерживал их, оттягивая роковую минуту. Боброк при этом отпускал шутки, говорил, что все ратные люди,

бывшие в засаде, слишком торопились попасть на кровавый пир, когда ни вино, ни брага еще не были готовы, и что если б его не послушались, то вышло бы по пословице: «попереду батька на шибеницю».

Великий князь плакал от радости и обнимал всех, а на Боброка стал смотреть как на высшее существо и посланника Божия.

Он расспрашивал потом, радость помешала ему вспомнить об этом раньше, кто из князей и воевод пал в бою, и пришел в ужас, когда перед ним произнесли ряд имен, которыми гордилась русская земля и для которых ничего больше не осталось, кроме «вечной памяти» и «со святыми упокоения...».

— А князь Белозерский Федор?—спрашивал великий князь.

— Паде с честию,—отвечали ему.

— А князь Иван княж сын Федоров Белозерской?

— Пригвожден копием к телу отца своего.

— Ох!.. А князь Торуской Мстислав?

— Посечен во главу.

— А князь Иван Михайлович?

— Прободен пятью копиями.

— А Семенович князь Федор?

— На куски иссечен.

— А Монастырев князь Димитрий?

— Конскими копытами задавлен.

— А хоробрый воевода Семен Мелик?

— Прободен в лице... копье вышло в затылок, умре.

Когда по полю разнеслась весть, что великий князь найден и что он жив и здоров, то к великокняжеской ставке стали собираться все оставшиеся в живых князья и воеводы и другие именитые люди. Димитрий, наскоро потрапезовав и подкрепившись вином, вышел из палатки. Следов утомления или болезни на лице как и не бывало. Напротив, он казался еще здоровее, выше, дороднее и осанистее...

— Ишь ты, диво какое!—шептались промеж себя воеводы.—Словно бы великий князь вырос...

— И точно вырос... и глаза-те словно бы не его...

— Не его и есть... орел орлом... эко диво!

Великий князь милостиво похвалял и благодарил воевод «за службу». Воеводы кланялись. Димитрий расспрашивал, кого из воевод не стало и как кто живот свой положил.

— Волуй Окатьича, господине княже, не стало,— отвечал один воевода.

— Царство ему небесное и вечный спокой... А како умре?

— Черево поганые ножом распороли, и черево вышло.

— А Ондрея Шубы токмо тулово нашли, господине, княже, а головы не нашли.

— А воевода Серкиз Ондрей в крови утоп, захлебнулся.

Каждый из воевод сообщал какую-нибудь страшную и печальную новость.

— А Семен Михайлович воевода загрызен,— слышалось с одной стороны.

— А Микула Васильич под конем задохся.

— Тимофей Васильич арканом удушен.

— А от Шатнева Тараса токмо голова в шеломе найдена, а тулово не знать где...

Великому князю подвели нового коня, и он сел на него. В это время позади столпившихся у Димитриевой ставки воевод послышалось жалобное ржание. Князь узнал голос своего старого боевого товарища и оглянулся: ковыляя на трех ногах, к ставке приближался любимый белый конь Димитрия, на котором он выехал из Москвы и сегодня выехал на битву. Бедное животное узнало своего господина и радостно и жалостливо ржало. Князь подъехал к нему, погладил гриву, потрепал ласково морду, причем тот конь, на котором теперь сидел Димитрий, стал грызть раненого, но был остановлен плеткой.

— Ишь ты тварь бессловесная, а зависть имеет,— замечали воеводы,— я-де тепериво в чести, под великим князем, аки болярин, а ты смерд...

— И точно болярин, так ушьми и прядет.

Но великий князь велел увезти смерда-коня и перевязать ему рану, а сам, в сопровождении всех военачальников, поехал осматривать кровавое поле.

Теперь только он понял жестокость битвы, разыгравшейся на этом поле, и увидел все ужасы, ее сопровождавшие. Он видел кучи тел, словно недавно сметанные копны, и из-под этих человеческих копен иногда слышались стоны. Ратные люди, по щиколотки в крови, разбирали эти копны, отделяя русских от татар, бросая в новые кучи трупы последних или

вынимая из-под мертвых тел еще не успевших задохнуться или захлебнуться кровью раненых.

В одном месте, там именно, где бились московские рати и где была особенно кровавая сеча и рукопашка, великий князь невольно остановился и всплеснул руками. Он наткнулся на семью князей Белозерских и их сродников: отец и сын и весь их обширный род, весь цвет рода представлял потрясающую мертвую группу... Все они лежали почти рядом: как пришли вместе на кровавый пир, «вместе кровавого вина испиша и вместе полегоша» на вечную постель... Старое и молодое, в богатых доспехах, в цветной и золотной одежде, все это лежало почти обнявшись: кто с копьем в груди, кто с рассеченной головой, кто с распоротым животом... Только сын, князь Иван, казалось, обнимал своего отца, князя Федора... Нет, он не обнимал его теперь — или же обнимал навеки: в пылу сечи сын прикрыл собою тело отца, который был повержен на землю, и сам был пригвожден копьем к тому, кого прикрывал собою и обнимал...

Великий князь заплакал, увидав эту картину, исполненную трагической умилительности...

— Братья! Князи рустии! — воскликнул он горестно. — Аще имаете дерзновение ко Господу, молитесь ныне о нас, дабы и нам некогда быти вместе с вами!

Даже Боброк о чем-то горько задумался... Он вспомнил что-то из своей жизни, вспомнил отца, мать, свой далекий прекрасный край, где когда-то улыбалось молодое счастие, а потом все развеялось, как и счастье Ярославны, по степному ковылю...

Проезжая далее по полю среди мертвых тел, узнавая меж ними знакомых, некогда близких к нему воителей, теперь лежавших на земле с зияющими ранами или с вражьей стрелой в груди, великий князь снова остановился. Среди массы еще не разобранных трупов бросились в глаза своею величавостью два из них, у каждого из них торчало в груди по огромному копью. Князь узнал этих величавых мертвецов: то были Пересвет и противник его, татарский богатырь Телебей. Черная окровавленная схима оттеняла строгое, бледное, мертвое лицо первого. Оно, казалось, глядело на небо и думало глубокую думу... А может, и вправду думало...

Димитрий тоже задумался. Боброк глядел грустно. При виде этого молодого мертвого лица ему невольно вспомнилось другое, молодое женское личико «хотя

юна», что шитым рукавом утирала слезы, катившиеся по милому лицу... Тут же вспомнился и «бебрян рукав», и «Днепр-словутич», и «Каяла-река»...

— Се, братие, наш починальник! — прервал его размышления великий князь, и Боброку стало почему-то неприятно от этих слов, до слов ли теперь! До говоренья ли, когда хочется только думать и думать...— Се он,— продолжал великий князь,— иже провозвести нам победу поражением оного сильного, от него же бы довелось нам испити горькую чашу... Князья и сыны рустии! Поместнии бояре, сильнии воеводи, дети всея русския земли! Тако подобает вам служити, а мне радоватися на столе своем, на великом княжении, и награждати вас...

«И зачем он это говорит! — думалось Боброку,— до того ли теперь!.. Вам служить, а мне радоваться на столе своем, награждать... Эх! Московськи примхи».

Он нетерпеливо повернулся на седле... У него не такие слова звучали в сердце, не «служба» и «награда», а что-то другое... «Щекот славий успе»... «говор галичь убуди»... «звенить слава в Новегороде»... «слава», а не «награда»... У Боброка была поэтическая душа, сердце, взлелеянное жарким солнцем юга, отзывчивая, творческая мысль...

— Братие! — продолжал великий князь.— Да предаст земли кийждо из вас тело ближнего своего, и да не будут в снедь зверем тела христианские...

«Оце добре»,— подумал Боброк.

А великий князь, оглянув глазами поле и трупы, которых и сосчитать было невозможно, воскликнул:

— Се день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в он!

Оглянувшись на Боброка, он увидел на лице его необычные следы грусти и задумчивости.

— Брате Димитрие! — обратился он к нему.— Воистину ты разумлив еси: неложна сталася твоя примета... Отныне буди присно воеводою...

Боброк поклонился, но ничего не отвечал. На него нашел молчаливый стих... Слова великого князя о «службе» ему и о «наградах» навели его раздумье...

«Ему служити, его боронити, а не землю русскую... От такой! А давно був пид ялиною? Лежав, мов вовк с кисткою в горли... А журавель кистку вызволив

из горла, так теперь журавлеви голову долой... О, московска торбина! Забере колись вона и нас, волынян, и подолян, и киян до себе в службу... Забере...»

XIV. МАМАЕВО ПОБОИЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОНЫНЕ

Мы снова в селе Карачарове.

Около девяти месяцев прошло со дня, когда совершилось «Мамаево побоище». Весна начинает уже впадать в лето. Травы в полном цвету, хотя косовица еще не наступила. Кукушка еще не откуковала. Рожь еще не выкинула колоса, и соловей не потерял голоса, все еще щебечет на заре и по ночам. Страдная пора еще не наступила, самая, значит, пора водить «игрища».

И «игрище» опять идет на девичьем поле, в Карачарове. Плетут девки плетни и расплетают, а парни разрывают эти плетни, врываясь в «кон», словно татары.

А тут же на лугу, под старым дубом, который помнил еще и Андрея Боголюбского, и как, во время неурожая, волхвы избивали «старую чадь бабы», что держали «гобино и жито», и вешали баб на этом дубе, под этим дубом опять сидели мужи, жены и старцы и вспоминали свою молодость, глядя на игрища молодежи и прислушиваясь к их пению, напоминавшему еще «Трояновы века» и «Дажбоговых внуков»...

— А как стали мы отбирать хрестьянски тела от поганых, да рыть ямы, да сносить в те ямы наших ратничков побитых, так не приведи Бог что было! — говорил, сидя под дубом, знакомый нам Малюта-карачаровец, что был и под Казанью, и на Пьяне-реке с Арапшою бился, и в Мамаевом побоище утер поту.

— Это еще слава ти, Господи, что тела хрестьянски похоронить можно было,— в свою очередь заметил белый как лунь дедушка Рогволод.— А вот как я от дедов да прадедов слыхал, а те от своих дедов да прадедов слыхивали про Калку-реку: там и хоронить никого не дали поганые... С той самой Калки-реки они и обволодели русскою землею.

— А топерево им уж не володеть...

— Про то Бог ведает...

А мы просо сеяли, сеяли,
Ой Дид-Ладо, сеяли, сеяли,—

опять доносилось с игрища однообразное величанье...

— Восемь ден копали ямы да зарывали ратничков...

— А поганых?

— Их птице да зверю оставили... А что птицы налетело да зверья нашло! Со всего света, кажись, собралось вороньё да орлы... Да только не всех наших похоронили.

— А почто так не всех?

— Да почто! А как ты, дедушко Рогволод, распознаешь, чьи кости белые остались? Многих так зверь обглодал да птица исклевала, что ни глаз, ни виду, ни плоти, одна кость...

— А по портам да доспехам?

— Каки порты, дедушко! Все зверь растащил... А то найдешь руку либо ногу, а чья она, Бог весть.

Старик задумчиво покачал головой. А игрище звенело молодыми голосами:

А мы уздом шелковым, шелковым,
Ой Дид-Ладо, шелковым, шелковым...

— А что с Боброком сталось? — спросил старик, прислушиваясь к пению.

— Сказывают, оборотился серым волком и бежал в Тмутаракань.

— Так уж он не Вольга ли Всеславьевич?

— Какой Вольга Всеславьевич?

Обучался первой хитрости мудрости —
Обертываться ясным соколóм,
Обучался другой хитрости мудрости —
Обертываться серым волком.
Обучался третьей хитрости мудрости —
Обертываться туром — золотыи рога...

— А може, и он, Боброк-от, был сам Вольга... только не хотел на Москве оставаться...

В это время из-за лесу показались какие-то прохожие. Их было человек пять, шесть. Одеты они были в какие-то лохмотья. Они шли тихо, опираясь на длинные палки.

Прохожие подошли к игрищу. Игрище прекратилось, послышались крики изумления и радости...

— Матыньки мои! Доброгнева пришла, Доброгневушка!

— Ярополкушко! Ты ли это!

— Верхуслава! Милолика! Полоняночки наши!

Это действительно были полоняники, пять лет тому назад угнанные Арапшою в Орду.

Здоровенный Ярополк, который был в числе полоняников и полонянок из Карачарова, сдержал свое слово: убег из полону и с собой девок увел...

— А как же ты убег, Ярополкушко?—дивились карачаровцы.

— А как убег! Пришел это на Орду Тактамыший богатырь, погромил Орду, татары на убег от его, а мы от татар, да вот и пришли домой... А Мамай, сказывают, бежал на море на киян, на остров на Буян, да оборотился серой утицей... А откуда ни возьмись млад ясен сокол и убил птицу...

— Это Боброк,—уверенно сказал Малюта.—Недаром он оборотился серым волком и бежал в Тмутаракань... Вот тебе и Мамай!..

Да, Мамай действительно погиб. Убегая от русских, он наткнулся на нового противника, на Тохтамыша, и поворотил к морю, не к окияну, как сообщал Ярополкушко, а к Черному морю, к Тмутаракани, в Крым. Там, в Кафе, генуэзцы и убили этого хищного зверя...

«Русь торжествовала,—говорит наш почтенный исторический живописец Н. И. Костомаров в своей прекрасной статье о «Куликовской битве».—Русь одною битвою, трудами одного дня, покупала себе свободу от полуторавекового рабства. Но свобода не дается ни быстро, ни дешево. Через два года после того Тохтамыш, ниспровергши державу Мамая и ставши ханом Золотой Орды, нагрянул на Москву: он искал возвращения прав ханских над строптивым рабом. Москва была разорена. Русь признала снова так внезапно сверженное иго. Зато Куликовская битва все-таки предуготовила на будущее время независимость русских земель и открыла борьбу на жизнь и на смерть между славянами и татарами. Память об этой победе запечатлелась в русском духе. Много раз после того татары давали русским чувствовать себя, но впечатление Куликовской битвы не умирало. Русь уже испытала, что можно не только отбивать грозных татар, но истреблять многочисленные их полчища; а в многочисленном полчище была вся сила, все могущество Орды. С памятью Куликовского побоища Русь возрастала и дожида-

лась лучших времен, и когда пришли они, Русь совершила надо всею силою завоевательного полчища то, что сделала прежде на Куликовом поле, над полчищем Мамаевым. Русь рассеяла, истребила, стерла с земли эту грозную завоевательную силу. Таким образом, победа куликовская нравственным влиянием на дух народный стала как бы первообразным событием не только освобождения Руси от татар, но и обратного покорения первою последних, господства славянского племени над завоевательными и разрушительными племенами Средней Азии».

Эту работу — прибавим мы от себя — славянское племя продолжает и поныне: «Мамаево побоище», начавшееся 8 сентября 1380 года, прошло уже через пять столетий и еще, вероятно, потянется на много веков: «восточных зверят» после Мамая остались сотни миллионов. Сначала воевали с ними одни «северные русичи», московские, суздальские Микитки да Добрыньки с Боброками, да Меликами, да Серкизами, да Волуй Окатьевичами во главе; потом пошли бить «зверят» и «южные русичи», Петруси да Грицьки, внуки Боброка, «козаки» да «запорожцы» с Байдами, Хмельницкими, да Сирками, да Палиями во главе... Пало не одно татарское царство: пали царства Казанское, Астраханское, Крымское... Мамаи и Тохтамыши ходят теперь под окнами и продают «халаты», как прежде продавали русских князей, княжон и иных полоняников... Тамерланы стали хорошими дворниками, а Чингисханы и Гиреи — лучшими лакеями у Дюрсо и Бореля... Поэт прекрасно передал судьбу этих восточных царств, обращаясь к татарину:

Ваше царство славно было
С предпочтенной, мощной дланью;
Много наших спит костями
В пирамиде под Казанью.
Ваше царство славно было,
А цари его богаты...
Продают теперь их внуки
Полосатые халаты...

После стали бить «восточных зверят», собственно не бить, а «сдачи давать», и «южные славяне»: болгары, сербы, черногорцы...

«Мамаево побоище» продолжается... стук ломаемых копий мы слышали два года тому назад... Боброков, Волуй Окатьичей, да Серкизов, да Меликов

заменили только Черняевы, Гурки, Скобелевы, Драгомировы, Лорис-Меликовы с своими «великими князьями»... Мы слышим этот стук и сейчас... В этом прекрасном мире все так странно сложилось, что люди, по своей глупости, постоянно грызутся как звери и страдают, когда могли бы жить в полном согласии и дружно работать для общечеловеческого счастья... Жалкие, глупые люди, создавшие для себя вечную «мамайщину»...



ЗА ЧЬИ ГРЕХИ?

Историческая повесть
из времени бунта
Стеньки Разина

I. ЦАРСКОЕ СИДЕНЬЕ

В Грановитой палате, в столовой избе, у великого государя с боярами «сиденье».

Это было 5-го марта 1664 года.

С раннего утра, которое выдалось таким ярким и теплым, обширная площадь около дворца запружена каретами, колымагами и боярскою дворовою челядью с оседланными конями в богатой сбруе. Экипажи и кони принадлежали московской знати, нахлынувшей во дворец к царскому сиденью: обширное постельное крыльцо, словно маковое поле, пестрит цветною и золотою одеждою площадных стольников, стряпчих и дворян московских.

Эта пестрая и шумная толпа поминутно расступается и поклонами провожает знатных и близких бояр, которые через постельное крыльцо проходят прямо в царскую переднюю. Это уже великая честь, до которой стольникам, стряпчим и дворянам высоко, как до креста на колокольне Ивана Великого.

Но и передняя уже давно полна: кроме бояр, в ней толпятся, по праву, окольничие, что удостаиваются великой чести быть иногда «около» самого государя, равно думные дворяне и думные дьяки.

Наконец, в самой столовой избе, в «комнате», высшая знать московская, самые сановитые бородачи. Тут и великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Русии самодержец. Он сидит в переднем углу, на возвышении со ступенями. Под ним большое золоченое кресло. Столовая изба так и блестит золотом и серебром изящной, а чаще аляповатой московской работы: на одном окне, на золотом бархате, красуются рядом четверо серебряных часов-курантов; у того же окна серебряный стенной «шандал»; на другом окне большой серебряник с лоханью, а по сторонам его высокие рассольники; на третьем окне, на золотом бархате, другой серебряный рассольник да серебряная позолоченная бочка, «мерою в ведро». На рундуке, против государева места, и на ступенях постланы дорогие персидские ковры; около столпа,

упирающегося в потолок столовой избы, поставец: на нем ярко горят под лучами весеннего солнца всевозможные драгоценные сосуды, золотые, серебряные, сердоликовые, яшмовые.

Едва царь уселся в кресло, как на постельном крыльце произошло небывалое смятение. Послышался смешанный говор, из которого выделялись отдельные голоса:

— Хохлы! Хохлатые люди едут!

— Это черкасы, гетмановы Ивана Брюховецкого посланцы на отпуск к великому государю.

— Смотрите! Смотрите! Какие усищи!

— И головы бриты, словно у татар!

— Только у татар хохлов нет, а эти с хохлами.

Действительно, из-за карет и колымаг, запружавших дворцовую площадь, показалась небольшая группа всадников. Это и были гетмановские посланцы, всего пять человек. Их сопровождал стрелецкий сотник, а почетную свиту их составляли три взвода стрельцов от трех приказов, только без пищалей, как полагалось по придворному церемониалу. Своеобразная, очень красивая одежда и вся внешность украинцев, столь редких в то время гостей на Москве, не могли не поражать москвичей. Высокие смушковые шапки с красными верхами, лихо заломанные к затылку и набекрень; выпущенные из-под шапок, словно девичьи косы, чубы-оселедцы, закинутые за ухо и спускавшиеся до плеч; длинные, ниспадавшие жгутами, черные усы; яркие цветные жупаны, отороченные золотыми позументами; такие же яркие, только других, еще более кричащих цветов шаровары, пышные и широкие, как юбки, и убранные в желтые и красные сафьянные сапоги с серебряными «острогами» и подковами,— все это невольно бросалось в глаза, вызывало удивление москвичей.

Посланцы сошли с коней и направились к постельному крыльцу.

— Потеснитесь малость, господа стольники и стряпчие! Дайте дорогу посланцам его ясновельможности гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого и всего войска запорожского низового,— говорил стрелецкий сотник, проводя посланцев через постельное крыльцо.

— Добро пожаловать, дорогие гости! — слышались приветствия среди толпившихся на крыльце.

Посланцы вступили в переднюю, а из нее введены были в столовую избу перед лицо государя. Их встре-

тил думный дьяк Алмаз Иванов. Бояре, чинно сидевшие в избе и почтительно уставившие брады свои и очи в светлые очи «тишайшего», так же чинно повернули брады свои и очи к вошедшим. Полное, добродушное лицо царя и особенно глаза его светились едва заметною приветливою улыбкой.

Посланцы низко поклонились и двумя пальцами правых рук дотронулись до полу. Это они ударили челом великому государю, по этикету. Но все молчали.

Тогда выступил Алмаз Иванов и, обратясь к лицу государя, громко возгласил:

— Великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Руси самодержец и многих государств государь и обладатель! Запорожского гетмана Ивана Брюховецкого посланцы, Герасим Яковлев с товарищи, вам, великому государю, челом ударили и на вашем государском жалованье челом бьют.

Посланцы снова ударили челом.

— Герасим! Павел! — снова возгласил дьяк, обращаясь уже к посланцам.— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованьем: тебе, Герасиму, отлас гладкой, камка, сукно лундыш, два сорока соболей да денег тридцать рублев.

Герасим ударил челом на государском жалованье и поправил оселедец, который, словно девичья коса, перевесился с бритой головы на крутой лоб запорожца.

— А тебе, Павлу,— продолжал дьяк, обращаясь к Павлу Абраменку, товарищу Герасима,— тебе отлас, сукно лундыш, сорок соболей да денег двадцать рублев.

И Абраменко ударил челом.

— А вас, запорожских казаков (это дьяк говорил уже остальным трем запорожцам, стоявшим позади посланцев), и твоих посланных людей (это опять к Герасиму) царское величие жалует своим государским жалованьем от казны.

И остальные ударили челом.

Царь, сидевший до этого времени неподвижно в своем золотом одеянии, словно икона в золотой ризе, повернул лицо к Алмазу Иванову и тихо проговорил:

— Сказывай наше государское слово.

И дьяк возгласил заранее приготовленную и одобренную царем и боярами речь.

— Герасим! Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, велел вам сказати: приезжали к нам, великому государю, к нашему царскому величеству, по присылке гетмана Ивана Брюховецкого и всего войска запорожского с листом. И мы, великий государь, тот лист выслушали, и гетмана Ивана Брюховецкого и все войско запорожское, за их службу, что о нашей царского величества милости ищут, жалуем, милостиво похваляем и, пожаловав вас нашим царского величества жалованьем, велели отпустить к гетману и ко всему войску запорожскому нашу царского величества грамоту. Да к гетману ж и ко всему войску запорожскому посылаем нашего царского величества ближнего стольника Родиона Матвеевича Стрешнева да дьяка Мартемьяна Бредихина. И как вы будете у гетмана, у Ивана Брюховецкого, и у всего войска запорожского, и вы ему, гетману, и всему войску запорожскому нашу царского величества милость и жалованье расскажите.

Проговорив это, Алмаз Иванов, по знаку царя, приблизился к «тишайшему» и взял из рук его грамоту и тут же передал ее главному гетманскому посланцу, который, почтительно поцеловав ее и печать на ней, бережно уложил в свою объемистую шапку.

Затем дьяк, опять-таки по знаку царя, обратился снова к послам:

— Герасим! Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас, посланцев гетмана и всего войска запорожского, к руке.

«Гарасько-бугай», как его дразнили на Запорожье товарищи за его воловью шею и за такое же воловье здоровье, тихо, но грузно ступая по полу своими желтыми сафьянными сапожищами с серебряными острогами, приблизился к ступеням, которые вели к государеву сиденью, осторожно поставил ногу на первую ступень, как бы боясь, что она не выдержит воловьего груза, потом на вторую и, перегнувшись всем своим массивным корпусом, бережно приложился к белой, пухлой, «як у матушки-игуменьи» (подумал он про себя), выхоленной царской руке, словно к плащанице.

За ним приложились и остальные посланцы. Только последний из них, Михайло Брейко, поцеловав царскую руку и почтительно пятясь назад, оступился на ступеньке и грузно повалился на пол у подножия государского сиденья.

— Оце лихо! Николи с коня не падав, а тут, бач, упав! — невольно вырвалось у него.

Наивность запорожца рассмешила «тишайшего», а за ним рассмеялась и вся столовая изба.

Молодец, однако, скоро оправился и стал на свое место, а дьяк Алмаз снова выступил с отпускной речью.

— Герасим! — возгласил он.— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всеа Руси самодержец и многих государств государь и обладатель, жалует вас своим государским жалованьем, в стола место корм.

Посланцы в последний раз ударили челом на государеве жалованье, на корму и удалились.

— Какие молодцы! — весело сказал Алексей Михайлович, когда за казаками затворилась дверь.— С таким народом любо жить в братской приязни и любительстве.

В это время из-за широких боярских спин, с задней скамьи, поднимается стройный молодой человек и выступает на середину избы. Одежда на нем была богатая, изысканная, какую носила тогда золотая молодежь. Из-под кафтана темно-малинового бархата ярко выделялся зипун из белого атласа с рукавами из серебряной объяри; к вороту зипуна пристегнута была высокая, шитая, разукрашенная жемчугом и драгоценными камнями «обнизь», род стоячего воротника. Кафтан, скорее кафтанец, на нем был такой же щегольской: запястья у рукавов кафтанца были вышиты золотом, по которому сверкали крупные зерна жемчуга, а разрез спереди кафтана и подол оторочены были золотою узкою тесьмою с серебряным кружевом; шелковые шнуры с кистями и массивные пуговицы с изумрудами делали кафтанец еще наряднее.

При виде нарядного молодого человека Алексей Михайлович приветливо улыбнулся. Тот истово ударил челом, по-божески: поклонился до земли и коснулся лбом пола.

— А, это ты, Иван Воин,— приветствовал его государь.

Молодой человек поднялся с полу и откинул назад курчавые волосы. Лицо его рдело от смущения, хотя он и ответил улыбкой на улыбку царя.

— На отпуск пришел? — спросил последний.

— На отпуск, великий государь, — был ответ.

Алексей Михайлович обратился к Алмазу Иванову:

— Все готово к отъезду?

— Все, великий государь, — отвечал дьяк, — все в посольском приказе.

— И грамоты к послам, и наша царская казна?

— Все, великий государь, как ты указал и бояре приговорили.

— Хорошо. Поезжайте же (Алексей Михайлович обратился к молодому человеку), поезжай с Богом да кланяйся от меня отцу. Простись со мной и ступай с Богом.

Молодой человек поднялся к царскому сиденью и горячо поцеловал государеву руку. Алексей Михайлович поцеловал его в голову, как родного сына.

— Учись у отца служить нам, великому государю, — сказал он в заключение.

Молодой человек вышел из столовой избы весь взволнованный.

II. А СОЛОВЕЙ-ТО ЗАЛИВАЕТСЯ!..

Вечером того же дня, с которого началось наше повествование, по одному из глухих проулков, выходивших к Арбату, осторожно пробиралась закутанная в теплый охабень высокая фигура мужчины. Легкая соболевая шапочка так была низко надвинута к самым бровям и ворот охабня так поднят и с затылка, и выше подбородка, что лицо незнакомца трудно было разглядеть. По всему видно было, что он старался быть незамеченным и неузнанным. По временам он осторожно оглядывался, не видать ли кого-либо сзади. Но переулок, скорее проулок, был слишком глух, чтоб по нему могли часто попадаться пешеходы, особливо же в такой поздний час, когда Москва собиралась спать или уже спала.

Но северные весенние ночи — предательские ночи. Они не для тайных похождений: ни для воров, ни для влюбленных. Впрочем, глядя на нашего незнакомца, смело можно было сказать, что это не вор, а скорее политический заговорщик или влюбленный.

По обеим сторонам проулка, по которому пробирался таинственный незнакомец, тянулись высокие каменные заборы, с прорезями наверху, оканчивавшиеся у Арбата и загибавшиеся один вправо, другой влево. И тот и другой забор составляли ограды двух боярских домов, выходивших на Арбат. При обоих домах имелись тенистые сады, поросшие липами, кленами, березами и высокими рябинами, только на днях начавшими покрываться молодою яркою листвою. Из-за высокой ограды сада, тянувшегося с правой стороны, по которой пробирался ночной гость, неслись переливчатые трели соловья. Незнакомец вдруг остановился и стал прислушиваться. Но не трели соловья заставили его остановиться: до его слуха донесся через ограду тихий серебристый женский смех.

— Это она,— беззвучно прошептал незнакомец,— видно, что ничего не знает.

Он сделал несколько шагов вперед и очутился у едва заметной калитки, проделанной в ограде правого сада. Он еще раз остановился и прислушался. Из-за ограды слышно было два голоса.

— Только с мамушкой... Господи благослови!

Тихо, тихо щелкнул ключ в замочной скважине, и калитка беззвучно отворилась, а потом так же беззвучно закрылась. Незнакомец исчез. Он был уже в боярском саду.

Русские женщины, особенно жены и дочери бояр XVI и XVII веков, жили затворницами. Они знали только терем да церковь. Ни жизни, ни людей они не знали. Но люди везде и всегда люди, подчиненные законам природы. А природа вложила в них врожденное, роковое чувство любви. Любили люди и в XVII веке, как они любят в XIX и будут любить в XX и даже в двухсотом столетии. А любовь, это божественное чувство, всемогуща: перед нею бессильны и уединенные терема, и «свейские замки», считавшиеся тогда самыми крепкими, и высокие ограды, и даже монастырские стены.

А если люди любят, а любовь божественная тайна, то они и видятся тайно, находят возможность свиданий, несмотря ни на какие грозные препятствия.

Недаром юная Ксения Годунова[1], заключенная в царском терему и ожидавшая пострижения в черницы, плакалась на свою горькую долю:

Ино мне постритчися не хочет,
Чернеческого чина не сдержати,
Отворити будет темна келья —
На добрых молодцов посмотрити...

Хоть посмотреть только! Да не из терема даже, а из монастырской кельи...

— Воинушко! Свет очей моих! — тихо вскрикнула девушка, когда, сбросив с себя охабень и шапку, перед нею, словно из земли, вырос тот статный молодой человек, которого утром мы видели в столовой избе и которого царь Алексей Михайлович назвал Иваном Воином.

Девушка рванулась к нему. Это было очень юное существо, лет шестнадцати, не более. На ней была тонкая белая сорочка с запястьями, вышитыми золотом и унизанными крупным жемчугом. Сорочка виднелась из-за розового атласного летника с широкими рукавами «накапками», тоже вышитыми золотом с жемчугами.

— Вот не ждала, не гадала...

Пришедший молчал. Он как будто боялся даже заговорить с девушкой и потому обратился прежде к старушке-мамушке, вставшей со скамьи при его появлении.

— Здравствуй, мамушка,— тихо сказал он.

— Здравствуй, сокол ясный! Что давно очей не казал?

Пришедший подошел к девушке. Та потянулась к нему и, положив маленькие ручки ему на плечи, с любовью и лаской посмотрела в глаза.

— Что с тобой, милый? — с тревогой спросила она.

— Я пришел проститься с тобой, солнышко мое! — отвечал он дрогнувшим голосом.

— Как проститься? Для чего? — испуганно заговорила девушка, отступая от него.

— Меня государь посылает к батюшке и к войску,— отвечал тот.

Девушка, как подкошенная, молча опустилась на скамью. С розовых щечек ее медленно сбегал румянец. Она беспомощно опустила руки, словно плети.

Теперь она глядела совсем ребенком. Голубые ее с длинным разрезом глаза, слишком большие для взрослой девушки, смотрели совсем по-детски, а побледневшие от печали губки так же по-детски сложились, собираясь, по-видимому, плакать вместе с глазами.

— Для того я так давно не был у тебя,— пояснил пришедший,— таково много было дела в посольском приказе.

Девушка продолжала молчать. Пришедший приблизился к ней и взял ее руки в свои. Руки девушки были холодны.

— Наташа! — с любовью и тоской прошептал пришедший.

Девушка заплакала и, высвободив свои руки из его рук, закрыла ими лицо.

— Наташа! — продолжал он с глубокой нежностью.— Если ты любишь меня...

При этих словах девушка быстро встала, как ужаленная.

— А ты этого не знал? — глухо спросила она, вся оскорбленная в своем чувстве этим «если».

— Прости, радость моя! Мое сердце кровью исходит, ум мутится,— быстро заговорил пришедший,— сил моих нету оторваться от тебя... Коли ты любишь, ты все сделаешь.

Девушка вопросительно посмотрела на него. Но он, по-видимому, не решался продолжать и стоял потупив голову, словно бы прислушиваясь к соловью, который изливал свою безумную любовь в страстных трелях любовной мелодии.

— Наташа! Обвенчаемся ныне же, сейчас, и поедем вместе к батюшке! — вырвалось у него признание, как порыв отчаяния.

Девушка, казалось, не поняла его сразу. Только глаза ее расширились.

— Я уже и священника знакомого условил,— продолжал пришедший,— я уже совершен возрастом, могу делать что Бог на душу положит: а мне Бог тебя дал, сокровище бесценное! Мы обвенчаемся и поедем к батюшке, он благословит нас: он знает тебя.

Безумная радость блеснула в прекрасных глазах девушки, но только на мгновение. Русая головка ее, отягченная огромною пепельного цвета косою, опять беспомощно опустилась на грудь.

— А мой батюшка? — с тихим отчаянием прошептала она.— Как же без батюшкова благословенья?

— Твой батюшка опосля благословит нас.

Девушка отрицательно покачала головой.

— Бежать отай из дому родительского... отай венчаться без батюшкова, без матушкова благословенья...

да такова греха не бывало, как и свет стоит,— говорила она словно во сне.

Молодой человек опять взял ее холодные руки.

— Не говори так, Наташа. Вон в польском государстве, сказывал мне мой учитель, из польской шляхты, в ихнем государстве молодые боярышни всегда так делают: отай повенчаются, а после венца прямо к родителям: повинную голову и меч не сечет. Ну, назад не перевенчаешь, и прощают, и благословляют. Так водится и за морем, у всех иноземных людей.

Девушка грустно покачала головой.

— Али я басурманка? Али я поганая еретичка? — тихо шептала она.— Беглянка, сором-от, сором-от какой! Как же потом добрым людям на глаза показаться? Да за это косу урезать мало, такого сорому и греха и черническая ряса не покроет.

— Наталья, не говори так! — недовольным голосом перебил ее молодой человек.— Это все московские забобоны, это тебе наплели старухи да потаскухи-странницы. Мы не грех учиним, а пойдем во храм Божий, к отцу духовному: коли он согласен обвенчать нас, какой же тут грех и сором?.. А коли и грех, то на его душе грех, не на нашей. Ты говоришь, сором! Сором любить, коли сам Спаситель сказал: «Любите друг друга, любитесь!» Но сором ли то, что мы с тобой любилися в этом саду, аки в раю, сердцем радовались! Ах, Наташа, Наташа! Ты не любишь меня.

Девушка так и повисла у него на шее.

— Милый мой! Воин мой! Свет очей моих! Я ли не люблю тебя!

— Ты идешь со мной?

— Хоть на край света!

— Наташа! Идем же...

— Куда, милый? — не помня себя, спохватилась девушка.

— В церковь, к венцу.

— К венцу! — девушка опомнилась.— Без батюшкова благословенья?

— Да, да! Ноне же, сейчас, со мной, с мамушкой!

— Нет! Нет! — И девушка в изнеможении упала на скамейку.

Молодой человек обеими руками схватился за голову, не зная, на что решиться.

А соловей заливался в соседних кустах. Песня его, счастливая, беззаботная, рвала, казалось, на части

сердца влюбленных. Мамушка сладко спала на ближайшей скамье, свесив набок седую голову.

— Наташа! Ласточка моя! — снова заговорил молодой человек, нагибаясь к девушке и кладя руки на плечи ей.— Наташечка!

— Что, милый? — как бы во сне спросила она.

— Всемогущим Богом заклинаю тебя, святою памятью твоей матери молю тебя, будь моей женою, моим спасением!

— Буду, милый мой, суженый мой!

— Так идем же, разбудим мамушку.

— Нет! Нет! Не тяни моей душеньки! Ох, и без того тяжко... Владычица! Сжалься.

— Так нейдешь?

— Милый! Суженый! О-ох!

— Последнее слово: ты гонишь меня на прощанье?

— Воинушко! Родной мой! Не уходи!

Девушка встала и протянула к нему руки. Но он уклонился с искаженным от злобы лицом.

— О! Проклятая Москва! Ты все отняла у меня... Прощай же, Наталья, княжецка дочь! — словно бы прошипел он.— Не видать тебе больше меня, прощай! Жди другого суженого!

И, схватив охабень и шапку, он юркнул в калитку и исчез за высокой оградой.

Девушка протянула было к нему руки и упала наземь, как подрезанный косою полевой цветок.

А соловей-то заливается!..

III. БАТЮШКА И СЫНОК

Молодой человек, собиравшийся похитить девушку из родительского дома и так презрительно отзывавшийся о московских обычаях, был сын известного в то время царского любимца Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина[2], по имени Воин.

Воин представлял собою только что нарождавшийся тогда в московской Руси тип западника. До некоторой степени западником был уже и отец его, любимец царя, Афанасий.

За несколько времени до того Нащокин послан был на воеводство в Псков, в его родной город. А по тогдашним обычаям московским, воеводство это было в буквальном смысле «кормление»; такого-то послали

воеводою туда-то «на кормление», другого — в другой город, третьего — в третий, и все это — «на кормление»; и вот для воеводы делаются всевозможные поборы и хлебом, и деньгами, и рыбою, и дичью; даже пироги и калачи сносились и свозились на воеводский двор горами.

Нащокин первый восстал против этих «приносов» и «привозов». По тому времени это уже было новшество, нечто даже богопротивное, с точки зрения подьячих и истинно русских людей.

Мало того, Нащокин перевернул в Пскове вверх дном весь строй общественного управления, урезав даже свою собственную, почти неограниченную, воеводскую власть.

Ему жаль было своего родного города, когда-то богатого и могущественного, гордого союзника и соперника «Господина Великого Новгорода». Как пограничный город, стоявший на рубеже двух соседних государств — Швеции и Польши, Псков еще недавно богател от заграничной торговли с этими обоими государствами. Войны последних лет почти убили эту торговлю. Между тем вся экономическая жизнь города и его области сосредоточилась в руках кулаков, богатых «мужиков-горланов», положительно не дававших дышать остальному населению страны.

— Я не хочу только кормиться от моей родины — я сам хочу ее кормить! — говорил новый воевода в съезжей избе во всеуслышанье.

— Как же ты ее, батюшка-воевода, кормить станешь? — лукаво спрашивали «мужики-горланы».

— А вот как, господа старички: с примеру сторонних, чужих земель...

— Это с заморщины-то, от нехристей? — ухмылялись в бороды лукавые старички.

— С заморщины и есть: за морем есть чему поучиться. Так вот я и помышляю в разуме, что как во всех государствах славны только те торги, которые без пошлины учинены, то и для Пскова-города я учиню такожде: быть во Пскове-городе беспошлинному торгу раз с Богоявления по день преподобного Евфимия Великого, сиречь по 20-е число месяца януария; другой раз — с вешнего Николы по день мученика Михаила Исповедника.

— Так, батюшка воевода, так! Да какая же нам-то с той беспошлины корысть будет, да и казне-матуш-

ке?—лукаво спрашивали горланы-мужики, по нынешнему консерваторы.

— А вот какая корысть! То, что вы ноне, стакавшись промеж себя, продаете втридорога молодшим черным людям и рольникам, то у иноземных гостей они купят за полцены.

— Что ж, батюшка-воевода, это корысть токмо подлым людишкам, смердьему роду, а казне-матушке пошлинная деньга плакала,—твердили старые лисицы.

— И казну не обойду,—отражал их доводы ловкий воевода.—Ноне ведомо вам буди, по всей матушке Руси торговые люди плачут на иноземных гостей: гости-де, стакавшись промеж себя, как и вы вот, мошной своей, а у них мошна не вашей чета, мошной своей всех наших торговых людей задавили. Вы сами не левой ногой сморкаетесь...

— Хе-хе-хе!—отвечали на шутку воеводы старики.—Шутник ты!

— Нет, я не шучу, а вы сами ведаете, что иноземные гости, чтобы проносить ложку с русской кашей помимо ваших ртов, стакались с вашим же братом, которые победнее, задают им деньги вперед, на веру, а то и по записи, и на эти-то деньги ваш брат, который победнее, и скупает на торгах, и по пригородам, и по селам товар малою ценою, и все это им же, толстосумным гостям. Вот от такого-то неудержания русские люди на иноземцев, на их корысть, торгуют ради скудного прокормления и оттого в последнюю скудость приходят, а которые псковичи и свои животы имели, то и они от своих же сговорщиков с немцами для низкой цены товаров также оскудели.

— Правда, истинная правда, боярин,—соглашались старички и удивлялись,—и откуда это ты, боярин, в нашем торговом деле таково стал дотошен.

— Откуда? Я не из княжего роду, не из богатых бояр: знавал и я, почем ковш лиха, да и ноне цены тому ковшу не забыл.

— Так-так... Да как же ты, боярин, этого ковша изведешь, чтобы нас, то есть, немцы не заедали?

— А вот как: чтобы не было тайного сговора с немцами, чтобы маломочные псковичи не брали у них в подряд денег и не роняли цены русским товарам, вы, старички и молодшие, лучшие торговые люди, распишите сами, по свойству и по знакомству, во Пскове-городе и по пригородам, всех маломочных людей,

распишите их по себе и ведайте их торговлю и промыслы, а во место того, что они брали деньги у немцев и на них работали, на их колеса воду лили, будем давать им ссуду из земской избы. Когда таким изворотом маломочные люди на земские деньги накупят товару, то пущай везут его во Псков, к примеру, в декабре месяце, сдают товар в земскую избу, в амбары, где и записываются все подвозы в книги, а вы, лутчие люди, должны принимать тот товар каждый у своего, кто за кем записан, и давать им цену с наддачею для прокормления, и чтобы к маю месяцу они накупали новых товаров, к самому никольскому торгу; после же торгу вы, лутчие люди, продавши товары свалом иноземцам, должны заплатить маломочным людям ту цену, по какой сами продали.

— Ну и дока же наш воевода,— твердили после этого псковичи.

Но Нащокин в своих преобразованиях пошел еще дальше, урезав свою собственную власть, и опять-таки по образцу западному, «с примеру сторонних чужих земель».

Собравши в земской избе всех «лутчих людей» Пскова, он держал к ним такую речь:

— Госпо́до псковичи, лутчие люди! Уверились вы, что я хочу добра Пскову-городу?

— Уверились! Уверились! — послышались голоса.— В торговом деле ты уже утер носа немцам.

— Спасибо! Так сотворите теперь сами доброе дело Пскову-городу и пригородам. Доселе воевода судил вас во всех делах и обидах; но воевода не всеведущ; вы свои дела и обиды лучше знаете. Так выберите из себя пятнадцать человек добрых людей на три года, чтобы из них каждый год сидело в земской избе по пяти человек. Эти пятеро выборных должны судить посадских людей во всех торговых и обидных делах, а ко мне, к воеводе, отводить только в измене, разбое и душегубстве. Ежели же случится тяжба между дворянином и посадским, то судить дворянину, кто будет у судных дел, с выборными посадскими людьми. Пошлины же с судных дел, решенных пятью выборными, держать в земской избе для градских расходов. Люба ли вам моя речь? — закончил воевода.

— Люба-то люба, только дай нам малость подумать,— был ответ.

— Думайте, думайте.

За этими думами Псков разделился на две партии: меньшие люди все примкнули к «новшеству» Нащокина, «лутчие» уперлись на старине, что для них было выгоднее.

Так и в ином другом Нащокин шел несколько впереди своего века. За это и не любили его старые бояре и подьячие.

Оттого, когда сегодня утром молодой Нащокин, Воин, шел из столовой избы через переднюю, его провожало злобное шипенье приверженцев старины:

— Вон, из молодых да ранний, весь в батюшку.

— А что батюшка! От него старым людям житья нет: все бранится, всех укоряет... все, по его, делается не хорошо... толкует о новых порядках, что в чужих землях!

— Знамо! А каки-таки эти порядки? Что он завел во Пскове? Приедет воевода в город, а ему там и делать нечего, всем владеют мужики!

— Да что ж будешь делать! Великий государь его жалует: грамоты шлет ему прямо из приказа тайных дел, так всякому бы можно писать великому государю, что хочет, обносить, кого хочет, никто не сведает.

— И чему дивиться! Был бы из честного старого роду, а то откуда взят?

— Умный человек! — ядовито замечает кто-то.

— Умный! Никто у него ума не отнимает, да как будто все другие глупы?

— Ну, а сынок, поди, шагнет еще выше! Вон и сейчас у великого государя у ручки был.

Действительно, сынок пошел дальше отца, только несколько в другом роде.

Во многом приверженец Запада и его общественных порядков, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, проникнутый благоговением к европейскому образованию, пожелал и сыну своему, Воиньке, дать по возможности отведать этого роскошного плода. Но какие были средства для этого в тогдашней московской Руси? Ни университетов, которыми давно гордилась Европа, ни высших, даже средних образовательных училищ, ни даже учителей — ничего этого не было на Руси. Даже для царских детей приходилось брать учителей из Малороссии. Но Малороссию Ордин-Нащокин не любил. Он был приверженец монархических порядков. Не будучи сам знатного рода, он душою льнул к древней родовитости, к аристократизму. Он

презрительно отзывался даже о Голландии и ее республиканском управлении.

— Голландцы — это наши псковские и новгородские мужики-вечники, те же горланы! — отвечал он Алексею Михайловичу, когда тот желал знать его мнение о союзе французского и датского королей с голландцами против Англии.

Понятно, что он недолюбливал и Малороссию с ее выборным началом.

— Эти хохлатые люди еще почище наших вечевых горланов! — говорил он о запорожских казаках.— Они своих кошевых атаманов и гетманов киями бьют, словно своих волов.

Зато сердце его лежало к полякам, к аристократической нации, по преимуществу.

И вот из поляков, попавших к русским в плен, Ордин-Нащокин выбрал учителей для своего балованного сына Воина. Не удивительно, что, вместе с мечтательной любовью к Западу, учителя эти посеяли в сердце своего пылкого и впечатлительного ученика презрение к Москве, к ее обычаям и порядкам, даже к ее верованиям. Все московское было для него или смешно, или противно.

Под влиянием западноевропейских воззрений на жизнь он решился на самый отчаянный по тому времени шаг — похитить любимую девушку. Однако все усилия его разбились в прах об унаследованное московской боярышней от матерей и бабушек понятие о женской чести и стыдливости. Ни любовь, ни страх вечной разлуки, ни страдания оскорбленного чувства — ничто не могло заставить девушку переступить роковую грань обычая. Она не перенесла страшного момента разлуки, и потеря сознания облегчила на несколько минут ее муки, ее ужасное горе, первое, после потери матери, великое горе в ее молодой жизни.

Когда она пришла в себя, то увидела склонившееся над нею ужасом искаженное лицо мамушки.

— Где он? Что с ним? — были первые ее слова.

— Не знаю, дитятко, словно он сквозь землю провалился. А что с тобой, мое золото червонное?

— Я ничего не помню, мамушка: только он сказал, что мы больше с ним не увидимся.

— Ах он злодей! Да как же это так? — встревожилась старушка.— Что тут у вас вышло? Чем он тебя обидел, ласточка моя?

— Он ничем меня не обидел: он только сказал, что нам больше не видаться на сем свете.

Девушка молчала. Даже старой мамке своей она не могла выдать того, что она считала святою, великою тайной.

А соловей все заливался...

IV. ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МОЛОДОГО ОРДИНА-НАЩОКИНА

Прошло недели две после 5-го мая, и по Москве, среди бояр и придворных, разнеслась весть, что молодой Ордин-Нащокин, Воин, пропал без вести.

Стало также известно, что царь лично отправил его с важными бумагами и большою суммою денег к отцу, который вместе с другими боярами, с Долгорукими и Одоевским, находился на польском рубеже для переговоров с польскими послами о мире[3].

Одни говорили, что молодой Нащокин кем-либо на дороге был убит и ограблен. Враги же Нащокиных распускали слух, что Воин, прельстясь деньгами, которые были ему доверены царем, и будучи учеником коварных польских панков, с царскими денежками и с важными бумагами улизнул за рубеж и там протирает глаза этим денежкам.

Известие об исчезновении молодого Нащокина, естественно, очень смутило Алексея Михайловича, и он тоже начал думать, что молодой человек был увлечен в сети злоумышленниками и погиб безвременно. Он даже упрекал себя в том, что дал серьезное поручение такому неопытному юноше и ему же доверил значительную сумму денег. Алексей Михайлович тотчас приказал отправить гонцов во все концы; но все напрасно: молодой человек словно в воду канул.

Как громом поразила эта весть девушку, с которою он виделся накануне отъезда из Москвы. Она винила себя в гибели своего возлюбленного. Точно окаменелая, бродила она по переходам своего терема и по саду, где видела его в последний раз и где, казалось, на дорожке, ведущей от скамейки к калитке, оставались еще следы его ног. Как безумная припадала она к этим кажущимся следам и все звала своего милого. Она глухо кляла теперь и свой напрасный страх, свою нерешительность. Что для нее людские

толки и пересуды, если б около нее был ее суженый? Тогда она боялась идти с ним под венец, а теперь с ним охотно бы пошла на плаху. Зачем же ей теперь жить? Для кого? Ведь только для него светило это солнце, для него синел этот свод неба, для него раздавались эти трели соловья. А соловей пел и тогда, в тот чудный и ужасный вечер, когда она, безумная, оттолкнула его от себя.

Она не могла даже плакать, не могла молиться. По целым часам она сидела на той скамейке, на его месте, неподвижная, холодная.

Старая мамушка насильно увела ее из саду и уложила в постель. К вечеру девушка вся разгорелась, а ночью бредила, говорила бессвязные слова или вздрагивала, прислушиваясь к трелям соловья.

Больше недели оставалась она таким образом между жизнью и смертью. По ней служили молебны, кропили ее крещенскою водой, к ней приносили из церквей чудотворные иконы, приводили знахарок со всей Москвы. Все напрасно!

Страшно поразило отца исчезновение любимого сына. Он также думал, что его Воин погиб от руки злоумышленников. В несколько дней он осунулся, постарел. Переговоры его с польскими послами о мире шли вяло, он, казалось, утратил сразу и ум, и энергию, и находчивость, и дар слова, которому прежде все завидовали.

Между тем розыски пропавшего без вести производились самым тщательным образом. Исследован был весь путь от Москвы до польского рубежа, до того местечка над рекою Городнею, где отец пропавшего, Афанасий Ордин-Нащокин, и другие русские послы вели переговоры с польскими комиссарами о мире. Расспрашивали в каждом попутном селе, в каждой деревеньке, по кабакам и корчмам, не проезжал ли в такие-то и такие-то дни такой-то, на такой-то лошади, с такими-то приметами. И почти везде отвечали, что видели такого-то, проезжал-де, а кто такой, того не ведают. И вдруг след его пропал как раз у рубежа, в пограничном лесу, где змеились три расходившиеся в разные места дорожки. Тут он исчез бесследно. За рубежом, на польской земле, его уже не видели.

Как и чем объяснить его таинственное исчезновение? Все теряли головы, и никто не мог ничего придумать.

Несчастный отец остановился на одной ужасной мысли: сына его убили.

Но где убийцы? Кто? Для чего? Для грабежа? Но кто знал, что у него деньги? Ведь гонцы часто ездили и из Москвы и в Москву, и ни один не пропал. Пропал его единственный сын, гордость и утеха его старости, его надежды!

Он убит, и Афанасий знает, кто его убийцы. Враги отца, завистники — они наложили злодейскую руку на его сына. Они видели, как 5-го мая великий государь жаловал его к руке. Они знали, куда он едет и с какими поручениями. С ним были бумаги из ненавистного им приказа тайных дел. Надо захватить эти бумаги и отмстить высокомерному отцу в его единственном сыне.

Они подослали убийц к невинной жертве. За ним следили по пятам до самого рубежа, и в последнюю ночь в этом порубежном лесу убили, зарезали!

Но где же труп несчастного? Труп зарыли или бросили в Городню с камнем на шее.

«Это тебе, Афанасий, за твою гордыню, за царские милости, за приказ тайных дел!»

Вот что теперь они говорят промеж себя, усмехаясь в бороды. А у Афанасия сердце кровью исходит, мозг сохнет под черепом.

Недаром этот «Тараруй», князь Хованский, все теперь переделывает на свой лад во Пскове, что сделал там он, Афанасий. Так этого мало, надо сына отнять!

Хоть бы кости его найти да похоронить по-христиански!

И Нащокина часто видели бродящим в лесу, где, он был уверен, зарезали его сына.

Раз он набрел там на старика, сдиравшего лыки на лапти.

— Здравствуй, старичок! — сказал он.— Бог в помощь. Ты здешний будешь?

Старик был глуховат и не расслышал слов незнакомого боярина. Он только кланялся. Нащокин заговорил громче и повторил свой вопрос.

— Тутошний, тутошний, батюшка болярин,— отвечал старик,— грешным делом лычки деру на лапотки, только лапотками и кормлюсь.

— Доброе дело,— ласково заговорил Нащокин,— Бог труды любит.

— Чаво баишь, боляринушко? — не расслышал старик.

— Бог, говорю, любит труды, а ты вот трудишься.

— Тружусь, батюшко, кормлюсь лапотками. А ты, чаю, на зайчика?

— На зайчика, дедушка.

— Вор зайчик, молоденьку корочку грызет, божье деревцо портит зря.

— А что, дедушка, не опасно здесь на рубеже, в лесу? Не шалят, бывает, польские, а то и русские людишки тут?

— Бывает, батюшко, бывает, пошаливают.

— И убивства случаются?

— Попущает Бог, убивают. Вот и нынешней весной, сказывали, убили тут боярского сынка.

Нащокина словно что ударило под сердце.

— Боярского сына, говоришь, убили? — спросил он с дрожью в голосе.

— Убили, боляринушко, попустил Бог. Я, поди, и злодеев-ту этих видел, да невдомек мне было, что это злодеи. Опосля уж смекнул, да поздно.

— Расскажи же, дедушка, когда и как это дело было? — Нащокиным овладело страшное волнение.— Припомни, дедушка: может, злодеи и сыщутся.

— А так было дело, боляринушко. Однова, этта, весной, перед вешним Миколой, замешкался я в лесу с лычками, ночь захватила.

— Так перед вешним Миколой, говоришь? — переспросил Нащокин.— «Так, перед Николой и должно быть»,— с ужасом соображал он.— Ну, что же?

— Позамешкался я, этта, тады в лесу, надрал лычек эдак свеженьких охапочку, да грешным делом и ковыляю домой. Ан глядь, вон там из лесу и выезжают на конях неведомые люди да туда вон прямо за рубеж и повеялись.

— Трое, говоришь?

— Трое, боляринушко, трое.

— А обличья ты их не разглядел?

— Где разглядеть, батюшко! Далече ехали. А что меня в сумление ввело, батюшка, так конь у них, у злодеев, лишний: два, как и след, верхами, а один-то злодей одвуконь, другово-то коня в поводу вел. Для че им лишний конь? Знамо, не их конек, а из-под твово боярского сынка, что они, злодеи, убили в лесу и ограбили: теперича, этта, я так мекаю, а тады и невдомек было: украли, думаю, конька, злодеи, да и за рубеж.

А дело-ту вышло во како: душегубство, а окаянных-ту злодеев и след, чу, простыл.

Теперь для Нащокина стало несомненным, что то были убийцы его сына, убийцы, подосланные его врагами из Москвы. Ясно, что они следили за ним до самого польского рубежа и тут, совершив свое гнусное злодеяние, перебрались за рубеж, чтоб воротиться в Москву уже другою дорогою. Лошадь убитого они не могли оставить в лесу, а увели ее с собою и, вероятно, продали в каком-нибудь польском местечке.

Нащокин дал старику несколько алтынов и пошел к тому месту леса, где, по его мнению, был убит его сын. Но и там не нашел он никаких следов преступления, ни подозрительной насыпи, ни следов борьбы или насилия.

А лес между тем жил полной жизнью, какою только может жить природа в весеннее время, когда говором и любовным шепотом, кажется, звучит от каждого куста, когда говорят ветви и листья на деревьях и трава с цветами шелестит любовным шепотом. Все так полно жизни, блеска и радости, все дышит любовью и счастьем, которое слышится в этом неумолчном говоре птиц, в этом жужжании пчел, в этом беззаботном гудении и каком-то детском лепете не уловимых глазом живых тварей, и среди этой жизни, среди этого блаженства природы — смерть, наглая ужасающая смерть в самом расцвете молодой жизни!

— И за что, Боже правый! — шептал несчастный старик. — Не за его, за мои прегрешения! За что его, а не меня, Господи!

Он упал лицом в траву и беззвучно заплакал.

А над ним было такое голубое небо, такое ласковое утреннее солнце.

V. В СВОЕЙ СЕМЬЕ

На Москве между тем дела шли своим порядком.

Патриарх Никон, поссорясь с царем, давно сидел безвыездно в Воскресенском монастыре и на все попытки государя примириться с ним отвечал глухим ворчанием. Алексей Михайлович, с своей стороны, мешая государственные дела с бездельем, тешил себя тем, что, проживая в селе Коломенском, от скуки каждое утро купал в пруду своих стольников, если кто

из них опаздывал к царскому смотру, то есть к утреннему выходу *.

Но сегодня почему-то не занимало его это купание стольников. Он вспоминал о своем бывшем «собинном» друге Никоне, и его грызло сознание, что он был слишком суров с ним. Но и Никон не хотел идти на примирение.

А тут еще это исчезновение молодого Ордина-Нащокина. По его вине он погиб! Каково же должно быть бедному отцу?

«А все я, всему я виной,— грызла ему сердце эта мысль,— от меня все исходит, и горе, и радость... А кому радостно? Больше слез вижу я, чем радостей... Бедный, бедный Афанасий! Не пошли я малого, он бы жив теперь был... А то на! Обласкал своею милостью, и малого не стало...»

В такие грустные минуты Алексей Михайлович любил заходить к своей любимице, к маленькой царевне Софье. Она своими ласками, своим детским щебетанием развлекала его, отвлекала от дум.

И Алексей Михайлович задумчиво побрел по переходам к светлице своей девочки.

Уже перед дверью светлицы он услыхал ее серебристый смех.

— Блаженни,— тихо, с грустной улыбкой проговорил он,— их бо есть царствие Божие.

И он тихонько вступил в светлицу. От этого светленького теремка, от всего, что он увидел, так на него и повеяло чистотой девства, невинности, счастьем неведения. Девочка сидела у стола над какой-то книгой и теребила свои пышные, еще не заплетенные волосы. А в сторонке, у окна, сидела ее мамушка и что-то вязала.

— Ах, мамка, как это смешно, как смешно,— повторяла девочка.

— Что смешно, моя птичка? — вдруг услышала она за собою голос отца и вздрогнула от нечаянности, потому что ноги Алексея Михайловича, обутые в мяг-

---

* Государь сам писал об этом стольнику Матюшкину: «Извещаю тебе, что тем утешаюся, што стольников купаю ежеутре в пруде. Иордань хорошо сделана, человека по четыре и по пяти, и по двенадцати человек за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю, да после купанья жалую, зову их ежедень, у меня купальщики те ядять вдоволь, и иные говорят: мы-де нароком не поспеем, так-де и нас выкупают да и за стол посадят»... *(Примеч. автора.)*

кие сафьянные туфли, тихо ступали по коврам, не делая ни малейшего шуму.

Девочка вскочила и радостно бросилась к отцу на шею.

— Батюшка! Государь! Светик мой! — обнимала она его, лаская руками шелковистую бороду родителя.

— Здравствуй, здравствуй, птичечка моя, ясные глазыньки! — любовно целовал и гладил он девочку.— Здравствуй и ты, мамушка.

— Сам здравствуй, светик наш, царь-осударь, на многие лета! — кланялась мамушка.

— Что это вы тут смешное читаете? — спросил Алексей Михайлович.— Не сказку ли какую?

— Нет, батюшка, не сказку,— отвечала царевна, и опять ее голосок зазвенел смехом, точно серебряный колокольчик.— Вот эта книга, она называется: «Книга глаголемая Лусидариус или златый бисер»*. Тут обо всем написано, и о звездах, и о земле, и о зело дивных людях в земле индейской. Вот послушай.

И девочка нагнулась над раскрытой книгой, писанною полууставом.

— Слушай,— читала она.— «Тамо есть люди, именуемые сиклопеси (циклопесы — циклопы), имеют только по единой ноге и рыщут борзее птицына летания, а егда сядет или ляжет, то ногою от зноя и от дождя закрывается». Как же это, батюшка, об одной ноге? — удивленно посмотрела она на отца.

— А так, дитятко, чудеса Господни неисповедимы,— отвечал царь серьезно.

Девочка как бы смутилась немножко, но снова нагнулась над книгой и что-то искала в ней.

— А вот смотри,— сказала она торопливо,— слушай: «Тамо же есть люди безглавнии, им же есть очи на плечах, и вместо уст и носа имеют на персех по две дыры». Как же это, батюшка? Разве без головы можно жить? — спросила она.

— Не знаю, милая; но у Бога все возможно,— задумчиво говорил Алексей Михайлович.— А где ты взяла эту книгу? — спросил он.

— Мне мама дала ее почитать, а маме ее подарил протопоп Аввакум.

«Аввакум»,— повторил про себя Алексей Михайлович.

---

* Книга эта имеется у автора. *(Примеч. автора.)*

Он опять задумался, опять что-то укором подкатилось к его сердцу. «Может быть, за правду и этот страдает,— думалось ему,— но где правда, где истина... Истина! Иисус же ответа не даде! Боже великий!»

При имени Аввакума он вспомнил, что этот мученик религиозного фанатизма, по его же повелению, прикован на цепь в одной из келий монастыря Николы на Угрешу. А кто прав? Он ли, Аввакум, Никон ли? Двуперстное или троеперстное сложение? Где же истина? «Иисус же ответа не даде»,— ныло у него на сердце.

Видя грустную задумчивость отца, юная царевна стала робко ласкаться к нему, и ему представилась другая такая же сцена: юный Воин ласкается к своему отцу; а теперь этот отец осиротел, и осиротил его он.

Желая отогнать мрачные мысли, Алексей Михайлович машинально берет подаренную царице Аввакумом книгу и читает вслух:

— А, вон оно что! О нашей Европе тут пишется, вишь ты! Европой ее именуют: «Вторая часть сего мира зовется Ефропа, яже простересе по горам, тамо язык германский, Готфы, тамо же величайшая река Дунай...» Вишь ты!— перебил он сам себя.— Дунай, а мою Волгу-то и забыли? А може, мы не в Ефропе живем? Посмотрим, что дальше будет: «...а от моря язык благоизбранный и людие храбри словенстии, яже суть Русь!..» Вишь ты!— улыбнулся он.— Не забыли и нас, спасибо! Ну, ин дале: «таможе-бриляне», это еще что за бриляне? Не вем... «...чехи, ляхи, поляки, варинганы (варяги, надо бы думать), фрязи, микияне (таких не знаю), дауцы, керенгвяне (и таких не слыхал), Фрисляндия и иные многие земли. На другой половине тоя же Ефропы земли Остерляндии, Сунгория, Бесемия, галове, греки, та страна даже до моря».

Книга так заинтересовала Алексея Михайловича, что он присел к столу, а юная царевна взмостилась к нему на колени и обвила рукою его шею.

— Ах, ты, девка! Тяжелая какая стала!— ласково трепал он волосы у девочки.— И не диво, тринадцатый годок уж пошел.

— Нет, батюшка-царь, четырнадцатый!— поправила она отца.

— Ой ли? Ну, совсем невеста, пора замуж!

— Я замуж не хочу!

— Ну, захочешь... Сиди смирно! Посмотрим, что там дале книга пишет.

Он нагнулся и стал читать:

— «И земля Дамасия, в ней же есть источник дивный, иже от него зажигаются свещи...» Дивны дела твоя, Господи! — перебил он себя. — «Тамо и великая гора Олимпус, ее же высота превыше облак, от той же горы начинается земля Италия, тамо украина, именуемая Рим...» Точно, Рим, где папеж живет... «И Галлия, Вритания, тамо Венецыя, юже созда царь Ипутус, оттоле вышла река Рын, и течет по французской земле; подле той реки прилежат мнози велицыи украины, Кастилия, Калония (Каталония!), Местиния, Страсборх, Стерн, потом начинается Испания, к ней прилежат широкие страны, Картеза-град и иные многие. Сие испанское государство лежит все подле моря. К тому государству близ страны, иже есть Вритания и Англия, губернии Канатос; из сих стран вывозят злато. Тамо же на запод край моря страна, нарицаемая Схотия: тамо пришед солнце от восток, скрывается; то есть место, глаголаемое запод; тамо же в море близ остров, на нем же древеса, которые ростут, отнюдь не повалятся; тамо же есть Мерзлое море; в том месте толика студеность, еже тамо невозможно человеку быти».

— Вот, батюшка, — перебила его Софья, — ты все воюешь с поляками, на что они тебе? А ты б завоевал нам рай.

— Какой рай, птичка? — удивился Алексей Михайлович.

— А где великая река Ганг.

И царевна стала перелистывать книгу.

— Ах, все твоя борода мешает, — отвела она рукой пушистую бороду отца, — вот! «Там же есть люди в велицей реце Ганги, — начала она читать, — яже из рая течет», — видишь? из рая... «Те люди имеют овощие, иже из рая пловут, и от тех овоцов питаются живыми ядрами, а иные пищи не требуют, и те овощи осторожно вельми у себя блюдут того ради, понеже они зело боятся злосмрадного всякого обоняния, и теми овощами защищают живот свой; аще, если который из них обоняет какую злосмрадную воню, а тех вышеупомянутых овощев при себе иметь не будет, то вскоре умирает и жив быти не может, яко рыба на суше». Вот, видишь, где рай?

— Вижу токмо, дитятко мое, что дивные творения рук божиих, — задумчиво проговорил государь, — а где уж нам, грешным, рая достигнуть в сей жизни! Хоть

бы после смерти Господь сподобил нас рая пресветлого своего.

Он замолчал. Слышны были только благочестивые вздохи мамушки.

— Что, мамка, вздыхаешь? — спросил ее государь.

— О грехах, батюшка-царь,— отвечала старушка.

Послышался шорох атласного платья, и в дверях светлицы показалась царица Марья Ильишна, как ее тогда называли, а не Ильинишна.

Софья соскочила с колен отца и бросилась к матери.

— Ах, мама! Что мы тут с батюшкой читали! И об рае, и об Ефропе, и об людях без голов! — торопилась, почти захлебываясь, будущая правительница русской земли.

— Где же вы таки чудеса вычитали? — улыбалась Марья Ильишна.

— А в той книге, что ты мне дала, «Книга глаголемая Лусидариус».

— Так и есть таки люди, что без голов? — недоверчиво спросила царица.

— Есть, мама, только у них очи на плечах, а вместо уст и носа на персях по две диры.

— А чем же они едят?

— Должно быть, мама, этими дирами.

— А где они живут?

— В Индейской земле, мама. И есть там люди об одной ноге.

Алексей Михайлович тоже подошел к царице.

— Что, Маша, слышно о протопопе Аввакуме? — как-то робко спросил он, не смея взглянуть ей в глаза.

— Во узах сидит мученик-святитель, на чепи у Николы на Угрешу! — как бы нехотя, но с нервной дрожью в голосе отвечала царица.

— Ты спосылала к нему?

— Спосылала не раз.

— От меня?

— От тебя и от себя: твоим царевым словом умоляла.

— И что ж он?

— Стоит так, чепью окован, руки горе: «Не соединюсь,— говорит,— со отступниками: он,— говорит,— мой царь, мой! Я,— говорит,— не сведу с высоты небесные руки, дондеже Бог его отдаст мне!» И ручки так к небу простирает: «Не сведу,— говорит,— рук с высо-

ты! Не сведу!» Это он к тому, что будто тебя у него отступники отняли.

— Ох, Маша, тяжел мой крест, крест царев! — горько покачал головой Алексей Михайлович.— Тяжела шапка Мономаха! Кто прав? «Где истина?» — повторяю я с Пилатом: «Что есть истина? Иисус же ответа не даде». Помнишь это, Маша?

И царь, задумавшись, повернулся и направился к себе.

— А что молодой Ордин-Нащокин? Так и не сыскали? — кликнула ему вслед царица.

Но Алексей Михайлович ничего не ответил.

VI. СТЕНЬКА РАЗИН В ГОСТЯХ У АВВАКУМА

Что же в самом деле было с Аввакумом, которого участь так горячо принималась к сердцу всею царскою семьей и из-за которого у царя с царицей были иногда очень горькие препирательства?

Он действительно сидел на цепи у Николы на Угреше. Ему, впрочем, не привыкать было к этим цепям, к битью плетьми, палками, к тасканью за волосы, за бороду.

А теперь и таскать было не за что. У него отрезали его святительную бороду, остригли его иерейское украшение, волосы.

— Видишь,— говорил он посланцу царицы, князю Ивану Воротынскому,— полюбуйся, как окорнали меня! Волки, а не люди: оборвали меня, горюна, словно собаки, один хохол оставили, как у поляка, на лбу. Да что говорить! Бог их простит. Я своего мучения на них не спрошу, ни в сей век, ни в будущий, и буду молиться о них, о живых и о преставльшихся. Диавол между нами рассечение положил.

Теперь он был один в своей темнице, лежал на полу, на связке соломы и бормотал что-то про себя. Он был страшно изможден, худ, как скелет, но в энергических, совсем юношеских ясных глазах светилась детская радость. Чему же он радовался? А радовался своим мукам, истязаниям, которым его подвергали в жизни за идею, за двуперстное сложение, за трегубую аллилуию, за букву І в слове Исус, а не Иисус. Он теперь лежал и с детской радостью припоминал все эти истязания.

— Это тогда, когда воевода у вдовы отнял дочь девицу, а я за них заступился, и он воздвиг на мя бури! У церкви его слуги мало до смерти меня не задавили. И аз, лежа мертв полчаса и больше, и паки ожив божиим мановением; но его опять научил дьявол: пришел в церковь, бил и волочил меня за ноги по земле в ризах, а я в то время молитвы говорю. Это раз.

Но ему помешали продолжать перечисление испытанных им истязаний. Кто-то постучался в железную дверь его тюрьмы.

— Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — проговорил за дверью чей-то незнакомый голос.

— Аминь! — с удивлением отвечал Аввакум, потому что к нему в тюрьму никого не впускали, даже посланцев от царицы.

Загремели ключи, три раза щелкнул замок, заскрипела на ржавых петлях дверь, и в тюремную келью вошел неизвестный человек.

Аввакум разом окинул его взглядом и даже как будто смутился. Перед ним стоял могучий широкоплечий мужчина в казацком одеянии, подстриженный в кружало, как стриглись тогда донские и воровские казаки. Широкий лоб обличал в пришельце могучую энергию. Но особенно поражали его глаза: в них было что-то властное, непреклонное; за этими глазами люди идут в огонь и в воду; этим глазам повинуются толпы, было что-то непостижимое в них, что-то такое, что смутило даже Аввакума, которого не смущали ни плахи, ни костры, ни убийственные очи Никона, ни царственный взгляд царя Алексей Михайловича.

Аввакум быстро поднялся с соломы.

— Благослови меня, святой отец! — сказал пришелец повелительным голосом.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, — как-то смущенно проговорил протопоп-фанатик. — Ты кто, сын мой?

— Я казак с вольного Дону.

— А как имя твое, сыне?

— Зовут меня Стенькой.

— Раб божий Степан, значит? А по отчеству?

— Отца Тимошкой звали.

— А разве отец твой помре?

— Да. По ево душе я молился в Соловках да по братней, по Тимофеевой же, что казнили неправедно.

— Как и за что? — удивился Аввакум.

— Казнил его князь Юрий Долгорукий. Брат мой старший, Тимофеем же, как и отца, звали, был у нас атаманом и с казаками ходил в поход супротив поляков, в помощь этому князю Юрью. По окончании похода брат мой оставил Долгорукого и повел казаков на Дон. Мы люди вольные, служим белому царю по нашему хотению, коли казачий круг приговорит. Мы креста никому не целовали на холопство, брат и ушел с казаками домой, а князь Юрий, осерчав на то, обманом заманил к себе брата и отрубил ему голову.

— Царство небесное славному атаману, рабу божию Тимофею,— набожно проговорил Аввакум.— А куда же ты, Степан Тимофеевич, путь держишь?— спросил он.

— К себе на тихий Дон, отче святый. Я иду из Соловок.

— Из Соловок!— удивился протопоп.— Немаленький путь сотворил ты, сын мой, во имя Божие,— подвиг сей зачтется тебе. Как же ты обо мне узнал, миленький?

— Твое имя, отче святый, аки кадило на всю святую Русь сияет,— был ответ.

Аввакум перекрестился.

— Недостоин я сего, сыне, я — пес, лающий во славу Божию за святое двуперстие да за истинную веру,— сказал он смиренно, но глаза его разом засветились,— и буду лаять до последнего издыхания, на плахе, на виселице, на костре, на кресте!

Он заходил было по своей тюрьме, но она была так тесна, как клетка, и он остановился, видимо любуясь своим нежданным посетителем.

— Как же ты, сын мой, попал ко мне во узилище?— спросил он гостя.— Вишь, ко мне никого не пущают; даже вон царицыны посланцы, и те со мною разговаривают через оконную да дверную решетку. Онамедни сам царь приходил, да только походил около моей темницы и опять пошел прочь. И Воротынский бедной, князь Иван, просился же ко мне в темницу; ино не пустили горюна; я лишь, в окно глядя, поплакал на него. А как ты попал ко мне? Чем отпер сердце недреманной стражи?

— Золотым ключом,— был ответ.

— А! Разумею. А что ноне, сын мой, в Соловках творится, в обители святых угодников Зосимы—Савватия?— спросил Аввакум.

— Крепко стоят за двуперстие и Никона клянут.

У фанатика засверкали глаза при имени Никона.

— У! Никонишко, адов пес! — всплеснул он руками.— Ты знаешь ли, как он книги печатал? «Печатай,— говорит,— Арсен, книги как-нибудь, лишь бы не постарому». Так, чу, и сделали! О, будь они прокляты, окаянные, со всем лукавым замыслом своим, а страждущим от них вечная память трижды! Вить ты не знаешь, что у нас делается: за старую веру жгут и пекут, что баранов. Ох, Господи! Как это они в познание не хотят прийти? Слыхано ли! Огнем да кнутом да виселицею хотят веру утвердить! Хороши апостолы с кнутами! Разве те так учили? Разве Христос приказал им учить огнем, кнутом да виселицею? О! Да что и говорить! Зато много ангельских венцов роздали новые апостолы, так и сыплют венцами. А я говорю: аще бы не были борцы, не бы даны были венцы. Есть борцы! Ноне кому охота венчаться мученическим венцом, незачем ходить в Персиду, либо в Рим к Диоклетиану, у нас свой Вавилон! Ну-тко, сынок,— обратился он к Стеньке,— нарцы имя Христово истово — Исус, стань среди Москвы, перекрестись двеми персты, вот тебе и царство небесное, и венец! Ну-тко, стань!..*

— И стану! — громовым голосом отвечал Разин — это был он,— так, что даже фанатик вздрогнул и попятился от него,— и стану среди Москвы, и крикну имя Христово.

Он был величествен в своем негодовании и, казалось, вырос на целую голову. Аввакум смотрел на него в каком-то умилении, в экстазе.— Он сам был весь энергия и сила, а тут перед ним стояла теперь такая силища!

— Слышишь, Москва! Слышите, бояре? Я к вам приду — я везде найду вас! Ждите меня!

Разин остановился, его душило негодование. Потом он стал говорить спокойнее.

— Я прошел теперь всю Русь из конца в конец, от Черкасска до Соловок: везде-то слезы и рыдания, везде голод. А тут, на Москве-то! Палаты что твои храмы божии. Да куда! Богаче церквей. Не так залиты золотом и жемчугами ризы матушки Иверской, как ферязи да кафтаны боярские. А колесницы в золоте, а кони тож в золоте, сущие фараоны! Там корки сухой нету,

* Подлинные слова из «Жития». *(Примеч. автора.)*

а тут за одним обедом съедают и пропивают целые селы, целые станицы. Это ли правда? Это ли побожески?

Аввакум стоял перед ним как очарованный и все крестил его.

— Ох, сыночек мой, богоданный! Степанушко мой, светик! — шептал он со слезами на глазах.

Они долго еще беседовали, и Аввакум со всею пылкостью, на какую только он был способен, с неудержимою страстностью своего кипучего темперамента изобразил такую потрясающую картину смутного состояния умов в тогдашней московской Руси, что в пылкой голове Разина созрел кровавый план завести новые порядки на Руси, хотя бы для того пришлось бродить по колена в крови.

— Будь благонадежен, святой отец, — сказал он с свойственною ему энергиею, — мы положим конец господству притеснителей.

— Как же ты это сделаешь, чадо мое богоданное? — спросил Аввакум.

— Мы начнем с Дона, Яика и с Волги: тех, что голодают и плачут, тех, что объединяются и радуются. Все голодные за мной пойдут, только надо дать им голову. А головой той для них буду я, Степан Тимофеев сын Разин. Жди же меня, отче святый!

— Буду ждать, буду ждать, чадо мое милое, ежели до той поры не сожгут меня в срубе, — говорил фанатик в умилении, обнимая и целуя своего страшного гостя.

Разин ушел, а Аввакум долго стоял на коленях и молился, звеня цепью.

VII. «ЗА КУКЛОЮ ЖЕНИХ ЗАБЫТ!»

Миновало лето. Прошло и около половины зимы 1664 года, и о молодом, пропавшем без вести Ордине-Нащокине уже и забывать стали. Не забывали о нем только отец несчастного да царь Алексей Михайлович. Не могла забыть и та юная барышня, с которой он так грустно простился накануне своего рокового отъезда из Москвы.

Это была единственная дочь боярина, князя Семена Васильевича Прозоровского, шестнадцатилетняя красавица Наталья. Хотя она и оправилась несколько

после постигшего ее удара и тяжкой болезни, молодость взяла свое, однако она в душе чувствовала, что молодая жизнь ее разбита. Куда девались ее живость, неукротимая веселость! Правда, ее похудевшее, томно-задумчивое личико стало еще миловиднее, еще прелестнее; но при взгляде на нее всем, знавшим и не знавшим ее прежде, почему-то думалось, что это молодое создание не от мира сего, что такие не живут среди людей и место их среди ангелов светлых.

Отец, боготворивший ее, хотя угадывал сердцем, какое страдание подтачивает эту молодую жизнь, но он слишком уважал святость ее чувства и с грустью молчал, будучи уверен, что всесильная молодость все победит, что богатства молодости так неисчислимы, так неисчерпаемы, что их никакая сила, кроме смерти, не ограбит, даже не умалит.

Девушка тоже молчала. Чувство ее и ее горе были слишком святы для нее, чтобы в эту святыню мог заглянуть чей бы то ни было взор, даже взор отца или матери.

Однажды, за несколько дней перед Рождеством, отец, желая ее развлечь, накупил ей очень много подарков и разных нарядов, самых изящных, самых дорогих, какие только можно было найти в Москве. Девушка горячо благодарила отца, целовала его руки, голову, лицо, обнимала его, но тут же не выдержала и расплакалась, горько-горько расплакалась.

— О чем ты, дитятко мое ненаглядное, радость моя единственная, о чем же?—испугался и растерялся злополучный отец.

— Батюшка! Милый мой! Родной мой!—плакала она, обливая слезами щеки растерявшегося князя.— Знаешь, мой дорогой, о чем я хочу просить тебя?

— О чем, мое дитятко золотое, солнышко мое? Проси, все для тебя сделаю!

— Батюшка! Светик мой! Отдай меня в монастырь.

— В монастырь! Что с тобой, моя ягодка? Мое дитя! Утеха моя!

— Да, мой родной, отдай: я хочу принять ангельский чин, не жилица я на миру, я хочу быть Христовой невестой.

И несчастная разрыдалась пуще прежнего: слово «невеста» точно ножом ее по сердцу полоснуло.

— Да Господь же с тобой, чистая моя голубица! Господь с тобой, сокровище мое! — утешал ее отец.— Обдумай свое хотение, пощади и меня, старика: на кого ты оставишь меня? С кем я буду доживать свой век, с кем разделю я мое одинокое старчество? Для кого мои добра, мои богатства? *

И он сам горько заплакал, обхватив руками белокурую головку дочери, как бы боясь, что вот сейчас — сейчас она уйдет от него, улетит на крыльях ангела.

— Хоть погоди малость, поживи со мной до весны, дай мне одуматься, с государем переговорить: он же о тебе спрашивал... ты так ему полюбилась... он часто видел тебя в Успенском, как ты молилась там и плакала этими днями. И царевнушка Софья в тебе души не чает: она просила привезти тебя в собор на «пещное действо». Поедем, мое золото, а там подумаем, потолкуем; может... Государь спосылает гонцов в Польшу... может, Бог даст... еще не верно...

Он не договорил, боясь, что зашел слишком далеко. Он сам хорошо понимал, что в доверчивое сердце своей любимицы он забрасывает напрасную надежду; как и все в Москве, он знал, что молодого Ордина-Нащокина уже не воскресить; но ему во что бы то ни стало хотелось подольше удержать дочь от рокового решения... «Молодо-зелено, перегорит, а там еще свежее расцветет»,— думалось ему, и он давал понять девушке, что он что-то знает, чего-то — а чего именно, она сама догадается — он ждет, что им-де с царем что-то известно, а что — пусть сама соображает. Он слепо верил во всемогущество молодости и времени: все переживается человеком, всякие душевные раны, даже, по-видимому, смертельные исцеляет время. Разве он думал, что переживет свою Аннушку, мать этой самой девочки? А пережил. Сколько раз, когда она, такая молоденькая да хрупкенькая, умерла у него на руках, и он свез ее в Новодевичий на погост, сколько раз он пытался наложить на себя руки! Так не попустил: не попустил вот этот невинный ангелочек, вот эта самая Наталенька, вся в мать! Наталенька, что теперь тихо плачет у него на плече. Ее было жаль кинуть одну на белом свете, ее, этого чистого ангелочка, и он

---

* У него было еще два малолетних сына от второй жены; но за какой-то проступок он сослал ее с сыновьями в ее вотчину. *(Примеч. автора.)*

остался жить для нее. И смертельная его рана зажила, закрылась с годами, хоть по временам и саднит, ох, как саднит! Переживет и она свое девичье великое горе, заживет и ее кровавая рана, заживет, Бог милостив.

— Вот ужо повезу тебя, дитятко, на «пещное действо»,—говорил он, лаская всхлипывавшую у него на плече девушку,—а там с государем перемолвлюсь о вестях некиих... кубыть, надо бы надеяться... а Афанасий Лаврентьевич (он знал, что девочка понимает, о ком он говорит), и Афанасий Лаврентьевич, кубыть, повеселяе стал малость... Бог милостив, не оставит...

Он чувствовал, как при этих словах у него на груди, под шитою шелками тонкою срачицею, колотилось сердце его девочки.

— А разве послы наши воротились с польского рубежа?—робко спросила она.

— Воротились, дитятко.

— И Афанасий Лаврентьич?

— И он, золото мое... Сказываю тебе, кубыть, веселяе маленечко стал... Вестимо, Бог его, горюна, не оставит: добер уже зело человек.

Все это он выдумал. Ничего веселого он не заметил в старике Ордине-Нащокине. Видел он его в Успенском соборе, как тот служил панихиду по сыне и плакал. Вот все, что он заметил. Но ему нужно было во что бы то ни стало удержать дочь на краю пропасти, к которой влекло ее ее молодое чувство, ее разбитая любовь и отчаяние.

— Все вот гонцов ждут из Польши, позамешкались они,—на что-то намекал он.

— А далеко, батюшка, эта Польша, Аршав-город?—спрашивала девушка, переставая плакать и отирая слезы шелковою ширинкой.

— Варшава, дитятко, а не Аршав,—поправлял он (тогда наши боярышни в гимназиях не учились),—а далеконько-таки, правда, эта Варшава.

— И там все еретички живут, как наша Маришка-безбожница?

— По-нашему-от еретики, милая, а все же они христианского закону, токмо латынской, папежской веры.

— Сказывают, все красавицы?

— Не все красавицы, милая, люди как люди.

Он знал, к чему она гнет; догадывался, что у нее на сердчишке копошилось, но показывал вид, что ни о чем не догадывается.

— А как у них, батюшка, венчаются? С родительского благословения?

— Вестимо, дитятко. Где ж это видано, чтоб без родительского благословения что ни на есть доброе чинилось, упаси Бог! А который человек делает что без родительского благословения, и от того человека сам Господь отвернется.

Мало-помалу девушка успокоилась, и они решили ехать в Успенский собор на «пещное действо».

«Пещное действо» — это в Древней Руси был особый церковный обряд, не сохранившийся до нашего времени. Он состоял в том, что за несколько дней до праздника Рождества Христова, и обыкновенно в последнее воскресенье, во время заутрени в церкви, в присутствии патриарха и царя, если служба шла в Успенском соборе, изображалась в лицах, «лицедейно», известная библейская история о трех благочестивых отроках — Анании, Азарии и Мисаиле, посаженных в горящую печь по повелению халдейского царя за то, что отроки не хотели поклониться его идолам.

Для этого, по распоряжению соборного ключаря, убирали в соборе большое паникадило, что над амвоном, принимали и самый амвон, а на его место ставили «халдейскую печь». Это был большой полукруглый шкаф без крыши, на подмостке и с боковым входом. Стены «халдейской пещи» разделены были по числу отроков на три части или внутренние стойла, украшенные резьбою, позолотою и приличными «пещному действу» изображениями. Около «пещи» ставились железные «шандалы» с вставленными в них витыми свечами.

«Пещное действо» начиналось обыкновенно с вечерни. Это было нечто вроде увертюры или пролога к самому действу. Начинали благовестом в большой колокол, и благовест отличался особенной торжественностью: он продолжался целый час. Москва вся спешила на это удивительное зрелище, заменявшее ей и наши театры, и концерты, и наши оперы с оперетками, балеты и феерии. Шествовал на это зрелище и царь с своим семейством и с боярами.

Собственно действующих лиц полагалось шестеро, не считая самого патриарха, сослужащего ему духовенства, поддьяков или иподиаконов и двух хоров певчих:

это были «отроческий учитель», три «отрока», самые юные и красивые мальчики из детей белого соборного духовенства, и два «халдея».

Когда Прозоровские, отец и дочь, приехали в собор и вошли в храм, «пещное действо» только что начиналось. Царь и царица уже восседали на державном месте, а около «государя» светилось детским любопытством оживленное личико его любимицы, царевны Софьюшки. Она с необыкновенным интересом наблюдала за всем, что происходило в соборе, все видела, все замечала, почти всех знала и поминутно, хотя незаметно, дергала отца то за рукав, то за полу одежды и передавала ему свои наблюдения, замечания или спрашивала о чем-либо.

Когда вошли Прозоровские, она, «непоседа-царевна», не преминула толкнуть отца. Царь заметил Прозоровских и ласково поглядел на бледное, задумчивое, но прелестное личико княжны. Она заметила; заметила и сочувственно остановившийся на ней взгляд юной царевны, и слабый румянец окрасил ее матовые, нежные щечки.

Собор горел тысячами огней, которые, отражаясь в золотых и серебряных окладах икон, на лампадах и паникадилах, наконец, на золотых и парчовых ризах духовенства, превращали храм в какое-то волшебное святилище. «Пещь», освещаемая громадными витыми свечами в массивных «шандалах», смотрела чем-то зловещим.

Вдруг весь собор охватило какое-то трепетное волнение, все как бы вздрогнули и, оглядываясь ко входу в трапезу, чего-то ожидали.

Это начиналось шествие, начало «действа». Это шествовал сам святитель, блюститель патриаршего престола, ростовский митрополит Иона (патриарх Никон, после неудачной попытки, 19 декабря, воротить свое значение, предавался в этот час буйному негодованию в своем Воскресенском монастыре). Впереди святителя шествовали «отроки» с зажженными свечами. Они были одеты в белые стихари, и юные, розовые личики их осенялись блестящими венцами: что-то было в высшей степени умилительное в этих полудетских венчанных головках.

По бокам «отроков» шли «халдеи» в своих «халдейских одеждах»: они были в шлемах, с огромными трубками, в которые была вложена «плавучая трава», со свечами и пальмовыми ветками.

Процессия двигалась дальше по собору между двух сплошных стен зрителей, напутствуемая тысячами горящих любопытством, тревогой и умилением глаз.

Князь Прозоровский наблюдал за дочерью. Он видел, что глаза ее блестят, нежные щечки рдеют румянцем. Она была вся зрение. Он глянул на державное место, на царицу, на юную царевну. И у них на лицах такое же оживление и восторг.

«Ох, женщины, женщины! — думалось ему,— вы до старости дети; дай вам куклу, игрушку, действо, и вы все забыли... за куклою жених забыт!..»

Святитель вошел в алтарь. За ним вошли и «отроки», только северными дверями.

Халдеи остались в трапезе.

Началось пение поддьяков, к которому присоединились свежие, звонкие голоса «отроков».

VIII. «ПЕЩНОЕ ДЕЙСТВО» *

Собственно «пещное действо» совершалось уже после полуночи, в заутрени, за шесть часов до рассвета.

Внутренность собора еще ярче, чем во время вечерни, горит тысячами огней. Царская семья опять на державном месте, но более торжественно разодетая. Духовенство и святитель еще в более пышных ризах.

И Прозоровские, князь и юная княжна, тоже на своих местах. Только у последней глазки немножко заплаканы: «кукла» ненадолго утешила бедную. В молодой душе засело что-то более могучее и оттеснило собой весь остальной мир. Она думает о гонцах из Польши, о последнем весеннем вечере, когда так безумно пел соловей в кустах. Отец видит это и страдает.

Предшествуемый «отроками» со свечами и «халдеями» с пальмовыми ветвями, святитель опять проходит между стенами молящихся и входит в алтарь. И «отроки» входят туда же.

Утренняя служба началась. Хоры певчих с особенною торжественностью исполняли каноны. Собор гремел богатыми, могучими голосами, которые всегда так любила Москва.

---

* Подробное описание «пещного действа» находится в «Древней российской вивлиофеке», VI, 375 и далее. *(Примеч. автора.)*

Во время пения седьмого канона, где, как известно, упоминаются «три отрока», когда хор грянул «Отроци богомудрии» и когда ирмосы и причеты чередовались по клиросам, на иконостасное возвышение выступил «отроческий учитель» и сотворил по три земных поклона перед местными иконами.

Затем, подойдя и поклонившись святителю Ионе, восседавшему на возвышении против «пещи» в сонме соборного духовенства, возгласил:

— Благослови, владыко, отроков на уреченное место предпоставити!

Святитель поблагословил его «по главе» и с своей стороны возгласил:

— Благословен Бог наш, изволивший тако!

«Отроки» в это время стояли в стороне, лицом к святителю и ко всему собору молящихся.

— Бедненькие! — не вытерпела царевна Софья, вся превратившаяся в зрение.

«Учитель» отошел к «отрокам», обвязал их по шеям убрусами и, когда святитель сделал соответственный знак рукою, передал их на жертву «халдеям».

«Халдеи», взяв «отроков» за концы убрусов, повели их к «пещи»: один «халдей» шел впереди, ведя первого «отрока», за ним два остальные, держась руками друг за друга, а другой «халдей» позади отроков.

Вот, наконец, «отроков» привели к «пещи».

— Дети царевы! — громко возгласил первый «халдей», указывая пальмовою веткой на «пещь».— Видите ли сию пещь, огнем горящу и вельми распаляему!

— Сия пещь,— пояснял другой «халдей»,— уготовася вам на мучение.

«Отрок», изображавший собою лицо Анания, гордо выпрямился и сказал:

— Видим мы сию пещь, но не ужасаемся ея: есть бо Бог наш на небеси, Ему же мы служим, той силен изъяти нас от пещи сия.

— И от рук ваших избавит нас! — Повторил за ним второй «отрок», изображавший Азария.

— А сия пещь будет не нам на мучение, но вам на обличение! — с силою и твердостью заканчивал Мисаил.

— Вот так молодцы отроки! — вырвалось у царевны Софьи.— Не убоялись пещи огненной.

Она сказала это так громко, что даже святитель Иона улыбнулся и многие обернулись к державному

месту. Софья сидела вся красная, и мать укоризненно качала ей головой.

Между тем протодиакон, стоя в царских вратах, зажигал «отроческие свечи», а «отроки», готовясь к мучению, безбоязненно пели:

И потщимся на помощь...

Свечи зажжены, пение отроков окончено. Тогда протодиакон с зажженными свечами направился к святителю и вручил ему свечи.

Затем отроки поочередно подходили к святителю и, получив от него по свече, кланялись и целовали ему руку.

Тогда «учитель» развязывал каждого из «отроков», и святитель благословлял их на мучение.

Выходили затем «халдеи» и вели такой разговор:

— Товарищи!

— Чего?

— Это дети царевы?

— Царевы.

— Нашего царя повеления не слушают?

— Не слушают.

— А златому телу не поклоняются?

— Не поклоняются.

— И мы вкинем их в печь?

— И начнем их жечь!

— Ах, злые, гадкие мучители! — опять вырвалось у юной царевны; но она, спохватившись, сама зажала себе рот рукой.

Тогда «халдеи» взяли под руки Ананию и втолкнули в «пещь».

— А ты, Азария, чево стал? — обращались они ко второму «отроку». — И тебе у нас то же будет.

Брали затем и Азарию и также толкали в «пещь». Потом и Мисаила ввергли к братьям на мучение.

Едва «отроки» ввергнуты были в «пещь», как выходил очередной звонарь с горном, наполненным горящими угольями, и ставил его под пещь. Протодиакон же возглашал:

— Благословен еси Господи Боже отец наших! Хвально и прославлено имя твое вовеки!

«Отроки» повторяли за протодиаконом этот стих, и «халдеи», ходя около печи со свечами, пальмовыми ветвями и трубками, бросали из трубок «плавучую траву» и махали пальмовыми ветвями, как бы раздувая огонь.

В это время протодиакон читал «песнь отроков».

— И прави путие твои, и судьбы истины сотворил еси!

Чтение протодиакона поддьяки сопровождали пением, которое так оживляло и разнообразило оригинальное «пещное действо».

Прозоровский украдкой взглянул в это время на дочь и увидел, что его «девочка опять нашла свою куклу». Это его успокоило.

— Ты не притомилась, девынька? — шепнул он ей.

— Нет, батюшка, таково хорошо действо! — был ответ и ласковый взгляд ясных глаз.

Между тем протодиакон возглашал:

— И распаляшеся пламень над пещию!

А отроки как бы подкрепляли его возглашение:

— Яже обрете о пещи халдейстей!

В это время выступал из сонма духовенства соборный ключарь и подходил к священнику под благословение.

— Благослови, отче, ангела спущати в пещь.

Священник благословлял его, а диаконы брали у «халдеев» трубки с «плавучею травою» и огнем. Протодиакон же громогласно возглашал:

— Ангел же Господень сниде купно с Азарииною чадию в пещь, яко дух хладен и шумящ!

В этот момент сверху появляется ангел с крыльями, со свечою в руке и с громом спускается в «пещь».

При виде с громом спускающегося ангела «халдеи», которые очень высоко держали пальмовые ветки, разом попадали, а дьяконы опаляли их свечами.

Но скоро «халдеи» опомнились от ужаса, но еще боялись подняться.

— Товарищ! — заговорил первый «халдей».

— Чево? — спросил второй.

— Видишь?

— Вижу.

— Было три, а стало четыре...

— Грозен и страшен зело, образом уподобися Сыну Божию.

«Отроки» же между тем ухватились за ангела, два за крылья, а один за левую, конечно, босую ногу. Затем ангел стал подниматься вверх вместе с отроками, а потом сбрасывал их в «пещь» обратно.

Протодиакон снова читал «песнь отроков»; отроки тоже опять пели в «пещи», им вторили дьяки правого, потом левого клироса.

«Халдеи» между тем поднялись с полу, зажгли свои свечи и стояли уничтоженные, с поникшими головами. Они были посрамлены.

А с клиросов неслось стройное пение... «благословите, трие отроцы!».

Ангел снова спускался в пещь «с громом и трясением», а «халдеи» в ужасе падали на колени.

Наконец, ангел совсем улетал, и тогда «халдеи», ободренные этим, подходили к «пещи», отворяли ее, в удивлении стояли без шлемов, давно валявшихся на полу, и вели такой разговор:

— Анания! Гряди вон из пещи!

— Чево стал? — говорил второй «халдей».

— Поворачивайся! Не имет вас ни огонь, ни солома, ни смола, ни сера.

— Мы чаяли, вас сожгли, а мы сами сгорели!

Тогда «халдеи» сами брали «отроков» под руки, выводили из пещи одного за другим, снова надевали на себя шлемы, брали в руки свои трубки с «плавучею травой» и огнем и становились по обе стороны отроков.

Затем протодиакон возглашал многолетие царю, всему царствующему дому и властям.

После славословия протодиакон вместе с «отроками» входил в «пещь» и читал там Евангелие.

Так кончалось «пещное действо».

Прозоровские возвращались домой, когда было еще совсем темно. Свет от факелов и фонарей, сопровождавших кареты и пешеходов, возвращавшихся из собора по домам, освещал иногда внутренность кареты Прозоровских и бледное личико княжны. Она сидела с закрытыми глазами, и отец думал, что она, утомленная продолжительной службой, дремлет.

— Батюшка! — вдруг произнесла она.— Ты так и не говорил с государем?

Он даже вздрогнул от неожиданности.

— Нету, дитятко,— отвечал он,— когда же было? Действо шло... Вот ужо, на смотру.

Девушка опять закрыла глаза. Факелы опять по временам освещали ее бледное, грустное личико.

«Оо-хо-хо! — думалось Прозоровскому.— Девочка опять потеряла куклу».

— А смотр государев рано будет? — снова услыхал он вопрос.

— Рано, ласточка, ты еще почивать будешь.

«Нет, тут не куклой пахнет... Оо-хо-хо!»

IX. БЕГЛЕЦ ВОИН В ВЕНЕЦИИ

Князь Прозоровский напрасно, однако, тешил себя надеждою, что всесильное время и молодость, которую никогда нельзя ограбить, так она богата и всемогуща, возвратят ему его прежнюю веселенькую Натаденьку. Время еще не успело затуманить и вытравить из ее сердца светлые образы ее первого девического счастья, которое она сама погубила своим безрассудством, а молодость, на забывчивость которой он надеялся, молодость, которая везде, в самой себе, в самой этой молодости, найдет новые источники счастья, как богач новые капиталы, эта молодость слишком бурно чувствовала пережитое ею счастье, потому что оно было первое счастье в ее жизни, счастье, в первый раз сознанное, как бы открытое на груди того, кого она сама оттолкнула от себя и погубила его, эта молодость не могла помириться с мыслью, что она уже никогда-никогда не будет трепетать на этой именно груди, давшей ей первые в жизни моменты блаженства, эта молодость жаждала только его, его одного, со всем пылом страсти. Она ждала только его, и его не было.

Она скоро поняла, что гонцы, посланные в Польшу от царя, что намеки отца на то, что он, которого она погубила, жив, что это — куклы, которыми ее, как маленькую, хотели обмануть, развлечь. Она все поняла, и ей захотелось умереть. Но смерть не шла к ней. Так надо похоронить себя заживо. Надо уйти от мира, от людей, чтоб ничто не напоминало ей о жизни, о ее радостях, которые она похоронила вместе с тем, кого любила.

Прозоровский, наконец, должен был сознаться дочери, что молодой Ордин-Нащокин действительно пропал без вести: никакие царские гонцы не в состоянии были найти того, кого уже не было на свете.

Девушка, казалось, несколько успокоилась на этом. Странное, но свойственное любящим успокоение: так

не достанется же он никому, как не достался ей. Теперь ее уже не будет мучить мысль о красавицах еретичках, о польках: ее Воин не достанется им.

Не достанется же и она никому! Монастырь, черническая ряса, клобук, темная келья, вот кому она достанется. Там она будет за него молиться, его ждать в предсмертный час, чтоб там с ним свидеться, там, за гробом.

Она стала торопить отца отдать ее в монастырь, и именно в Новодевичий, где похоронена ее мать. Как ни плакал отец, она оставалась непреклонна.

— Батюшка! — утешала она его.— Все же я останусь твоей дочерью, ты будешь ездить ко мне, видеть меня. Ежели что и переменится, так только имя мое: я уже тогда не буду княжной Натальей, а инокинею или старицею Надеждою.

И она была пострижена и действительно получила ангельский чин под именем Надежды. Все инокини и белицы навзрыд плакали в церкви, когда ее прелестное, бледненькое личико выглядывало из-под черного монашеского покрывала, и на возгласы постригавшего ее святителя Ионы: «откуду еси притекла в обитель сию», или: «подаждь ми ножницы сия!» — она кротко отвечала или покорно нагибалась, чтоб поднять бросаемые святителем на пол, по чину пострижения, ножницы.

Но как плакал ее отец, этого словами люди никогда не сумеют передать.

Между тем вскоре после ее пострижения вот что случилось.

В то время, когда у московских послов кончились переговоры с польскими комиссарами о мире, с обеих сторон последовал обмен пленных и беглых.

Обыкновенно партии этих полоняников пригонялись в Москву, в подлежащий «разряд», а из «разряда», после переписки, их препровождали в патриарший дворцовый приказ для допросов: не осквернился ли кто в полону скоромною пищею, не переменил ли веры, не держал ли там папежскую или иную веру, не бывал ли у «латынского ксенжа» на исповеди или в костеле, не бирал ли «секрамент» вместо причастия, или даже «не бусурманен» ли и т. д.

В числе присланных таким образом в патриарший приказ для допроса был один крепкий старик, который, как оказалось, находился в полону около сорока лет.

Подьячий патриаршего приказа, записывавший его «расспросные речи», глазам своим не верил, чтобы можно было вынести то, что вынес на своем веку этот старик и остался жив и бодр.

Вот что говорил он в своих «расспросных речах»:

— Зовут меня Варсунофей старец. Родина моя — город Москва. В детстве моем отец взял меня в Киев и отдал учиться грамоте. По возрасте был я в дьячках у Николы чудотворца у Пустынного в Киеве же, а забаловавшися хмельным делом, во дьячках не восхотел быть и служил у желныря у Гулявича в Луцку, отдала меня мать в службу тому желнырю за пьянство. И живучи у желныря, по средам и в посты мясо и всякую скверну едал, а в Филиппов и Великий пост мяса не едал. А веру держал папежскую и секрамент дважды принимал. И живучи я у желныря, занемог и обещался опять прийти к Николе в Пустынь, и пришед постригся в меньшой образ; постригал в церкви на обедне тое ж Никольские пустыни игумен Иев Непитущей о Троицыне дни. А тот игумен молил за патриарха царяградцкого за Кирилла...

— Как! — удивился подьячий, закладывая перо за ухо. — За царяградцкого, а не за нашего святителя, за московского и всеа Русии?

— Нету, батюшка, как было, так и сказываю, словно на духу.

— Ох уж эти хохлы! — вздохнул подьячий. — Ну, говори дальше.

— Так молил он, Иев, сказываю, за патриарха Кирилла, да за архимандрита печерского за Елисея Плетенецкого, — продолжал допрашиваемый. — А перманатка и манатья на мне не положена, потому что в большой иноческий образ я не пострижен.

— А как там, у хохлов, крестют? — спросил подьячий.

— По-хохлацки, батюшка, по киевской вере: в крещение обливают, а не погружают, оттого хохлы и слывут обливанцы, и миром, и маслом помазуют. А постригшися, я не причащался. И я про то отцу своему духовному, что я секрамент дважды принимал, сказывал, и отец же духовный положил за то на меня епитемью на два года. А идучи я от Николы в Васильков, и взяли меня в поле в полон ногайские татаровя, будет тому ноне лет с сорок, и свели меня с протчими полоняники в Крым, а из Крыму свели в Козлов

город, а из Козлова продали на рынке в Кафу, а из Кафы продали в Царь-город, и в Царь-городе посадили на катаргу, и был я на катарге лет с тридцать; будучи же я на катарге, по средам и по пятницам, и в великие посты и мясо, и всякую скверность едал, а не басурманен и от христианской веры не отступил. И будучи на катарге в море, отгромили нас шпанского короля немцы, и шпанского короля владетель дука Ференц, дав мне лист, от себя отпустил. И будучи я в шпанской земле, у ксенжа бывал и секрамент не раз бирал, и в костел хаживал, по шпанской католицкой вере маливался, по средам и пятницам и в великие посты, и в иные посты мясо и всякую скверность едал, а у отца духовного не бывал. А из шпанской земли ушел во французскую землю, а изо французской земли шел берегом в тальянскую землю, в город Лигорны, а из Лигорны в Рим, и был в Риме двенадцать ден, и по папину веленью ксенж исповедывал, а секраменту не имал; и будучи в Риме, веру держал римскую и до костела хаживал. Из Риму пошел в осень, о Михайлове дни, в прошлом году, и шел через Веницею, и в Веницеи взяли меня на катаргу; да с катарги меня выкупил русской человек, нашего боярина Афанасья Лаврентьича Ордина-Нащокина сын, Воин Афанасьич...

При этом имени как будто что дрогнуло в приказной палате... У подьячего, записывавшего «расспросные речи» старца Варсунофия, перо выпало из рук, и он с изумлением, не то с испугом, вскочил с места; сидевший за другим столом и что-то писавший приказный, по-видимому, дьяк патриаршего приказа, сухой и лысый старик, тоже вскочил с места...

— Как! Воин Афанасьич, говоришь? — радостно воскликнул он. — Так он жив?

— Живехонек был, милостивец батюшка! Пошли ему Господь здравия на многи леты, — отвечал допрашиваемый, не понимая в чем дело.

— И ты его сам видел и говорил с ним? — допытывался дьяк.

— И видел, батюшко, и говорил.

— Слава тебе, Господи! — перекрестился дьяк набожно. — Вот радость-то будет благодетелю моему, Афанасью Лаврентьичу! А уж по нем давно и сорокоусты читают по монастырям... Ах, Господи! Да расскажи же, старче, как дело было... Садись, старичок. Проша! Дай ему стул!

Подьячий, которого называли Прошей, тот, что записывал со слов старца «расспросные речи», метнулся по приказу, достал и притащил стул.

— Садись, садись, старичок, да расскажи по порядку, как дело было,— волновался и суетился старый дьяк,— сказывай!

Старец сел на стул, набожно перекрестился и начал свой рассказ. Все подьячие сбились около него в кучу и жадно слушали.

— Дак вот, милостивцы мои,— говорил старец-бродяга,— будучи я в Веницее-граде, побирался Христовым именем. Площадь там есть эдакая, что у самого ихнего собора да около дворца, а дога у них, у веницейцов, как бы во место царя правит. Сижу я, этта, на ступеньках под ангелом и пою тихонько каличьий стих, что у нас калики-перехожи поют Христа ради, для милостыньки, пою про Лазаря убогого. Дело, этта, было под вечер. Коли смотрю, милостивцы мои, пловет по морю черна лодочка, гондолой у них называется, длинная такая, а на ней храминка махонька с дверцой и оконцами, словно бы часовенка, вся коврами цветными да кистями золотными изукрашена. Многое множество в Веницее-граде таких гондол, потому город на воде стоит, и коней в городе ни единого, все пеши ходят, либо на носилках, а чаще всего ездят по морю и по каналам в этих самых гондолах. Так и пловет, говорю, этта, така ж гондола мимо тех столбов, где я, горюн-бродяга, сижу. Коли слышу, поет кто-то в гондоле той, да таково сладостно и горько. Владычица Богородица! Меня словно ножом по сердцу резнуло... Слышу, поет... что бы вы думали, соколики мои! О-ох, поет:

Как и не белы-то снежки в поле забелилися!

Господи! Что со мной было! Пятьдесят лет, как меня с Москвы свезли, да где пятьдесят! Более шестидесяти лет, мыкаючись по белу свету да по катаргам, не слыхал я этой песни. А уж пел же он, не пел, а горючими слезами разливался, когда выводил:

А хуть и ночую — всю ночь протоскую!

Как безумный, голубчики вы мои, вскакиваю я изпод того ангела, да за гондолой, бегу и кричу, кричу и плачу: «остановись! погоди!» Так где тебе! Не дошел мой старческий глас до гондолы, так скрылась из глаз моих... Что я слез выплакал за ту ночь, и сказать не

сумею: на катарге, в крымской и турецкой неволе так не плакивал...

И старик дрожащими руками утер катившиеся по его морщинистым щекам слезы. Слушатели, видимо, были тронуты: у них тоже на глазах блестели слезы.

— Ну и что ж, родимый? — прервал общее молчание старый дьяк.

Бродяга как бы очнулся и заплаканными глазами взглянул на окружающих его подьячих.

— Ну и как же потом, дедушка? Сыскал тово, кто пел? — подсказал один из подьячих.

— Да, точно, милостивцы, — заговорил снова бродяга, — проплакавши эдак всю ночь, я наутре опять уселся под тем ангелом. А катарга, на котору меня брали, уходила в море через два дня: я и был слободен, бродил на воле, а бежать, коли б и охота была, некуда, потому море кругом, да и ярлык уж у меня на плече красный пришит был, катаржный, значит: никто б и не перевез меня до берега. Сижу я, этта, опять под ангелом, пою про Лазаря убогого, кто идет — копеечку даст, а то и так послушает, покачает головой и пойдет прочь. Коли эдак к полудню подходит ко мне неведомый человек, стал поблизь меня и слушает, да таково взглядывается в меня. А там и говорит по-нашему, по-московски, да таково радостно: «Здравствуй, — говорит, — землячок! Как тебя Бог занес сюда?» Меня от этих его слов точно варом обварило, узнал я глас, что вчера пел «Не белы снежки». Молодой такой, пригожий, черные власы и бородка. А я стою и слова вымолвить не умею: от радости у меня язык отнялся, потому, в кой-то годы человека увидал с родной сторонушки. Сердечушко во мне заходило, как не выпрыгнет. «Сказывай же, — говорит, — землячок: в неволе томишься? Полоняник? Катаржный?» Я и расскажи ему все про себя, как на духу, откудова и слова брались! «А ты, пытаю его, — кто, отецкий сын?» — «Я, — говорит, — беженец... бежал с родимой сторонушки... бегун... в бегах обретаюсь, и был, — говорит, — допреж сего сынок Афанасия Лаврентьича Ордин-Нащокина, Воин по имени». — «А почто, пытаю его, бежал от отца-матери?» — «С тоски сердечной, — говорит, — бежал». А с чево та сердечная тоска, про то не сказал. «Как же, — говорю, — думаешь впредь быть, Воин Афанасьич? Домой воротишься али здесь, на чужбине, останешься?» — «И сам, — говорит, — не знаю: когда

я был,— говорит,— на Москве, то она так мне опостылела, что не глядел бы ни на что; я,— говорит,— и бежал потому, за морем мне такой рай сулили, что я обезумел,— говорит.— А как помыкался,— говорит,— на чужбине и в польской земле, и во французской, и здеся, в тальянской земле, в Веницее, да такая,— говорит,— тоска лютая к сердцу подступила, что хоша с мосту да в воду, и то впору».— «Дак отчего ж,— говорю,— не воротиться к отцу-матери?» — «Нельзя,— говорит,— этого сделать: мне уж,— говорит,— на Москву путь-дороженька заказана: на Москве,— говорит,— меня плаха ждет. А ты,— говорит,— старче, разве не хочешь на родную сторонушку нести старые кости свои?» — «Как,— говорю,— не хотеть? Сорок лет плачу по святой Руси; а вон опять меня ждет катарга, да и смерть в море незнаемом». Жаль ему меня стало. «Я,— говорит,— землячок, выкуплю тебя из неволи: иди,— говорит,— на святую Русь да поклонись ей от меня горючьми слезами». И сам заплакал, а я с ним. «Поклонись,— говорит,— от меня, блудного сына, батюшке моему рожоному, может, он простит меня. Да поклонись еще»,— говорит... а кому, так и не кончил: еще пуще залился горючьми слезами.

Старик замолчал и задумчиво опустил голову.

— Ну, и что ж, дедушка?— спросил кто-то.

— Выкупил, точно выкупил меня из неволи, пошли ему Господь здравие и спасение!— отвечал бродяга.

— А сам в Веницее остался?— спросил старый дьяк.

— В Веницее, батюшка, да и в Риме хотел побывать.

— А ты сам как же?— спросил его.

— Я, спасибо ему, Воину Афанасьичу, он мне и денег на дорогу дал, я из Веницеи побрел в цысарскую землю, а из цысарской земли вышел в Польшу, в Аршав-город, а из Аршава-города в Литву, а уж из Литвы на русский рубеж: там меня и взяли за приставы и отправили в Москву, в «разряд», а из «разряду» к вам.

— Ну, спасибо тебе, дедушка, за добрые вести,— сказал старый дьяк.— Ты, Проша, пропиши до конца расспросные речи, а я побегу обрадовать благодетеля своего, Афанасия Лаврентьича. Шутка ли, схоронил сына, поминал и сорокоусты заказал, а он, на, поди! живехонек... Ох, младость, младость!

Он торопливо вышел из приказа, но опять скоро воротился.

— От радости чуть было не запамятовал,— говорил он впопыхах.— Ты, верно, голоден, дедушка? — обратился он к бродяге.

— Да, батюшка, сам ведаешь, чем мы, узники, кормимся, от Бога да от добрых людей.

— Так вот что, Проша,— сказал дьяк,— пока я сбегаю к Афанасию Лаврентьевичу, ты спосылай в обжорный ряд да хорошенько накорми дедушку. Не ровен час ево потребует к себе на глаза Афанасий Лаврентьич, чтобы он здесь был.

И дьяк поспешно удалился.

X. «ТВОЙ СЫН — ВОР!..»

Дьяк патриаршего приказа, желая первым сообщить Нащокину радостную весть, чуть не загнал лошадь извозчика, которого он нашел около приказа.

— Гони в мою голову! — торопил он его.— Гони, как на пожар, прибавку получишь знатную!

И возчик гнал, хлестал свою лошадь и кнутом, и вожжами, и даже сам привскакивал на облучке.

— Соколик! Вывози! Грабют! — кричал он.

Этот окрик на московских улицах никого тогда не удивлял: грабежи на улицах в городе, особенно по вечерам, были явлением обыденным. И оттого лошади приучены были к такому своеобразному понуканью и, когда слышали крик ямщика «грабют!», неслись стремглав. Ямщицкое «грабют» до настоящего времени удержалось на наших проселках и даже на почтовых трактах.

— Ой, батюшки, грабют! Режут! — вопил извозчик, несясь по Москве.

К счастью для усердного дьяка, Нащокин был дома.

Уже одно появление гостя в неурочный час почему-то взволновало Нащокина; но радостный вид дьяка несколько успокоил его.

— Батюшка, Афанасий Лаврентьевич! Вам Господь милость свою посылает! — выпалил он, кланяясь и крестясь на передний угол с образами.

— Спасибо, Карп Иваныч, на добром слове,— отвечал хозяин.— Господь и великий государь милостями своими не оставляют; токмо...

— Знаю, знаю, батюшка! — бесцеремонно перебил его гость.— Только ноне эту токму приходится бросить, токму-то эту.

— Какую токму, Иваныч? — не понял Нащокин.

— Да об ней, об этой самой токме ты сам сичас упомянул,— хитро улыбаясь, отвечал он,— ты говорил о милостях, благодарил Бога и великого государя; токмо, говоришь... Знаю я эту токму, это об сынке, об Воине Афанасьиче, токмо-де ево у меня Бог взял... Ан нет! Ноне твоя токма в нетях обретается.

Нащокин начал было уже думать, что дьяк с ума сошел, как тот вновь выпалил:

— Воин Афанасьич живехонек! Поклон тебе прислал!

Нащокин растерялся: жгучая радость охватила было его, но в тот же момент он еще более убедился, что бедный дьяк действительно рехнулся. Он испуганно попятился назад.

— Молись Богу, Афанасий Лаврентьич,— продолжал дьяк,— сынок твой в Веницеи-граде... Здоровехонек... Поклон тебе прислал.

— Что ты! Что ты! — снова испугался Нащокин.— Так это правда? Господи! Да как же это? Ты от кого это узнал?

— Семинут, батюшко Афанасий Лаврентьич, сымал я в приказе расспросные речи с одного полоняника...

— С полоняника, говоришь? Кто же он такой?

— Московский человек, в полону был сорок лет в турской земле и в шпанской земле...

— Ну, а как же сын-от мой?

— Да Воин-от Афанасьич в Веницеи! Да ты погоди малость, не сшибай меня с речей, дай толком, по ряду все рассказать. Полоняник-ту этот был в турской земле на катарге тридцать лет, да с катарги отгромили его шпанского короля немцы, и жил он в шпанской земле, а из шпанской земли ему отпущение дали, потому стар человек; и пришел в италийскую землю, в Рим-город, а из Риму по папину велению в Веницею пришел. Вот в этой самой Веницее он и столкнулся с сынком твоим богоданным. Да и сустрелись-ту они чудно таково, божьим изволением, и рассказать тебе, Афанасий Лаврентьич, дак не поверишь... И «не белы-то снежки», и «ночку-то не ночую»... «а хуть и ночую, всю ночь протоскую»...

Нащокину опять страшно стало: спятил с ума старый дьяк! Как же так? И Веницея, и «не белы снежки», и сын его Воин.

— И он-то, Воин Афанасьич, и выкупил старца Варсунофья с катарги,— продолжал дьяк.

— Да кто этот Варсунофий?—допытывался Нащокин.

— Да полоняник, говорю тебе толком: он и поклон тебе от сына принес.

— Где же он, полоняник твой?

— У меня, в патриаршем приказе сидит, да теперь, поди, жрет, я велел накормить ево в обжорном ряду. Велишь, милостивец, я сам его к тебе приволоку... семинут приволоку... пущай сам тебе расскажет и про «не белы снежки», и про сынка.

Соблазн был слишком велик: Нащокин начинал верить.

— Ну, волоки ево ко мне,— сказал он,— да допрежь выпей у меня, подкрепись, пойдем в столовую избу.

Через несколько минут дьяк уже опять гнал по Москве.

— Соколики, грабют! Режут!—опять слышалось вдоль Неглинной.

Наконец, полоняник был привезен к Нащокину и вторично рассказал ему свою бесконечную Одиссею. С неизъяснимым волнением слушал его Афанасий Лаврентьевич. Надо знать состояние умов тогдашней Руси, смутное и ужасное представление москвичей о заморщине, чтобы понять душевное потрясение отца, узнавшего, что сын его, одинокий, покинувший родину, бродит по этой незнаемой чужедальной стороне. Если и имелось тогда, даже относительно у образованных москвичей, смутное представление о «Ефропии», то разве только по «Лусидариусу», из которого москвичи узнавали, что где-то за Аглицкой землей солнце доходит до «запада» и опускается в море, что великая река Ганг течет из рая и приносит с собою какие-то райские овощи; что есть люди с песьими головами, или одноногие, или даже без голов, с глазами на плечах и т. п. Конечно, Ордин-Нащокин, умный дипломат и по тогдашнему времени западник, был выше этих детских представлений о «Ефропии»; он знал, что такое «Веницея»; но знать, что там где-то, за рубежом, в качестве беглеца и «вора» (по-тогдашнему «вор» —

государственный преступник), скитается его милый Воин, это было выше его сил.

— Ну, и как же, говоришь ты, старче божий, плакал мой сын, когда прощался с тобой?— спрашивал он своего дорогого гостя.

— Плакал, боярин, горько плакал.

— И велел мне кланяться?

— Земно, говорит, кланяюсь моему богоданному родителю и прошу, говорит, его родительского благословения.

— Ну, а насчет сердечной тоски?

— Сказывал и о сердечной тоске, а в чем и с чего та ево сердечная тоска, тово не сказал.

Нащокин начинал догадываться, что это была за «сердечная тоска». В последнее время он что-то замечал за сыном: его частая задумчивость, томный взгляд, иногда беспричинная ласковость к нему, а потом видимая тоска, ясно, что у него было что-то на сердце...

«Была зазноба,—решил он теперь в уме,—но для чего было бежать?»

«Блудный сын!»—вспомнилось ему «комидийное действие», которое недавно сочинил Симеон Полоцкий и приносил ему для прочтения.

— Ну, а про то не говорил, чтоб воротиться ему с повинной?—который уже раз спрашивал огорченный отец.

— Говорил, как не говорить! Да только, говорит, мне в Москву уж путь-дороженька заказана: не видать-де мне родной стороны.

— Что так?

— А плаха, говорит, ждет меня на Москве.

— А про то не говорил, кто ево провел за рубеж?

Теперь Нащокину вспомнился прошлогодний рассказ порубежного старика, что в лесу над речкою Гордынею лыки драл: он говорил, что из лесу тогда, весной, о Николине дне, трое выехало за рубеж, а один из них одвуконь. Ясно, что ему указали дорогу за рубеж; у него были соучастники; но кто? Поляки? Не учителя ли из польских полоняников подвели так? Ну, заплатили за хлеб-соль.

— А про царские деньги ничего не сказывал?— снова допытывался он.

— Нет, болярин, про деньги не было речи; про деньги не было речи; а что мне дал малость на дорогу,

это точно, да и меня с катарги выкупил, пошли ему Господь здравие.

Хотел было Нащокин спросить и про бумаги из приказа тайных дел, что царь поручил Воину отвезти к отцу, но раздумал. Конечно, сын его не говорил об этом с полоняником, никакого резону не было. Бумаги, конечно, он уничтожил, если не передал полякам. А если передал, то это усугубляет его страшное преступление. Не потому ли так неподатливы были польские комиссары, коронный канцлер Пржамовский и гетман Потоцкий, при заключении мира в Андрусове? Эта мысль терзала Нащокина. Что может подумать царь, когда узнает о преступлениях и предательстве его сына? Продать отечество? Из-за чего?

«Сердечная тоска»... Тут что-то непонятное... И почему княжна Наталья Прозоровская, такая юная, такая красавица, без всякой видимой причины пошла в монастырь, постриглась в шестнадцать лет? С какой стати сам Прозоровский, князь Семен, так часто спрашивал его о Воине, есть ли какие слухи? Жив ли он? Вот откуда эта «сердечная тоска» и это пострижение княжны... Что между ними было? Почему так все склалось? За что, для чего погубили себя и тот, и эта?

Но всего больше терзала его мысль о том, что его Воин изменил России, царю, который так был милостив к нему. Как теперь он, Афанасий, покажется на глаза великому государю? Нечего сказать! Воспитал сынка на позор себе, на позор всей России. Что теперь скажут его враги, этот «Тараруй» и вся его роденька, когда узнают о преступных делах его сына? А они скоро узнают.

Уж лучше бы его в самом деле убили! Не было бы тогда бесчестия на его седую голову. Все бы жалели, как теперь жалеют, бедного отца. А то теперь вся Москва заговорит: «У Афанасья, у царского любимца и гордеца, сын вор! Воровством ушел за море и за морем ворует! Не фыркать было Афанасию на Москву, Москва-де старыми непорядками держится, надо все новое в ней завести, с иноземного, с заморщины! Вот тебе и завел, родного сынка вором сделал! В Пскове мужиков во место воеводы посадил. Хороши новшества, нечего сказать! Ай да Афанасий Ордин-Нащокин!»

Казалось, он уже слышал эти укоризны, видел злорадные лица врагов, перешептыванья, лукавые улыбки...

И зачем явился этот полоняник? Зачем рассказал все?

— Ах, зачем его не убили? — невольно вырвалось у него отчаянное восклицание.

«Вор, твой сын вор!» — шумело у него в ушах.

Теперь он, казалось, возненавидел этого старца-полоняника, которому сначала так было обрадовался. Он, этот старик, принес ему роковую весть, принес позор на его голову! Он, казалось, ненавидел и дьяка патриаршего приказа, способствовавшего перенесению к нему роковой тайны. Пусть бы лучше служили сорокоусты по его сыне, чем теперь будут благовестить везде о его позоре.

Сказать дьяку, чтоб все это замял, что никакого полоняника не допрашивали, уничтожить самые «расспросные речи», а его самого сослать в такое место, куда ворон костей не занашивал?

Да, сослать, «расспросные речи» сжечь, дьяку рот запечатать! Он, Афанасий Ордин-Нащокин, все это может сделать, он силен в Московском государстве, он правая рука царя...

К вечеру Ордин-Нащокин слег, он не выдержал страшного душевного потрясения.

В горячечном бреду он шептал: «Как я покажусь на глаза великому государю!... Он скажет мне: «Афанасий! Твой сын — вор!»

XI. «ВОЗЬМИ СВОЙ ОДР И ХОДИ...»

Между тем наверху, у царя, вот что происходило.

Алексею Михайловичу в тот же вечер успели доложить, что сынок Афанасия Лаврентьевича не убит и не пропал без вести, а проявился за морем, во граде Веницее; что там он гуляет в немецком платье, «пьет богомерзкую табаку» и играет в зернь; что словами своими бесчестит Московское государство и его, великого государя; что он вывез с собою за море столько денег, что швыряет ими направо и налево и выкупает с каторги полоняников; что, наконец, собирается в Рим, к папе, чтоб перейти там в папину веру, а свою православную веру ногами потоптать. Говорили намеками, что Афанасьевы новшества к добру не приведут.

Вообще все это говорилось осторожно, с оглядкою, неровен-де час.

Алексей Михайлович слушал все эти подходы, но своего мнения не высказал, хотя и выразил сожаление об отце, обманувшемся в любимом сыне.

Его только одно удивляло, почему сам Афанасий не явился к нему, чтоб лично доложить обо всем, что он узнал.

Потому на другой день, рано утром, государь приказал позвать к себе Ордина-Нащокина. Посланный воротился и доложил следующее: Афанасий Лаврентьевич так убит, что опасно занемог и не может головы поднять с подушки; что всю ночь он метался и в бреду все повторял: как он теперь явится великому государю на очи. Боятся, как бы старик со стыда и горя, когда придет в себя, рук на себя не наложил.

Это известие так встревожило государя, что он тотчас же пошел на половину царицы, чтоб посоветоваться. В таких делах женский ум может иногда скорее разобраться, чем мужской: в деле Нащокина затрогивалась область семьи, область сердца, а тут женщина дальновиднее мужчины и найдет разгадку там, где мужчина, может быть, и искать не будет. Он же так любил Афанасия, что ему страшно было потерять его.

У царицы он застал свою любимицу Софьюшку. Юная царевна все носилась с своим «Лусидариусом». Он ей просто спать не давал, так эта книга волновала ее воображение. Теперь ей не давал спать вопрос о том, где собственно находится рай на земле; а что он был на земле, из «Лусидариуса» это ясно как день.

— Как же, мама,— горячилась она,— тут именно глаголет «Лусидариус», что первая часть мира сего есть Азия, в ней же восходит солнце, от рая же исходит источник един, из того источника текут четыре реки: едина нарицается Виссон; егда же изыдет из рая, тогда именуется Гангия... Ну, видишь, мамочка, на земле рай.

— Кажись бы, на земле,— отвечала Марья Ильишна.

— Так, мамочка,— продолжала Софья,— ну, слушай: «вторая река Гедеон; егда же изыдет из рая, нарицается Нил; третья Тигр; четвертая Ефрат».

— Так, так, милая,— задумчиво соглашалась царица.

— Как же, мамочка, в рай попасть? Можно? — приставала неугомонная девочка.

— Нет, нельзя, милая: вить Бог Адама и Еву изгнал из раю.

— Так что ж, мама! Он согрешил, яблочко съел, а мы не ели.

Царица невольно рассмеялась.

— Дурочка еще ты, вот что.

— Нет, мама, а ты слушай,— настаивала Софья,— тут пишется, что до рая человеку сущу во плоти дойти невозможно...

— Видишь?— перебила ее Марья Ильишна.

— Нет, а ты слушай: понеже, говорит, облежат рай великие горы и чащи лесные; подле оных лесов великие поля, широты и долготы презельные, и на тех полях много превеликих драконов иных лесных зверей; потом начнется ближе всех к тем местам край земли — Индия земля и великая река Индус, яже течет из горы Кауказосы и течет в Чермное море. В тое землю трудно дойти человеку, понеже на единой половине в Вендейское море течет река превеликая Индус, и прележит ко границе великое море, яко возможно по нем прейти в четыре лета... Так как же, мамочка,— волновалась Софья,— коли невозможно в четыре лета перейти сие поле, то в пять можно? Говори же, мама, можно?

За этим горячим разговором застал их Алексей Михайлович.

— Чево Софья-то из себя выходит?— спросил царь.

— Да все вот рай хочет найти,— улыбнулась государыня.

— Рай?— обратился Алексей Михайлович к дочери.— Уж и ты не хочешь ли по Воиновым следам идти?

— По каким Воиновым следам, батюшка-царь?— удивилась Софья.

— А сынка Афанасьева Ордина-Нащокина.

— А что, батюшка?— встрепенулась царевна.

Она знала, что Воин пропал без вести. Она знала этого Воина, красивого молодца, часто видела его и во дворце, и в церкви и была к нему, по-своему, конечно, по-детски, очень неравнодушна. А потому она очень покраснела, когда отец упомянул его имя.

— Что ж Воин?— не глядя на отца, переспросила она.— Вить его давно нет на свете.

— Нет, дочушка, здравствует, и так же, как ты вот, дорогу в рай отыскивает,— серьезно отвечал Алексей Михайлович.

И царица и царевна посмотрели на него в недоумении.

— Ты шутишь, государь? — спросила первая.

— Не до шуток мне, матушка-царица,— грустно отвечал царь.— Я пришел к тебе об этом именно и посоветоваться. Воин отыскался, жив и невредим.

— Ах, батюшка! — невольно воскликнула Софья.

— Подлинно говорю, жив,— продолжал Алексей Михайлович,— и ноне во граде Веницее обретается. Отай ушел он из Московского государства, беженцем, как блудный сын, и своим воровством отца убил: Афанасий, узнав про воровство сынка, зело занемог. Да и каково отцу, и то надо сказать. Всю ночь ноне, говорят, Афанасий-ту огнем горел и метался: «Как я,— говорит,— теперь великому государю на очи покажусь?» Смерти бедный старик просит.

— Ах он, горемычный! — соболезновала царица.

— И мне его жаль, ах, как жаль! — повторял Алексей Михайлович.— А как поправить дело? Что делать, я и ума не приложу.

Царица задумалась. Все молчали. Софья тихо ласкалась к отцу и вопросительно глядела в его задумчивые глаза.

— Как-никак, а старика надо пожалеть,— сказала Марья Ильишна,— верный старик, царства твоего и твоего государского покоя рачитель, ево поберечь надоть, утешить.

— И я так думаю, Маша,— согласился «тишайший».

— А с сынком расправа после,— пояснила царица.

— А что Воину будет, батюшка? — тревожно спрашивала отца Софья.

Она была девочка умная, всегда любила быть с большими и потому она многое знала, что говорилось и делалось при дворе: оттого, может быть, она и вышла из ряду вон, стала необыкновенным явлением среди женщин XVII века.

Алексей Михайлович не отвечал на ее вопрос, а только погладил ее голову.

— Ты права, Маша,— повторил он,— утешим старика, и понеже, нимало не помедля: я напишу ему сам, успокою его. А то долго ли до греха! Помрет старик с печали и со страху. Пойду напишу.

И Алексей Михайлович поспешил к себе.

— Вон оно, дочка, что значит рай-ту искать,— сказала Марья Ильишна.

— А разве, мама, он рай искал? — встрепенулась Софья.

— Вестимо. Тесно, вишь, и душно ему стало в Московском государстве: пойду-де и я поищу, где солнце встает и где оно заходит. Ишь новый Иван-царевич выискался, поехал жар-птицу искать да моложеватые яблоки! Живой-ту воды не нашел, а мертвой-от водицы родителю прислал. Утешил старика!

— А что ему за это будет, мама? — робко спросила Софья.

— Ну, не похвалит за это государь.

— Казнить велит?

— Не знаю: а только не похвалит.

— Ево, мама, привезут из Веницеи?

Софья что-то вспомнила и бросилась к своей излюбленной книге, к «Лусидариусу». Она торопливо перевернула несколько страниц и остановилась.

— Так вон он где теперь, Воин, в Венецыи,— сказала она, что-то соображая; потом прочла: «Там Венецыя, юже возда царь Упутус, оттоле вышла река Рын и течет по французской земле...» Ах, мама, куда он зашел! Вот молодец!

— Смотри, как бы этому молодцу не пришлось отведать этой Венецыи в Москве,— заметила царица.

Но Алексей Михайлович оказался добрее, чем думала Марья Ильишна.

Когда Ордин-Нащокин, после мучительно проведенной ночи и тревожного утра, к полудню забылся сном, ему принесли от царя письмо.

Сон несколько подкрепил несчастного старика. Открыв глаза, он увидел перед собою улыбающееся лицо Симеона Полоцкого.

— Великий государь тебе милость прислал, Афанасий Лаврентьевич,— сказал он с южно-русским акцентом,— бальзам на раны.

— Какую милость? — испуганно спросил Нащокин.

— Говорю: бальзам на раны,— повторил вкрадчиво хохол,— возьми одр твой и ходи; прочти сие!

Он подал ему письмо Алексея Михайловича.

Руки Нащокина дрожали, когда он распечатывал его; но когда стал читать, слезы умиления полились у него из глаз; царь утешал его, просил не предаваться отчаянию, оправдывал даже его преступного сына.

Нащокин не мог дольше сдерживать себя: он вслух восторженно прочел окончание царского письма:

«Твой сын — человек молодой, — читал он, глотая слезы, — хощет воздание Владычне и руку его видеть на сем свете, якоже и птица летает семо и овамо, и, полетав довольно, паки к гнезду своему прилетит. Так и сын твой вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание ко святой купели и к тебе скоро возвратится».

Нащокин с благоговением целовал послание царя, целовал и плакал.

— Возьми одр твой и ходи, — повторял Семеон Полоцкий.

XII. СЛЕПЦЫ ВОЖАТЫЕ

Во все время, пока продолжались переговоры русских или, вернее, московских послов с польскими комиссарами о мире, военные действия не прекращались ни с той ни с другой стороны; но только, если можно так выразиться, боевая линия, с весны 1665 года, передвинулась гораздо южнее. Война шла почти исключительно, можно сказать, в пределах правобережной Украйны, к западу и югу от Киева.

В то время правобережная Украйна совершенно отпала от Малороссии и имела своих гетманов, польских и турецких ставленников, как Юрий Хмельницкий[4], Тетеря и другие. Вся же левобережная Украйна и Запорожье находились под главенством гетмана Брюховецкого, посланцев которого мы уже видели в Москве, весною 1664 года, на аудиенции у Алексея Михайловича в столовой избе, где мы в первый раз увидели и Воина Нащокина.

Весною 1665 года Брюховецкий с несколькими украинскими полками и великорусскими ратными людьми перешел на правую сторону Днепра. С польской же стороны против него шел знаменитый польский полководец Чарнецкий с не менее знаменитым коронным хорунжим Яном Собесским[5], впоследствии королем Речи Посполитой, с Махновским, с гетманом Тетерею и другими.

Чарнецкий двигался по направлению к Суботову, некогда бывшему владению Богдана Хмельницкого, где когда-то этот последний держал у себя в плену

этого самого Чарнецкого, посла поляков при Желтых Водах.

Брюховецкий же в это время стоял ниже Чигиринца, у Бужина, где тогда находился и запорожский кошевой Серко с своими казаками.

Весенний день близился к вечеру, когда один из передовых отрядов польского войска, среди пересекающихся лесных дорожек, троп и болот, как казалось его предводителю, сбился с пути. В это время на одной из боковых тропок из-за болота показались трое путников. Это были бродячие нищие, слепцы, которых там называют «старцями» и которые, как великорусские «калики перехожие», бродят по ярмаркам и распевают духовные стихи, думы, а иногда и сатирические песни, по желанию слушателей. Иногда они поют и под звуки лиры, кобзы или бандуры, почему и называются то лирниками, то кобзарями, то бандуристами.

Завидев слепцов, польские жолнеры остановили их. Двое из них были слепые — один старик, другой помоложе, а третий — мальчик, их «поводатырь» или «мехоноша». У всех у них было в руках по длинному посоху, а за плечами крест-накрест висели сумы для подаяний.

— Вы здешние, хлопы? — спросил их усатый шляхтич со шрамом на щеке.

— Тутошни, панове,— отвечал старший слепец.

— А дорогу до Суботова хорошо знаете? — спрашивал дальше шляхтич.

— Как же не знать, панове,— отвечал младший.— Вы сами, бувайте здорови, ведаете, что жебрака, как и волка, ноги кормят: как волк знает в лесу все дорожки, так и слепцы жебраки.

Некоторые жолнеры рассмеялись.

— И точно волки, а малец совсем волчонком смотрит. Ты чей?

— Ничей,— бойко отвечал мальчик.

— Как ничей? — удивился шляхтич.

— Ничей, пане: моего батька татары зарезали, а мать в полон увели.

— А это за то, что вы против панов все бунтуете.

— Мы не бунтуем, пане.

— Ладно! Так показывайте нам дорогу до Суботова. А сегодня мы туда дойдем?

— Не скажу,— отвечал старший.

— Как не скажешь, пся крэв! — вспылил шляхтич.

— Не скажем,— повторили оба слепца.

Шляхтич замахнулся было палашом, чтоб ударить того или другого за дерзкий ответ, как его почтительно остановил один из городовых казаков, родом украинец.

— Они, вашимость, не не хотят сказать, а не знают ее,— сказал он,— это такая хлопская речь: когда они чего не знают, то говорят «не скажу».

— Так, так, паньство,— подтвердил старший слепец,— уж такая у нас, у хлопов, речь поганая. А сдается мне, панове, что сегодня вы не дойдете до Суботова, далеконько еще.

— Так марш вперед! — скомандовал шляхтич.

Скучившиеся было около слепцов жолнеры расступились, и отряд двинулся. Где-то позади какой-то хриплый голос затянул:

Wyszla dziewczyna wyszla iedyna,
Jak rózowy kwiat,—

и тотчас же оборвался. Слышны были шутки, перебранки, смех.

— А пусть жебраки запоют какую-нибудь думу, все будет веселее идти,— предложил городовой казак с огромной серьгой в ухе.

— И то правда! Пусть затянут свою хлопскую думу,— согласились другие.— Эй вы, слепаки! Затяните-ка думу, да хорошую!

— Какую же вам, панове? — отвечал старший слепец, не оглядываясь, но ощупывая посохом путь.

— Какую знаете,— был ответ.

Слепцы тихонько посоветовались между собою, и младший из них, вынув из-под полы своей ободранной «свитици» бандуру, стал ее налаживать и тихо перебирать пальцами струны. Скоро он затянул одну из любимейших для каждого украинца думу, «Невольницкий плач», думу, содержание и мелодия которой хватали за душу каждого, потому что в то время чуть ли не из каждой украинской семьи кто-либо томился в крымской или в турецкой неволе. Скоро и второй голос присоединился к первому, и оба голоса, равно как и мелодия думы, буквально рыдали.

Дума говорила о том, что не ясный сокол плачет-выкрикивает, а то сын к отцу-матери из тяжкой неволи в города христианские поклон посылает, ясного сокола

родным братом называет: «Сокол ясный, брат мой родненький! Ты высоко летаешь, ты далеко видишь, отчего ты у моего отца и матери никогда в гостях не побываешь? Полети ты, сокол ясный, брат мой родненький, в города христианские, сядь, упади у моего отца и матери перед воротами, жалобно прокричи, про мою казацкую участь припомяни. Пусть отец и матушка мою участь казацкую узнают, свое добро-имущество с рук сбывают, богатую казну собирают, головоньку мою казацкую из тяжкой неволи вызволяют! Потому что как станет Черное море выгравать, так не будут знать ни отец, ни матушка, в которой каторге меня искать, в пристани ли Козловской, или в Цареграде на базаре. А тут разбойники, турки-янычары, станут на нас, невольников, набегать, за Красное море в Арабскую землю продавать, будут за нас серебро-злато, не считая, и сукна дорогие поставами, не меряя, без счету брать...»

Воодушевление певцов росло все больше и больше. Слушателям, особливо же из городовых казаков, которые все были чистейшие украинцы, казалось, что это поют и плачут сами невольники, измученные, ослепленные мучителями-янычарами, что действительно они обращаются к соколу, к ясному солнцу, к небесному своду. Все толпились поближе к певцам и слушали-слушали, затаив дыхание или же украдкой смахивая со щеки предательскую слезу. А они, поднимая свои слепые глаза к небу, пели все с большим и большим воодушевлением. Самая бандура, совсем нехитрый инструмент, и та, казалось, рыдала, и у нее дух захватывало от рыданий.

Потом бандура и голоса певцов как-то обрывались, и этот перерыв еще больше томил душу слушателя: казалось, он ждал, что же будет дальше в этом безбрежном море печали.

А бандура опять тренькала, сначала один голос, потом другой, и снова раздавался невольничьий плач и проклятие:

«Будь ты проклята, земля турецкая, вера бусурманская! Ты наполнена сребром-златом и дорогими напитками, только бедному невольнику на свете не вольно: ни Рождества Христова, ни Светлого Воскресенья бедные невольники не знают, все в проклятой неволе, на турецкой каторге, на Черном море изнывают, землю турецкую, веру бусурманскую проклинают:

ты, земля турецкая, ты, вера бусурманская, ты, разлука христианская: не одного ты разлучила за семь лет войною, мужа с женою, брата с сестрою, детей маленьких с отцом и матерью! Высвободи, Боже, бедного невольника на святорусский берег, на край веселый, меж народ крещеный!»

— Поганая песня! Самая хлопская! — послышалось среди жолнеров.

— Спойте другую, а то мы уснем. Пойте веселую!

— Вот что, люди божии, спойте им про казака, что штаны латает, либо про Пазину! — со смехом отозвался городовой казак с огромной серьгой в ухе.

И вдруг неожиданно старый слепец, повернувшись лицом к жолнерам и взяв бандуру у товарища, быстро забренчал и, семеня ногами, запел:

Хто попа й попадю,
А я Пазину люблю,
Люблю у день и в ночи
Ясне свитло гасючи
На Пазини корали —
Сто золотых давали.
А ни батько купив,
А и мати дала:
Сама добра була —
С козаками добула.
Здобула, здобула —
Бо хороша була!

— Ай да дед! Виват! Виват! — кричали жолнеры.

А слепец, серьезно отплясав, снова повернулся и зашагал, ощупывая посохом дорогу.

— Еще веселой! Еще, старче Божий! — не унимались жолнеры.

Старик опять повернулся к ним лицом, повел слепыми очами, в которых видны были только белки, взял у товарища бандуру и, перебирая по струнам пальцами, залихватски затренькал и стал выделывать ногами невообразимые выкрутасы, приговаривая:

Баба рака купила,
Три полушки дала,
Тричи юшку варила,
Добра юшка була!

Снова взрыв хохота и одобрительные возгласы.

— Да, эти хлопы хоть куда! Превеселый народ! А еще говорят, что под польскою властью им не хорошо живется: если б в самом деле было не хорошо, то не выдумали бы таких песен.

Между тем начинало темнеть. Пора было и привал делать.

— Эй, слепаки! — крикнул шляхтич с шрамом на щеке.— Далеко еще до Суботова?

— Далеконько, пане,— был ответ.

— Засветло не дойдем?

— Где дойти, пане, не дойдем.

— Так делать привал! — скомандовал шляхтич.

Приказ начальника облетел весь отряд. Задние ряды также остановились. Надвигались задние отряды и располагались у опушки густого леса.

Скоро по всей равнине запылали костры. Слышался смешанный гул голосов, ржанье коней, хлопанье бичей. У одного из крайних к лесу костров расположились и слепцы, сняв с себя сумки, и слышно было, как тихо тренькала бандура и так же тихо, монотонно раздавался голос младшего слепца, который пел:

Летит орел проти сонця,
  Згорда позирае:
Хто не знае коханнячка,
  Той счастя не знае.
Плыве козак через море,
  В мори потопае:
Хто не знае коханнячка —
  Той журбы не знае.

Скоро весь польский стан, утомленный продолжительным переходом, спал крепким сном. Скоро и костры потухли.

XIII. ВМЕСТО КАРАСЯ — ЩУКА

Ночь была тихая, теплая, но темная. В такие ночи особенно ярко горят звезды.

Тихо было и в стане. Слышно было, как иногда фыркали лошади, позвякивая путами, но и те, кажется, поснули. Не спал только соловей, задорно щелкавший в соседней чаще, да иногда из этой чащи доносился глухой стон «пугача» филина.

Как ни была темна ночь, но при слабом мерцании звезд хороший глаз мог различить на белом фоне разбитой у опушки леса палатки человеческую тень, которая медленно шевелилась, то нагибаясь к земле, то поднимаясь. Всматриваясь пристальнее, можно было заметить, что от одного из потухших костров, именно от того, около которого расположились на

ночлег слепые нищие, тихо отделились две человеческие фигуры и так же тихо поползли по направлению к той палатке, на белом фоне которой шевелилась человеческая тень.

Когда те две тени, которые отделились от костра, неслышно подползли ближе к палатке, то по движениям той одинокой тени они могли различить, что эта одинокая тень молится.

Две тени все ближе и ближе подползают к палатке.

Вдруг эти тени моментально накрывают собою молящуюся тень, наклонившуюся к земле. Произошло какое-то движение, борьба, но ни звука.

Так же беззвучно эти тени понесли что-то в кусты и исчезли в чаще леса. Около палатки одинокой тени уже не было.

В стане опять тихо, ни звука, ни движения. В чаще, между трелями соловья, глухо простонал филин. Ему ответил, ближе к стану, такой же стон ночной птицы.

Но не ночная птица стонала это. Крик филина раздался из горла одной из человеческих теней, пробиравшихся в глубину лесной чащи и тащивших ту одинокую тень, которая молилась у палатки.

— Не крутись, ляше, не выпустим,— шепотом сказала одна тень, и в этом шепоте можно было узнать голос того слепого нищего, который недавно пел у костра:

Хто не знае коханнячка —
Той счастя не знае.

— Не бойся, ляше, мы тебе ничего не сделаем,— говорил шепотом другой голос, голос другого слепца,— а пуще всего не вздумай кричать, так и всажу меж ребер вот этот нож по самый черенок.

Тот, к кому относились эти слова, силился что-то сказать, но не мог, у него во рту был «кляп».

— Ну, теперь его можно и на ноги поставить,— сказал старший нищий, мнимый слепец,— ну, ляше, иди с нами, а то тебя важко нести. Ну-ну, ляшенку, вставай... держись... мы люди добрые.

Они опустили ношу на землю. Тот встал и набожно перекрестился.

— А! Да лях, кажись, по-нашему крестится,— заметил один нищий,— а ну, ляше, перекрестись.

Пленник перекрестился.

— Вот чудо! А побожись, перекрестись, поклянись, что не будешь кричать, и мы у тебя «кляп» вынем изо рта. Ну!

Пленник повиновался и перекрестился три раза.

Стон филина послышался ближе. Ему отвечал один из нищих таким же стоном.

— Ну, вот теперь ты и без «кляпа», ляше.

Пленному освободили рот от затычки.

— Ну, теперь здравствуй, ляше, вашмосць! Мам гонор,— шутливо заговорил старший нищий,— сказывай, пан, кто ты?

— Я не поляк, я русский из Московского государства,— отвечал пленный чистою московскою речью.

Те были ошеломлены этой неожиданностью.

— Как! Ты не лях? Оттака ловись!

— Вот поймали щуку замесь карася! Как же ты попал к ляхам?

— Меня польские жолнеры взяли в полон, когда я из Мультянской земли, от волох, пробирался в Черкасскую землю, в Киев-град, к святым угодникам печерским,— отвечал пленник.

— Те-те-те! Вот подсидели райскую птицу!

— Как же ты, человече, попал к волохам?— спросил старший нищий.

— По грехам моим... Так Богу угодно было,— уклончиво отвечал пленник.

— Э! Да ты, человече, я вижу, не разговорчив: думаю, что с нашим «батьком» ты скорей разговоришься.

Они продолжали двигаться лесною тропой. Начинало светать, когда перед ними открылась небольшая полянка среди чащи леса.

— Пугу! Пугу!—раздался вдруг крик филина; но это выкрикнул не филин, а старший нищий.

— Пугу! Пугу!—послышался ответ с полянки.

— Казаки с лугу,— сказали оба нищие.

На этот возглас послышалось тихое, радостное ржание коней.

— Здоровы бывали, хлопцы! С добычею! А какую птицу поймали?

Это говорил показавшийся на полянке запорожец в высокой смушковой шапке с красным верхом, в широких синих штанах и с пистолетами и кинжалами за поясом. Тут же оказался и мальчик-«поводатырь» с бандурою в руках и с мешком за плечами.

— И ты уж тут, вражий сын? — заметил ему старший нищий.

— Тут, дядьку,— улыбнулся мальчик.

Это уже были не слепцы, жалкие и согбенные, а молодцы с блестящими глазами, хотя и в нищенском одеянии, ободранные и перепачканные.

Тот, кого они привели с собой, оказался богато одетым, молодым человеком, но не в польском, а в немецком платье.

Запорожцы — это оказались они — с удивлением глядели на своего пленника. Они, по-видимому, не того искали.

— Так ты не лях? — снова спросили его.

— Я уж вам сказал, что я из Московского государства,— был ответ.

— А в польском войске давно?

— Недели три будет.

— А кто ведет войско, не Ян Собесский?

— Нет, сам Чернецкий, а с ним и Собесский, и Маховский с гетманом Тетерею и татарами.

— Тетеря! Собачий сын! Совсем обляшился! — с сердцем произнес старший запорожец-нищий.— Попадется он нам в руки, лядский попыхач! А теперь они идут к Суботову?

— К Суботову, а после, сказывали, Чигирин добывать будут, а добывши Чигирина, хотят переправиться за Днепр.

— За Днепр! Как бы не так! Мы им зальем за шкуру сала.

— А сколько у них войска и всякой потребы? — спросил другой запорожец, что был при лошадях.

— Силы не маленьки,— отвечал пленник,— а сколько числом, того не ведаю.

Запорожцы стали собираться в путь. Мнимые нищие сняли с себя лохмотья и надели казацкое одеяние, которое вместе с оружием и «ратищами» — длинные пики,— спрятано было в кустах. Тотчас же были и кони оседланы.

— Так скажи же теперь нам, человече, как тебя зовут? — спросил старший запорожец.— Надо ж тебя по имени величать.

— Зовут меня Воином,— отвечал пленник.

— Воин! Вот чудное имя! — удивились запорожцы.

— Вот имечко дали эти москали! Чудной народ. Мы знаем в святцах только одного Ивана Воина. А по батюшке как тебя звать?

— Мой батюшка Афанасий.

— А прозвище?

— Ордин-Нащокин.

— Не слыхали такого. Ну, да все равно: батько кошевой, может, и знает. Ну, теперь на конь, братцы. Да только вот что, Остапе,— обратился старший запорожец к тому, который оставался при лошадях,— мы, брат, этого Воина несли на руках, а ты его повези теперь на коне, потому что у нас четвертого коня не припасено для него.

— Добре! — отвечал тот.— Пускай хлопцы подумают, что я везу бранку, красавицу ляшку. Ну, брат Воин, взбирайся на моего коня да садись позади седла и держись руками за мой «черес».

Воин сделал, что ему велели. Перед ним на седле поместился Остап.

— Что, ловко сидеть? Не упадешь? — спросил он пленника.

— Не упаду.

Мальчик-«поводатырь» снял свой измятый «бриль» и стал прощаться с запорожцами.

— А, вражий сын! — улыбнулся старший запорожец.— На же тебе злотого.

И он подал мальчику монету. Получив награду, мальчуган, словно лесной мышонок, юркнул в чащу и исчез.

Запорожцы двинулись в путь.

XIV. «ОПЯТЬ СОЛОВЬИ!..»

К вечеру этого же дня наши запорожцы вместе с пленником прибыли к войску гетмана, которое расположилось станом у Бужина. В таборе уже пылали костры, то украинские казаки, запорожцы и московские ратные люди варили себе вечернюю кашу.

Завидев приближающихся всадников, запорожцы узнали в них своих товарищей и уже издали махали им шапками.

— Э! Да они везут кого-то: верно, языка захватили.

— Вот так молодцы! У бабы пазуху скрадут, как пить дадут, и не услышит.

Те подъехали ближе и стали здороваться.

— Что, паны-братцы, языка везете? — спрашивали их.

— Языка-то языка, да только язык уж очень мудреный,— был ответ.
— А что, не говорит собачий сын? Перцу ждет?
— Нет, язык-то у него московский, а не лядский.
— Так не тот черевик баба надела?
— Нет, тот, да уж очень дорогой, кажется.
Все окружили приехавших и с удивлением рассматривали пленника в немецком платье.
Вдруг раздались голоса:
— Старшина едет, братцы! Старшина! Вон и пан гетман, и батько кошевой сюда едут.
Действительно, вдоль табора ехала группа всадников, приближаясь к тому месту, где останавливались наши запорожцы с пленником. Последние сошли с коней в ожидании гетмана и кошевого. Те подъехали и заметили новоприбывших.
— С чем, братцы, прибыли?—спросил Брюховецкий, остановив коня.
— Языка, ясновельможный пане гетмане, у Чарнецкого скрали,— отвечал старший запорожец.
— Спасибо, молодцы!—улыбнулся гетман.
— Да только, ваша ясновельможность, человек он сумнительный,— пояснил запорожец,— говорит, что он Московского государства, и через волохов простовал до Киева.
Брюховецкий пристально посмотрел на молодого человека. Благородная наружность пленника, красивые черты лица, нежные, незагрубелые руки, кроткий, задумчивый взгляд, в котором сквозила затаенная грусть, все это разом бросилось в глаза гетману и возбудило его любопытство.
— Ты кто будешь и откуда?—ласково спросил он молодого человека.
— Ясновельможный гетман!—с дрожью в голосе отвечал казацкий пленник.— Я сын думного дворянина московского Афанасия Лаврентьевича Ордин-Нащокина.
Гетман выразил на своем лице глубочайшее удивление.
— Ты сын Ордин-Нащокина, любимца его царского пресветлого величества!—воскликнул он.
— Истину говорю, ясновельможный гетман, я сын его, Воин.
— И как же ты находился в польском стане?
— Я возвращался из Рима и Венеции через Мультянскую землю. Я не хотел возвращаться через

Варшаву, опасаючись того, что случилось: в Волощине я узнал, что войска твоей ясновельможности и его царского пресветлого величества привернули в покорность московскому государю все городы сей половины Малые России, бывшие под коруною польскою, и я Подольскою землею направился сюда, намерение мое было достигнуть Киева; но, к моему несчастию, я попал в руки польских жолнеров и стал пленником Чарнецкого. Не ведаю, ясновельможный гетман, как сие совершилось, но Богу угодно было, чтобы нынешнею ночью меня выкрали из польского стана, и я благодарю моего Создателя, что он привел видеть мне особу твоей ясновельможности.

Гетман внимательно слушал его и задумался.

— А какою видимостью подкрепишь ты показание свое, что ты несумнительно сын Ордина-Нащокина?— спросил он.— Есть у тебя наказ, память из Приказа?

— Нет, ясновельможный гетман...

Молодой человек остановился и не знал, что сказать далее.

— Как же нам верить твоим речам?—продолжал гетман.— Тебя здесь никто не знает.

— Ясновельможный гетман!—быстро заговорил вдруг пленник.— Есть ли здесь у тебя в войске твои посланцы, которых в прошлом, во 143 году, я видел в Москве, в столовой избе, на отпуске у великого государя, то я узнаю их.

— А кто были именно мои посланцы?—спросил гетман.

— Герасим да Павел, ясновельможный гетман,— отвечал допрашиваемый.

Брюховецкий переглянулся с кошевым Серком.

— Разве и ты был тогда в столовой избе?—спросил он снова своего пленника.

— Да, ясновельможный гетман, был; меня великий государь тоже жаловал к руке.

— Жаловал к руке! Тебя!—удивился гетман.

— Меня, ясновельможный гетман, точно жаловал: великий государь посылал меня за рубеж к отцу, в Андрусово, с его государевым указом, в гонцах.

— Но как ты очутился в Риме?—спросил Брюховецкий.

Вопрошаемый замялся. Гетман настойчиво повторил вопрос.

— Прости, ясновельможный гетман,—сказал молодой человек,—на твои о сем вопросные слова

я не смею отвечать: на оные я отвечу токмо великому государю и моему родителю, когда буду на Москве.

Гетман не настаивал. Он думал, что тут кроется государственная тайна, дело его царского пресветлого величества.

Во время этого допроса вся казацкая старшина полукругом обступила гетмана. Он оглянулся и окинул всех быстрым взором. Среди войсковой старшины он заметил и своих бывших посланцев к царю Алексею Михайловичу — Герасима Яковенка, он же и «Гараська-бугай», Павла Абраменка и Михайлу Брейка.

Он опять обратился к своему пленнику.

— Посмотри,— сказал он,— не опознаешь ли ты среди казацкой старшины кого-либо из тех моих посланцев, что ты видал в прошлом году на Москве, в столовой государевой избе?

Тот стал пристально всматриваться во всех. Взор его остановился на Брейке.

— Вот его милость был тогда в столовой избе и жалован к руке,— сказал он, указывая на Брейка.

— Правда,— подтвердил тот.— Як у око влипив!

— Еще тогда его милость упал и великого государя насмешил,— пояснил пленник.

— Овва! Про се б можно було й помовчать,— пробурчал великан, застыдившись,— кинь об чотырех ногах и то спотыкается.

В задних рядах послышался смех. Улыбнулись и Брюховецкий, и Серко.

Скоро опознан был и другой великан, «Гараська-бугай». Опознан был и Павло Абраменко.

Убедившись в правдивости речей своего пленника и считая вполне достоверным, что молодой человек — действительно сын знаменитого царского любимца и, следовательно, сама по себе особа важная, гетман приказал Герасиму Яковенку провести его в гетманский шатер, а сам отправился дальше вдоль казацкого стана, чтобы сделать на ночь необходимые распоряжения.

Думал ли молодой Ордин-Нащокин, что из Рима и Венеции он попадет в казацкий стан, и притом таким необычайным способом?

Ему вдруг почему-то припоминалась последняя ночь, проведенная им в Москве, и тот вечер, когда, как и теперь, так громко заливался соловей. Впрочем,

всякий раз теперь, когда он слышал пение соловья, этот роковой вечер вставал перед ним со всеми его мучительными подробностями и томительной болью ныло его сердце. Тогда ему казалось, что девушка не достаточно любила его; но теперь?.. А если она нашла другого суженого? Ужели напрасно он выносил в течение года и более в душе своей тоску, как преступник цепи?

И вчера ночью, когда он, в польском стане, лежал в палатке Яна Собесского и не мог спать, и вчера так же пел соловей, напоминая ему мучительный, последний вечер пребывания его в Москве. Душа его жаждала молитвы, и он молился, по временам обращая молитвенный взор к далеким звездам, мерцавшим на темном небе, и вдруг его схватили...

Не божественный ли это Промысел, ведущий его к спасению, к счастью?

Он так был поглощен своими мыслями и так взволнован, что почти не слыхал, что говорил ему его спутник, как он вспоминал о своем пребывании в Москве в качестве гетмановского посланца, как на прощанье царь жаловал их к руке и как упал Брейко.

— Только ж и ночи у вас на Москве! — удивлялся запорожец.— Хоть иголки собирай... А все ж таки и у вас соловьи поют, хоть им, должно быть, и холодненько в вашей стороне...

«Опять соловьи!..»

XV. ПОРУГАНИЕ НАД ПРАХОМ ХМЕЛЬНИЦКОГО

Когда утром в этот день проснулись в польском лагере, то всех поразило исчезновение слепых нищих с поводатырем и, что уже совсем неразгаданно, исчезновение вместе с ними молодого московского дворянина.

Тут только поляки догадались, что под личиною слепцов скрывались казацкие лазутчики, а почему вместе с ними исчез и московский дворянин, это для них так и осталось тайной. Предполагали, что между лазутчиками и молодым москалем существовал таинственный сговор; но где и когда он состоялся? Почему москаль узнал, что то были лазутчики? Значит, и то неправда, что он говорил о себе, о возвращении будто бы из Рима, из Венеции. Несомненно, что и он был подослан или казаками, или москалями.

Ввиду всего этого Чарнецкий строго-настрого приказал усилить в войске предосторожности и рассылать во все стороны разведчиков, нет ли поблизости проклятых запорожцев или даже самого гетмана с войском.

Как бы то ни было, но поляки в этот день достигли Суботова.

Весь этот день, вследствие ли тревог, всегда неизбежных в военное время, вследствие ли просто физических причин, но Чарнецкому весь этот день было не по себе. Он часто задумывался, машинально водя рукою по своим длинным седым усам, отдавал приказания и снова их отменял, а когда показалось Суботово и он увидел суботовскую церковь, где, как он знал, был похоронен Богдан Хмельницкий, странная улыбка прозмеилась под его седыми усами, а изрезанное морщинами лицо мгновенно покрылось краскою. Это была краска стыда и негодования. Он вспомнил, как когда-то в этом Суботове он, гордая отрасль древнего рода, всегда претендовавшего на корону польскую, он, Стефан Чарнецкий, был пленником у хлопа, у Хмельницкого! Лицо Чарнецкого побагровело. Рана на щеке, которую когда-то пробила насквозь хлопская стрела, во время штурма Монастырища, теперь налилась кровью.

— Я отомщу тебе, быдло! — бормотал он. — Отомщу, хотя тебя и похоронили с царскими почестями. Все это твое дело: ты посеял эти драконовы зубы, они теперь выросли в людей, разбойников... Но я выбью эти проклятые зубы!

Суботово было занято без сопротивления, так как в нем не оставалось ни одного казацкого отряда.

Прежде чем двинуться к Чигирину, Чарнецкий, доведавшись, в каком направлении удалились вчерашние мнимые слепцы, отрядил по этому направлению часть своего войска под начальством Незабитовского и Тетери и приказал им искать Серка с запорожцами, а если Серко соединился с Брюховецким, то не допускать до Чигирина ни того ни другого; сам же остался ночевать в Суботове.

Чарнецкий приказал разбить свой шатер на холме, откуда виден был весь его лагерь и откуда он мог созерцать Суботово, с которым у него соединялись такие обидные воспоминания. Теперь он смотрел на это местечко, бывшее когда-то гнездом унизившего его

врага, с чувством глубокого удовлетворения; он мог превратить его в развалины, в мусор и разметать этот мусор по полю. При закате солнца он долго сидел у своего шатра, и перед ним проносились воспоминания его бурной, полной тревог жизни. Вся жизнь на коне, в поле под свистом пуль и татарских стрел. Постоянно кругом смерть, похороны, стоны. Но он свыкся с этим, в этом вся его жизнь. Но где же его личное счастье, не счастье и гордость побед, не слава полководца, а счастье разделенного чувства? Кажется, его и не было.

Нет, было, было. Но так кратковременно... Этот высокий замок во мраке ночи, темный парк, мерцающие и отражающиеся в тихой, сонной реке звезды... Тут было это счастье, и такое мимолетное...

И вдруг налетает с войском этот бешеный вепрь, что теперь лежит под могильной плитой, вон в той церкви! Замок в огне, замок разрушен, дорожки парка потоптаны конскими копытами. А та, чей шепот еще накануне сулил счастье, лежит мертвая, как скошенная белая лилия...

Мрак все более и более надвигается на Суботово и на лагерь. В воздухе душно, быть грозе. Оттого ему и дышится так тяжело, и в душу теснятся одни мрачные воспоминания...

Ночь. Чарнецкий один в своем роскошном шатре. Тускло горят свечи в высоком канделябре. Сон не хочет или не смеет войти в этот шатер, точно он боится часовых, стоящих у входа в ставку старого полководца.

Чарнецкий встает и тушит свечи. Он ложится на походную кровать и прислушивается, как где-то вдали глухо раскатывается гром. И опять перед ним развертывается панорама пережитой жизни... Да, пережитое... Только перед смертию встают в душе подобные панорамы. И не удивительно, ему уже 66 лет!

Гроза все ближе и ближе. В порывах ветра слышится не то стон, не то плач...

Это она плачет... это замок горит... ветер бушует в деревьях парка. А он не может ее спасти... не может пробиться с горстью жолнеров сквозь густые ряды казацкого войска.

«Сидите, ляхи! Всех ваших дуков, всех князей ваших загоню за Вислу! А будут кричать за Вислою, я их и там найду! Не оставлю ни одного князя, ни шляхтишка на Украйне!..»

Это он, разъяренный вепрь, кричит, это Хмельницкий... Он врывается в палатку!..

Чарнецкий вскакивает... его душит кошмар... он слышал голос Хмельницкого... Нет, это удар грома разразился над самою его палаткою.

И мертвый он не дает ему покоя...

Гроза бушует уже дальше, раскаты грома несутся туда, на восток.

«На восток и Польша понесет свои громы... Я понесу эти громы,— опять, забываясь, грезит Чарнецкий,— а там и на север, в Московию полетят польские орлы... Сидите, москали! Молчите, москали!..»

Утром, окруженный своим штабом, Чарнецкий торжественно въезжает в Суботово. Он направляется прямо к церкви, где в это время только что кончилась обедня.

Народ начал было выходить из церкви, но, увидав приближение богато одетых всадников, остановился. Чарнецкий, сойдя с коня, направился прямо в церковь, а за ним и вся его свита. Старенький священник, служивший обедню, еще не успел разоблачиться, а потому, увидав входящих панов, вышел к ним навстречу с крестом.

— Прочь, поп! — крикнул на него Чарнецкий.— Мы не схизматики. Показывай, где могила Хмельницкого.

Перепуганный батюшка пошел к правому приделу.

— Здесь покоится тело раба Божия Зиновия-Богдана, при жизни божею милостию гетмана Украины,— робко выговорил он.

— Божиею милостию,— злобно улыбнулся гордый лях,— много чести.

Он подошел к гранитной плите и ткнул ее ногою.

— Поднять плиту! — громко сказал он.

Священник еще более растерялся и испуганными глазами уставился на страшного гостя.

Чарнецкий обернулся к стоявшему в недоумении народу.

— Сейчас же принести ломы! — скомандовал он.

Бывшие в церкви некоторые из жолнеров бросились исполнять приказание своего вождя.

Ломы и топоры были скоро принесены. Плита была поднята. В темном каменном склепе виднелся массивный дубовый гроб. Свет, падавший сверху, освещал нижнюю его половину.

— Вынимайте гроб! — продолжал Чарнецкий.

— Ясновельможный, сиятельный князь! Это святотатство! — с ужасом проговорил священник; крест дрожал у него в руках.— Пощади его кости, сиятельный...

— Молчать, поп! — крикнул на него обезумевший старик.

Жолнеры бросились в склеп, и гроб был вынут.

— Поднимите крышку!

Топорами отбили крышку, и в очи Чарнецкому глянуло истлевшее лицо мертвого врага. Чарнецкий долго глядел в это лицо. Оно уже в гробу обросло седою бородой. Черные брови, казалось, сердито насупились, но из-под них уже не глядели глаза, перед которыми трепетала когда-то Речь Посполитая. Только широкий белый лоб оставался еще грозным...

Чарнецкий все глядел на него...

«А! Помнишь тот замок над рекою! Помнишь ту ночь! Помнишь ту белую лилию с распущенною косою, лилию, которую убил один ужас твоего приближения!» — бушевало у него в душе.

«Сидите, ляхи! Молчите, ляхи!» А!.. Не крикнешь уж больше!

Он все смотрел на него. Ему вспомнилась эта бурная ночь, удар грома...

Все стояли в оцепенении. У старого священника по лицу текли слезы. Он отпевал его, он хоронил этого богатыря Украины.

Чарнецкий, наконец, отвернулся от мертвеца. Лицо его было бледно, только шрам на щеке от раны, полученной при штурме Монастырища, оставался багровым.

— Вынести гроб из церкви и выбросить падаль собакам! — сказал он и вышел из церкви.

За ним жолнеры несли гроб, окруженный свитою Чарнецкого, точно почетным караулом.

На лице Яна Собесского вспыхнуло негодование; но он смолчал...

Едва Чарнецкий вышел на крыльцо церкви, как к нему почтительно приблизился дежурный ротмистр его штаба с двумя пакетами в руке.

— Что такое? — спросил Чарнецкий.

— Гонец с Москвы, ваша ясновельможность! — отвечал ротмистр, подавая пакеты.— Листы от царя московского и от думного дворянина Афанасия Ордина-Нащокина.

Чарнецкий взял пакеты и вскрыл прежде письмо от царя Алексея Михайловича.

Странная улыбка скользнула по его лицу, когда он пробежал царское послание и обернулся к Собесскому.

— Это насчет того вайделоты, что вчерашнею ночью пропал у нас без вести,— сказал он с видимою досадою.

— Молодого Ордина-Нащокина?—спросил Собесский.

— Да, пане. Царь шлет милостивое прощение.

— Прощение?—удивился Собесский.— В чем?

— Об этом не говорится в письме: пан может сам прочесть его.

И Чарнецкий подал царское послание будущему спасителю Вены и дома Габсбургов, а сам вскрыл послание Ордина-Нащокина.

— Та же песня,— с досадой произнес он,— а где мы найдем этого вайделоту, чтоб объявить ему царскую милость и отцовское прощение?

— Я думаю,— отвечал Собесский,— его надо искать в стане Брюховецкого или у этой собаки — у Серка.

— Так пусть пан ротмистр скажет царскому гонцу, чтоб он искал беглеца у Брюховецкого или у Серка,— сказал Чарнецкий дежурному,— а пан ротмистр прикажет списать копии с этих листов и вручить их гонцу с пропуском моим,— закончил он, передавая ротмистру оба письма.

Между тем за церковью, на площади, слышен был гул голосов, заглушаемый женскими воплями и причитаниями.

То выбрасывали из гроба останки Хмельницкого «псам на поругание».

XVI. ОНА УЗНАЛА ЕГО

В один из июльских вечеров, когда уже начинало темнеть, от Москвы по Девичьему полю ехал одинокий всадник по направлению к монастырю.

Судя по богато убранному коню и по одежде, всадник принадлежал к богатому или знатному роду. Низкое, плоское с вызолоченными луками седло, обшитое зеленым сафьяном с золотыми узорами, лежало плотно на богатом малинового бархата чепраке с серебряною оторочкою, из-под которой виднелся голубого цвета «покровец» или попона, расшитая шелками и с вензельным изображением на задних, удлиненных

концах с серебряными кистями. Вензель состоял из трех серебряных букв: В. О. Н. Уздечка на лошади также отличалась красотой и богатством: «ухваты» и «оковы» на морде коня были серебряные с такими же цепочками. Ожерелье на шее лошади унизано было серебряными же бляхами, узенькими поверх шеи и широкими снизу. Повыше копыт коня висели маленькие колокольчики, у самых щеток, и при движении издавали гармонический звон, который издавна москвичи называли «малиновым звоном». Сверх всего этого, сзади у седла приделаны были маленькие серебряные литавры, которые при ударе об них бичом звенели, заставляя лошадь бодриться, красиво изгибать шею и вообще играть.

На молодом всаднике был также богатый наряд: и ферязь, и охабень, и ожерелья,— все блестело или золотом, или жемчугами.

По небу ходили сплошные тучи, но когда они раздвигались и из-за них выплывал на минуту полный месяц, то в молодом всаднике можно было узнать нашего бродягу — Воина Ордина-Нащокина.

Он опять в Москве. Но сколько горя, сколько душевных мук дало ему это возвращение на родину. Он узнал здесь, что та, от которой он в ослеплении безумной страсти бежал куда глаза глядят, бежал на край света, та, мыслью о которой он только и дышал эти полтора года, милый образ которой не отходил от него ни днем ни ночью, о которой он думал, что она променяла его на другого, не захотев для него пожертвовать глупою девичьею славою, он узнал здесь и сердцем понял, что она не вынесла разлуки с ним и навеки похоронила свою дивную красу, свое девство, прикрыв свое прелестное личико и свою роскошную девичью косу черничьею ризой! Сердце его обливалось кровью, когда он думал об этом.

Об этом он думал и теперь. Он ехал туда, где она похоронила себя заживо.

«Все кончено»,— ныло у него на сердце. И он с тоской прислушивался, хотя вовсе не хотел этого, как где-то недалеко чей-то хриплый голос, вероятно, голос пьяного шатуна, напевал знакомую ему, любимую песню кабацких гуляк. Хриплый голос пел:

Как рябина, как рябина кудрявая!
Как тебе, рябинушка, не стошнится,
Во сыром бору стоючи,
На болотину смотрючи!

Ему досадно было, что его чистые думы о ней, о том невозвратном прошлом, когда она давала ему свои горячие, хотя стыдливые ласки, что эти святые думы грязнятся этою пьяною песнью. А пьяная песня все терзала ему слух и душу...

Молодица ты, молодушка!
Молодица ты пригожае!
Как тебе не стошнится,
За худым мужем живучи,
На хорошего смотрючи,
На пригожего глядючи.

Он готов был свернуть с дороги и отодрать этого шатуна своим бичом из гибкой татарской жимолости, но его удерживала мысль о той чистой и невинной, о которой он думал и по которой томилась его пораненная душа... Ведь при ней бы он этого не сделал, стыдно бы, не хорошо было...

А тот все тянул:

Наварю я пива пьяного,
Накурю вина зеленого,
Напою я мужа допьяна,
Положу его середь двора,
Оболоку его соломою
Да зажгу его лучиною...

— Ишь нализался! — слышится чей-то другой голос. — Да еще под праздник.

— С радости, милый человек: кто празднику рад, с вечера пьян, — отвечал певец и снова гнусил:

Выду я тоды на улицу,
Закричу я громким голосом:
— Осудари вы, люди добрые,
Вы суседи приближены!
А ночесь гром-от был,
А ночесь молонья сверкала,
Моего мужа убило,
Моего мужа опалило.

— Это тебя-то, видно, пьяницу, жена подожжет лучиною, — опять послышался нравоучительный голос.

— Нет, шалишь! Я сам ее за косы! Я сам пропою!

Он допел окончание песни:

А ты, шельма-страдница
А не гром убил, не молонья сожгла,
А сама ты мужа извела *.

* Песня эта выписана покойным историком С. М. Соловьевым из столбцов приказного стола. № 3313. См.: История России, XIV, 359. *(Примеч. автора.)*

Пение смолкло. А вот и монастырские стены, ворота. Молодой Ордин-Нащокин сошел с коня, погладил его лоснящуюся шею, потрепал за гриву и, привязав чумбуром к кольцу, вбитому в стену, сунул монету в руку старика привратника.

— Пригляди за конем, дедушка,— сказал он,— я пойду ко всенощной.

— Добро, добро, батюшка, болярин, поприглянужу,— отвечал старик.

Воин вошел в ограду. Ему казалось, что он входит в обширный могильный склеп, в котором похоронено все, что только он имел дорогого в жизни. Церковь между тем горела огнями, которые лились на двор сквозь узкие окна с железными решетками.

С глубочайшим благоговением и каким-то страхом Воин вступил в церковь.

Навстречу ему неслось из царских врат: «Слава святей, и единосущней, и животворящей, и нераздельней Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков!»

— Аминь! — как бы дрогнул весь клир тихими ангельскими голосами, и среди всего клира, ему казалось, отчетливо послышался милый, нежный, давно знакомый голос.

— Приидите поклонимся Цареви нашему Богу,— опять неслось из алтаря вместе с дымом кадильным,— приидите, поклонимся и припадем Ему!

Он действительно припал горячею головой к холодному полу, а слезы так и лились на этот пол, так и лились... А голоса клира звенели под сводами храма, высоко, точно пели невидимые ангелы:

— Благослови душе моя, Господи!

— Благословен еси, Господи! — отвечал припевом другой клир.

Воин не поднимал головы от пола: ему казалось, что он весь изойдет горькими и в то же время сладостными слезами, всю душу выльет, а с нею и свое горе...

А дивная мелодия все более и более наполняла своды храма, все неудержимее и неудержимее охватывала умилением растопившуюся в слезах душу...

— На горах станут воды...

— О, Боже великий! Для тебя все возможно, Ты установил воды на горах, Ты растопил мое окаменелое сердце,— шептал несчастный, все еще не поднимая с полу мокрого от слез лица...

За псалмом «На горах станут воды» прошла великая ектения, потом первая кафизма, антифон и «Господи воззвах» и стихиры, а он все молился и плакал.

Да, теперь он явственно различает ее голос.

Из всего клира выделяется этот чистый голосок, когда клир запел вечернюю песнь «Свете тихий!»...

Снова возглашение: «Господь воцарися, в лепоту облечется...»

Ему казалось, что все это он слышит первый раз в жизни: так все казалось ему святым, божественным, не от мира сего!

Но мало-помалу он несколько успокоился, слезы незаметно унялись сами собою, и он встал с колен, чтобы искать глазами ту, голос которой, как ему казалось, он узнал. Он глядел на клирос, который весь был занят то черными клобуками монахинь, то такими же черными покрывалами молодых черничек и послушниц. Но все их лица были обращены к алтарю и только иные вполоборота глядели на местные иконы.

Где же она? Ему до этого казалось, что в тысяче незнакомых фигур, не видя лиц, он отличит ее головку, ее плечи, гибкий стан, изгиб белой шейки; но теперь все это было закрыто длинными фатами, головы, шеи, плечи. Но она там, он это чувствовал и слышал ее милый голос.

А служба между тем шла. Из алтаря уже неслось горячее моление «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих в мори далече!..»

— Он услышит, он помилует,— беззвучно шептали его губы.

И в этих молениях, стояниях, кафизмах, поклонах протечет вся ее жизнь! Где же радости, где счастье? И сегодня так, и завтра, и послезавтра; а там... старость, усталость духа и тела, все то же, то же, то же!

А там, глядишь, и последнее возглашение, последние слезы: «Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурею...»

Где же бури? Их здесь нет... «Тихое пристанище...» Да, тихое, могильное.

Но вот на клиросе произошло какое-то движение. Несколько темных фигур отделяются и, проходя мимо местных икон, делают земные поклоны. Через несколько времени они возвращаются одна за другою: в руках у них у одной кружка для сбора приношений, у другой — блюдо, у третьей — опять кружка... а там снова блюдо...

Что это! Это ее лучезарное личико, полуприкрытое полями клобука, ее нежный овал, ее мраморное чело, оттененное клобуком... Совсем, совсем дитя в таком безнадежном одеянии — в саване, в черном саване ребенок!

Он узнал ее. Но она не поднимает глаз от блюда, длинные ресницы опущены.

Они идут посреди толпы, одна за другою, и кланяются. Впереди идет старуха, за ней другая. Последнею идет она. Слышно: то алтын с глухим стуком упадет в кружку, то копейка или полушка брякнет на металлическое блюдо. И на ее блюдо бросают алтыны и полушки. Но она все не поднимает глаз, все личико ее словно мраморное, ни один мускул на нем не дрогнет.

Но как она изменилась, поблекла! Словно полузавядший белый ландыш с опущенною головкой.

Неужели не поднимет глаз? Она все ближе и ближе. Вот прошла первая кружка, за нею блюдо, опять кружка... Ее блюдо поравнялось с ним... Она не глядит!

В каком-то безумном отчаянии он с силою бросает крупную золотую монету на ее блюдо. Она дрогнула, подняла удивленные глаза, глаза их встретились на мгновенье... Она замерла на месте...

Блюдо со звоном повалилось на пол, и она упала на пол, как подкошенный колос.

XVII. ТОЛЬКО БЫ ВИДЕТЬ ЕГО

После душевного потрясения, бывшего причиною обморока за всенощною, инокиня Надежда, перенесенная из церкви в свою келию, придя понемногу в себя, почувствовала глубокую, все ее существо охватившую радость. Она помнила только, что он не умер, что она не была причиною его смерти, не убила его, как казалось ей прежде. Он живет, он будет жить. Она будет думать о нем, будет знать, что он есть на свете, видит и землю, и небо, и солнце, а она будет молиться о нем, чего же ей больше!

Она встала со своего скромного ложа и стала молиться. Она теперь в первый раз почувствовала сладость молитвы. Теперь ей есть о чем молиться, и какою молитвою! Высшими степенями молитвы!

Матушка игуменья, часто беседовавшая с нею о молитве, сказывала, что молитва не одна живет, а есть три степени молитвы: первая степень — это

«прошение», просить Бога о чем-либо, о ком-либо, о себе, о прощении грехов, о душевном покое и т. д.; вторая степень, высшая, это «благодарение», благодарить Бога за то, что он дал нам жизнь и хлеб насущный, и душевный покой, что он печется о нашем здоровье, что он все дает нам по нашему «прошению»; это молитва человеческая; но есть еще высшая степень молитвы, молитва ангельская: это «славословие»; славословят Бога ангелы на небесах да святые угодники. Этой же благодати удостоены иноки и инокини, потому что они восприяли ангельский чин и носят ангельский образ. Монашествующие, удостоившиеся высшей благодати, ангельского чина, должны только славословить Бога, а просить и благодарить могут только за других. О чем им просить за себя? Они все имеют, даже больше, они сопричислены к ангельскому чину!

Теперь юная инокиня Надежда поняла всю глубину поучений матушки-игуменьи. Ей хотелось не только благодарить, но не за себя, а за него, что он жив, что он может жить; но ей теперь хотелось славословить!

И она, радостная, сияющая, распростерлась перед киотой, откуда глядел на нее кроткий лик Спасителя, и славословила, славословила! Ей казалось, что она действительно стала ангелом, она трепетала от счастья, поднималась с полу, поднимала к небу свои нежные руки, точно крылья ангела, и, казалось, неслась в пространстве, неслась все выше и выше, такая легкая, воздушная... Она чувствовала за собою веяние своих крыльев, чувствовала, как она рассекала воздух своим легким телом, и славословила: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы твоея!»

Это была какая-то детская радость, чистая, невинная. Расплетенная коса опутала прядями всю ее белую сорочку; ее босые ножки не чувствовали прикосновения к холодному полу; сорочка спустилась с плеч...

Но вдруг она опомнилась. Она, босая, в одной ночной сорочке, с распущенными и растрепанными волосами, она славословит Бога! Ей стало и стыдно, и страшно. Матушка игуменья говорила ей, что на молитву надо приступать с благоговением и непременно в ангельском одеянии, чинно...А она вскочила с постели чуть не нагая и, как неистовая, поднимала руки, радовалась, трепетала от счастья, летела по небу!

Смущенная, она робко отошла от киоты, оделась снова вся, как бы к выходу в церковь, причесала

и заплела косу, надела клобук и стала молиться смиренно, тихо, чинно.

Но теперь внутри ее клокотала радость, и она, сама того не сознавая, славословила Бога так же страстно, как и за несколько минут перед этим, когда она была в одной рубашонке и босая.

Наплакавшись потом счастливыми слезами, она уснула, как ребенок, не успев даже вытереть мокрые глаза и щеки.

И какие грезы окутали ее спящую! Такого высокого блаженства, такого счастья, от которого дух захватывал, она никогда не испытывала в жизни... Что-то сладостное до истомы, до изнеможения...

Когда она потом утром проснулась и вспомнила томительно-сладостные ощущения ночной грезы, когда ее, уже бодрствующую, охватила эта истома, смутное сознание чего-то невыразимо блаженного, совершившегося с нею, помимо ее воли, в сонном мечтании, «в тонце сне», она вся вдруг зарделась от стыда и счастья, больше от счастья, вся затрепетала... и расплакалась, расплакалась, как ребенок, у которого отняли что-то очень дорогое...

Она долго не могла встать с постели; ей не хотелось покинуть сейчас это теплое ложе, где ночью, в сонном мечтании, она ощутила что-то такое, чего с нею еще никогда не бывало в жизни... И это ощущение, это блаженство он ей дал, он и видимый и невидимый, и осязаемый и неосязаемый...

Когда затем она встала, тщательно, тщательнее, чем когда-либо, причесала, заплела косу, оделась в свое ангельское одеяние и стала молиться, она молиться уже не могла, не умела, не умела и не могла ни славословить, ни благодарить, ни даже просить. Она повторяла какие-то слова, потерявшие для нее силу и смысл, и, распростершись на полу перед киотою, думала только о нем: он здесь, в Москве, он так близко от нее.

Она приподнялась на колени и стала смотреть на лик Спасителя, такой кроткий, милостивый. Она хотела думать только о Спасителе; но его божественный лик мало-помалу затуманивался в какой-то дымке и исчезал, а вместо него вставала ночная греза, сладостное видение...

В этом положении застала ее мать игуменья. Худая, маленькая, вся сморщенная старушка, но с живы-

ми, серыми большими глазами, она, казалось, видела все насквозь. Она пришла навестить свою любимую духовную дщерь, носившую прежде знатное, но суетное имя княжны Прозоровской. Вчерашний обморок и испугал и огорчил мать игуменью. Она знала, как усердна была к своим обязанностям юная инокиня Надежда, как горячо она всегда молилась в храме, какая она была постница, и старушка думала, что юная черничка, не привыкшая к суровому монастырскому уставу, изнеженная в родительском доме, что она испостилась и изнемогла.

— Молись, молись, дщерь моя,— сказала она, входя в келию юной отшельницы и видя, что она встает с колен,— доканчивай молитву.

— Я кончила, матушка,— сказала девушка, подходя к руке игуменьи.

— Ну что, дитя мое, оправилась после вчерашнего-то?— спросила старушка.

— Оправилась, матушка.

— Ну и благодарение Создателю. Душно вчера в церкви-то было, ты же усердно, я видела, молилась; ну и сомлела. Это Он тебе зачтет, Отец небесный. Что наша жизнь? Тлен и прах: там наше житие, о нем надо думать, о вечном житии.

Теперь почему-то юная черничка смотрела на старушку с каким-то сожалением. Неужели вся ее жизнь протекла в этом? Неужели она...

И девушка почувствовала в душе своей холод, холод от этих стен, от окна с железною решеткою, от всего этого черного, мрачного.

Когда игуменья ушла, девушке стало как будто бы легче. Но это ненадолго.

Что-то холодное и безнадежное стало шевелиться у нее в душе и расти, расти! Вчерашнее блаженное состояние прошло. Тогда отуманило ее счастье сознания, что он жив, что она его видела. Но теперь она начала сознавать, что потеряла его навсегда, потеряла радость и счастье всей своей жизни. Для чего теперь ей жизнь? Чтобы ожидать другой жизни? Но для нее теперь не было другой жизни, кроме этой, кроме той, от которой она, в ослеплении горя, сама бежала. Но тогда она готова была убежать в могилу, не только в эти мрачные стены. А теперь вдруг все прошло! Все, все, и не для нее!

Где искать помощи? В молитве? В молитве? Но после вчерашнего молитвенного порыва она не могла

больше молиться. Какою «степенью» молитвы могла она теперь молиться? «Славословием»? Но вчерашнее уже не повторится, оно прошло. Ей вчерашнего мало, ее душа требует большего. «Благодарением»? Но за что же ей благодарить? За то, что она сама оборвала нитку своей жизни? Благодарить! Нет, и эта степень молитвы отнята у нее, но кем? Она сама ее утратила. Остается «прошение». Но о чем просить, когда ничего уже воротить невозможно.

Где же помощь? К кому обратиться?

Она опять подошла к киоте и стала смотреть на лик Спасителя. С какою тоской она смотрела на этот кроткий, всепрощающий лик.

«Он всех прощал,—шевельнулось у нее в душе,—простил разбойника, простил ту бедную жену, которую хотели побить каменьями, а Он простил ее за то, что она много любила...»

И она любит!

Девушка с ужасом поняла, что теперь монастырь стал для нее ненавистен. И так быстро совершился этот переворот в ее душе! Она ненавидит его, как тюрьму, лишившую ее света, счастья. И чем дальше, тем больше она будет грешить этим чувством. Все равно душа ее погибнет, в монастыре ли или вне монастыря.

Но там, вне монастыря, он, который пришел вчера с того света, а ночью приходил к ней в видении, «в тонце сне». Там он и наяву придет, как тогда приходил к ней в сад, когда пел соловей и распускалась береза.

Девушка подошла к окну своей кельи, которое выходило на Девичье поле. Перед нею вставал Кремль, золотые маковки церквей, а там, невидимо, на Арбате, их дом, ее девичий терем, сад... Сирень давно отцвела, и соловей, и кукушка давно перестали петь...

Она отошла от окна и, припав лицом к подушке, горько плакала.

Но вдруг она увидела себя в церкви... он глянул ей в глаза... Как он похудел и постарел за то время, как она его не видела! Не радостно и ему жилось...

Она услышала шорох за дверью. Вздыхая и крестясь, в келью вошла ее бывшая мамушка. Что-то родное, далекое, навеки потерянное напомнил ей этот приход старушки и дом отца, и ее светлый теремок, и тенистый сад со скамейкою, на которой он когда-то с нею сиживал.

Старушка с благоговением целовала руки своей боярышни.

— Что, мамушка, у нас дома? Что батюшка? — спросила юная затворница.

Старушка еще глубже вздохнула.

— Что, ягодка! Чему у нас быть хорошему? Тот же монастырь, — сказала она.

— А батюшка?

— Все то же; кручинится: осиротел он, как перст, один без тебя.

— А матушка и братцы не приезжали?

— Нету, родная; да они словно чужие для него.

Девушка хотела что-то спросить, но не решилась. Ей все же хотелось заговорить о том, что ее терзало. Она заговорила стороной.

— А я, мамушка, вечор у всенощной сомлела, — сказала она.

— Господь с тобой! — встревожилась старушка. — С чего это, ягодка?

— Должно быть, от жару и ладанного духа... Я так с блюдом и грохнулась... И как бы ты думала, знаешь, кого я увидела в церкви?

— Ково, золотая моя?

— Воина Афанасьича... Я, может быть, с тово и сомлела: сказывали допреж того, что он пропал без вести, либо помер, либо убит, так и поминали его... Каково ж мне было увидать ево, мертвеца-то, да прямо пред моими очушками! Я не спомнилась, как меня из церкви-ту вынесли.

Мамушка в знак сожаления качала головой и охала; но для нее не было новостью, что молодой Ордин-Нащокин отыскался. Ее тревожила мысль, как ее боярышня-черничка примет это известие.

Теперь она поняла, почему боярышня ее «сомлела» вчера... Теперь быть беде! Как-то она, голубушка, перенесет это? Затем старушка и явилась в монастырь.

— Не след было ему приходить сюда! — сказала она строго.

— Для чево ж, мамушка, не прийти и сюда? Никому не заказано молиться.

— Не заказано-ту, не заказано, — качала укоризненно головой старушка, — да только смущать-ту чистую душеньку грех, ох, грех какой!

— Да это, мамушка, я испужалась только сразу, а вдругорядь не испужаюсь.

— А думать станешь, мысли пойдут мирские...

— Что ж, мамка, о мирском-ту и молиться.

— О-хо-хо! — качала головой мамка. — Смущать-ту грех.

Юная черничка в душе не соглашалась с этим. Как? Отказаться даже от того, чтобы его видеть иногда, когда можно! Одно, что осталось у нее, это видеть его, как видеть иногда вот ее, мамку, отца, и вдруг отказаться даже от этого!

Но она не знала, что теперь, правда, достаточно только видеть его иногда; но скоро этого будет недостаточно. Она не знала, какое зерно заброшено было вчера в ее душу, что вырастет из этого зерна...

— Нет, нет! Только бы видеть его! Только бы знать, что он...

С большой тревогой старушка возвращалась из монастыря в город.

XVIII. ОНА БОЛЬШЕ НЕ ЧЕРНИЦА

Не в меньшем волнении, как и юная черничка, возвратился от всенощной Воин Ордин-Нащокин. Только волнение его было иного рода. После мгновенной радости и потрясения, какие испытал он в момент встречи с бывшей невестой, когда она узнала его и от радости или от неожиданности упала в обморок, им овладело глубокое отчаяние. Этот обморок доказал ему, как много она любила его, а быть может, и теперь любит. Что ж ему из этого? Сознание, что она любит его, еще более увеличивало в глазах его цену понесенной им утраты. Страдания, причиняемые этим сознанием, усугублялись еще мыслью, что его тогдашняя безумная вспышка столкнула ее в бездну отчаяния. Что тогда стоило выждать месяц, другой, наконец, целый год при спокойной уверенности, что ожидаемые им минуты полного блаженства только отсрочены? А что он сделал? В ослеплении минутной страсти он сам разбил свое счастье. Он тогда бросил ей в глаза не заслуженный ею укор: «Жди другого суженого!»

И она нашла его под саваном черницы...

Что ж ему оставалось теперь делать? Тогда впереди у него было что-то, много было впереди! Видеть чужие земли, все чудеса заморщины, сбросить с себя родительскую опеку, забыть на время постылую Москву: целый океан неизведанного был у него тогда впереди! И он изведал все это и кончил тем, что плакал в гон-

доле, в Венеции, когда вспоминал об этой самой Москве, о брошенной в ней невесте и пел «Не белы-то снежки», глотая слезы раскаяния.

И вот теперь... Нет, так оставаться нельзя! Теперь для него Москва пытка: от нее так близок Новодевичий монастырь!

Теперь надо стараться забыть ее, похороненную в стенах монастыря. А как забыть? Где?

Он теперь знал где: где люди умирают под свистом пуль и стрел. Он пойдет туда, к запорожцам, к Брюховецкому, к Косатову, что воюют теперь с поляками, его лютыми врагами, отравившими ему жизнь своею польскою наукой, отнявшими у него счастье, любовь к родине.

А сложит он там голову, тем лучше! Слишком уж тяжело стало носить ее на плечах. Да и кому она нужна? Отцу? У него на плечах государские заботы. Ей? Все равно ей не обнимать уж, не целовать эту буйную головушку, как когда-то она целовала ее.

На другой же день он сказал о своем решении отцу. Старика удивило это внезапное решение: всего дней пять как воротился из долговременной отлучки, после скитаний по чужим землям, и вдруг опять покидать Москву!

— Хочу заслужить вины пред государем! — одно твердил он на все доводы отца.— Лягу костьми в поле ратном либо со славою возвращусь, дабы тебе не краснеть за блудного сына.

Решение это в то же время и радовало старика... «На путь истинный возвращается малый»,— думал он и доложил об этом государю.

И Алексея Михайловича обрадовало это решение молодого человека. Он полюбил его, как сына, особенно после его чистосердечного раскаяния в своем опрометчивом поступке. Отца же, старика Афанасия, он давно любил и высоко ценил его государственный ум.

Он велел Воину явиться к нему попросту, не во время смотра и купанья запоздавших стольников, а в его образную и в то же время рабочую горницу, по-нынешнему, в свой кабинет, смежный с молельнею государыни.

Царь принял Воина милостиво, хвалил за доброе решение.

— Хощу вины свои заслужить перед тобою, пресветлый государь! — повторял и здесь то же самое

Воин, что говорил и отцу.— Либо положу свою голову в ратном поле...

— Зачем же? — ласково перебил его государь, любуясь мужественной его осанкой.

— Батя! Ты знаешь, мы от рода римского кесаря Августа.

Это стрелой влетела в отцовскую рабочую горницу царевна Софья, думая, что отец у себя один, и остолбенела, вся вспыхнув: серебристый голосок ее оборвался на «Августе».

Она стояла с тетрадкой в руках, как зайчик, застигнутый врасплох.

Воин низко поклонился ей.

— Что? Что? — с любовною улыбкой глядел на нее Алексей Михайлович.— От рода кесаря Августа, говоришь?

— Да, батюшка государь,— несколько оправившись от смущения, проговорила она и взглянула на Воина.

Заметив, что статный молодой человек любуется ею, она стала смелей.

— Откудова ж ты это узнала, всезнайка? — спросил отец, продолжая любоваться девочкой.

— А вот в этой книге написано,— прозвенела она и подошла к отцу,— вот, читай: «Выписано из жития преподобного Нила, Столбенского Чудотворца...»

— Ну, читай ты, у тебя глазки лучше моих: а тут так бледно написано,— сказал Алексей Михайлович, гладя головку дочери.

— Вот! — И Софья прочла: — «Прииди во обитель преподобного Нила...» Ах! — остановила она себя.— Не с того листа начала... Это о некоей девице, не о кесаре Августе.

Алексей Михайлович рассмеялся и повернул девочку лицом к себе.

— Ты чтой-то путаешь, торопыга.

Софья вспыхнула: она не хотела показаться смешной перед молодым человеком, который ей нравился, когда она была еще совсем «чюпишная», а теперь уже ей почти четырнадцать лет.

— Нет, не путаю! — она перевернула лист.— Вот: «Грань десятая, глава вторая. В лето проименитого и самодержавного царя и великого князя Владимира, просветившего всю российскую землю святым крещением, в храбрости великого князя Святослава, внука

самодержавного Игоря и достохвальные в премудрости блаженные великие княгини Ольги правнука Рюрекова...»

— Рюрикова,— поправил ее отец.

— Нет, Рюрекова! — настаивала упрямая девочка.— Тут так написано! Смотри.

— Ну, добро,— согласился отец.— Читай дальше.

— «...первовладычествующего в Великом Новеграде и всей русской земле, не худа рода бяху и незнаема, но опаче прогименитого и славного римского кесаря Августа, обладающего всею вселенною, единоначальствующего на земли, во время первого пришествия на землю Господа Бога Спаса Нашего Иисуса Христа, иже нашего ради спасения изволи родитися от безневестныя...»

Девочка остановилась и вопросительно посмотрела на отца.

— Что такое «безневестныя»? — спросила она.

— Это так Богородицу величают,— отвечал Алексей Михайлович.

— Для чего ж «без невесты»? — недоумевала Софья.— На что ей невеста?

— Ну, ин читай дальше! — перебил ее отец.

— «От безневестныя,— покорно продолжала юная царевна,— и пресвятыя и присно девы Марии».

— Воистину так: при римском кесаре воплотился Сын Божий, при Августе,— заметил Алексей Михайлович.— А вот Воин и сам был в Риме,— указал он на молодого человека.

Юная царевна так, кажется, и облила его с головы до ног светом своих ясных глаз.

Воин скромно улыбнулся: «Точно... сподобился... был в Риме и лобызал каменные ступени лестницы дома Пилатова, по ней же сводили на пропятие Спасителя»,— пояснил он.

— А разве в Риме? — удивился Алексей Михайлович.

— В Риме, государь,— отвечал Воин,— ее перенесли из Иерусалима крестоносные рыцари.

— Эка святыня какая, Господи! — покачал головою царь.— Ну, что ж кесарь Август? — обратился он к царевне.

Та в это время так и пронизывала своими лучистыми глазами молодого Нащокина. «Шутка ли! В Риме был, вон этими губами целовал лестницу Пилатову,

следы Христовых ножек»,— казалось, говорили ее глаза.

Слова отца заставили ее опомниться. Она нагнулась к книге.

— «Сей кесарь,— начала она снова читать,— Август раздели вселенную братии своей и сродником, ему же быша присный брат, именем Прус, и сему Прусу тогда поручено бысть властодержательство в березех Висле реке град Мовберок * и Турок ** Хваница? и преславный Гданск, и иные многие городы по реке глаголемую Неман, впадшую, иже зовется и поныне Прусская земля; сего же Пруса семени отъяша вышереченный Рюрек и братия его; егда еще живяху за морем, и тогда варяги именовахуся и из-заморья имаху дань на чюди, то есть на немцех и на словянех, то есть на новгородцех, и на кривичех, т. е. на торопчанех» ***.

Кончив чтение, Софья Алексеевна с торжествующим видом посмотрела на отца и на молодого Ордина-Нащокина.

— Так вот откудова мы родом,— улыбаясь, сказал Алексей Михайлович,— а я думал, что мы простого роду; а оно вон куда махнуло, в родню с кесарем Августом! Не махонька у нас роденька! А где ты взяла эту книгу? — спросил он.

— Симеон Ситианович Полоцкой принес мне,— отвечала царевна.

— Балует он тебя, я вижу.

— А потому и балует, что я хорошо учу все уроки.

— Добро, добро! Ты у меня умница! Иди же к матери.

Алексей Михайлович погладил дочь по головке, и царевна, поцеловав у отца руку, вышла из горницы, с улыбкой кивнув головой Воину.

Скоро государь отпустил и этого последнего, пожаловав к руке и пожелав ему счастья на ратном поле.

Три дня Воин лихорадочно готовился к отъезду: выбирал лошадей, накупал нового оружия, заказывал дорожное и боевое платье.

---

* Малборк, Мариенбург. *(Примеч. автора.)*

** Торун, Торн. *(Примеч. автора.)*

*** Из старинной рукописи, принадлежащей автору, а прежде принадлежавшей «лейб-гвардии Преображенского полку бонбордирской роте от мушкетер каптенармусу Михайле Голенищеву Кутузову». *(Примеч. автора.)*

А на душе у него было очень тяжело. Хотел он было еще раз съездить в Новодевичий монастырь ко всенощной, но решимости не хватило: «Увижу ее, и все прахом пойдет...»

На четвертый день утром, когда отец заседал в царской думе, Воину доложили, что его желает видеть монашка из Новодевичьего. Сердце у него дрогнуло при этом слове. Но он велел впустить: «За сбором, должно быть, в монастырь».

Но сердце у него так и колотилось. Он встал.

В дверях стояла она в своем монашеском одеянии, бледная, бледная...

Он протянул к ней руки. Она бросилась к нему, да так и повисла у него на шее.

— Милый мой! Суженый мой! — шептала она и плакала.

Он сжимал ее в своих объятиях.

— Милая! Наташечка! Да как же ты?

— Я совсем к тебе, совсем! И до гробовой доски! Я твоя... бери меня, как знаешь... в жены, в полюбовницы... все равно, я пропала, погубила мою душеньку... Я только твоя, твоя!

— А монастырь?

— Не черница я больше! Не Надежда! Я твоя Наташа! Твоя вся! Вся!

Он ласкал ее, шептал всевозможные нежные слова, целовал ее светло-русую головку...

Клобук ее упал с головы на пол. Она больше не черница.

XIX. ЛЮБОВЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА

Прошло три года.

Был конец августа 1668 года. На Волге, у астраханской пристани, стояла многочисленная флотилия речных и морских судов, «стругов». Было уже поздно. Теплая южная ночь давно стояла над Волгой и городом; мерцавшие в небе звезды показывали уже время к полуночи, а между тем в Астрахани было, по-видимому, очень шумно: оттуда доносились веселые голоса, подчас слышалось пение, говор, и от времени до времени ночной воздух потрясаем был пушечными выстрелами с крепостных башен.

При каждом таком выстреле ходивший взад и вперед по одному стругу казак останавливался, прислушивался и скучающим голосом проговаривал:

— Ишь, черти, загуляли, а ты тут слоняйся, как уток по верстатью!

В Астрахани действительно гуляли. Астраханский воевода, наш московский знакомый, князь Семен Васильевич Прозоровский, справлял именины своей любимой дочери Натальи, которую мы покинули в Москве три года назад, уже не Натальею, а инокинею Надеждою.

Это и был Натальин день, 26-е августа.

Князь Прозоровский назначен был астраханским воеводою недавно, менее года тому назад. Теперь у него шел пир горой. Да и неудивительно: он очень любил свою белокуренькую Наталью, а с другой стороны, он принимал у себя сегодня редких, дорогих гостей. Главным и почетнейшим гостем был славный атаман донских казаков, Степан Тимофеевич Разин. Он недавно только воротился с своею флотилиею и казаками из морского похода. Слава его громких подвигов наполнила уже всю Россию, и хотя все эти подвиги сильно озабочивали московское правительство, однако до поры до времени оно принуждено было не только не показывать своего неудовольствия удалому атаману, предводителю буйного казачества, но как бы и поощрять его подвиги «великого государя милостивыми грамотами».

Действительно, в один год Степан Тимофеевич успел показать, на что он способен. Едва он вышел с своими молодцами с Дону на Волгу и основался ватагой на знаменитом «бугре», как тотчас же разбил весенний караван судов, направлявшийся в Москву с казенными, патриаршими товарами и товарами частных лиц, а также с партиею арестантов; начальника стрелецкого отряда, следовавшего с караваном, приказал изрубить в куски, как барана на шашлык, судового приказчика и трех служащих повесить, арестантов освободить, чем и сделал их своими слугами, готовыми за него в огонь и в воду. Потом Степан Тимофеевич уже на тридцати трех стругах, пополненных, сверх своих казаков, еще и стрельцами, вышел в Каспийское море, оттуда рекою Яиком дошел до Яицкого городка и обманом взял его, а взявши, велел тамошнему стрелецкому голове начальным людям и «несогласным»

стрельцам поотрубать головы, ушедших же из Яицкого городка тоже порубить и потопить. Дальше разгромил кочевых татар у устья Волги и ограбил турецкое судно. Астраханскому воеводе, князю Хилкову, предшественнику князя Прозоровского, присылавшему к нему просить, чтоб он отпустил и стрельцов, и всех своих пленников, велел сказать:

— Коли-де придет ко мне великого государя милостивая грамота, тогда отпущу, а теперь не пущу никого.

Когда же князь Прозоровский послал к нему с той же просьбой двух пятидесятников стрелецких, то одного из них, «грубиана», Степан Тимофеевич убил, а другого отпустил живым, но ни с чем.

Затем Степан Тимофеевич с своими молодцами опять вышел в море, и на этот раз уже громил прибрежные владения шахов персидских, потомков царей Кира, Камбизов, Ксерксов и Дариев. Мало того, он послал в Испагань трех молодцов в качестве своих послов, которые и были приняты с честью. А между тем сам Степан Тимофеевич успел уже взять город Фарабад, разграбить его, сжечь до основания, разорить увеселительные дворцы шаха, и все это в ожидании возврата своего почетного посольства. Но молодцов скоро раскусили в Испагании, и шах отправил против Степана Тимофеевича флотилию из семидесяти судов.

— Плевое дело! — сказал Степан Тимофеевич своему есаулу, Ивашке Черноярцу.— Ребята! Громи их!

И ребята разгромили флотилию. Адмирал, командовавший ею, астиранский хан Менеды, бежал с позором, оставив в добычу Степану Тимофеевичу красавицу, тринадцатилетнюю дочку Заиру, и сына Рустема.

Когда юную полонянку привели к Степану Тимофеевичу, он, грубый и сильный человек с железной волей и стальными нервами, онемел от изумления: он даже не подозревал, чтобы на земле могла существовать такая поразительная красота! Это смешение чего-то нежного, как лилия, с огненным темпераментом, сверкавшим в черных огромных глазах, это личико ребенка с пышною черною косою, гибкость и упругость юных членов, невыразимая грация в движениях, все это отуманило буйную голову атамана. Он полюбил ее всею силою своей огневой души: тигр по природе, он сделался кроток и робок с своею пленницей.

— Ребята! — сказал он своим молодцам.— Ежели кто дотронется до нее пальцем, хоть ненароком, не до нее, а хоть до края ее одежды, того я зарежу. Знайте это!

И он убрал ее горенку на своем струге с неслыханною роскошью: золото, серебро, жемчуга, алмазы, парчи, атлас, все награбленные сокровища брошены к маленьким ножкам Заиры.

И сам Степан Тимофеевич стал другим человеком. Молодцы не узнавали его. По целым часам он сидел в горенке своей красавицы и выходил оттуда сначала мрачный и задумчивый, а потом все светлее, и радостнее, и ласковее ко всем. Кровь, которую он прежде проливал как воду, теперь стала для него противна. Он прекратил разбои. Что-то мягкое и тихое стало проглядывать в чертах энергичного лица. Казалось, он теперь стыдился того, что прежде считал своею славою. В нем, казалось, опять проснулся тот человек, который пешком прошел через всю Россию, от устьев Дона до Ледовитого океана, чтоб только помолиться и поплакать над могилами соловецких угодников.

В это лето Каспийское море было очень спокойное, ни бурь, ни ветров, и казацкая флотилия иногда по целым неделям стояла в открытом море неподвижно. В тихие, теплые вечера казаки часто пели свои грустные, мелодичные песни о «тихом Доне», о раздольных степях, о разлуке с милыми.

В это время они часто видели, что их атаман, теперь такой тихий и кроткий, выходил вместе с своею юною пленницею из ее роскошной горенки, и по целым часам в стороне от всех они сидели вдвоем, тихо разговаривая или любуясь зеркальною поверхностью моря, в котором отражались звезды. Заира умела говорить по-русски, потому что с детства за нею ухаживала любимая рабыня ее отца, русская полонянка из казачек. В эти тихие вечера, под грустное, мелодическое пение своих молодцев, укрощенный чистою любовью тигр их «батюшка-атаманушка» Степан Тимофеевич рассказывал Заире о своем родном Доне, что и там такое же голубое небо, как и у них, в Персии, что и звезды, которые она видела с детства в родной Астирани и в Испагани, такие же и на Дону, над его тихими водами и над широкими полями.

Сначала робкая и часто плакавшая, теперь Заира, по-видимому, свыклась со своим положением. И не

удивительно: теперешнюю свою жизнь на море она уже не хотела бы променять на прежнюю, когда затворницей она жила в отцовском серале. Она полюбила своего кроткого и ласкового, подчас бурного в своих ласках, повелителя: он теперь заменил для нее весь мир. Она прежде не знала, что такое любовь, а теперь она полюбила первою, чистою и нежною, как она сама, любовью. Зачем ей Персия, отец, все, что не могло ей дать того, что дал ей вот этот самый сильный, как лев, и кроткий, как ее египетский голубь, мужчина, этот грозный атаман, победитель ее отца и самого шаха? Он повезет ее на Дон; он бросит свои разбои и будет атаманом вольного Дона. Он сам говорил ей это, а она, положив свою детскую головку на его плечо, жадно слушала своего богатыря, как она его называла, а он тихо гладил и целовал ее шелковистые волосы. Любовь действительно переродила его.

Вот почему, когда князь Прозоровский выслал против него своего товарища, князя Львова, с отрядом стрельцов и когда князь Львов, не уверенный в успехе, послал к Разину парламентера сказать, что если он возвратит захваченные им на Волге суда и казенные пушки, а также увезенных с собою служилых людей и пленников, то может свободно воротиться на Дон с своими молодцами, вот почему это страшилище, переродившееся под ласками обожаемой девушки, смиренно склонило перед князем Львовым свою гордую голову. Разин присягнул на кресте и евангелии, что навсегда бросает ненавистные ему разбои, и с своей ватагой явился в Астрахань.

Вместе с есаулом и другими казацкими старшинами Разин сошел с своего струга и направился в город, прямо в приказную избу. Заира долго стояла на борте атаманского струга и любящим взором провожала прирученного ею тигра: она так любила его!

В приказной избе, где его ждали князь Прозоровский и князь Львов с другими властями города, Разин смиренно положил на стол свой бунчук, «насеку», знак атаманской власти: этим он изъявлял полную покорность.

— Повинную голову не секут,— сказал он кротко со вздохом.

Князь Прозоровский и все бывшие в избе глазам не верили, чтоб это был тот ужасный человек, перед

которым все трепетали. Даже во взоре его было что-то мягкое, задумчивое.

— Дивны дела твои, Господи! — шептал князь Прозоровский, всматриваясь в этого непостижимого человека.

XX. КЛЕВЕТА

Вот почему сегодня, в Натальин день, князь Прозоровский с таким торжеством праздновал именины своей любимицы Натальи: он принимал у себя такого дорогого гостя, которому рад бы был и царь Алексей Михайлович, таким страшным стало на Руси его имя! И вдруг он такой покорный, смиренный, ласковый, обходительный.

Одно всех удивляло на этом пиру: Разин, который прежде предавался буйному разгулу, которому понятны были только два наслаждения — резня и попойки, этот Разин теперь почти ничего не пил.

Его угощала из своих рук сама княгиня, мачеха княжны Натальи, взятая мужем обратно из ее деревенской ссылки вместе с сыновьями, когда князя послали на воеводство в Астрахань, и Разин благодарил любезную хозяйку, но пить почти не пил.

— Аль в монахи постригся, Степан Тимофеевич? — улыбалась княгиня.

— Точно, матушка княгиня, хочу свой маленький скиток завести, — уклончиво отвечал Разин.

Но это не мешало другим гостям пить и веселиться. Пили здравицы, и каждую такую здравицу сопровождали пушечные выстрелы с крепостных башен, потому что за окном, где происходил пир, стояли махальщики с зажженными факелами, которыми и передавали сигналы на крепостные башни. Пили за здоровье царя, царицы и всей царской семьи. Пили здравицу всему «тихому Дону» и отдельно «славному сыну его, Степану Тимофеевичу».

С необыкновенным женским чутьем княгиня Прозоровская догадалась, однако, что происходило в душе их дорогого необычайного гостя, с известием о покорности которого уже поскакал гонец от астраханского воеводы в Москву к царю Алексею Михайловичу. Княгиня заговорила с ним о его молоденькой пленнице.

— Она, чаю, бедненькая, скучает теперь там одна на струге? — сказала она.

— Нет, матушка княгиня, она привыкла,— отвечал Разин.

— А все ж, чаю, плачет по отцу, по матери.

— Поплакала малость прежде, а ноне нет.

— Ах, глупая я! — спохватилась княгиня.— И невдомек мне послать ей гостинца.

Разина это, видимо, тронуло. Княгиня же между тем взяла серебряный поднос, наложила на него прекрасных груш, винограду и других, большею частью восточных, сластей: кишмишу, рахат-лукума, изюму, винных ягод и пр.

Тогда Разин подозвал своего персидского толмача, Хабибуллу, который был в числе его послов у шаха, приказал отнести поднос с гостинцем на его струг и вручить от имени княгини Заире Менедовне, как он называл свою пленницу при других.

Черные восточные глазки Хабибуллы почему-то блеснули радостью, когда он принимал поднос из рук княгини.

— Кто идет? — раздался оклик с атаманского струга, когда в темноте на его сходни стала подниматься какая-то темная фигура.

— Это ми, Хабибулла с гастынцам,— отвечал гортанный голос.

— А! Это ты, Хабибулка! С каким гостинцем? Ко мне?

— Нэт, Иван Петровичам, не тебе, а ханым Заир Менеды.

— Какой гостинец?

— Кишмиш, инджир, рахат-лукум, грушам.

— От кого? От батюшки Степана Тимофеевича?

— И от батушки, и от матушка.

— От какой матушки?

— От самово княгинь, от матушка воеводиха.

— А что атаман?

— Атаман скучил, ничаво не едил, ничаво не пил, толка хадыл и молчил.

— А наши ребята пьют здорово?

— Ай-ай как пиют! Всо болшим кавшам.

Это разговаривали посланный от Разина к Заире с фруктами и другими сластями его толмач, персиянин Хабибулла, и есаул Разина Ивашка Черноярец, оставшийся на атаманском струге в качестве охранителя прекрасной персиянки.

— А что ханым скучил адын без батушка? — спросил Хабибулла.

— Вестимо, скучает,— отвечал есаул.

— Тэпер нэ будыт скучил.

И Хабибулла направился к роскошно убранной горенке Заиры, откуда светился огонек.

Заира сидела на богатом персидском ковре с брошенными на него шитыми шелками подушками и играла с маленькой белой собачкой, которую она учила служить на задних лапках.

Робко вошел в уютную светличку Хабибулла и, припав на одно колено, поставил перед Заирой поднос с фруктами.

— А, это ты, Хабибулла,— сказал персиянка на своем родном языке.— От кого это?

— От княгини, от супруги воеводы,— отвечал Хабибулла тоже по-персидски и приложил руку ко лбу и к сердцу.

Прелестное личико Заиры зарумянилось. Она поправила на шее нитку жемчугов и в смущении спросила:

— А разве меня княгиня знает?

— Вероятно, знает от батюшки Степана Тимофеевича,— был ответ.

— А что батюшка атаман?—спросила девушка.

— Он скучает, ничего не пьет, не ест, как ни увивается около него княгиня.

Это известие, видимо, встревожило девушку. Она как-то вся встрепенулась.

— Скучает, говоришь?—с боязнью спросила она.

— Скучает, ханым.

— Отчего же? Не болен ли он? Ты не заметил?— продолжала тревожно спрашивать девушка.

— Этого, ханым, не заметил,— уклончиво отвечал персианин,— а замечаю только, что у нас, с приездом в Астрахань, что-то не ладно пошло дело.

— А что? Разве воевода сердится?

— Нет, ханым, не воевода, а его жена,— загадочно отвечал Хабибулла.

— Что его жена? Она сердится?—живо заговорила девушка.

— Да, и сердится, и льнет к нему, как гурия,— был ответ.

Этот ответ еще более встревожил Заиру.

— А она молоденькая? Хороша собой?

— И молоденькая, и красавица.

Розовые щечки Заиры мгновенно покрылись бледностью. Она, как раненый тигренок, вскочила с ковра. Глаза ее горели.

— Говори все, что знаешь! — схватила она за руку Хабибуллу.— Говори! Он знал ее прежде?

— Знал, ханым,— угрюмо отвечал персианин.

— И?.. Говори же! Говори! — страстным шепотом настаивала девушка.

— Что мне говорить!.. Известное дело... они спознались раньше... воевода стар.

Бедная девушка упала на ковер и горько заплакала, уткнув свое личико в подушку.

У Хабибуллы глаза сверкнули плотоядным огнем. Он стал перед девушкой на колени и, нагнувшись к ней, страстно шептал:

— Не плачь, ханым, не печалься, звезда Востока. Я отвезу тебя домой, в Персию, к отцу. У меня уже и буса изготовлена и снаряжена, богатое и прочное судно, которое и доставит нас в Персию. Завтра же ночью мы бежим отсюда. Завтра атаман назначает пир у себя на струге, зовет к себе в гости и воеводу с женой...

— С женой? — как ужаленная вскочила девушка с подушки.

— Да, с женой,— отвечал соблазнитель.— Так ты сделай вот что, жемчужина Востока: русские любят, чтоб на пиру их угощали жены хозяев. Ты здесь хозяйка, ты и угощай их завтра. Завтра атаман будет пить, потому что если хозяин не пьет, то и гости не будут пить. Атаман должен будет пить и напьется пьяным. Казаки все перепьются и уснут. Уснет и атаман как убитый. Тогда я тихонько приеду в лодке и возьму тебя на мою бусу. А чтоб за нами не было погони, я и это устроил. Я подкупил одного персианина, моего приятеля, который послезавтра, когда мы уже будем далеко от Астрахани, придет сюда на струг и объявит, что ночью он видел, как с атаманского струга какая-то женщина бросилась в Волгу и утонула, что он кричал, чтоб со струга ей подали помощь, но со струга никто не откликнулся, и все спали мертвым сном; что он сам отыскал у берега лодку и бросился искать утопленницу, но так и не нашел, она пошла ко дну. Так бежим, солнце Востока? Все равно атаман разлюбил тебя, променял на прежнюю возлюбленную.

Девушка опять горько заплакала, уткнувшись личиком в подушку. Хабибулла утешал ее как маленького

ребенка, гладил ее головку, говорил нежные слова, тешил ее возвратом на родину.

Неопытная, как младенец, она на слово поверила хитрому и своекорыстному обманщику, и ее охватило чувство полной беспомощности. Она очутилась одна вдали от родины. Брата ее, взятого в полон вместе с нею, Разин давно отправил назад к отцу, так как мальчик очень тосковал по родине. Девушка же с детскою верою и с детскою нежностью привязалась к атаману, который был с ней так добр и ласков, добрее и ласковее отца; она скоро полюбила его первым, беззаветным чувством молодости, сосредоточила в нем весь свой мир, и вдруг! этот ее кумир обманывал ее: он любил другую.

Что же ей остается? Бежать от него? Но она не в силах это сделать: она любит его, он для нее все.

Но вдруг в ней зашевелилось сомнение в искренности слов Хабибуллы. А если он обманывает ее для своих целей, чтоб получить богатый выкуп от отца? К ней воротилась надежда, и она со всею страстью южного темперамента бросается на шею Хабибуллы.

— Именем Аллаха и его пророка умоляю тебя, скажи: ты пошутил? Ты выдумал на атамана? Он не любит этой русской женщины? — порывисто шептала она.

И Хабибулла страстно ласкал ее...

Но если б только он видел, что с самого того момента, как он вошел к Заире, Ивашка Черноярец змеей подполз к освещенному окошечку Заириной каюты и все видел, и все слышал, что там делалось и говорилось, он окаменел бы от ужаса.

Ивашка знал персидский язык и все слышал...

Разин воротился с воеводской пирушки очень поздно. Его встретил есаул Ивашка и, отведя в сторону, долго шептал ему что-то. Движения, которые делал атаман, слушая своего есаула, и порывистое дыхание его богатырских легких обнаруживали, что он глубоко взволнован.

Войдя потом осторожно в горенку Заиры, он, при свете сильно нагоревших восковых свеч канделябры, увидел, что девушка, горько наплакавшись, уснула тут же на ковре невинным сном младенца. На длинных ресницах ее блестели слезинки. Рядом с нею спала собачка, и та не проснулась.

Разин стал перед нею на колени и с глубокой нежностью и тоскою долго смотрел на милое личико ребенка.

Из Астрахани доносился одинокий гул церковного колокола; то на соборной колокольне били полночь. Было тихо кругом. Слышно было только, как журчала волжская вода под килем струга и плескалась около его крутых боков.

Разин с нежностью трижды перекрестил спящую девушку, с глубокой мольбою поднял глаза к небу, встал с ковра, тихо потушил свечи конделябры и неслышными шагами вышел в свою каюту.

XXI. «НА Ж ТЕБЕ,—ВОЗЬМИ!»

На другой день все заметили, что атаман был как-то особенно задумчив. Иногда он встряхивал своей курчавой головой, как бы отгоняя от себя докучливую мысль. То иногда подолгу останавливался у борта своего струга и как бы бесцельно глядел куда-то вдаль, ничего не видя.

Он, однако, с утра отдал приказание своему есаулу, Ивашке Черноярцу, все приготовить для предстоящего пира, так как он ожидает к себе в гости воеводу, князя Прозоровского, его товарища, князя Львова, и некоторых других представителей власти.

— Чтобы пир был на славу! —сказал он.

Вчерашнее сообщение есаула о подслушанном им у Заиры и о том, что он вообще видел, глубоко поразило Разина. Конечно, он далек был от мысли, чтобы его маленькая Заира была не искренна, чтобы она обманывала его, он этого никогда бы не допустил! Она такой ребенок! Так наивна в своих ласках и признаниях, так неопытна! Но это же самое может и отнять ее у него, а он так полюбил этого ребенка. Ведь она же, по-видимому, не понимала вчера, какие чувства заставляли Хабибуллу утешать ее, гладить по головке, обнимать; она принимала эти утешения и ласки мужчины, как ласки няни. Но в ней могла проснуться от этих ласк и женщина, как она проснулась в ней от его ласк, и все это будет в ней невинно, искренно, и сама она не сумеет дать себе отчета в своих чувствах. Как ему обвинить ее за это? Как обвинить ребенка, который тянется к огню, не зная, что такое огонь!

И как же после этого на такой зыбкой почве основывать свое счастье!

Теперь Разин только в первый раз задался этой мыслью. Конечно, мысль эта в душе казака слагалась в иной форме. Но он, в данном случае, думал так же логически, как и всякий другой умный человек думал бы на его месте: человеческая логика и в XVII веке доходила до известных умозаключений тем же путем, как и теперь, особенно же в области чувства. А Разин был, бесспорно, умный человек, богато одаренная натура, которая, смотря по обстоятельствам, могла быть направлена и на величайшее добро, и на величайшее зло.

Случайная любовь к такому невинному, чистому созданию, как Заира, повернула его на добро, разбудила в его богатой душе лучшие, благороднейшие ее силы. Он разом сделался добр, мягок, возненавидел жестокость, грубость. Он перестал пить.

И вдруг вчерашний случай чуть не разбудил в душе прежнего Разина зверя. Он шел в каюту своей милой девочки, чтобы растерзать ее за одно прикосновение к презренному татарину-ренегату. Но когда он увидел ее невинное спящее личико с остатками слез на ресницах, он стал перед нею на колени и с материнскою нежностью и с благоговением стал крестить ее.

Что же будет дальше? Неужели для такого непрочного, хрупкого счастья он должен отречься от самого себя, проститься со славою, с властью, с громкими подвигами? Он, атаман целого войска и брат казненного атамана же, неужели он должен отказаться от всего, даже от мести за позорную смерть брата, и похоронить себя заживо в глухой донской станице или на каком-нибудь хуторке!

А отказаться от нее, от этой милой девочки, от своего счастья, чтоб это милое дитя досталось какому-нибудь презренному холопу Хабибулле, а не ему, так другому! Он чувствовал, что это выше его сил. Он так любил ее! Для нее он решился пожертвовать славой, для нее он позорно преклонил свой бунчук перед воеводой, которого он мог когда угодно повесить; он все для нее бросил. Когда он держал ее в своих объятиях, а она, ласкаясь к нему, шептала самые нежные слова, он искренно решился всем пожертвовать для нее.

И теперь уступить ее другому! Нет, пусть лучше она никому не достается: та, которую он ласкал, не должна знать ласк другого мужчины.

Муки иного рода переживала теперь и Заира.

«А что, если в самом деле он любит другую?» — думала она, поздно проснувшись в своей хорошенькой каютке. Хотя, по ее восточным понятиям, мужчина мог любить разом нескольких женщин, и она видела это в своем отце, у которого был сераль и который приближал к себе и хорошеньких рабынь, но ее чистая привязанность возмущалась одною этою мыслью. Разве она сама может полюбить кого-либо другого, кроме своего повелителя-атамана? Нет, никогда!

И она робко выглянула из окошечка своей горенки. Атаман задумчиво стоял у борта струга, спиною к ней. О чем, о ком он думает?

В эту минуту, как бы под влиянием ее взгляда, он обернулся. Из окошечка смотрело на него милое личико, и задумчивое лицо его разом просветлело. Он вошел в горенку Заиры. И на лице девушки отразилась радость, но она не бросилась к нему на шею, как бывало прежде. Она робко подошла к нему, смущенная, краснеющая; в первый раз по отношению к нему в ней заговорила женская стыдливость. Он молча обнял ее, крепко прижал к себе, как бы боясь потерять это нежное существо, и стал ласкать, целовал ее головку, глаза. Он чувствовал, что она дрожит в его объятиях. Но ни он, ни она не говорили. О вчерашнем он не говорил ей ни слова, он ждал, не скажет ли она. Но и она молчала. Он заметил, что присланные ей вчера княгинею Прозоровскою лакомства не тронуты. Поднос с фруктами стоял в стороне на столике.

— Ты, кажись, не дотронулась до княгинина гостинца? — спросил он, заглядывая ей в глаза.

— Мне не хотелось, — чуть слышно отвечала она. Но ни слова о вчерашнем.

Он стал наблюдать за нею, обдумывать ее поведение. Он видел, что она таится от него. В своей грубой совести он так и решил, что она виновата: молчит — значит, боится. Эта совесть не умела подсказать ему, что девушка щадит его спокойствие, что ей жаль винить человека, которого неминуемо ждет лютая казнь, хоть человек этот и был для нее неприятен, это Хабибулла.

И он, и она со вчерашнего вечера вдруг почувствовали, что между ними уже что-то стояло: это что-то и было обоюдное подозрение, «черная кошка».

Он сказал, что сегодня у него будут гости, воевода и другие власти города.

— А она будет? — чуть слышно спросила Заира.

— Кто она? — удивился Разин.

— Воеводиха, княгиня.

— Зачем ей быть? Боярыне это непригоже, на Москве нету такого звычая,— отвечал он.

«Значит, Хабибулла солгал? Может быть, он и все солгал?»

Девушка крепче прижалась к своему возлюбленному, точно боялась, что у нее возьмут его. Она чувствовала, как стучало его сердце, точно молот.

В это время на струге послышался какой-то говор. Можно было различить, что казаки Разина переговаривались с кем-то на берегу. С берега слышно было: «Хотим видеть батюшку Степана Тимофеевича!»

Разин вышел на палубу. Перед стругом стояла группа стариков. При появлении Разина все сняли шапки.

— Здорово, старички почтенные! — ласково сказал Разин.

— Ты здрав буди, батюшка Степан Тимофеевич! — послышалось с берега.— Мы пришли к тебе с поклоном: рыбный ряд осетром тебе, батюшке нашему, кланяется.

— Спасибо на поклоне! — отвечал Разин.— Милости прошу пожаловать ко мне на струг, выпить по чарке вина заморского.

Старики гурьбой стали всходить по сходням на струг.

— Уж и осетрище изволением божиим попался, батюшка Степан Тимофеевич,— говорил один старик с бородой по пояс,— такова осетра не запомню с тех мест, как царила у нас в Астрахани проклятая Маринка-безбожница с Ивашкою Заруцковым[6]. А ноне трех таких пымали наши ловцы: дак одново осетра мы спосылаем на Москву великому государю Алексею Михайловичу, а другова святейшему патриарху, а третьево тебе подносим, батюшка Степан Тимофеич.

— Спасибо, спасибо за честь, почтенные старички! — благодарил атаман.— А воеводе-то своему вы что поднесете? — улыбнулся он.

— Воевода и севрюжиной будет доволен,— отвечал старик, тоже улыбаясь.— А ну, ребята, покажьте чудо-юду! — крикнул он ловцам, бывшим в косной лодке близ струга.

Рыбаки с трудом приподняли над водою огромную голову чудовища, которое так билось в воде, что казалось, лодку опрокинет.

— И впрямь чудо-юдо,— говорил Разин.

А в это время Ивашка Черноярец с казаками вынесли из трюма огромный бочонок и серебряные стопы, в которые и стали наливать вино.

Разин стал подавать вино гостям.

— Э! Нет, батюшка Степан Тимофеевич,— отказывался старейший из депутации рыбного ряда,— не по русскому звычаю: в Священном писании сказано: как доносчику первый кнут, так и хозяину первая чара.

Разин выпил. За ним все. Рыбакам молодцы Разина поднесли зелена вина, осетра привязали к одной из железных уключин струга, и депутация откланялась.

Разин приказал убить и выпотрошить осетра, а потом сварить его в артельном котле.

Между тем на струге расставляли столы и приборы, серебряные и золотые мисы, стопы и т. д.

К полудню начали собираться гости. Разин был необыкновенно приветлив и оживлен. Казаки давно не видели его таким. Это тем более их удивило, что не далее как сегодня утром он был необыкновенно задумчив и грустен. Что было у него на душе, никто не знал; но многих это тревожило. Иные думали даже, что он испорчен и что испортила его эта персидская чаровница-княжна.

Началось угощение. В последнее время, особенно когда среди казацкого войска завелась эта чаровница, атаман почти ничего не пил, совсем стал красной девицей. Но сегодня он пил как никогда. Щеки его разгорелись, глаза блестели нехорошим огнем. Казаки это видели, они хорошо изучили своего атамана, чего-то побаивались: быть худу... В иные моменты он как бы забывал все, где он, что он... Глаза его дико блуждали...

Но через минуту он опять овладел собой, и голос его звучал на всю пристань.

Князь Прозоровский и другие гости ничего этого не замечали и пировали от всей души, ели, пили, смеялись. Всех поразил чудовищный осетр.

— Где это ты, Степан Тимофеевич, достал такова великана? — спросил воевода.

— Шах персицкой мне в подарок прислал за город Фарабад,— загадочно отвечал Разин.

Вдруг точно что осенило его. Он встал и пошел в горенку Заиры. Через несколько минут он воротился, держа девушку за руку. Он был бледен. Заира одета была в дорогое персидское одеяние, вся в золоте, в жемчугах, драгоценные камни так и горели на ней. Она была поразительно хороша в своем смущении.

Гости ничего не ожидали подобного, и все встали при ее появлении, подавленные, казалось, блеском чего-то невиданного, ослепительно прекрасного.

— По русскому звычаю,— сказал Разин, и нижняя челюсть его задрожала,— по русскому звычаю хозяйка должна поднести из своих рук по чаре доброго вина. Вот моя хозяйка.

Все низко поклонились, точно бы к ним вышла царица.

Разин налил вином стоявшие на серебряном подносе стопы, и Заира, не поднимая глаз, стала разносить вино. Руки ее дрожали вместе с подносом. Все пили и почтительно кланялись девушке.

Разин потом сел и посадил ее около себя.

— Дай бог тебе, Степан Тимофеевич, счастья и здоровья на многие лета,— сказал князь Прозоровский и встал,— и великий государь не оставит тебя своими милостями.

Помянув имя великого государя, он сел.

— Спасибо, князь,— отвечал Разин.— Я много счастлив, так много, как тот эллинский царь, о котором сказывал мне один святой муж. Счастье тово эллинского царя было так велико, что оракул сказал ему: «Дабы тебе не лишиться твово счастья, пожертвуй Богу то, что есть у тебя самово дорогово». И царь зарезал любимую дщерь свою, лучшее свое сокровище.

Разин взглянул на Заиру. Он был бледен. А она сидела рядом с ним, все такая же прекрасная и смущенная.

— Вот мое сокровище! — сказал он, обнимая девушку.

Потом он встал, шатаясь, и остановился у борта струга, лицом к Волге. Он был страшен.

— Ах, ты, Волга-матушка, река великая! Много ты дала мне злата и серебра и всего доброго. Как отец и мать славою и честью меня наделила, а я тебя еще ничем не поблагодарил.

Сказав это, он быстро повернулся, схватил Заиру одной рукой за горло, другою за ноги и бросил за борт, как сорванный цветочек.

— На ж тебе, возьми!

Что-то яркое мелькнуло в воздухе, послышался плеск воды...

Все в ужасе вскочили. Заира исчезла под водой. Утром рыбаки вытащили из Волги труп Хабибуллы с кинжалом в груди...

XXII. КУПАНЬЕ СТОЛЬНИКОВ

Сообщая этот ужасный эпизод из жизни Разина, Н. Н. Костомаров полагает, что «этот варварский поступок не был только пьяным порывом буйной головы», с чем, конечно, нельзя не согласиться. «Стенька, как видно, завел у себя запорожский обычай — считать сношения казака с женщиною поступком, достойным смерти. Его увлечение красивою персианкой, естественно, должно было возбудить негодование и ропот тех, которым Стенька не дозволял того, что дозволил себе, и, быть может, желая показать, что не в состоянии привязаться к женщине, он пожертвовал красивой персианкой своему влиянию на товарищей».

Так рассуждал историк, приговоры которого всецело обусловливаются тем, что говорят находящиеся в его руках материалы или более или менее достоверные источники, документы. Но о подобного рода явлениях, обусловливаемых душевными движениями человека, всего менее говорят документы, как не говорит на суде о своем преступлении тот, кого уличают в нем на основании не вполне ясных улик. У историка в этом случае связаны руки.

Не таково положение романиста. Он должен все знать, даже то, чего нет и не могло быть в документах: он должен знать душу своих героев, знать их тайные думы и помышления.

И романист объясняет ужасный поступок Разина с Заирой так, как он его объяснил на основании психологической критики, которой он подверг своего героя.

Не удивительно после этого, что Разин, смирившийся было перед властью, положивший свой бунчук к ногам этой власти, подружившийся с воеводою и водивший с ним хлеб-соль, вдруг опять превращается в зверя, еще более лютого, чем он был прежде.

Астрахань теперь опостылела ему. Здесь он сам разбил свое счастье, и его потянуло домой, на родину, туда, где протекло его детство, когда у него за спиною не было ни воспоминаний, ни ужасных призраков, которые теперь иногда посещали его.

4-го сентября Разин покинул Астрахань, чтобы, собравшись за зиму с силой, начать исполнение того, что он, на возвратном пути из соловецкого монастыря, обещал Аввакуму, когда навестил его в тюрьме монастыря Николы на Угреше.

Между тем отписки князя Прозоровского из Астрахани о полной покорности Разина вызвали на Верху великую радость, и Алексей Михайлович перед осенним возвращением из села Коломенского в город решился в последний раз вдоволь натешиться купанием в пруду стольников, запоздавших к царскому смотру.

Наскоро выслушав доклад дьяка Алмаза Иванова по важным делам и положив по ним резолюции, государь вопросительно поглядел на дьяка, который переминался с ноги на ногу и, по-видимому, еще что-то хотел доложить, но не решался.

— Что у тебя еще?—спросил Алексей Михайлович.

— Пустое, государь: так, челобитьишко одно,—отвечал Алмаз Иванов,—жалобишка непутевая.

— На кого?—спросил государь.

— На твоих государевых воевод, на симбирских да на саратовских с товарищи.

— А чья жалоба?

— Твоих государевых оброшных людишек.

— А ну-ко, вычти,—сказал с неохотой «тишайший», позевывая; ему так хотелось купать стольников.

— «Великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу,—начал, прокашлявшись, Алмаз Иванов,—всеа Руси самодержцу и многих государств государю и обладателю...» «Обладателю» с одним азом, государь, прописка...

— С одним азом?—строго спросил царь.

— С одним, точно: «обладателю» вместо «облаадателю», государь,—отвечал дьяк.

— А кто учинил прописку?

— Писал, государь, подьячей не у дел Юшка Иванов.

— Так укажи бить Юшку батоги нещадно,— решил Алексей Михайлович*.

Надо заметить, что в царском титуле слово «обладатель» всегда и обязательно писалось с двумя «а» после первого «л»: «облаадателю».

— Читай дальше,— приказал государь.

Алмаз Иванов продолжал:

— «Бьют челом сироты твои государевы, симбирские и саратовские татаровя мурзишки и сотничишки и мордовские и чувашские людишки, а во всех их место Багай Кочюрентьев сын да Шелмеско Шевоев сын: велено нам, сиротам твоим государевым, по твоему государеву наказу, твоя государева пашня пахати за твой государев ясак. И мы, сироты твои государевы, твою государеву пашню пахали многие годы, рожь и ячмень и овес сеяли. И мы твою государеву пашню пашючи, лошади покупали, животишки свои и достальные истощали. А за твоей государевой пашнею ходячи, одежонко все придрали, и женишка, и детишки испроели, и нынече, государь, помираем голодною смертию. А одежонки нам, государь, сиротам твоим государевым, купити не на што и нечим, и мы, государь, сироты твои государевы, погибаем нужною смертию, волочася с наготы и с босоты. А в осеннюю пору, государь, мы ж, сироты твои государевы, на гумна возим твой государев хлеб, и в клети кладем, и молотим. Да в летнюю пору, государь, и в зимнюю ездят в Астрахань твои государевы воеводы, и дети боярские, и казаки, с твоими государевыми делы к Москве и с Москвы, и они, государь, емлют нас в подводы и с судами в летнюю пору, и в зимнюю пору с лошадьми и саньми, и у нас, государь, у сирот твоих государевых, в подводах ездячи и ходячи, голодною смертию и нужною с волокиты лошаденки помирают. А которые, государь, из нас татаровя и иные людишки по дорогам и у Волги жили, и они, государь, от подвод разбегаются, живут по лесам в незнаемых местах. И у нас, государь, у сирот твоих государевых, лучших людишек, у мурзишок и у сотничишков, в подводах людишки и лошаденки помирают; а другие бегают по лесом от твоих государевых посланников потому: они,

---

* В то время за малейшую описку в царском титуле жестоко наказывали, как за государственное преступление. *(Примеч. автора.)*

государь, посланники твои и воеводы, нас, сирот твоих государевых, грабительски грабят, коровенка и куры, и гуся, и утку, и рыбу, чем мы, сироты твои государевы, сыты бываем, емлют насильством же, грабежом, государь, сымают с нас, сирот твоих государевых, с плеч шубы и зипуны, и порты, и лапти, а у ково, государь, из нас, сирот твоих государевых, и портов нет, и тех, государь, морят голодом до смерти, а иных, государь, емлют себе в холопи, а жон, государь, и девок...»

Алексей Михайлович нетерпеливо махнул рукой:

— Скоро конец?

— Скоро, государь.

И Алмаз Иванов, пробежав глазами челобитную, продолжал:

— «А мастеров, государь, у нас в нашей бусурманской вере нету, ни дровнишек, государь, усечи нечим, ни на зверя, государь, засеки сделати без топора не мошно и нечим, а обуви, государь, без ножа сделати не мошно же. И нам, государь, сиротам твоим государевым, с студи и с босоты и с наготы голодною смертию погибнуть, и нам, сиротам твоим, жити стало невозможно, и впредь, государь, погибнуть».

— Слышал! — нетерпеливо перебил докладчика Алексей Михайлович.— Ну?

Дьяк продолжал чтение:

— «Милосердый царь государь, пощади сирот своих, покажи милость, не помори сирот своих напрасною смертию, вели нам, сиротам своим, по-прежнему покупати у русских людей топоры и ножи и котлы, чтоб мы, сироты твои государевы, вконец не погинули и с студи и с босоты и наготы не померли, впредь бы твоего государства ясаку не отстали. Царь государь, смилуйся, пожалуй».

Алмаз Иванов кончил и вытер вспотевший лоб ширинкой. Алексей Михайлович вздохнул с облегчением.

— Ну, слава Богу! — сказал он, зевая и крестя рот рукой, «чтоб с зевотой не вошел в рот и утробу нечистый».— Передай челобитье в думу: коли буду сидеть с бояры, тогда разберу и указ учиню. А теперь пойду на крыльцо: там, чаю, стольники заждались мово купанья. Да на их счастье и день теплый выдался.

И царь двинулся на крыльцо.

У крыльца уже давно толпилась дворская челядь, стольники, стряпчие, дворяне и московские жильцы.

На самом же крыльце, на площадке, имели право дожидаться только бояре, думные люди и другая знать.

Появление царя вызвало бурю поклонов, земных и поясных. Все заколыхалось, сдержанно кашляло, робко сморкалось «в персты», по «Домострою» «вежливенько, дабы не рычать носами».

После скучного доклада лицо «тишайшего» просияло при виде порядочной группы стольников, стоявших в стороне от прочих. Это были те, за которыми числилась провинка: они опоздали к утреннему царскому «смотру», к выходу. Их ожидало купанье в пруду.

— Ну, Алмаз, вели начинать действо,— обратился государь к Алмазу Иванову.

Последний подал знак жильцам, которые стояли около провинившихся стольников: это были «купальные».

«Купальные» подхватили под руки стоявшего впереди молодого стольника, высокого и стройного, и повели к «ердани», к купальной открытой сени.

— Многая лета великому государю!—едва успел крикнуть стольник, как «купальные» толкнули его в пруд «прямо мордой».

Стольник скрылся под водой, но через несколько секунд вынырнул и, ловко держась на воде, клал поклоны, ударяя лбом о поверхность воды.

— Ай да ловок Еремей!—послышались одобрительные возгласы среди бояр.— И на воде великому государю челом бьет.

— И точно ловок! Ах, язва!

А стольник, видя произведенный им эффект, поднял правую руку и возгласил:

— Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твое! Победы благоверному государю нашему Алексею Михайловичу на супротивныя даруяй...

— Ах, язва! И вода ево не берет.

Алексею Михайловичу, видимо, понравились проделки стольника.

— Похваляю, похваляю, Еремей!—милостиво улыбался он.

Еремей вышел из воды и, оставляя за собою мокрый след и низко кланяясь, приближался к царю. Тот пожаловал ловкого стольника к руке.

— Похваляю, похваляю,— продолжал Алексей Михайлович,— жалую тебя двумя обедами.

Все с завистью смотрели на счастливца: его ожидала карьера по службе. Шутка ли! Два обеда разом!

Между тем «купальные» тащили уже другую жертву царской потехи. Это был старенький, сухенький и тщедушный стольничишко, которому плохо везло по службе. Он никогда не опаздывал к царскому смотру потому, что, с одной стороны, был холопски усерден к службе и верен, «аки пес», с другой, он боялся воды, так как во всю свою жизнь не купался, предпочитая холодной речной воде паровую баню с веником; но сегодня, на беду, опоздал, за своею глухотою не расслышав боя часов на одной из кремлевских колоколен.

Он весь дрожал со страху, крестился и жалобно просил:

— Царь государь! Смилуйся, пожалуй! Я отродясь не плавал... Я немощен... У меня утин на хребте...

Это тешило «тишайшего», и он смеялся, а бояре вторили ему почтительным ржанием.

«Купальные», подстрекаемые общим весельем, взяли свою жертву за ноги и за руки, и, раскачав в воздухе, бросили далеко в пруд. Тщедушное тело бултыхнуло в воду и пошло ко дну. На поверхности всплыли пузыри...

Ждут, а он не показывается. Еще ждут, нет его, только пузыри вскакивают.

— Ишь, старый, словно тебе выхухоль в воде живет,— слышалось меж боярами.

— Что выхухоль! Настоящий соболь...

А соболя все нет. Алексей Михайлович начинает тревожиться.

— Он шутит, государь,— успокаивают его бояре,— ишь проказник!

Но проказника все нет, и вода в пруду сровнялась, гладко, как зеркало.

— Ищите ево! Вымайте из воды,— тревожно заговорил государь.— Ох, Господи!

Все засуетились, но никто не смел броситься в воду. Слышались только возгласы, оханья. Все столпились у пруда, разводили руками, топтались на месте, как овцы...

Вдруг кто-то протискивается сквозь толпу, крестится и с размаху бросается в пруд.

— Еремей! Еремей Васильевич Сухово,— послышались радостные голоса.

Это был действительно он. Смельчак быстро доплыл до того места, где скрылся под водою старень-

кий стольник, и нырнул. Через несколько секунд он вынырнул, держа в одной руке за шиворот утопленника и поддерживая его беспомощную лысую голову над водою, и скоро достиг «средины».

— Не клади наземь! Не клади! — послышались возгласы.

— Дайте охабень! На охабени качайте! Отойдет.

— Ах, Господи! Ах, Господи! — повторял Алексей Михайлович, глядя на посиневшее лицо утопленника.

Несчастного положили на охабень, качали шибко, сильно. Жалкое маленькое тело в мокрой одежде беспомощно перекидывалось по охабеню, руки и ноги болтались как плети, посиневшее лицо как бы о чем-то просило...

Но его так и не откачали...

XXIII. РОКОВОЕ ПОЖАТИЕ РУКИ

В то время, когда Алексей Михайлович выслушивал доклады дьяка Алмаза Иванова, а потом купал своих стольников, его любимица, царевна Софья Алексеевна, затеяла прогулку в лес по грибы. Она воспользовалась прекрасным теплым сентябрьским днем и тем обстоятельством, что царская семья и весь двор на днях должны были переехать из села Коломенского в Москву.

Теперь Софья Алексеевна была уже не подросток девочка, а настоящая девица, «большая»: ей уже семнадцать лет, и она выросла, пополнела и вполне развилась физически.

В это утро, по обыкновению, она училась с Симеоном Полоцким, который никак не мог удовлетворительно объяснить ей, отчего это бывает снег. Хотя он объяснял по-ученому, но ужасно туманно, и это раздражало царевну.

— Егда пар восходит на воздух, — толковал он, — и ветр далече проженет, и та пара отолстеет, обаче же не может в камень смерзнуться, понеже тамо есть мгла посреди: все же строится судьбами Всесотворшаго, и идет снег, дождь, и град, роса и иней, мраз и зной, воздухом и солнцем, обаче же токмо един Он всесильный творец Весть.

— Ах, Симеон Ситианович, — зевала царевна, — лучше пойдемте в лес по грибы: вон какое вёдро, хорошо, зело хорошо; а то скоро в город переедем.

Конечно, учитель охотно согласился прогуляться в лесу с своей хорошенькой ученицей, и они, захватив корзинки, отправились небольшим обществом в рощу, примыкавшую к дворцу села Коломенского: с ним пошли за грибами и старая царевнина мамка, и случайно бывшая во дворце у царицы молоденькая Ордина-Нащокина, Наталья Семеновна, урожденная княжна Прозоровская.

Читатель, может быть, помнит, что княжну Прозоровскую, постригшуюся было с отчаяния, мы видели в последний раз три года тому назад, когда она вдруг неожиданно явилась в монашеском одеянии к Воину Ордину-Нащокину и решительно заявила, что в монастырь она больше не возвратится.

Происшествие это в свое время наделало много шуму в Москве, особенно в придворных сферах. Сделалось известным, что инокиня Надежда, урожденная Наталья Прозоровская, отпросилась у игуменьи пойти в Успенский собор, во время службы, с кружкою для сбора пожертвований на святую обитель. Ее отпустили с одной почтенной старицей. Но в соборе, среди литургии, молоденькая инокиня Надежда попросила старицу подержать на минуту ее кружку, пока она поставит свечку Николе Чудотворцу, и тотчас же исчезла! Из собора она поехала прямо к тому, кого она давно любила, к своему Воину.

Многих хлопот стоило родителям их спасти юную беглянку от жестокого наказания по «Намоканону» и по монастырскому уставу. Только личное участие царя в судьбе молоденькой преступницы и его любовь к старику Нащокину отвратили от ее пылкой головки суровую кару. Притом же Алексею Михайловичу проходу не давала его «непоседа», царевна Софьюшка, которую он иногда называл «запорожцем в юбке». Она с утра до вечера нудила над ухом: «прости да прости Наташу Прозоровскую»...

И пришлось простить. Но ее, конечно, по тогдашнему выражению, «обнажили от ангельского чина», другими словами, расстригли.

Потом любящая парочка сочеталась браком, и с той поры молодая Ордина-Нащокина, жена Воина, глубоко привязалась к царевне Софье Алексеевне за ее заступничество перед отцом и при всяком удобном случае являлась во дворец.

Все шли с корзинками в руках, и Симеону Полоцкому дали огромную корзину, потому что он хвастал-

ся, что у них в Полоцке он считался первым «грибонаходчиком».

Дорогой говорили о том, что занимало тогда умы московского общества, о бывшем патриархе Никоне и о заключении его в Ферапонтовом монастыре, о ссылке протопопа Аввакума в Пустозерск, в земляную тюрьму, наконец, об изъявлении Разиным покорности.

— А что он после тово, матушка царевна, сделал! Не приведи Бог,— заметила молодая Ордина-Нащокина.

— А что такое, Наташа? — спросила Софья Алексеевна.

— Да вот что, государыня царевна. Вечор от батюшки с Астрахани гонец пригнал с гостинцами мне от родителя, груши да виноград. Дак сказывал гонец: была-де в полонянках у Разина царская дочь, персицково царя, красавица! Ни в сказке сказать, ни пером написать. И полюбись, матушка, та царская дочь атаману Разину, уж так любил ее, так любил! И берег как зеницу ока. Пришло, говорит, атаману Разину пора время говеть, и на духу его батюшка пытает: «Что-де у тебя, раб Божий, дороже всего на свете?» — «А так и так, батюшка,— говорит Разин,— дороже мне всево, говорит, царская дочь».— «Кинь,— говорит батюшка,— кинь ее в море, как кинул в море царь Соломон свой драгоценный перстень. Ежели,— говорит,— Бог примет твою жертву, то на третий же день рыба-кит, аки Иону, возвратит тебе царевну».

— Ну, и что ж? — в волнении спрашивала царевна.— Кинул?

— Кинул, государыня,— отвечала Ордина-Нащокина.

— Господи! — всплеснула руками Софья Алексеевна.— Ну, и как же было дело?

— Да как: был, говорит, у атамана Разина пир большой, у нево на струге; был у нево, говорит, в гостях и мой батюшка. Вышла, говорит, из своей светлицы к гостям и царска дочь, вся в золоте да в камнях самоцветных, поднесла гостям по чаре, как закон велит. А Разин и говорит гостям: «Вот мое сокровище! — это на царскую-то дочь.— Царь Соломон,— говорит,— бросил в море свое сокровище, драгоценный перстень, а я — ее!» Да с этим словом схватил ее поперек и, словно золот перстень, бросил ее в море!

Все пришли в ужас от этого рассказа, дошедшего до Москвы уже в искаженном варианте.

— Ну и что ж, рыба-кит не принесла ее на третий день? — спросила Софья Алексеевна.

— Не принесла, матушка царевна.

Симеон Полоцкий полагал, что это просто бабья сказка, и потому больше думал о грибах, чем о царской дочери и ее участи.

— А вот сыроежка! Вот и белый гриб! — радостно воскликнул он, нагибаясь, чтоб сорвать грибы.

Скоро и все увлеклись грибами.

В это время у опушки леса показались два всадника. По всему было видно, что это соколиные охотники, потому что у каждого из них на рукавице сидело по соколу, один в красной шапочке, другой в голубой.

— Да это, никак, князь Василий Васильевич Голицын? — заметила Ордина-Нащокина.

— Он и есть,— подтвердил Симеон Полоцкий.

Царевна Софья Алексеевна почему-то при этом вся вспыхнула.

— Должно, с соколиной охоты едут,— как бы нехотя сказала она.

Всадники подъезжали все ближе, и вдруг один из них, остановив лошадь, соскочил с седла, передал и лошадь, и своего сокола другому всаднику, что-то наказал ему и торопливо пошел к грибоискателям.

Это был действительно князь Василий Васильевич Голицын, мужчина средних лет, широкоплечий и достаточно плотный. Он издали узнал Софью Алексеевну и, приближаясь к ней, почтительно снял шапку.

— Здравствуй, князь Василий! — ласково сказала царевна.

— Будь и ты здорова, государыня царевна,— поклонился Голицын.— Грибным делом тешишься!

— Точно,— отвечала Софья, скользнув глазами по всей фигуре собеседника.

Голицын поздоровался и с другими.

— А князь Василий был на соколиных ловах? — спросила царевна.

— Грешным делом, государыня... Что ж я смотрю! — спохватился он.— Позволь, государыня, я хуть кошницу буду носить за тобой.

— И то дело,— согласилась царевна.

Все занялись исканием грибов, изредка перекидываясь словами: «Ай да рыжик!», «А у меня волнушка!», «Грузди!». Усерднее всех лазил по кустам Симеон Полоцкий, желая поддержать свою старую репутацию.

Молодая Ордина-Нащокина, не сильная насчет грибной части, боясь набрать мухоморов вместо рыжиков, держалась профессора по грибной части, старой мамки, и не отходила от нее.

Софья же Алексеевна, порывистая, нетерпеливая, быстро переходила от одного места к другому, и Голицын должен был следовать за ней. Она вся раскраснелась от ходьбы, и грудь ее высоко поднималась. Часто взор ее скользил по лицу Голицына, но как-то украдкой, стыдливо. Она испытывала какое-то радостное волнение вблизи этого сильного мужчины, и ее все дальше и дальше тянуло в глубь рощи.

Они давно потеряли всех из виду и, кажется, забыли о грибах.

— Вот гриб, государыня! — сказал Голицын, нагибаясь.

Нагнулась и Софья Алексеевна, и глаза их встретились. Что-то горячее сказалось с обеих сторон в этих глазах, и когда рука Голицына потянулась было к грибу, она ощутила не гриб, а другую руку, руку царевны. Руки соединились порывисто, судорожно. Но теперь они не смели взглянуть друг другу в глаза, хотя и чувствовали, что в этот момент они составляют одну душу, одно существо...

— Ау! Ау! — послышался голос Ординой-Нащокиной.

— Я не могу откликнуться,— шептал в волнении князь Голицын,— не хочу!

— И не надо! — прошептала и Софья, вставая и не выпуская из руки руку Голицына.

Из-за ближних кустов показался Симеон Полоцкий. Он торжествовал, в корзине у него были всевозможные грибы.

— А вы? — обратился он к царевне и к князю Голицыну.

— Мы нашли всего один гриб,— отвечал последний.

— А Симеон Ситианович помешал нам сорвать ево,— добавила Софья, лукаво глянув на Голицына.

— Ау! Ау! Ау! — повторялись ауканья Нащокиной.

— Ау! Ау! — отвечала царевна, думая про себя: «Теперь пущай ее идет».

Софья Алексеевна давно уже чувствовала влечение к Голицыну, часто встречая его во дворце. Еще девочкой она видела в нем образец мужчины, а чем старше становилась, тем очевиднее для нее самой росло в ней

нежное и тревожное чувство к тому, кого она в душе называла «Васенькой».

И вот сегодня она в первый раз почувствовала, что одно прикосновение его сильной, мускулистой руки дало ей столько счастья и чего-то такого сладостного, что она еще ни разу не испытывала в жизни. Это прикосновение точно обожгло ее, и между тем ей хотелось, чтобы он не выпускал ее руку, ей хотелось чувствовать ее теплоту, ее силу, ее близость.

Все пошли дальше, продолжая искать грибы и уже не разбиваясь на отдельные единицы. Софья Алексеевна теперь стала внимательнее к своему делу, и в корзинку ее, которую продолжал носить Голицын, все чаще и чаще попадали то рыжики, то сыроежки, то и настоящие белые. Она рассказала Голицыну о варварском поступке Разина со своей хорошенькой пленницей, и Голицын тоже принял было это за сказку, если бы рассказ царевны не поддержала молодая Ордина-Нащокина, сказав, что гонец, привезший эту весть из Астрахани, еще не выехал из Москвы обратно и может лично подтвердить все сообщенное князю.

Но пора наконец было возвращаться и по домам. Когда они выходили из рощи, у опушки ее, на дороге, ведущей в Москву, Голицына ожидал его сокольничий с лошадью и соколом. Голицын простился и вскочил на коня, взглянув последний раз на царевну.

Софья долго провожала его глазами.

Весь этот день и она и он постоянно вспоминали, как руки их встретились там в роще; но они, конечно, не могли предвидеть, какие кровавые последствия в будущем проистекут для России и для них самих из этого рокового пожатия одной руки другою [7].

XXIV. В КУЛЬ ДА В ВОДУ

В то время, когда в Астрахани и в Москве происходили описанные нами события, как известно, заключен был с Польшею Андрусовский мир.

Виновником этого гибельного для Малороссии мира был старый наш знакомый, Ордин-Нащокин-отец. Этим постыдным миром Малороссия разрезывалась пополам, так сказать, по живому телу: вся правобережная Украйна, Волынь и Подолия отдавалась Польше вместе с величайшею святынею русского народа, Киевом!

Мало того! Ходили слухи, и небезосновательные, что Ордин-Нащокин советовал царю совсем уничтожить казачество как корень всех смут внутри государства и как начало всех несогласий и недоразумений с соседними государствами: долой Запорожье! Долой донское и яицкое войско!

Когда эти слухи проникли в Запорожье и на Дон, тогда все казачество подняло голову.

— Лучше жить в братстве с турками, чем с москалями! — крикнул на полковничьей раде Брюховецкий, потрясая в воздухе гетманской булавой.

Это он выкрикнул в Гадяче. Подобный же возглас раздался и на Дону, на небольшом острове Кагальнике.

— Я вырежу до ноги все московское боярство и всех господ и поставлю над Русскою землею один казацкий круг! — сказал Разин, когда к нему на Дон явились посланцы Брюховецкого.

Посланцы эти, наши старые знакомые, которых мы видели в первой главе нашего повествования, в столовой избе Грановитой палаты на отпуске у царя Алексея Михайловича: это — Герасим Яковенко, или «Гараська-бугай», Павло Абраменко и Михайло Брейко, тот самый великан, который растянулся во весь рост на ступенях державного места и восклицанием: «Оце лизо николи с коня не падав, а тут, бач, упав!» — вызвал общий смех.

Посланцы привели от гетмана в подарок Разину прекрасного белого арабского коня под богатым чепраком, а для казацкого круга пригнали сто превосходных черкасских волов, рога которых перевиты были красными, голубыми, алыми и зелеными лентами.

— Уж и хохлы дошлые! Словно красных девок, волов своих лентами изнарядили! — удивлялись донцы, любуясь прекрасными волами.

Стан Разина в это время, как сказано выше, находился на острове Кагальнике. Стан был обнесен высоким земляным валом, на котором в разных местах поставлены были пушки очень внушительных размеров. За валом вся площадь острова, то есть внутренняя часть острова, состояла из массы небольших курганов с торчавшими из них плетеными трубами: это были земляные избы, или «курени», в которых помещались казаки Разина и он сам.

— Тебе бы, батюшка Степан Тимофеич, особый куренек срубить,— говорил ему есаул Ивашка Черноярец, когда рыли землянки для войск.

— У Христа и норы лисьей не было, а он был царь над царями,— отвечал Разин.

Гетманских послов Разин принял без всяких излишних церемоний, которых он терпеть не мог, говоря, что они служат «для отводу глаз дуракам», и только приказал стрелять из всех пушек, когда послы с берега садились в лодки, чтоб ехать на остров, и когда пристали к острову.

Присланных гетманом волов оставили на берегу, конечно, на время, для корму, а коня перевезли на остров и торжественно провели перед выстроившимися казаками.

Разин тотчас же собрал «круг». В кругу стояли: Разин с своим есаулом и три гетманские посла. В руках у Разина была богатая атаманская «насека», или бунчук.

Герасим Яковенко несколько отступил от товарищей вперед и подал Разину «лист» от гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого и всего войска запорожского низового к господину атаману Степану Тимофеевичу Разину и всему вольному войску донскому. Разин взял лист-пакет, поцеловал печать, бережно разломал ее и, вынув из пакета бумагу, подал ее есаулу.

— Вычитай, что пишет нам ясновельможный гетман и все славное запорожское войско низовое,— сказал он, несколько преклоняя бунчук в знак почтения к посольству.

В послании говорилось о нестерпимых утеснениях, делаемых Москвою и ее воеводами Украйне, об отдаче Киева и всех печерских угодников полякам, о намерении уничтожить все казачество.

Казаки не дали есаулу дочитать послание до конца.

— Не бывать этому!—кричали они, хватаясь за сабли, точно бы враг стоял перед ними налицо.

— На осину всех бояр! В куль да в воду!—кричали другие.

Посланцы Брюховецкого объяснили, что заводчиком всего этого у царя Афонька Ордин-Нащокин.

— Он и сынка свово, проклятого Воинку, подсылал к нам лазутчиком,— пояснил великан Брейко.

— А наши казаки выкрали его у ляхов. Мы думали, что он что-нибудь доброе, а оно вон что, змеиное отродье!—добавил «Гараська-бугай».

— Мы ево и в Москве найдем!—кричали казаки.

— И батюшку, и сынка в один куль!—добавляли другие.

«Майдан» долго волновался, пока Разин не махнул бунчуком. Все утихло.

— Атаманы-молодцы и все вольное войско казацкое! — возвысил голос Разин.— Москва хочет утопить нас в ложке воды, отобрать от нас казацкие вольности...

— Этому не бывать! — опять послышались крики.

— Не бывать! — подтвердил и Разин.— Мы сами зажгем Московское государство с двух концов: мы с Волги, запорожские казаки и татары с Днепра, и тогда посмотрим, кто кого в крови утопит!

— Любо! Любо! Только не мы утонем! — кричали казаки.

Между тем на кострах, разведенных еще с утра, на пищальных шомполах уже жарились огромные куски черкасской говядины, а из войскового подвала выкатывали бочки с вином.

Скоро на майдане начался пир.

И донские, и запорожские казаки все были горазды выпить, а потому гульня была жестокая.

Чей-то голос вдруг затянул:

Как у нас на Дону,
Во Черкасском городу...

— К бесу Черкасской город,— раздались другие голоса,— там Корнилка Яковлев заодно с Москвою! В воду всех согласников!

Тогда другой голос запел:

Как у нас на Дону,
В Кагальницком городу!

— Любо! Любо! В Кагальницком городу!

Пьяные голоса перебивали один другого, никто никого не слушал. А какой-то казак с вырванною ноздрей, взявшись в боки, приседал пьяными ногами и приговаривал:

А как наш-от козел
Всегда пьян и весёл,—
Он шатается,
Он валяется...

Ему вторила другая пьяная, тоже вырванная ноздря, из «сибирных», которая, приставив сложенные ладони ко рту, дудела, как на дудке:

А-бу-бу-бубу-бу-бу,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу,—
Труба точеная,
Позолоченная!

Между тем Разин, который в это время разговаривал с запорожскими послами, вспомнив что-то, встал на ноги (он сидел и пировал с послами на разостланном персидском ковре) и крикнул таким голосом, который всех заставил очнуться:

— Атаманы-молодцы! Слушать дело! — поднял он бунчук.— Привести сюда бабника с бабой!

Несколько казаков бросились к небольшой земляной тюрьме и вывели оттуда рослого, широкоплечего и мускулистого казака и молоденькую девушку-казачку. За ними еще один казак нес длинный рогожный куль, в котором отчаянно метался и мяукал кот.

Приведенный из земляной тюрьмы молодой казак смотрел кругом смело, вызывающе, дерзко. Юная же подруга его была бледна как мел и едва стояла на ногах. Молодость и миловидность ее были таковы, что даже грубые, зачерствелые черты убийц при виде ее смягчались.

Несчастные обвинялись в тяжком для «казака в поле» преступлении. Теренька Порядин, так звали молодого казака, нынешней ночью стерег на войсковом лугу казацких коней. Когда же дозорные казаки обходили ночью войсковой табун и проверяли варту, то застали Тереньку Порядина с этой девушкой, с Палагой Юдиной, с соседнего хутора. А по казацкому обычаю, «казак в поле» за сношение с бабой подвергался смертной казни: «в куль да в воду», притом вместе с бабой, если она поймана, и вдобавок с котом, который бы их царапал в куле.

Когда вины несчастных были сказаны есаулом в казацком кругу перед гетманскими послами, Разин сказал:

— Вершите, атаманы-молодцы! В куль да в воду!

Говоря это, он не сводил глаз с трепетавшей девушки. В его душе вдруг встал другой милый образ, так бесчеловечно погубленный им. За что? За чьи грехи? И уже никогда, никогда этот милый образ не явится ему наяву, как он часто является ему во сне и терзает его душу поздним, напрасным раскаянием. И его разом охватила такая тоска, такая душевная мука, что он

сам, кажется, охотно бы пошел в этот куль и в воду...

— В куль да в воду! — повторили голоса в кругу, иные видимо неохотно.

Осужденный посмотрел в глаза своему атаману таким взглядом, что даже Разин смутился.

— Тебя, вора, в куль да в воду! — глухо произнес осужденный.— Ты не по закону жил с персицкою княжной, бусурманкой, а Палага — моя законная невеста...

Глухой ропот пронесся как ветер по майдану. Разин страшно побледнел и пошатнулся, словно бы от удара. Слезы и судороги сдавили ему горло...

— Он прав... Он прав, братцы! — рыдая, говорил он.— Вяжите меня в куль... я не отец вам... я не жилец на этом свете!.. Ох, смерть моя!.. Вяжите! Вяжите меня!..

Разин упал на колени и положил бунчук на землю.

— Простите меня, братцы! — и он кланялся в землю.— А теперь вяжите... вот мои руки... в куль, в куль да в воду!..

Он говорил точно в бреду. Весь майдан онемел от ужаса...

Наконец некоторые из казаков опомнились, бросились к своему атаману, подняли его...

— Батюшка! Отец наш! Не покидай нас, сирот твоих,— умоляли они его,— без тебя мы пропали.

Стон прошел по всему майдану. Разина обступили, целовали его руки, плакали...

Плакал и он... В плаче этом слышалось глубокое отчаяние.

Но потом он быстро подошел к осужденному и горячо обнял его:

— Прости меня, Теренюшка! Прости, родной мой! И ты меня прости, Палагеюшка!

Он поклонился девушке в землю. Та, бледная, все еще растерянная и трепещущая от ужасного над нею и ее возлюбленным приговора, силилась поднять валявшегося в ее ногах страшного атамана.

— Прости! Прости меня! — повторил Разин.— За твой девичий стыд! За мое окаянство, прости!

— Бог всех простит! Бог всех простит! — раздались отдельные голоса на майдане, а за ними в один голос закричало все войско.— Бог всех простит! Бог всех простит!

Эта картина, полная глубокого драматизма, произвела сильное впечатление на запорожцев.

В конце концов осужденные были помилованы и как почетные гости посажены в круге, а ни в чем не повинный кот, выпущенный из куля, с сердитым фырканьем вскочил на ближайшую развесистую вербу и злобно глядел оттуда своими круглыми, горевшими зеленым огнем глазами.

XXV. ЖЕНА РАЗИНА

Посольство Брюховецкого к Разину, как известно, ни к чему не привело. Гетман правобережной Украйны Дорошенко в несколько недель покорил под свою власть всю левобережную Украйну, и Брюховецкий своею же чернью «голотою» в несколько минут был забит палками и ружейными прикладами, «как бешеная собака», по выражению летописца.

Разину предстояло действовать одному с своими казаками.

Наступал 1669 год. Дон вскрылся рано. Надо было думать о походе.

Вдруг однажды под вечер разинские молодцы, которые ловили в Дону, ниже Кагальника, рыбу, заметили лодку, которая осторожно, среди густых тальников и, видимо, крадучись, пробиралась к казацкому стану. Ловцы настигли ее и увидели, что в ней сидит женщина. На оклик сначала ответа из лодки не последовало, и лодка продолжала спешить к острову.

— Остановись, каюк, стрелять будем! — закричал один из ловцов и выстрелил по подозрительному каюку.

После выстрела каюк остановился. Ловцы подплыли ближе: в каюке находилась только одна женщина средних лет, по-видимому, казачка.

— Ты кто такая и откель? — спросили ловцы.

— Сами видите, атаманы-молодцы, что я казачка и еду из Черкаскова,— смело и даже гордо отвечала неизвестная женщина.

— Видим, что не татарка,— улыбнулся один из ловцов,— а куда путь держишь?

— К атаману Степану Тимофеичу Разину,— был ответ.

— О-го-го! — покачал головой тот же ловец.— Высоко, болезная, летаешь, а где-то сядешь!

— Сяду рядом с вашим батюшкой атаманом! — гордо отвечала казачка.

— Не прогневайся, молода-молодка,— заметил другой ловец, постарше,— в наш городок ваш брат, баба, и ногой ступить не может: а то зараз кесим башка!

— Што так строго? — презрительно улыбнулась смелая казачка.

— А так, у нас закон таков: чтоб бабьятиной и не пахло,— отвечал младший ловец.

— Что ж, али баба псиной пахнет? — презрительно пожала плечами казачка.

— Псиной не псиной, а припахивает.

Этот дерзкий ответ взорвал казачку: она вспыхнула и замахнулась веслом, чтоб ударить обидчика. Тот едва увернулся.

— О! Да она и в самом деле с запашком! — засмеялся он.

— Прочь, вислоухие! — закричала вне себя казачка.— Мне не до вас, сволочь! Мне спешка видеть атамана; а задержите меня, завтра ж вас в куль да в воду!

Она торопливо сняла с своей руки перстень с бирюзой и подала старшему ловцу.

— На! Зараз же покажь атаману, мне ждать неколи, а ему и тово меньше,— сказала она повелительно.

Все это говорилось таким тоном, и вообще незнакомая женщина так вела себя, что казаки уступили ее требованию и поплыли к острову. Незнакомка следовала за ними. Она так сильно и умело работала веслом, что ее легкий каючок не отставал от казацкой лодки.

Скоро они были у острова. Из-за земляного вала, которым был обнесен стан Разина, кое-где поднимался синеватый дымок к небу.

Лодка и каюк пристали к берегу. Старший ловец тотчас же отправился в стан, а младший с незнакомой казачкой остались на берегу.

— Что ж у вас в Черкасском делается? — спросил было незнакомку оставшийся на берегу ловец.

— Это я скажу атаману,— был сухой ответ.

«Фу-ты ну-ты!» — подумал про себя ловец и только пожал плечами.

Скоро воротился и тот казак, который ходил в стан с перстнем.

— Иди за мной,— сказал он незнакомке,— батюшка Степан Тимофеевич приказал звать тебя.

Незнакомка повиновалась. По лицу ее видно было, что волнение и страх боролись в ней с каким-то другим чувством.

Разин ждал ее на майдане в кругу нескольких казаков. Выражение лица его было сурово.

Незнакомка робко подошла к нему и опустилась на колени. Разин молча вглядывался в ее черты.

— Степанушка! Стеня! Али ты не узнал меня?—с нежным упреком произнесла пришедшая.

— Нет, узнал,—сухо ответил Разин.

Но и на его холодном лице отразилось волнение и какое-то другое чувство. Стоявшая перед ним женщина была когда-то его женой. Была! Да она и теперь его жена: вот тот перстенек с бирюзой, который когда-то, в ту весеннюю ночку, он сам надел на ее пальчик. Помнит он эту ночку, они не забываются. Но чем-то другим, какою-то пеленою заслонились воспоминания этой, давно минувшей ночи. После нее были другие ночи не здесь, не на Дону, а на море...

— Встань, Авдотья,—более мягким голосом сказал атаман,—тебе сказали, что у нас здесь нет жен?

— Сказали,—ответила жена Разина,—да я не к мужу пришла, а к атаману.

— Сказывай, с чем пришла?—спросил тот.

— Я при них не скажу,—указала она на казаков.

— У меня от них тайны нет,—возразил атаман.

— Так у меня есть,—с своей стороны, возразила жена атамана,—отойдем к стороне.

Разин нетерпеливо пожал плечами, но исполнил то, чего требовала от него жена.

Когда она передала ему что-то на ухо, Разин сделал движение не то удивления, не то досады. Жена продолжала говорить что-то с жаром. Глаза атамана сверкнули гневом.

— А! Дак они вот как!—глухо проговорил он.— Ладно же! Я им покажу! Атаманы-молодцы!—громко обратился он к кругу.—Нынче же в Черкасской! Слышите?

— Слышим, батюшка, Степан Тимофевич! Любо!—гаркнули казаки.

— А тебе, Авдотья, спасибо за вести,—сказал Разин жене.—А теперь уходи восвояси: тебе здесь не место.

— Не место! А персицкой любовнице было место!—крикнула жена атамана.

Глаза оскорбленной женщины и жены сверкали негодованием. Не такого приема ожидала она от мужа после стольких лет разлуки. А он словно царь какой принял свою когда-то Дуню, желанную, суженую. В этот момент она забыла, что сама когда-то знать его не хотела, когда он был неведомым бродягой и шатался с такими же бродягами... А теперь он царь, настоящий царь!.. «Спасибо за вести, а нам тебя не надо... тебе здесь не место!..» Бессильная злоба кипела в ее душе.

И как назло, бывший ее муж стал теперь еще красивее: седина в курчавой голове так шла к его черной бороде... А когда-то она ласкала эту бороду, эту буйную голову... После нее ласкала другая... Эта была милее, желаннее...

— Не место! Жене не место, а любовнице место! — повторила она злобным шепотом.

— Авдотья! — тихо, сдержанно сказал ей муж.— Уходи, если не хочешь сейчас же напиться донской воды.

— Хочу! Утопи меня! — настаивала упрямая казачка.

— Ты не стоишь этого! — махнул рукою Разин и начал готовиться к походу в Черкасск.

Жена бросилась было за ним, но потом, закрыв лицо руками, со слезами ушла с майдана.

Скоро ее каючок отчалил от берега и скрылся во мраке.

— Несолоно хлебала,— сказал про себя провожавший ее до каюка молодой ловец.

XXVI. НА МОСКВУ ШАПОК ДОБЫВАТЬ

Вести, привезенные из Черкасска женою Разина, были действительно тревожного свойства.

Из Москвы прибыл на Дон бывший недавно в «жильцах» стольник Еремей Сухово-Евдокимов, который так отличался в прошлом году, во время последнего купанья стольников и жильцов в Коломенском пруду, что Алексей Михайлович пожаловал его двумя обедами разом. Еще тогда же дворские завистники говорили, что Еремей шибко пойдет в гору после такой «царской есгвы, о какой у него и на уме не было».

Действительно, в Сухово-Евдокимове учуяли ловкого малого, который в одно ушко влезет, а в другое

вылезет, и раннею же весною ему дали серьезное поручение: ехать на Дон с милостивою царскою грамотою, а под рукою разузнать, не затевает ли вновь чего Разин. В Москве уже известно было и о варварском его поступке с дочерью хана Менеды Заирою и о том, что он не соединился с прочими донскими казаками, а основал свой особый стан на Кагальнике. Все это очень беспокоило Алексея Михайловича.

Вот с этим-то двойственным поручением и явился в Черкасск Сухово-Евдокимов «с товарищи».

— Я знаю, Еремей, твое усердие: ты и там сух из воды выдешь,— сказал ему на милостивом отпуске «тишайший», остроумно намекая игрою слов на его «сухую» фамилию и на его уменье плавать.

— Ну, как бы там из «сухово» не вышло мокренько,— процедил себе в бороду Алмаз Иванов, который лучше других понимал всю серьезность дел на Дону.

Эти-то вести и сообщила Разину жена, которая оставалась все время в Черкасске, когда муж ее в течение многих лет рыскал с своею «голытьбой» то по Дону и Волге, то по Яику и Каспийскому морю.

В ту же ночь Разин с частью своих молодцов отправился в Черкасск. На Дону в то время начиналось весеннее половодье, и потому удобнее было ехать в Черкасск на лодках. Столица донских казаков, как известно, в половодье была неприступна ни с луговой, ни с нагорной стороны Дона, так как ее со всех сторон окружала вода, и весь Черкасск, его курени, сады и церкви, казалось, плавали на воде.

Утром флотилия Разина неожиданно окружила Черкасск. В станице все переполошились, когда услышали три вестовых пушечных выстрела с атаманского струга и когда молодцы Разина стали высаживаться на берег и гурьбой, с криками и угрозами по адресу Москвы, направляться к соборной площади.

Разин тотчас же приказал бить «сполох», и соборный колокол оповестил всю станицу, что готовится что-то необычайное. Все спешили на площадь, одни — чтобы узнать в чем дело, другие — чтобы только взглянуть на Разина, имя которого успело покрыться так быстро небывалою славою и который представлялся уже существом сверхъестественным: его ни пуля не брала, ни огонь, ни вода, ни сабля; на Волге, например, он расстелет на воде войлочную кошму, сядет на нее и,

точно в лодке, переплывает реку; когда в него стреляют, он хватает пули рукою и бросает их обратно в неприятеля.

Но зато станичные и войсковые власти все спешили прятаться от страшного гостя. Войсковой атаман Корнило Яковлев укрылся в соборе, в алтаре, думая, что нечистая сила, с которой знается Разин, не посмеет проникнуть в храм Божий.

На соборной площади или на майдане собрался между тем круг, Разин вышел на середину круга, махнул бунчуком на колокольню, и набатный колокол умолк. Тогда Степан Тимофеевич, с свойственным ему красноречием, с глубоким знанием своего народа и его инстинктов, начал говорить образным, самым пламенным языком о том, что Москва посягает на их казацкие вольности, как бояре задумали обратить весь Дон и все казачество в своих холопей, сделать холопками их жен и дочерей; напомнил им, как князь Долгорукий самовольно казнил их атамана, а его родного брата Тимофея. Он говорил страстно, убежденно. Это был один из тех народных ораторов, которые родятся веками и за которыми массы идут слепо. Он был грозен и прекрасен в своем воодушевлении, особенно когда говорил о том, что он видел, исколесив русскую землю от Черкасска до Соловок, что везде страшная бедность, голод, болезни, притеснения, а зато в Москве, в царстве бояр, какие палаты, какая роскошь! И все это награблено с бедных, с подневольных, с голодных! И вдруг теперь то же хотят сделать с вольным Доном, с вольными казаками.

Вся площадь, казалось, замерла, слушая страстные речи человека, в котором виднелась уже сверхъестественная сила.

Среди слушателей была и его жена. Она робко затерялась теперь в толпе и из-за широких спин казаков жадно и благоговейно глядела на своего бывшего мужа. Она теперь не узнавала его, но зато никогда и не любила так, как в этот момент, хотя он вчера и смертельно обидел ее.

— Степанушка! Степанушка мой! — молитвенно, беззвучно шептали ее губы.

— Где этот московский лазутчик, что хочет казаков в дурни пошить? — вдруг оборвал свою жгучую речь Разин, обратившись к своим молодцам.— Подать мне ево сюда!

Казаки бросились исполнять приказание атамана.

Через несколько минут Сухово-Евдокимова и его товарищей, московских жильцов, ввели в казачий круг.

— Долой шапки! — крикнул Разин. — Здесь вам не кабак!

Оторопелые послы московского царя сняли шапки.

— Ты зачем сюда приехал? — спросил атаман, подступая к Сухово-Евдокимову.

— Я приехал с царскою милостивою грамотою, — отвечал последний.

— Не с грамотою ты приехал, а лазутчиком, за мною подсматривать и про нас узнавать! Так вот же тебе!

И Разин со всего размаху ударил царского посланца по щеке.

— Чего вам от нас нужно? — продолжал атаман. — Али и без нас мало вам с кого кровь высасывать! Мало вам холопей ваших да крестьян, да оброшников, да ясашных! Мало вам на Москве палат, что на холопских костях сложены! У нас вон нет каменных палат, одни курени да мазанки. Чево ж вам надо? Наших голов? Так нет же! Вот тебе грамота!

И он снова ударил посла.

— В воду его! — махнул он бунчуком.

Казаки набросились на несчастного и избили до полусмерти. Затем потащили к Дону и, еще живого, бросили с атаманского струга в воду.

— Ну-ка, боярин, налови стерлядей у нас во Дону! У вас на Москве их, слышь, нету, — издевались казаки над своей жертвой.

— Пущай плывет к туркам, они добрее Москвы!

Искусный пловец тотчас же пошел ко дну.

— Ишь, только ножкой дрыгнул...

— Постой, атаманы молодцы! Погоди! Не топи ево! — кричала с берега голытьба.

— Што так, братцы?

— А цветно платье зачем топить? У нас зипунов нету, сымем с боярина цветно платье.

Казаки согласились с доводами голытьбы и тотчас же бросились в другие лодки, чтоб баграми отыскать утопленника.

Труп скоро был вытащен из воды, не успев еще окоченеть. Зато тем легче было его раздевать, и его действительно раздели донага.

— Эко зипун завидный! Да и рубаха и порты знатные!

— А то на! Эко добро да в воду! Жирно будет.

— А сапоги-ту! Сафьян рудожелт, загляденье!

— Только, чур, братцы: и зипун, и рубаху, и порты, и онучи, и сапоги,— все в дуван! По жеребью.

— А хрест тельной? И его в дуван?

— Знамо! Мы не бусурманы: на нас, чаю, тоже хресты.

И обнаженное тело московского посла снова бросили в Дон.

— Чать, и ракам надо чем-нибудь кормиться.

— Вестимо...

— А шапка, братцы, боярска иде?—спохватилась голытьба.— Шапки не видать!

— Да! Шапка! Шапка! Иде шапка? Неужто утопили?

— Шапка, должно, в кругу осталась, там ево атаманы били.

Бросились в круг искать шапку.

— Иде боярска шапка? Подавай шапку в дуван!

Разин, увидев мечущуюся голытьбу, лукаво улыбнулся.

— Эх, братцы, я вам на Москве таких шапок добуду!—сказал он задорно.

— На Москву, братцы! На Москву, шапок добывать!—закричала голытьба.

— На Москву! За батюшкой Степаном Тимофеевичем, шапки, зипуны добывать,— стонал майдан.

И среди этой бушующей толпы только одни глаза с любовью и тоскою следили за каждым движением народного героя: то были глаза его жены с навернувшимися на ресницы слезами. Но она не смела подойти к нему.

Вечером того же дня флотилия Разина возвращалась в Кагальник. Но это была уже не прежняя маленькая флотилия: почти весь Черкасск ушел теперь за атаманом, захватив все лодки, какие только были в станице.

С одного струга неслась заунывная песня, и грустная мелодия ее далеко разлеталась по воде. Один голос особенно отчетливо выводил:

Как во городе, во Черкасскием,
У одной-то вдовы было семь сынов,
А восьмая — дочь несчастная.
Возлелеяв-то сестру, все в разбой пошли,
Своей матушке все наказывали:
Не давай-ка без нас сестру в замужье...

Вечер был тихий и теплый. Полная луна серебрила и поверхность широко разлившегося Дона, и прибрежные кусты тальника, и развесистые вершины тополей. С луговой стороны неслись по воде трели соловья.

Разин сидел на носу своего струга в глубокой задумчивости: эта песня напомнила ему детство... А теперь? Он грустно покачал головой.

Если б он поднял глаза к нагорному берегу, под которым плыл его струг, то увидел бы силуэт женщины, которая шла за стругом высоким берегом Дона и от времени до времени утирала глаза рукавом.

XXVII. ВАСЬКА УС

Весна и лето настоящего года принесли Алексею Михайловичу много несчастий и огорчений. Тяжел был для него и предыдущий, 1668 год; но то был год високосный, он и не ожидал от него ничего хорошего.

А теперь так и повалила беда за бедою.

В начале марта царица Марья Ильишна, с которою они прожили душа в душу двадцать лет, умерла от родов. За нею через два дня умерла и новорожденная царевна.

Из Малороссии, с Дона, с Волги — отовсюду неутешительные известия. Малороссию раздирают смуты: там разом борются из-за власти семь гетманов: Многогрешный, Дорошенко, Ханенко, Суховенко и Юрий Хмельницкий, и кровь льется рекою.

Разин после зверского убиения в Черкасске Сухово-Евдокимова уже двигается со своими полками к Волге.

Вдоль всего среднего Поволжья волнуются татары и другие инородцы, которых поднимают против царских воевод Багай Кочюрентьев да Шелмеско Шевоев.

— А еще бояре в думе назвали челобитье их непутевым, и их же батоги бить велено нещадно,— вспоминает Алексей Михайлович свою оплошность,— оплошка, точно оплошка.

И патриарх Никон, сидя в Ферапонтове в заточении, продолжает гневаться, не шлет царю прощения...

— Сердитует святейший патриарх, сердитует... И протопоп Аввакум не шлет с Пустозерска благословения... Ох, быть беде, быть беде! — сокрушается Алексей Михайлович.

И беда действительно надвигалась.

В начале мая Разин с своими толпищами уже приближался к Волге несколько выше Царицына. Бесконечная панорама этой многоводной реки воодушевляла этого необыкновенного разбойника. Он ехал впереди своего войска на белом коне, которого прислал ему в подарок покойный гетман Брюховецкий.

При виде величественной реки, раскинувшей здесь свои воды по затонам и воложкам почти на необозримое пространство, Разин снял шапку, точно перед святыней. Поснимала шапки и ватага его. Разин воскликнул:

— Здравствуй, Волга-матушка, река великая! Жаловала ты нас, сынов твоих, допрежь сево златом-серебром и всяким добром; чем-то теперь ты нас, Волга-матушка, пожалуешь?

Но в то же мгновенье он как будто вспомнил что-то и как-то загадочно посмотрел на своего есаула: в душе атамана что-то давно назревало против Ивашки Черноярца.

По Волге между тем двигалась его флотилия с пешею голытьбою. Вся Волга, казалось, стонала от песни, которая неслась над водою. Голытьба пела:

Вниз по матушке по Волге...

В это время из соседнего оврага показалось несколько всадников. Передний из них на поднятой над головою пике держал какую-то бумагу.

Всадники эти при приближении Разина сошли с коней и поклонились до земли.

— Встаньте! Кто вы? — спросил Разин, останавливая коня.

Всадники поднялись с земли. Это были, по-видимому, татары, всех человек пятнадцать. Впереди их были, как казалось, атаман и есаул: один худой и высокий, другой приземистый.

— Кто вы? — повторил Разин.

— Мы синбирские татаровя, мурзишки, батушка Степан Тимофеич: я — мурзишка Багай Кочюрентьев, а он — мурзишка Шелмеско Шевоев,— отвечал высокий татарин.— Мы к тебе, батушка Степан Тимофеич.

— С каким делом?

— С челамбитьям, батушка.

И Багай подал Разину бумагу. Разин передал ее есаулу.

— Вычитай,— сказал он.

Ивашка Черноярец развернул бумагу и стал читать:

— «Славному и преславному атаману вольного войска донского, батюшке Степану Тимофеевичю, бьют челом и плачются синбирские татаровя, а во всех их место Багай Кочюреньтев сын да Шелмеско Шевоев сын: жалоба нам, батюшка Степан Тимофеевич, на государевых воевод да на подьячих да на служилых людей; били мы, сироты твои, челом великому государю и плакались, что мы-де сироты ево государевы ево государеву пашню пашучи, лошаденка покупали и животишка свои и достальные истощали, а за ево государевою пашнею ходячи, одежонко все придрали, и женишка и детишка испроели, и нынче, государь, помираем голодною смертию; а одежонка нам, государь, сиротам твоим государевым, купити не на што и нечим, и мы-де, государь, сироты твои государевы, погибаем нужною смертию, волочася с наготы и босоты. И за то челобитье нас, государь, батюшка Степан Тимофеевич, сирот твоих, указано бить батоги нещадно. Атаман государь, смилуйся, пожалуй».

Разин внимательно прослушал все челобитье, и брови его сурово сдвинулись.

— Так за это челобитье вас и драли? — спросил он.

— За этим челамбитьям, батушка, наш войвод секил нас батогам нещадным,— отвечал смиренно Багай.

— Добро. Я и до вашево воеводы доберусь,— сказал Разин.— А теперь поезжайте домой и ждите меня, да и всем, в Саратове, и в Самаре, и в Синбирске, скажите, чтоб меня ждали! Я приду...

Татары усердно кланялись. В это время по дороге из Царицына еще показались двое всадников. Разин тотчас узнал их: то были казаки, его лазутчики, которых он предварительно подослал в Царицын, чтоб они заранее предупредили своих единомышленников о скором прибытии атамана с войском. Единомышленники и должны были тайно, ночью, отворить городские ворота для незваных гостей.

Разин да и все казаки с удивлением заметили, что у одного из лазутчиков на седле сидел какой-то ребенок и казак-лазутчик бережно придерживал его рукой.

— Это что у тебя за проява? — спросил Разин.

— Да вот сам видишь, батюшка Степан Тимофеич, калмычонок,— отвечал казак,— девочка-сиротка.

— Да где ты ее добыл и зачем?— недоумевал Разин.

— Да вот видишь ли, атаман: повернули это мы ужо из Царицына, там тебя ждут не дождутся! Коли смотрим, идет навстречь нам калмычка с ребенком на руках; да как увидала нас, и ну улепетывать! Испужалась нас, должно быть. Я кричу этто: «Стой! стой! не бойся!» А бежала она, дура, яром, да к Волге, а яр-от крутой, она возьми да и споткнись, и полетела вниз с кручи, да прямо в Волгу. Вода-то полая подошла к самой круче, глыбко там, калмычка-ту и бултыхни в воду, только пузыри пошли. А эта пигалица как-то зацепилась за коренья барыни-ягоды, застряла, орет. Я и взял ее, жаль крошку. Калмычка, должно думать, нищенка, шла из Дербетьевых улусов в город побираться: а как увидала нас, ну, знамо, заячий дух напал, и бултых в воду: сказано, дура баба.

Маленькая калмычка, совсем голенькая, точно бронзовая, лет, может, двух или немного больше, во время этого разговора доверчиво глядела на Разина и усердно жевала изюм, сама доставая его из пазухи своего спасителя, а спаситель этот захватил маленькую толику изюмцу в Царицыне у знакомого армянина. Встречая ласковый взгляд своей бородатой няньки, девочка весело улыбалась.

Разин тоже с доброю улыбкой глядел на черненькое, косоглазое и косматое существо, и в нем заговорило хорошее чувство: он вспомнил, что судьба не дала ему детей от его Дуни, с которою он давно расстался; но, может быть, она дала бы ему эту отраду в жизни от другой, от той...

Он как-то машинально поманил к себе маленькую калмычку, и она с улыбкой потянулась к нему, быть может, потому, что он был в богатом с золотными кистями кафтане. Он взял ее и посадил к себе на седло, и девочка тотчас же занялась кистями.

Казаки с удивлением, а татары просто с умилением смотрели на эту невиданную сцену: страшный атаман с ребенком на руках!

«Черт с младенцем!»— не одному казаку пришло на ум это присловье.

Но забавляться с ребенком не приходилось долго. Разин опять передал маленькую калмычку ее спасителю.

— Куда же мы ее денем? — спросил он.

— Оставим у себя, атаман, не бросать же ее, как котенка,— отвечал казак.— Все равно, матери у нее нету, а тащиться с нею до Дербетевых улусов не рука, да и там она, поди, с голоду околеет; а у нас, по крайности, забавочка будет.

— Ишь ты, бабу в казацкий стан пущать! — улыбнулся есаул.

— Какая она баба? Козявка, одно слово, мразь.

Разин махнул рукой:

— Ну, ин пущай!

Но едва они двинулись вперед, как справа, по возвышенному сырту, замелькали толпы народа, и пешие, и конные.

— Кому бы это быть? — удивился Разин.— Царские рати так не ходят; да это и не воеводская высылка, не разъезд.

И он тотчас же приказал казакам разведать, что там за люди. Несколько казаков поскакали по направлению к сырту. Издали видно было, как там, в неведомой толпе, при приближении казаков, стали поднимать на пиках шапки. Другие просто махали шапками и бросали их в воздух.

— Кажись, наш брат, вольная птица,— заметил Разин.

— Что-то гуторят, руками на нас показывают,— с своей стороны, заметил есаул.— Не калмыки ли?

— Нет, не калмыки: ни колчанов, ни стрел — ничево таково не видать.

Теперь посланные скакали уже назад. Они, видимо, чему-то были рады.

— Ну, что за люди? — окликнул их Разин.

— Нашей станицы прибыло, батюшка Степан Тимофеич! — кричали издали.— Васька Ус бьет тебе челом всею станицей!

— А! Вася Ус,— обрадовался Разин.— Слыхом слышали, видна птица по полету! Что ж, милости просим нашей каши отведать: а уж заварить заварим! Он раньше меня варить начал.

— Раньше-то раньше,— подтвердил Ивашка Черноярец,— да только каша ево пожиже нашей будет.

— Кулиш, по-нашему, по-запорожски,— пояснил один казак из бывших запорожцев.

Скоро толпы Васьки Уса стали сближаться с толпами Разина. Голытьба обнималась и целовалась с голыть-

бою и казаками. Шум, говор, возгласы, топот и ржание коней... картина становилась еще внушительнее.

Сошлись и атаманы обоих толпищ. Васька Ус, проникнутый уважением к славе Разина, хоть был и старше его и летами, и подвигами, первый сошел с коня и снял шапку. Это был маленький, худенький человечек, из дворовых холопей, уже седой, с усами неровной величины: один ус был у него выщипан по приказанию его вотчинника за то, что он, будучи доезжачим, раньше своего господина затравил в поле зайца. За этот ус Васька и мстил теперь всем боярам и вотчинникам, и за этот выщипанный ус он и получил свою кличку.

Разин тоже сошел с коня, и оба атамана трижды поцеловались.

— Батюшка Степан Тимофеич,— поклонился Ус.— Прими меня и мою голытьбу в твое славное войско.

— Спасибо, Василий, а как по отчеству величать — не знаю,— отвечал Разин.

— Трофимов,— подсказал Ус.

— Спасибо, Василий Трофимыч!..

— А я с тобой, батюшка Степан Тимофеич, и в огонь, и в воду.

— И на бояр? — улыбнулся Разин.

— О! Да на этих супостатов я как с ковшом на брагу!

XXVIII. СМЕНА ЧАСОВЫХ

Ночь перед Царицыном.

Полный диск луны и бледные звезды показывают, что время давно перевалило за полночь. Стан Разина, обогнувший с трех сторон городские стены, давно спит; только от времени до времени в ночном воздухе проносятся караульные оклики.

— Славен город Черкасской,— несется с освещенного луною храма, что высится у обрыва над речкою Царицею.

— Славен город Кагальник! — отвечает ему голос с другого берега речки Царицы.

— Славен город Курмояр! — певуче заводит голос с теневой стороны предместья.

— Славен город Чиры!

— Славен город Цымла!

Это перекликаются часовые в стане Разина. Им вторит дружное кваканье лягушек, раздающееся в камышах да

в осоке по берегу Царицы. Там же от времени до времени раздается глухой протяжный стон, наводящий страх в ночной тиши: но это стонет небольшая с длинною шеей водяная птица, бугай или выпь!

Безбрежная равнина водной поверхности Волги кое-где сверкает растопленным серебром.

Чудесная весенняя ночь!

Разин лежит в своем атаманском намете с открытыми глазами. Ему не спится, его томит какая-то глухая тоска. Как клочья громадной разодранной картины проносятся перед ним сцены, образы, видения, звуки из его прошлой бурной жизни: то пронесется в душе отголосок давно забытой песни, то мелодия знакомого голоса, то милый образ, милое видение, и опять мрак, или зарево пожара, или стон умирающих...

Но явственнее всего перед ним носится милый образ. В намете у него темно, но он видит это милое личико, точно оно сходит откуда-то вместе с бледным светом месяца, проникающим в шатер через отдернутую полу намета. Он не может его забыть, не может отогнать от себя это видение... Отогнать! Но тогда что ж у него останется?..

Он старается прислушаться к окликам часовых, к ночным неясным звукам. Но среди этих неопределенных звуков слышится чей-то детский плач...

Нет, это сонное пение петуха в городе...

— Славен город Раздоры!

— Славен город Арчада!

На светлую полосу в намете, освещенную месяцем, легла как будто прозрачная тень. Разин всматривается и видит, что эта тень приняла человеческие формы...

Что это? Кто это? Но тень все явственнее и явственнее принимает человеческий облик...

Это она, Заира! Она нагибается над ним, и он слышит тихий укор ее милого голоса: «Зачем ты это сделал? Я так любила тебя...»

— Славен город Курмояр!

— Славен город Кагальник!

Разин в испуге просыпается... Но и теперь его глаза продолжают видеть, и он ясно сознает это несколько мгновений: как легкая, прозрачная, точно дым от кадила, тень отошла за отдернутую полу намета и исчезла в лунном свете. Ему стало жаль, что он проснулся

и отогнал давно желанное видение. Если бы не эти оклики часовых, она осталась бы дольше с ним.

Он закрывает глаза. Он ждет: может быть, повторится видение... Слышен какой-то свист со стороны Волги, что-то знакомое напоминает этот свист... Да, он вспоминал, вспоминал высокие камыши в заводях Каспийского моря, такую же ночь прошлого года и тихо качающийся с морской зыбью струг... Так же и тогда свистела эта ночная водяная птица, это овчарик... Но тогда он не один прислушивался к свисту этой ночной птички.

Со стороны города опять доносится пение петуха. Это, должно быть, уже третьи петухи. Скоро должны прийти из города те, которые отопрут городские ворота. Но нет, до зари еще далеко.

Не слыхать более окликов часовых. Да это и не нужно. Кто же осмелится напасть на спящий стан Разина? Да и кому нападать?

Слышится чей-то вздох, тихий, тихий, как вздох младенца...

Разин открыл глаза... Что это? Опять она! На лице ее грустная улыбка... Он слышит опять ее голос: «Зачем ты ему поверил? Он только хотел погубить меня... Он не хотел, чтоб я была твоя...»

— Кто он? — глухо спросил Разин и сам проснулся от своего голоса.

Но он теперь знал, кто он... Он и прежде это знал. Если бы не его наушничество, она бы и теперь была жива. Это сознание давно его мучило, и он уже давно терзался глухою ненавистью к своему есаулу. Он всему виною!

Разин встал и вышел из шатра. До утра еще далеко.

— Славен город Раздоры!

— Славен город Арчада!

Это опять оклики часовых, но их самих не видать.

Разин обогнул угол своего просторного намета и в тени, бросаемой им от месяца, увидел спящего есаула. Ивашка Черноярец лежал на разостланной бурке. В головах у него было седло, а руки положены под голову. Он лежал лицом вверх, растянувшись во весь рост.

Разин вынул из-за пояса, из оправленных серебром и бирюзою ножен, длинный персидский нож и по самую рукоятку всадил его в грудь своего есаула, под самым левым сосцом.

Черноярец открыл глаза...

— Атаман! — с ужасом прошептал он.

Разин быстро повернул нож в груди своей жертвы и вынул.

— Это тебе за нее! — глухо произнес он.

Убитый даже не шевельнулся больше.

Тщательно вытерев нож о бурку и вложив в ножны, Разин пошел вдоль своего стана. Казалось, он прислушивался к ночным звукам. Кваканье лягушек умолкло, но вместо них в камышах Царицы заливалась очеретянка. По временам стонала выпь и насвистывал овчарик. На Волге, вправо от Царицына, длинная водяная полоса сверкала серебром.

— Хто идет? — послышался оклик часового.

— Атаман,— отвечал Разин.

— Пропуск?

— Кагальник.

Разин пошел дальше. Видны уже были очертания городских стен, и длинная черная тень тянулась от крепостной башни с каланчою.

— Славен город Москва! — глухо донеслось с каланчи.

— Славен город Ярославль!

— Славен город Астрахань!

Это перекликались часовые на стенах города. И Разину вдруг ясно представилось, как эти города, которые теперь славят часовые, будут его городами, особенно Москва. И он припомнил маленькую келейку в монастыре у Николы на Угреше и Аввакума, прикованного к стене этой келейки. Бедно и сурово в келье, только солома шуршит под ногами узника. А там, в городе, какие палаты у бояр! Какое убранство на их конях, сколько золота на их одежде! Сколько соболей изведено на их шубы, на шапки!

И этот город будет его городом! Он станет среди Москвы, на Лобном месте, станет и крикнет, как тогда обещал Аввакуму: «Слышишь, Москва! Слышите, бояре!» И услышат этот голос во всей русской земле, за морем услышат!

Из-за обрыва, спускавшегося к Царице, осторожно выюркнула человеческая фигура и, увидев при свете месяца Разина, попятилась назад.

— Хто там? — окликнул Разин и взялся за свой персидский нож.

— Васька Ус,— был ответ,— а в придачу Кагальник.

— А! Это ты, старина? — удивился Разин.— Што полуношничаешь?

— Не спится, атаман, дак робят проверяю.
— Каких ребят?
— Часовых... Который из них задремлет, тово и сменяю.
— Как сменяешь?
— Вот этим самым ножом.— Васька Ус показал широкий нож, на котором видна была свежая кровь.— Который часовой меня не окликнет, и я подкрадусь к нему, тому прямо нож под микитки, и баста! Уж тот што за часовой, к которому подкрасться можно, последнее дело: я тово и сменяю. Я всегда так-ту, батюшка Степан Тимофеич, и у меня никогда часовой не задремит, ни-ни! Ни Боже мой! Уж это все знают.
— Ну и молодец же ты, Василий Трофимыч! — удивился Разин.— Вот умно придумал! Молодец! Ну а я не дошел до этово, не додумался.
— Ничево, атаман, Бог простит,— утешал его разбойник.
— Ну и что ж! Сменил кого? — спросил Разин.
— Двух сменил-таки, порешил... Другим наука.
— Ну и молодец же ты! — похлопал разбойника по плечу Разин.— Будь же ты за это моим есаулом.
— А Иван Черноярец што? — удивился в свою очередь Васька Ус.— Не хорош?
— Я ево тоже сменил, как ты молодцов,— отвечал Разин.
— А-а! — протянул Ус.
Из оврага, идущего от Царицы, послышался протяжный, очень осторожный свист. Разин отвечал таким же свистом, только два раза.
Из оврага вышел человек в поповском одеянии.
— Здравствуй, отец протопоп,— поздоровался с ним Разин.
— Здравствуй, батюшка Степан Тимофеевич,— отвечал пришедший.
К нему подошел Васька Ус и снял шапку.
— Благослови, отче,— сказал он, протягивая руку горстью, как за подачкой.
— Во имя Отца и Сына...— благословил пришедший.
— Ну что, отец Никифор? — спросил Разин.— Уговорил?
— Уговорил, все готово, хоть голыми руками бери город.

В это время в стане послышались голоса, говор, шум.

— Злодеи! Есаула зарезали!

— Это Васькины ребята! Вяжи злодеев! А где Васька?!

— Батюшки! И часовой зарезан!

Разин с улыбкой переглянулся с своим новым есаулом, и они поторопились в стан.

Начинало светать.

XXIX. ВОЕВОДА ТУРГЕНЕВ НА ВЕРЕВКЕ

Едва первые лучи солнца позолотили кресты и главы царицынских церквей, как казаки двинулись к городу.

Разин и его новый есаул ехали впереди. Разин с бунчуком в руке, Васька Ус с обнаженною саблей.

Разинцы подступали к городу двумя лавами: одна шла к тому месту, где пологий вал и городская стена, казалось, представляли наиболее удобств для приступа, хотя эта часть стены и башни были защищены пушками; другая лава подавалась вперед правее, к тому месту, которое казалось неприступным и где находились городские ворота, прочно окованные железом.

Разин попеременно находился то в голове правой лавы, то в голове левой.

Воевода Тургенев [8], недавно назначенный командиром Царицына, и стрельцы, его подкомандные, по-видимому, спокойно ожидали приступа, потому что, с одной стороны, уверены были в невозможности взять крепость без стенобитных орудий, с другой, что со дня на день ожидали прибытия по Волге сверху сильного стрелецкого отряда.

Тургеневу и другим защитникам Царицына очень хорошо видно было со стен, как Разин разъезжал впереди своей, казалось, нестройной толпы. Тургенев, высокий и плотный мужчина с сильною сединою в длинной бороде, стоял на стене, опершись на дуло пушки, и, казалось, считал силы неприятеля.

— Дядя,— обратился к нему стоявший рядом молодой воин в богатых доспехах,— дозволь мне попужать орла-стервятника.

— Каќово это, племянник? — спросил воевода.

— А вон тово, што на белом коне, самово Стеньку.

— А чем ты ево попужаешь?

— Вот этой старушкой! — он указал на пушку.

— Добро, попробуй: только наводи верней.

Молодой воин при помощи пушкарей навел орудие на Разина. Взвился дымок, и грянул выстрел. Ядро не долетело до цели и глухо ударилось о глинистую сухую почву.

Разин издали погрозил бунчуком.

Первая лава между тем достигла городских ворот и остановилась. Разин поскакал туда.

Вдруг в городе, как бы по сигналу, зазвонили колокола во всех церквах. Воевода с удивлением глянул на окружающих.

Со стены, ближайшей к воротам, послышались крики:

— Батюшки! Злодеи в городе! Их впустили в ворота.

Действительно, Разин беспрепятственно вступил в город в голове правой лавы: городские ворота были отворены перед ним настежь.

Навстречу новоприбывшим от собора двигалось духовенство в полном облачении, с крестами и хоругвями. Впереди с распятием в руках шел тот священник, соборный протопоп Никифор, которого мы уже видели ночью около стана Разина. Рыжая, огненного цвета борода его и такие же волосы, разметанные по плечам, горели под лучами солнца, как червонное золото.

Разин сошел с коня и приложился к кресту. При этом он что-то шепнул на ухо протопопу, и тот утвердительно наклонил голову. Затем стали прикладываться к кресту казаки.

Между тем на площади расставляли столы для угощения дорогих гостей. Сначала робко, а потом все смелее и смелее начали выходить из своих домов царицынцы и спешили на площадь.

Колокольный звон смолк, и духовенство возвратилось в собор.

Царицынцы со всех сторон сносили на площадь калачи, яйца, всякую рыбу и горы сушеной и копченой воблы. Мясники резали волов, баранов и тут же на площади свежевали и потрошили убоину. Другие обыватели разводили костры, жарили на них всякую живность и сносили потом на расставленные столы, а с кружечного двора выкатывали бочки с вином.

Всем, по-видимому, распоряжался соборный протопоп Никифор. Его огненная борода мелькала то здесь, то там.

— Ишь как батько-то хлопочет, так и порывается,— судачили царицынские бабы, глазея на приготовления к пиру.

— Да и как, мать моя, не хлопотать горюну? Все это, чтоб насолить супостату своему, воеводе-жеребцу, за дочку.

— Что и говорить, милая, дочка-то у ево одна, что глазок во лбу, а он, волк лихой, и польстись на девчонку.

— Эка невидаль! Девчонка! — ввязалась в разговор Мавра, известная на весь Царицын сплетница.— Онамедни девка сама к яму, к воеводе-то, бегала.

— Плещи, плещи, язва! — осадила ее первая баба.

— Не плещу я! А ты сама язва язвенная! — окрысилась сплетница.— Ишь святая нашлась! Сама, своими глазыньками видела, как она, Фроська-то, шмыгнула к нему в ворота, так и засветила рыжей косой.

— Тьфу ты, негодница! Помолчала бы хоша, сама была девкой,— отвернулась первая баба.

— Глядь! Глядь-ко-ся! Мать моя! — удивилась вторая баба.— Чтой-то у тово казака на руках? Никак, махонька калмычка?

— И то, милая, калмычка, да совсем голенька. Должно, на дороге подобрали.

— Ах, бедная! Сем-ка я сбегаю, принесу ей рубашонку от моей Фени.

И сердобольная баба побежала за рубашкой для маленькой калмычки.

Вскоре начался и пир. За почетным столом восседали на скамьях Разин с своим новым есаулом, а также все казацкие сотники. Их угощал отец Никифор.

За соседним столом восседали на скамьях другие сподвижники Разина, и в том числе Онуфрий Лихой, тот самый, что вчера привез в казачий стан маленькую калмычку. Девочка сидела тут же, на коленях у своего седобородого покровителя, и, беспечно поглядывая своими маленькими глазками на все окружающее, серьезно занималась медовым пряником. Она была, видимо, довольна своей судьбой, как сыр в масле каталась, чего она в своем улусе никогда не испытывала. Теперь она была в чистенькой рубашонке, и даже в ее черную как смоль косенку была вплетена алая ленточка. Все это оборудовала сердобольная баба.

Пир между тем разгорался все более и более. Слышно было оживление, громкие возгласы, смех. Разин, разгоряченный вином и подчиняясь своему огневому темпераменту, громко объявил, что он во всей русской земле изведет неправду, переведет до корня все боярство...

— На семена не оставлю! А Ордина-Нащокина с сыном Воином на кресте Ивана Великого повешу!

— Марушка! Марушка! Подь сюды, ходи через стол.

Это манил через стол маленькую калмычку казачий пятидесятник Яшка Лобатый, коренастый увалень, первый силач на Дону. Девочке уже дали подходящее имя: ее назвали «Марушкой».

— А где воевода?—вспомнил, наконец, Разин.— Подать сюда воеводу!

— Да воевода, батюшка Степан Тимофеич, заперся с своими приспешниками в башне,—отвечал поп Никифор.

— А! В башне? Так я ево оттудова выкурю. Атаманы-молодцы! За мной!—крикнул Разин, вставая из-за стола.

Сотники, пятидесятники и другие казаки, пировавшие поблизости, обступили атамана.

— Идем добывать воеводу!—скомандовал Разин.—Щука в вершу попала, выловим ее!

— Щуку ловить, щуку ловить!—раздались голоса.

— В Волгу ее! Пущай там карасей ловит!

Ватага двинулась к крепостной башне. Впереди всех торопливо шел поп Никифор. Полы его рясы раздувались, а рыжие волосы ярко горели на солнце.

— Ай да батька! Ай да долгогривый!—смеялись казаки.—Да ему хуть в атаманы, дак впору.

Башня была заперта. На крики и стук в башенную дверь в одну из стенных прорезей отвечали выстрелом, никого, впрочем, не ранившим.

— А! Щука зубы показывает!—крикнул Яшка Лобатый.—Так я ж тебя!

И он побежал куда-то к площади. Вскоре оказалось, что богатырь нес на плече громадное бревно, почти целый брус.

— Сторонись, атаманы-молодцы! Ушибу!—кричал он.

Все посторонились, а богатырь со всего размаху ударил бревном в башенную дверь. Дверь затрещала,

но не упала. Лобатый вновь разбежался, и от второго удара дверь подалась на петлях. Последовал третий, сильнейший удар, и дверь соскочила с петель.

— Ай да Яша! Он бы и лбом вышиб! — смеялись казаки.

И Лобатый же первым бросился вверх по лестнице. За ним другие казаки. Разин стоял внизу рядом с попом Никифором.

— Щуку не убивайте, молодцы! — крикнул он вверх.

Оттуда доносились шум борьбы, крики, стоны. В несколько минут все было покончено, никого не оставили в живых. Пощадили только воеводу. Его снес с башни Лобатый, словно куль с овсом.

Как безумный, подскочил к несчастному поп Никифор и ударил его по щеке.

— Нна! Это тебе за Фросю! За ее девичью честь! — говорил он, задыхаясь, и тут же накинул на шею воеводы веревку.— На осину его, на осину Иуду!

— Нет, бачка, он не твой,— сказал Разин, отстраняя попа.— Он наш, войсковой; что круг присудит, то с ним и будет. Сказывайте ваш присуд, атаманы-молодцы,— обратился он к казакам.

— В воду щуку, карасей ловить! — раздались голоса.— В Волгу злодея!

— Быть по-вашему,— согласился Разин.— А теперь скажи, воевода,— обратился он к Тургеневу,— за што ты грабил народ? Али тебя царь затем посадил на воеводство, чтоб кровь христианскую пить? Мало тебе своего добра, своих вотчин? Не отпирайся, я все знаю: про тебя, про твое неистовство, и на Дону уж чутка прошла. Кайся теперь, проси прощенья у тех, кого ты обидел.

Тургенев молчал. Он знал, что его не любили в городе. Он видел, как сбежавшиеся на шум царицынцы враждебно смотрели на него.

— Православные! — обратился Разин к горожанам.— Што вы скажете?

Все молчали. Всем казалось страшным говорить смертный приговор беззащитному человеку.

— Казни, батюшка, казни злодея!

Все оглянулись в изумлении. Страшный приговор произнесла баба! И то была сплетница!

— Ах ты, язва! — не утерпела сердобольная баба, которой стало жаль человека, стоявшего перед толпой с безропотной покорностью.

Послышался лошадиный топот. Это прискакал гонец с верхней пристани.

— Стрельцы сверху плывут, видимо-невидимо! — торопливо сказал он.

Разин глянул на Тургенева и махнул рукой. Казаки поняли его жест.

— В воду щуку! К стрельцам на подмогу! — заговорили они.

Один из казаков взял за веревку, которая все еще висела на шее воеводы, и потащил к Волге, к крутому обрыву. Толпа хлынула за ними в глубоком молчании.

Вдруг, откуда ни возьмись, молоденькая девушка, которая быстро пробилась сквозь толпу и с воплем бросилась на шею осужденному.

— Сокол мой, Васенька! Возьми и меня с собой! Без тебя я не жилица на белом свете!..

— Владычица! Да это Фрося! — всплеснула руками сердобольная баба.

Это и была дочка попа Никифора: искрасна-золотистая коса, жгутом лежавшая на спине девушки, подтверждала это кровное родство с рыжим попом, который весь задрожал, увидев дочь в объятиях ненавистного ему человека.

Тургенев с плачем обнял девушку...

— Бедное дитя, прости меня! — шептал он.

— Меня прости, соколик, я погубила тебя.

Но казаки тотчас же розняли их.

Обрыв был под ногами, и воеводу толкнули туда. Не успели опомниться, как и девушка бросилась туда же, и Волга мгновенно приняла обе жертвы.

Поп Никифор стоял над кручей и рвал свои рыжие космы.

XXX. СТРУГИ С МЕРТВОЙ КЛАДЬЮ

Разин между тем делал распоряжения о встрече стрельцов, которые плыли сверху на защиту как собственно Царицына, так и других низовых городов.

Все свое «толпище», как иногда называли в казенных отписках его войско, он разделил на две части: одну половину, меньшую, под начальством Васьки Уса, он оставлял в городе, с другою, большею, он сам выступил для встречи московских гостей и для усиления отряда, находившегося на его флотилии.

Есаул должен был выстроить свой отряд вдоль городских стен, обращенных к Волге, и всю крепостную артиллерию расположить так, чтобы она могла обстреливать всю поверхность Волги вплоть до небольшого островка, лежащего как раз против Царицына и заросшего густым тальником и верболозом.

Лодки же, на которые он посадил часть пехоты, он приказал отвести за островок и там укрыть их за верболозом. Он это сделал для того, чтобы когда стрельцы, подплыв к городу и встретив там артиллерийский огонь с крепостных стен, вздумают укрыться за островом, то чтобы там их встретил не менее губительный огонь с флотилии, которая и должна была отрезать стрельцам отступление.

Сам же он с небольшим отрядом конницы пошел вверх, берегом, прямо навстречу московским гостям.

Скоро показались и струги с стрельцами. Издали уже слышно было, что стрельцы шли с полной уверенностью «разнести воровскую сволочь», и на первом же струге раздавалась удалая верховая стрелецкая песня, до сих пор раздающаяся по Волге от Рыбинска, в то время Рыбное, до Астрахани. Стрельцы пели:

Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
    Сизый селезень плывет!
Ишь ты, подишь ты, что ж ты говоришь ты,—
    Сизый селезень плывет!

Но стрелецкое пение вдруг оборвалось, когда с берега казаки, среди которых было немало волжского бурлачья, гаркнули продолжение этой песни:

Вдоль да по бережку, вдоль да по крутому
    Добрый молодец идет:
Он со кудрями, он со русыми
    Разговаривает!
Ишь ты, подишь ты, что ты говоришь ты,
    Разговаривает!

Увидев на берегу небольшой отряд, стрельцы направили свои струги ближе к берегу и открыли по казакам огонь. Казаки отвечали им тем же, и началась перестрелка.

По мере усиления огня казаки отступали, все более и более приближаясь к городу. Стрельцы из этого заключили, что казаки не выдерживают огня, и пустились за ними вдогонку.

Но в это время со стен города, о взятии которого стрельцы и не подозревали, открыли по стругам убий-

ственный огонь. Пораженные неожиданностью, стрельцы не выдержали артиллерийского огня и повернули от города, чтоб укрыться за островом, но там их встретила такая же убийственная пальба из засады.

Царское войско растерялось, поражаемое с двух сторон и ядрами, и пулями. Но стрельцы все-таки упорно защищались и только тогда, когда две трети их было перебито, стали просить пощады.

Разин велел прекратить пальбу и привести струги с остальными стрельцами к берегу.

Когда струги причалили к берегу, казаки стали считать убитых и насчитали более пятисот трупов. В живых осталось до трехсот стрельцов.

Они вышли на берег и кланялись победителю. Разин сказал им:

— Коли хотите служить мне, оставайтесь со мною, а нет...

— Хотим, хотим, батюшка Степан Тимофеич! — закричали побежденные.— Мы шли против тебя неволею... Прости нас!

— Добро,— сказал Разин,— оставайтесь с нами. А чтобы воеводам да боярам впредь неповадно было перечить мне, я им покажу, какая ждет их широкая масленица. Атаманы-молодцы! — крикнул он казакам.— Снарядимте-ка два струга, которые будут залишние, и изукрасим их, как вон в песне поется:

Хорошо были стружочки изукрашены,
Они копьями, знаменами, будто лесом, поросли.

А мы изукрасим их получше, поцветнее.

Казаки, по-видимому, не понимали его и ждали, что будет дальше. Тогда Разин указал на два морских струга из тех, которые им были оставлены прошлой осенью в Царицыне после морского похода и стояли теперь у пристани порожние.

— Вот что, братцы,— сказал он,— сносите всех убитых стрельцов на эти струга, сносите поровну, а там я скажу, что дальше делать. Помогайте и вы, ребята,— сказал он оставшимся в живых стрельцам.— А у ково в кармане сыщете деньги, сносите их есаулу, в дуван пойдут.

Все принялись за работу, не понимая, для чего это, и скоро оба струга наполнены были трупами. Разин взошел на один из стругов.

— Эх! — обратился он к трупам. — Жаль мне вас, горюны, да что делать! Коли лес рубят, то и щепки летят... А я, ох... какой лес задумал вырубить! Заповедной! Да хочу вырубить дочиста, чтоб и побегов не осталось.

— Ну, теперь, братцы, распоясывайте у мертвецов кушаки! — снова заговорил Разин.

Казаки повиновались. Когда было распоясано несколько десятков на том и другом струге, Разин остановил эту странную работу.

— Ну, довольно, братцы: есть чем изукрасить стружочки, — сказал он. — Теперь развешивайте мертвецов по всем снастям, вот как в Астрахани белорыбицу либо осетрину, а то и воблу развешивают вялить, да балыки провесные делают... Да чтоб понаряднее были, все бы снасти и мачты и шесты изнавесить боярскими балыками... Пущай любуются да кушают на здоровье... А я из них таких балыков наделаю!

Только теперь все поняли, к чему клонились эти странные распоряжения атамана.

И вот казаки и стрельцы принялись развешивать мертвецов, подвязывая их к снастям кушаками.

Страшную картину представляло это необычайное зрелище. Из Царицына все население высыпало смотреть на то, что делали казаки. Весь берег был усыпан зрителями.

А Разин ходил по стругу, иногда останавливался и задумывался, качал головою, как бы отгоняя назойливые мысли, и потом встряхивал кудрями и отдавал приказания:

— Выше, выше подвешивай! Да шапку набекрень надень... Так, так, ладно... Каковы балыки! Это я моему другу любезному, князю Прозоровскому... Пущай отпишет к Москве тестеньке своему Ордин-Нащокину, каковы-таковы казаки бывают. А то на! Перевести казаков, вольный Дон да Волгу-матушку перелить в Москву-реку да в Яузу... Захлебнетесь Доном да Волгою... Я вам не Ермак дался, не поклонюсь ни Доном, ни Волгою, ни казацкою волею, как тот поклонился царством сибирским: глуп был батюшка Ермак Тимофеич, не тем будь помянут... Да отольются волку овечьи слезки... Ей! Этово гладково на самый верх посадите, на палю, как вон у запорожцев да у турок делают, так, так, ишь важно на пале сидит! А то на, милостивая грамота... похваляем, а там и в бара-

ний рог, как старца Аввакума... Нет, я вам не Аввакум!..

Когда ужасная оснастка стругов была окончена, Разин обратился к стрельцам:

— А кто ваши головы? — спросил он.

Стрельцы отвечали:

— Были у нас, батюшка Степан Тимофеич, пять голов с нами из Казани послано, да ноне в бою твоими казаками трое из них убиты до смерти, а осталось только двое, вот они.

Разин подозвал их к себе. Те стояли ни живы, ни мертвы.

— Я всех начальных людей, и голов, и бояр, убиваю,— сказал Разин.— Вас я не трону: вы так головами и останетесь: одново из вас я посажу на один струг, другова на другой. Плывите в Астрахань с своими стрельцами, как плыли сюда из Казани, и кланяйтесь от меня астраханскому воеводе, князю Прозоровскому, и скажите, что я ему балыков посылаю... Вон какие осетры висят! Да скажите астраханцам, всякого звания людям, что я чиню расправу только над боярами да мироедами, а бедных людей не трогаю: бедные — мои братья, и все мы промеж себя ровня. Слышали?

— Слышали, батюшка Степан Тимофеич,— покорно отвечали стрелецкие головы.

— Так помните, что я вам сказал, и астраханцам всякого звания людям передайте мои речи от слова до слова, как я сказал,— заключил свою речь Разин.

— А теперь,— обратился Разин к казакам,— снесите на оба струга корму всякого и питья на неделю и больше тово, чтоб головам было чем дорогою кормиться. Живо!

Казаки бросились исполнять приказание атамана, и через несколько минут из города принесено было множество калачей, несколько окороков, балыков, копченой воблы и несколько бочонков вина.

— Это вам на корм,— сказал Разин головам,— голодны не будете. Да не перепейтесь дорогой.

Головы кланялись и благодарили.

— А чтоб вы не бежали с дороги, я вас обоих велю приковать, каждого к своему рулю,— пояснил Разин,— рулем-то вы будете править, а бежать не бежите... Гребцов вам не надо: сама Волга-матушка донесет вас до Астрахани. Эй! Атаманы-молодцы! Принесите две

якорных цепи, да подлиннее, и прикуйте господ голов, каждого к своему рулю.

Казаки принесли две цепи и исполнили, что им приказывал атаман: одного стрелецкого голову поместили на одном струге с мертвецами и приковали, другого — на другом и тоже приковали.

Затем оба струга с мертвою кладью и с прикованными рулевыми отвели на середину Волги и пустили на произвол судьбы.

Струги тихо поплыли по течению...

Зрелище было до того ужасно, что многие стрельцы, те, что остались в живых, глядя, как уплывали их мертвые товарищи, горько плакали.

Разин долго провожал струги глазами и затем молча воротился в город.

XXXI. СТРАШНАЯ ВЕСТЬ

Царь Алексей Михайлович, впечатлительный и мечтательный по природе, поэт в душе, говоря современным языком, очень любил всякую торжественную обрядность и «действо», вроде «пещерного действа», а впоследствии и «комидийных действ». Нравились ему и благочестивые зрелища с обрядовою обстановкою, и благочестивое, душеспасительное песнопение странников и «калик перехожих», и он охотно слушал духовные стихи о «богатом и убогом Лазаре», о «грешной душе».

И теперь, когда он занимался в своей образной горнице с дьяком Алмазом Ивановым, на заднем крыльце Коломенского дворца сидели двое «калик перехожих», о которых он слышал от царевен, и в особенности от царевны Софьи, что они поют разные «зело предивные стихи».

Дела были неотложные. С нижней Волги с самого ее вскрытия не было вестей, а между тем ходили слухи, что Разин с Дону уже двинулся к Волге. Нужно было озаботиться о снаряжении на Волгу, «в плавную службу», как можно более ратных людей с верхней Волги и с Камы. Поэтому сегодня должен был выехать на Вятку с государевою «памятью» молодой Ордин-Нащокин, Воин, который с ратными людьми просился в Астрахань, на всякий случай, в помощь к тестю своему, к князю Прозоровскому.

Вот эту «память» и докладывал теперь царю Алмаз Иванов. О взятии Разиным Царицына и о разгроме посланных из Казани стрельцов до Москвы еще не дошли слухи, так как единственный путь для сношения с низовыми городами — Волга — был уже в руках у казаков, один отряд которых, посланный Разиным из Царицына вверх по Волге, овладел Дмитриевском, что ныне Камышин.

— Да, да, настали для нас «злы дни»,— говорил Алексей Михайлович как бы сам с собою, пока Алмаз Иванов надевал очки, чтобы читать «память»,— надо торопить с плавною службою. Ну, вычти...

Алмаз Иванов начал читать:

— «Лета 7179-го, маия 30 день, по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу, память Воину Ордину-Нащокину. Ехати ему на Вятку, для того: по государеву указу велено быти на государевой службе, в плавной, с бояриным и воеводою, со князем с Юрьем Борятинским с товарищи, с Вятки ратным людем полтретьи тысячи человеком; да велено на Вятке для государевы плавныя службы сделати сто стругов».

— Сто стругов? Не мало? — спросил государь.

— В первую версту, государь, довольно,— отвечал дьяк.

— Добро. Ну?

Дьяк продолжал:

— «А послан из Казани для тех судов Офонька Косых. И Воину, приехав на Вятку, отдати от боярина и воеводы от князя Юрья Борятинскова с товарищи дьяку Сергею Резанцеву с товарищи ж отписку и говорити им, чтоб они собрали на Вятке ратных людей полтретьи тысячи человек тотчас, с вогненным и с лучным боем, и рогатины б у них с прапоры были; а были б ратные люди молоды и резвы...»

— Не то, что мы с тобой,— улыбнулся Алексей Михайлович.

— Где ж нам, государь, холопем твоим, тягаться с твоею государевою резвостью! — пробурчал дьяк свой придворный комплимент и продолжал доклад: «И из пищалей бы стрелять были горазды, а старых бы и недорослей в них не было. А как на Вятке ратных людей сберут, и Воину с теми ратными людьми ехати в Казань тотчас вешнею водою вместе, а Офонасью Косых со стругами велети ехати в Казань тот же час

не мешкая, чтоб за тем государеве службе молчанья не было. А не пришлют с Вятки ратных людей вскоре, по государеве указу, всех сполна, а государеве службе учинитца за ними молчанье, и вятчан пошлют из прогонов и пеню им учинять по государеву указу».

Алмаз Иванов кончил.

— Быть по сему,— заключил государь.— Пущай же Воин едет без молчанья. Все доложил?

— Все, государь,— отвечал дьяк, собирая в сумку докладные свитки.

Дьяк откланялся и вышел, а государь отправился на девичью половину. Там в покоях царевны он застал постоянного посетителя девичьих покоев Симеона Полоцкого, который продолжал заниматься с любознательной царевной, а также приятельницу ее, молоденькую жену Воина Ордина-Нащокина, Наталью Семеновну, и Артамона Сергеевича Матвеева с своею юной воспитанницей, Натальей же Кирилловной Нарышкиной[9].

— А! И ты, старый, тут с молоденькими,— милостиво поздоровался государь с Матвеевым.

Матвеев стал замечать, что Алексей Михайлович, встречая иногда у дочери юную его воспитанницу, обращал на нее особенное внимание, и, казалось, она ему серьезно нравилась. Это и заставило его учащать к Софье Алексеевне с своею «царевною Несмеяною», как он называл ее за то, что она почти никогда не смеялась и хорошенькие глазки ее были всегда серьезны и задумчивы.

— Да вот, государь, моя-то царевна Несмеяна соскучилась по государыне Софье Алексеевне, я и привез ее,— отвечал Матвеев, кланяясь.— А я у нее и мамка, и нянька.

— Что же, дело хорошее,— заметил Алексей Михайлович.— Нам, старикам, чем же иным и быть, как не няньками?

— Помилуй, государь!—возразил Матвеев.— Не тебе бы это говорить, не нам бы слушать! Тебе, великому государю, самая верста жениться.

Алексей Михайлович поспешил замять этот разговор и обратился к Симеону Полоцкому.

— А слыхал ты, Симеон Ситианович, што ноне весной было трясение земли в Персиде?—сказал он, садясь около дочери.

— Сказывали, государь,— отвечал ученый белорус.— Был трус и в греках.

— А отчего оное трясение земли бывает? — спросил государь.

— Я знаю, батюшка, отчего,— отозвалась Софья.

— О! Да ты у меня всезнайка,— улыбнулся государь.— А ну-ну, расскажи.

— Оттого,— начала царевна Софья по-книжному,— егда ветры внидут в скважни под землю и паки оттуду исходити имут, и не могут поразитися вон, и тогда от них бывает трясение земли.

— Так, так... Ну, а с чево эти скважни бывают? — допытывался государь.

— А с тово, где земля вельми жестока, тамо есть на всяком месте вода под тою землею в исподе, и егда та бездна водная подвизается от ветров и вон выразитися вода жестокости ради земныя не может, тогда раздирает землю великою силою, и сице ту страну двизает,— скороговоркой проговорила Софья, как заученный урок *.

Симеон Полоцкий с любовью смотрел на свою ученицу — она не ударила лицом в грязь.

— Да, дивны дела рук Божиих,— задумчиво проговорил Алексей Михайлович; и потом, обратясь к молодой Ординой-Нащокиной, с улыбкой спросил: — А что, Наталья, будешь плакать, муженька провожамши на ратное дело?

— Я уж и так, государь, плакала,— вспыхнула молодая женщина.— Я бы и сама с ним, коли можно, к батюшке поехала.

— О-о! Прыткая! — улыбнулся государь.— А впротчем, што дивить! Уж коли матушки-игуменьи не испужалась, бежала к жениху, дак вора Стеньки и подавно не испужаешься.

Молодая беглянка еще больше покраснела. Но Софья Алексеевна замяла этот разговор.

— Что ж, батюшка, позвать калик? — сказала она.

— Позови, позови,— согласился Алексей Михайлович.

Царевна вышла и вскоре воротилась, но уже не одна: за нею, осторожно ступая, как бы опасаясь провалиться, вошли в светлицу два странника. Один из них, помоложе, был совсем слепой: волосы его, сбившиеся шапкой и никогда, по-видимому, не чесанные,

---

* «Книга, глаголемая Лусидариус». *(Примеч. автора.)*

падали на лоб и на слепые глаза. Другой был зрячий старик, но без правой руки. Войдя в светлицу, они разом поклонились земно, а потом, стоя на коленях, проговорили, осенясь крестным знамением:

— Благословение дому сему и всем обитающим в оном.

— Аминь,— набожно сказал царь.— Встаньте, странники, куда путь держите?

— К преподобным Зосиме—Савватию на Соловки,— отвечал слепец.

— А откуда Бог несет?

— С Астрахани, государь-батюшка.

Этот ответ произвел общее движение. Молодая Ордина-Нащокина даже привскочила на месте.

— Из Астрахани?— переспросил Алексей Михайлович.— А что там слышно? Что воевода, князь Прозоровский?

— Были мы, государь-батюшка, у воеводы,— отвечал зрячий,— он нас милостиво принял, отпустил с миром и с милостынею и велел помолиться святым угодникам о здравии рабы божией Натальи.

— Батюшка, родной мой! — вырвалось у Ординой-Нащокиной.

— Да приказал еще воевода,— продолжал старший калика,— помолиться об избавлении града Астрахани от вора и супостата Стеньки Разина.

— А што о нем слышно, где он? Над кем промысл чинит? — встрепенулся Алексей Михайлович.— Оттудова давно нет вестей.

— Слышно, надежа-государь, сказывали, быдто вор город Царицын добыл и воеводу предал лютой смерти,— отвечал чуть слышно калика.

— Боже Всемогущий! — воскликнул Алексей Михайлович, бледнея.— Пощади люди твоя и грады и веси, всемилостивый Господи! Што ж еще слышно, сказывайте.

— Ох, надежа-государь! — заплакал старший странник.— Не слыхали мы, а сам я своими глазами видел злое дело ево, как и глаза у меня не ослепли от тово, што видели... Прошли мы это уж Енотаевский город и Черный Яр, идем Волгою, бережочком, коли слышим: птица эта каркает, воронье, да коршуны и орлы клекочут, аж страшно стало. Смотрю я: птица над Волгой тучею носится, так хмарою и застилает небо. Далее, более, надежа-государь, вижу я: кружит та хмара не то над высокими деревами, не то над островом

каким, и то подымается хмара, то спустится к тем деревам. Дале-ближе, государь-батюшка, вижу я: то не дерева и не островы, а плывут по Волге как бы две посудины, не то расшивы, не то струги большие, а на снастях у тех стругов изнавешено что-то будто красное, а на том красном понасело птицы видимо-невидимо: и коя птица стаями садится на те снасти, да на то красное, а коя птица хмарою кружит да каркает да клекочет, и уму непостижимо! Дале-ближе, надеженька-государь, вижу ясно: плывут два больших струга, а помосты-то у них, вымолвить страшно! устланы мертвыми людьми, мертвец на мертвеце, и все то стрельцы...

— Стрельцы! — в ужасе проговорил царь.

— Стрельцы, надежа-государь,— продолжал калика,— сотни их там поналетано, либо и тысщи, и на снастях-ту все висят стрельцы: што их там изнавешено, и сказать не умею! А на всем этом трупе сидит воронье, да орлы, да коршуны, и клюют те трупы, и дерутся промеж себя за добычу, и каркают, и клекочут, и тучею-хмарою кружат! Волосы ожили у меня на голове, надежа-государь, дыбом встали! Мы стоим, смотрим, да только крестимся. А струги все плывут тихо, все плывут. И слышим мы, надежа-государь, с тех стругов гласы человеческие: «Люди божьи! помолитесь об нас грешных, об рабе божьем Ларивоне, да об рабе божьем Панкрате: мы-де стрелецкие головы, посланы были с Казани с ратными людьми для сбережения низовых государевых городов, и супостат-вор Стенька над нами-де воровской промысл под Царицыном учинил и всю государеву рать мало не до единого перебил вогненным смертным боем, а нас-де, Ларивона да Панкрата, оставил в живых для тово: плыли бы мы, Ларивон да Панкрат, с мертвою государевою ратью и сказали бы воеводе, чтоб он скоро ждал к себе ево, вора Стеньки, приходу. А мы-де, говорят Ларивон да Панкрат, прикованы к стругам чепью».

Как громом поразила всех эта страшная весть. Алексей Михайлович, бледный, с дрожащими губами, растерянно озирался. Симеон Полоцкий крестил и дул в лицо молодой Ординой-Нащокиной, которая лежала в обмороке. Юная Нарышкина Наталья вся дрожала и плакала. Одна царевна Софья, по-видимому, не растерялась: бледная, с плотно сжатыми губами, она

подошла к отцу, который как-то беспомощно шептал: «Злодей, злодей».

— Батюшка, касатик! — взяла она его за руку.— Пойдем... Созови сейчас думу... бояр всех, дьяков... За тебя станет вся русская земля, за тебя Бог.

И как бы в подкрепление мужественных слов юной царевны, калики тихо, молитвенно запели:

Ой, у Бога великая сила...

XXXII. БРАТСКИЕ ПОХОРОНЫ И ПОХОД

Струги с мертвой кладью достигли, наконец, Астрахани.

Этот страшный караван с мертвецами, расклеванными до костей хищными птицами, прежде всех увидели астраханские рыбаки, закидывавшие тони выше Астрахани. Как и калики перехожие, они не могли сначала понять, что такое плыло по Волге и почему над этим неведомым «что-то» тучами кружились и кричали птицы.

Но скоро и для них это «что-то», что-то страшное, стало понятным, особенно когда струги подплыли ближе и с них послышались слабые человеческие голоса, скорее два стона, исходившие от каждого струга. Приблизившись к ним на лодках, рыбаки, не смея взойти на страшные пловучие кладбища, от прикованных к рулям стрелецких голов узнали всю ужасную их историю. Невольные рулевые были чуть живы, но все еще настолько владели мускулами рук, что могли с трудом направлять свои струги по стрежню реки: они боялись приткнуться где-либо к берегу или к острову, чтоб не погибнуть голодною смертью за недостатком корма. Когда же они плыли мимо Черного Яра и Енотаевска, то жители как того, так и другого, узнав, что это за струги такие и какую они кладь везут, с ужасом уплывали от них к берегу.

Выслушав эту страшную историю, астраханские рыбаки тотчас же поспешили с ужасною вестью в город.

— Недаром тогда старый Илья Осипов из рыбнова ряду сказывал, когда, летось, мы пымали тех ужастенных осетров, что послали тады одного государю-царю, другого святому владыке-патриарху, а третьим покло-

нились батюшке Степану Тимофеевичу, недаром, чу, Осипов сказывал, что с самой с той поры, как в Астрахани у нас царила Маришка-безбожница с Ивашкою Заруцковым, таких осетров в Волге не видывали,— говорил один старый рыбак, поспешая с товарищами в город.— Должно, и ноне будет господствовать над нами батюшка Степан Тимофеич.

— Дай-то Бог! — отозвался на это молодой пловец из защитников.

— Так-ту так, милый, може, и будет он государствовать, да надолго ли? — возразил старый ловец.— У бояр-ту на Москве сила не махонька.

Рыбаки тотчас же поспешили к воеводскому подворью.

Князь Прозоровский в это время объезжал у себя на дворе прекрасного карабахского коня, присланного ему из Испагании в подарок персидским купцом Сэхамбетом в благодарность за то, что в прошлом году, когда Разин ограбил на Каспийском море купеческую персидскую бусу, везшую поминки шаха царю Алексей Михайловичу, и захватил в полон ехавшего на этой бусе сына Сэхамбета, князь Прозоровский своим влиянием на Разина, смягченного тогда любовью к прекрасной Заире, способствовал выкупу из полона молодого перса.

Вместе с отцом упражнялся на дворе в верховой езде и старший сынишка князя, десятилетний княжич Степа, под руководством опытного наездника, пятидесятника конных стрельцов, Фрола Дуры.

— Я теперь, батя, и свово тезки не испужаюсь, Стеньки Разина,— хвастался мальчик, трепля гриву своего смирного киргизского конька.

— О! Княжич! — улыбнулся его ментор, Фрол Дура.— Да Стенька теперь тебя сам испужается: вон какой ты ратник, страх!

— Да,— улыбался и воевода,— по нынешним временам, сынок, нам нужны ратники: не ровен час, опять нагрянет чадушка.

В это время вошли на двор рыбаки.

Принесенная ими весть до того ошеломила всех, что воевода, видимо, растерялся. Он не ожидал, что в смирившемся было крамольнике опять проснулся кровожадный зверь. Послав тотчас же конного пятидесятника с этим известием к своему товарищу, к князю Семену Ивановичу Львову, он приказал вместе с тем

созвать к себе всех стрелецких голов, а сам поскакал к митрополиту Иосифу, просить его совета.

Едва он вошел во владычные палаты, как под окнами раздались крики:

— Плывут! Плывут струги с мертвецами!

Услыхав страшную весть, митрополит тотчас же поспешил в соборную церковь, приказав по пути немедленно собраться туда же и прочему духовенству.

Скоро от собора к Волге потянулась церковная процессия с крестами, иконами и хоругвями. Митрополит и прочее духовенство были облачены в черные ризы. За процессией повалил народ со всех концов города.

На Волге процессию ожидало потрясающее зрелище. Выехавшие с пристани навстречу стругам ловцы и ратные люди плавной службы буксировали к берегу страшные струги. Испуганные необычайным движением на берегу, вороны, сидевшие на трупах и кружившиеся в воздухе, оглашали воздух еще более оглушительным карканьем. В толпе слышался плач женщин и детей, и весь этот плач и карканье хищных птиц покрывал похоронный звон всех астраханских церквей.

Наконец, струги были прибуксированы к берегу, и на борты их кинуты сходни. Когда стрельцы отковали прикованных к рулю голов и свели их под руки на землю, митрополит и священники, поднявшись по сходням и не вступая на струги, где за трупами негде было стать, начали общее отпевание на брани побиенных.

В воздухе почти не слышно было трупного запаха, потому что мертвецы обклеваны были птицею до костей, а от многих и кости были растащены и разнесены по степям орлами и коршунами.

За воплями женщин почти не слышно было погребальных гимнов, и только кадильный дым вился струйками в воздухе и таял, да от времени до времени с крепостных стен пушкари и затинщики пушечными выстрелами отдавали последнюю честь погибшим в бою товарищам.

Между тем на кладбище Троицкого монастыря сторожа и боярские холопы, по распоряжению городового приказчика, копали несколько огромных ям для общих братских могил.

Из города в то же время выслано было на пристань несколько телег для перевозки трупов, и скоро нача-

лась страшная процессия перенесения их с стругов в телеги. Зрелище было потрясающее.

Но когда хор митрополичьих певчих вместе со всем духовенством возгласил стихиру Иоанна Дамаскина: «Плачу и рыдаю, внегда помышляю смерть», и когда в этом надрывающем душу пении слышались такие слова, как «вижу красоту твою, безобразную и бесславную, не имущую виду» или «како предаемся тлению», то со всех сторон послышались глухие рыдания.

Плакал и князь Прозоровский. Никогда не мог он и подумать, чтобы когда-нибудь привелось ему видеть такое зрелище или чтобы, отправляясь на воеводство в Астрахань, он мог ожидать, что еще будет когда-либо плакать так, как в последний раз плакал четыре года тому назад в Москве, в Новодевичьем монастыре, когда там постригали, а ему казалось, хоронили его любимицу, юную дочку Натаденьку...

«Плачу и рыдаю»,— стонало у него в душе, и он плакал, плакал, как бы предчувствуя, что через несколько дней и его самого будут стрельцы тащить, такого же «безобразного, бесславного, не имущего виду», и бросят в общую могилу с сотнями таких же, как и он, «бесславных и обезображенных».

И вот под заунывный, нестройный, но тем более удручающий душу перезвон колоколов всех астраханских церквей потянулся ряд телег с мертвецами к Троицкому кладбищу, телега за телегой, по тряской и изрытой водороинами дороге, а трупы в лохмотьях, в красных, изодранных когтями и клювами орлов и коршунов стрелецких кафтанах, точно недобитые и недоеденные, подпрыгивали на этих водороинах и еще более увеличивали тем ужас общей картины. За ними валил толпами народ, жадный до всякого рода зрелищ, даже до таких, каково было это...

Скоро на кладбище образовалось около десятка высоких земляных бугров.

А к вечеру новое зрелище. За день воеводы и стрелецкие головы успели снарядить и вооружить до сорока больших морских стругов и посадить на них около трех тысяч ратных людей, стрельцов и других служилых с князем Львовым во главе. Флотилия эта должна была идти навстречу Разину и истребить его «воровское толпище» до последнего человека.

С возгласами и песнями отплывали стрельцы от Астрахани. Чтобы показать свою удаль, стрельцы, едва отплыли от берега под прощальные выстрелы крепостных пушек, как тотчас же грянули хором любимую тогда всеми ратными людьми «весловую песню», которая в одном старинном сборнике записана была дословно еще в 1619 году. Запевалой был Костька «гудошник», и он начал подголоском:

Сотворил же, Боже,
Да и небо-землю,
Сотворил ты, Боже,
Всесновую службу,
Не давай ты, Боже,
Зимовые службы!

На соседнем струге подхватили хором, низкими голосами:

Зимовая служба —
Молодцам кручинно
Да сердцу надсадно.
Ино дай же, Боже,
Весновую службу:
Весновая служба —
Молодцам веселье,
А сердцу утеха.

— Любо! Любо! — кричали стрельцы из вятичей и ветлужан.— Ай да понизовые! У нас так не сумеют голосом низы забирать.

А понизовые, поощряемые похвалами, наддавали верхними голосами с подголосками:

А емлите, братцы,
Яровы весельца.
А сядемте, братцы,
В ветляны стружочки,
Да грянемте, братцы,
В яровы весельца
Ино вниз по Волги...

— Не вниз, братцы, а вверх! — поправил Костька-«гудошник».— Вверх по Волге.

— Инно верх — точно...

Сотворил нам Боже
Весновую службу *.

---

* Эта замечательная песня записана, как сказано выше, в 1619 г., для оксфордского бакалавра Ричарда Джемса, вместе с другими шестью песнями, в том числе знаменитые песни царевны Ксении Годуновой, которые и доныне хранятся в Оксфорде. Напечатаны в «Известиях II отд. Акад. Наук». *(Примеч. автора.)*

Князь Львов, сидя под наметом на передовом струге и слушая эту песню, самодовольно улыбался: он видел, что его ратные люди с добрым духом и с «резвостью» идут против вора и злодея Стеньки.

Скоро флотилия князя Львова скрылась из глаз провожавших ее астраханцев, а они все стояли на берегу и прислушивались к молодецкому пению, все более и более замиравшему вдали.

Флотилии этой, однако, не суждено было воротиться в Астрахань...

Что с нею сталось, это мы узнаем из последующих глав.

XXXIII. «ОНИ ТАМ, А МЫ ТУТ...»

Прошло несколько томительных дней ожидания возврата стрельцов с князем Львовым; но ни стрельцов, ни вестей никаких сверху не было.

Только однажды, на заре, знакомые нам ловцы, закинув тони несколько выше Астрахани, вместе с осетрами и белорыбицей вытащили, к ужасу, несколько трупов. Закинули еще, и опять утопленники!

Но когда хорошенько рассмотрели обезображенные и распухшие, да притом изъеденные раками лица мертвецов, то, хотя с трудом, однако же распознали в них тех стрелецких голов, сотников и дворян, которые отправились против Разина вместе с князем Львовым. Не оставалось никакого сомнения, что и эту высылку, состоявшую почти из трех тысяч стрельцов и других ратных людей, постигла та же участь, какую испытала под Царицыном прежняя высылка из Казани.

Астрахань, таким образом, должна была готовиться ко всему.

— Я давно знал, што так оно и выдет,— лукаво заметил, отпихивая подальше в воду веслом тело одного стрелецкого головы, тот молодой ловец из затинщиков, который охотно ожидал в Астрахань батюшку Степана Тимофеича.

— А ты почем, возгряк, знал про то?—спросил старик-рыбак.

— Мне сказывал Костька-гудошник,— отвечал малый,—мы-де, говорит, спевку сделали промеж себя и всем нашим головам да сотникам зальем за шкуру

сала, чтоб они напредки не заедали нашего кормовово да посошнново жалованья.

Плывшие по Волге трупы этих голов да сотников были, наконец, усмотрены с берега и в Астрахани выловлены. Не нашли между ними только князя Львова. Где он? Что с ним?..

Ждать было спасения неоткуда, а тем более из Москвы: не было более пути, по которому можно было бы тайно послать в Москву гонца с вестью о предстоящей в Астрахани гибели, потому что Волга была в руках Разина, а посылать через степь было бы бесполезно: там по всем направлениям рыскали калмыки, давно озлобленные против русских воевод за их грабежи и притеснения.

Оставалось одно — запереться в городе и укрепиться.

В тот же день совершен был крестный ход вокруг городских стен. Ход был особенно торжественный и внушительный: церковная святыня всех астраханских церквей, хоругви, кресты, горящие громадные свечи в массивных паникадилах,— все двигалось вокруг стен, а впереди всего этого шествовала величайшая святыня города — икона Божией Матери в драгоценном окладе. У каждых ворот шествие останавливалось и воздух оглашался молебствием и пением всех церковных хоров и всего духовенства. День был такой тихий, что свечи горели на воздухе и пламя их совсем не колебалось. Над процессией кружились стаи голубей, всполошенных церковным звоном и пением.

Вместе с процессией двигался весь город, особенно женское население. Во главе шествия, позади духовенства, шел воевода и внимательным взором осматривал городские стены и ворота. Тут же шла и княгиня Прозоровская с двумя сыновьями. Старший мальчик шел бодро, уверенно. Казалось, что он был убежден в истине слов своего «коневого учителя» Фрола Дуры: «Степан Разин сам испужается своего тезки», княжича Степана Прозоровского. Но младший сынишка воеводы, Сеня, был больше занят голубями, между которыми он искал своих любимых «турманов».

Однако не весь город участвовал в процессии. Если бы князь Прозоровский мог видеть и прислушаться к таинственным перешептываньям на базарах разных кучек холопей и посадских ободранцев, то он увидел бы в этом нечто зловещее...

А вечером, когда воевода обошел все городские стены и башни, осмотрел пушки и боевые запасы, расставил по местам пушкарей и воротников, роздал стрельцам запасное оружие и приказал стрельчихам кипятить в котлах воду, стрельчихи коварно между собой переглядывались.

— Ты, Дарьюшка, не больно-то перекипячивай воду...

— Знаю, меня не учить стать: не перекипячу, не впервой своих стрельчат купать в корытцах...

— Ха-ха-ха! Вот сказала! Стрельчат купать...

— А то как же? Може, и твой сокол полезет на стену, дак и ему кипятком очи заливать! А сподручнее тепленькой водицей...

— Да они там и не полезут... А тут мы их сами за белы ручки востянем на стену...

— Так, так: они там, а мы тут...

XXXIV. РАЗИН В АСТРАХАНИ

Над Астраханью спускаются сумерки.

Тихо над городом и над Волгою. И в городе тихо, как будто все поснуло, а между тем никто и не думал спать. Тихо так, что даже слышится в темноте какой-то шепот. Кое-где неслышно перебегают человеческие тени. Слышно даже, как у Волги, под учугами, соловей заливается...

— Недолго тебе, соловушко, петь,— говорит боярский сын, стоя на часах над Вознесенскими воротами,— до Петрова дня уж недалеко.

— И то правда,— тихо отвечает другой часовой, сидя там же «в запасе»,— уж и кукушка, сказывают, галушкой подавилась, не кукует боле: и как выкинет колос, дак и соловей потеряет голос.

При всеобщей тишине в воздухе, однако, проносятся иногда какие-то неопределенные звуки; но слух не может их уловить; не то жужжанье насекомых, не то шепот прибрежных камышей с осокою...

По небу звездочка прокатилась и сгасла...

— Што это, видишь?

— А што такое?.. А?.. Где?..

— Гляди, точно лес движется и шевелится.

— Вижу, вижу... Это они!.. Звони в колокол! Бей сполох.

И вдруг в вечерней тишине раздался звон башенного колокола. За ним другой, третий, все башни заговорили.

В городе началась тревога. Послышались голоса со стен:

— Воры идут!.. К Вознесенским воротам!

Теперь ясно было видно, как к городу надвигались массы. В темноте можно было различить, что нападающие тащили к стенам лестницы.

Услыхав тревогу, князь Прозоровский быстро вышел на двор, где уже ожидал его оседланный карабахский скакун, подаренный ему Сэхамбетом. Тут же на дворе суетливо готовились к бою дворяне, дети боярские, подьячие и стрелецкие головы.

Вложив ногу в стремя, князь приказал трубить.

— Трубачи! — крикнул он.— Трубить к Вознесенским воротам!

Он выехал со двора, за ним остальные служилые люди. Впереди бежали холопы с зажженными смоляными факелами и освещали путь.

Сойдя у Вознесенских ворот с коня, воевода поспешил на стену. От факелов мрак кругом еще более сгустился, так что нельзя было отличить осаждающих. Что-то металось внизу, под стенами, слышны были голоса: «Давай лестницы!.. Приставляй к стенам!.. Дружно, атаманы-молодцы!»

— Лей кипяток на головы им, окаянным! — распоряжался воевода.

Послышался плеск воды со стен.

— Лей дружнее!.. Не жалей кипятку!

А внизу раздался хохот...

— Вода-то у вас, братцы, тепленька! Не замерзла бы! — слышится внизу.

— И впрямь вода не горяча!.. Што за притча!.. Остыла, что ли...— слышны голоса на стене.

Между тем на стене, ближе к Троице, творилось что-то необычайное. Там приставлен был сплошной ряд лестниц, и по ним быстро, но бесшумно взбирались на стену казаки и стрельцы.

Слышен был шепот и сдержанный смех.

— Давай руку! Так, так, взлезай!

— Соколики! Сюда! Сюда! — слышались бабьи голоса.— Мы вас давно ждем.

Слышны поцелуи, радостный говор.

— А где батюшка Степан Тимофеич?

— Уж он в городе... Город наш!

Астрахань взята была без выстрела. Оказалось, что все втайне было подготовлено для приема Разина и его войска. Согласники его составляли большую часть населения города: и посадские, и стрельцы, и холопы — все ждали его как своего спасителя, милостивца, защиту от бояр, от приказных, от детей боярских и всякого начальства. Тот трехтысячный отряд, который был отправлен против казаков с князем Львовым, сдался Разину без боя и потерял только своих голов и сотников, которых Разин приказал перебить и побросать в Волгу.

Князя Львова Разин велел оставить в живых и приказал ему ходить за маленькой калмычкой, за Марушкой, с которой казаки не хотели расстаться.

Когда казаки подошли к Астрахани на приступ, то уж они заранее знали, с которой стороны ее брать: они показывали вид, что начнут штурмовать город с Вознесенских ворот, куда и направились все защитники злополучного города, а между тем приставили лестницы к стене там, где их всего менее могли ожидать. Но там ждали их свои, посадские люди, стрельцы и их жены, а также холопы и базарная, и кабацкая голытьба: они-то и подавали руки осаждающим, когда их лестницы немного не доставали до верху стены. Стрельчихи же вместо кипятку налили в чаны, кадки и перерезы теплой воды, в какой они своих детей купают.

В ночной темноте грянули вдруг выстрелы: это был знак, что город в руках у казаков.

Воевода, сбежав со стены, вскочил на своего карабаха и помчался туда, где он слышал крики торжества. За ним ринулись дети боярские, дворяне и оставшиеся верными стрелецкие головы. Но их ждала там гибель: чернь и казаки бросились на них и всех перебили.

Костька-гудошник, заметив воеводу, бросился на него с копьем.

— А! Так я ж тебя ссажу с коня!

Копье вонзилось в живот воеводы, и князь Прозоровский свалился с своего великолепного карабаха. Испуганный конь умчался, а стонущего воеводу какой-то сердобольный старик на своих плечах стащил в соборную церковь и там положил на ковер.

Городские ворота между тем отворили, и вся масса разинцев двинулась в город и затопила площади и улицы.

Начались неистовства, о которых мы говорить не намерены...

Скажем только, что князь Прозоровский самим Разиным был столкнут с раската, и его защитник, Фрол Дура, изрублен казаками в куски...

Разин пробыл в Астрахани три недели, завел в городе казацкие порядки и уничтожил посты, всем велел есть скоромное.

Сдав город Ваське Усу, как своему наместнику, Разин накануне выступления в поход приказал привести к себе сыновей князя Прозоровского.

— Как зовут тебя? — спросил он старшего мальчика.

— Князь Степан, княж сын Семенов Прозоровский,— бойко отвечал мальчик.

— Мудрено что-то,— зло усмехнулся атаман,— и сам князь, и княж сын, да еще и Степан, мой тезка, значит... Ладно... А боярином будешь?

— Буду,— отвечал мальчик.

— Ну, это еще старуха надвое сказала,— снова усмехнулся Разин.— А в казаки хочешь?

— Нет, не хочу.

— Молодец! Из тебя будет прок. А тебя как зовут? — обратился он к младшему.

— Сеней,— отвечал робко мальчик.

— Только-то? А тоже, поди, князь и княж сын... А боярином будешь? Высоко пойдешь?

Мальчик молчал.

— Вот что, атаманы-молодцы,— обратился Разин к окружавшим его,— эти щенята высоко пойдут, как вырастут... Пущай же теперь пойдут повыше... только ногами кверху. Поняли? А? Повесить их за ноги!

Двое из казаков распустили на себе кушаки, связали ноги юным Прозоровским, которые от страха не могли даже плакать, и подвесили их с раската... Тут только послышались крики несчастных детей... Личики их затекали кровью...

— Довольно! Тащи сюда щенят!

Их подняли и развязали.

— Ну, тезка, а теперь будешь боярином? Будешь вешать нашего брата? — спросил Разин старшего.

Мальчик плакал и молчал.

— Аспид будет,— заметил Разин, глядя на него.— Туда ево, к отцу!

И казаки спустили мальчика с раската...

— Ну, а этово малыша жаль,— сказал Разин.— А чтоб он не был бояриным, все-таки выпороть его! Подымайте рубашонку.

Ребенка тут же высекли ремнем, но слегка.

— Ну, теперь не будешь бояриным,— гладя мальчика по головке, сказал Разин.— Сеченый — что за боярин! А теперь отвезите сеченова к матери.

Под раскатом кто-то шел и пьяным голосом распевал:

Поставлю я келью со дверью,
Стану я Богу молиться,
На красную горку носиться,
Чтобы меня девки любили,
Крашоные яйца носили.
Или-или, или-или, или!
Крашоные яйца носили!

— Да это, никак, Никифор? Ах, горемыка!

Это и был действительно царицынский соборный протопоп. После ужасной смерти дочери он пристал к казакам и с горя стал пить.

XXXV. С САМИМ ВСТРЕТИТЬСЯ

Был уже сентябрь месяц на исходе.

Воин Афанасьевич Ордин-Нащокин, с успехом исполнив возложенное на него царем трудное поручение по сбору ратных людей с привятских и прикамских волостей, находился уже в Казани в распоряжении воеводы Барятинского и ожидал со дня на день выступления в поход, когда рано утром, сидя на берегу озера Булака, куда он ходил, чтобы размыкать свою тоску, к нему подошла старая цыганка и, вглядевшись в него, таинственно проговорила:

— О чем закручинился, добрый молодец? Коли о том, что на Москве, так ту кручину я руками разведу, а коли о том, что случилось в Астрахани, так и к той кручине я ума-разума приложу.

Воина поразил этот двойственный намек цыганки.

— А ты почем знаешь о моей кручине? — спросил он.

— Черная птица всюду летала, всюду все видала и добрым людям помогала; поможет и тебе черная птица, добрый молодец,— по-прежнему таинственно отвечала цыганка.

— Чем же она поможет мне?

— А кручину с сердца сымет, а замест кручины радость положит; а та радость астраханской кручине сродни будет, а тебе, добрый молодец, вдвое сродни,— все так же загадочно отвечала цыганка.

Суеверный страх внушали Воину эти слова, он был сын своего века и верил в чудесное, как Аввакум верил тому, что он беса из-под печки выгнал и скуфьей бил.

— Что ж, ты судьбу мою покажешь мне?—спросил он нерешительно.

— Покажу,—отвечала цыганка.—Ты видишь в озере вон то белое оболочко?

Она показала на воду.

— Вижу,—отвечал Воин.

— Так я и судьбу твою вижу из глаз твоих: вон Арбат, а вон Веницея-град, вон, вон, с оболочком все уплыло, и вот новая судьба плывет...

Воин вскочил с места: ему казалось, что он видит сон.

— Почему ж Веницея?—спросил он.

— Не знаю, так мне черная птица говорит... А слышишь, как кто-то «Не белы-то снежки» поет и плачет?

Воин испуганно перекрестился.

— Чур! Чур! Сгинь-пропади!

— Полно, добрый молодец, не чурайся!—улыбнулась цыганка.—Ты думаешь, что я бес? Нет, на мне крест, видишь?—И она показала висевший у нее на груди крест.

Воин чувствовал, что им овладевает какая-то таинственная сила, и сила эта исходит от этой неведомой женщины. Но в то же время рассудок говорил ему, что из него хотят что-то выпытать, для чего? Для кого?

Вследствие этого он сам решился выпытать из цыганки, что она действительно знает о нем.

— А ты знаешь, кто я?—спросил он.

— Знаю, кто ты был, и узнаю, кто ты есть,—был уклончивый ответ.

— Кто ж я был?—спросил Воин.

Цыганка посмотрела ему в глаза, потом стала глядеть на воду.

— Вижу: столовая изба, в ней царь сидит и бояре... Какие хохлатые люди! Большие... царску руку целуют... А после них тот, что на тебя похож, тож руку

у царя целует... На Арбате в саду ночью соловей заливается, а красная девица в слезах потопает... Сгинул добрый молодец, пошел искать за море живой и мертвой воды... Не нашел живой воды, кручину нашел... Томится добрый молодец, что птица в клетке: и дверцы отворены, и крылья есть, да летать страшно, коршуны кружат в небе... И запела пташечка: «Не белы-то снежки...» Плачется добрый молодец на свою горькую судьбину...

Цыганка остановилась, а Воин, казалось, все еще слушал ее: перед ним проходила вся его жизнь. Но в то же время он ясно видел, что эта женщина действительно много знает: несомненно, что ей известны главные моменты из последних лет его жизни. Но откуда она могла узнать все то, что известно только ему одному да его жене? И он решился выпытать, что еще ей известно.

— Хорошо говорит тебе твоя черная птица,— сказал он после небольшого раздумья.— А што она еще скажет тебе?

— Вижу, вижу,— заговорила она снова таинственно,— вон опять плывет оболочко в воде, и затем за оболочком летит из-за моря пташка... Откуда ни возьмись коршуна, и пымали бедную пташку... Опять пташка в полону... Это не пташка, а добрый молодец в полону у польских людей... Польские люди спят, а слепые люди выкрадывают добра молодца, и добрый молодец очутился у хохлатых людей... Над Москвою оболочко... В Новодевичьем монастыре всенощная, и добрый молодец там ищет красну девицу, а во вместо красной девицы — черная черница!

Цыганка вдруг замолчала и, казалось, собиралась совсем уходить.

— Ну, что ж дальше было с добрым молодцом и с черничкой? — спросил с улыбкою Воин.

— Что было, сам знаешь,— неохотно по-видимому отвечала цыганка,— а вот что было:

Как и курочка бычка родила,
Поросеночек яичко снес,
А черничка да сынка привела....

Воин в волнении схватил ее за руку.

— Так это правда?.. У меня сын родился?.. Сказывай!

Но цыганка вдруг вырвалась и побежала берегом Булака в город.

— Куда ж ты? Погоди! — кричал ей вслед Воин.— Возьми денег за труд.

— Черной птице твоей казны не надо! — не оборачиваясь, отвечала цыганка и скрылась.

В странном смущении остался на берегу Булака Воин. Что от него нужно было этой цыганке? Несомненно, она из Москвы и кем-нибудь подослана. Но кем? От кого она могла узнать такие подробности об его жизни? Она сказала, что снимет с его сердца кручину, а вместо кручины даст ему радость. И эту радость она поведала ему: она прямо сказала, что та, которая была черничкой, привела ему сына. Неужели это правда? А они с женой почти четыре года кручинилися, что у них нет детей. Его Наталья думала, что неплодием наказал ее Бог за побег из монастыря. И вот она теперь мать... Ясно, что цыганка ею подослана. Но отчего ж она этого не сказала прямо? Отчего Наталья не уведомила его о себе? Ведь почти четыре месяца, как он с нею расстался, а она ничем не дала о себе знать. Да и где было искать его, когда он мыкался все лето по Вятке да по Каме?

Да и Бог знает, когда еще им придется свидеться. Вон какой пожар распустили по всей русской земле! С Дону началось, с какого-то кабака, а вон куда зарево хватает, до Москвы до самой, до державного места! Астрахань, Царицын, Саратов, Самара, вся низовая сторона, все в огне. И полымя все дальше и все шире захватывает — до Белого моря дошло, до Соловок, до Пустозерска; Аввакума-де из земляной тюрьмы выручать пошли, патриарха Никона из Ферапонтова вывести хотят...

А какие «прелестные» грамоты рассылает вор по всему Московскому государству! Хана крымского с ордами зовет на Русь, персидского шаха в братья себе прочит, в Запорожье его воры мутят... Теперь все языки поднимаются, татарва, черемиса, мордва, чуваши... Нижний обложили...

Такие невеселые мысли бродили в голове Воина, когда он, после встречи с цыганкой, возвращался от Булака.

А тестя, князя Прозоровского, не воротить уж к жизни. А знает ли об этом Наталья? Дошло ли до

нее, что отца ее уже нет на свете? Снизу, говорят, нет к Москве ни проходу, ни проезду: всюду пожар и кровь.

В тихом, ясном осеннем воздухе стелются по небу белые нити паутины... Вёдро, значит, еще долго постоит... Но вон и гуси длинною вереницею тянутся уж на теплые воды, за море...

Воин грустно покачал головой: ему вспомнилось его мыканье по белу свету, там, в заморщине... А тут он мыкался по Вятке да по Каме... дикая, бедная сторона, не то, что там; какие города, села! А здесь одна беднота, голод... Вот голодные люди и идут добывать себе хлеба либо смерти: им все равно помирать голодною смертью с наготы да с босоты...

«Женишка и детишка испроели»,— правда, правда: Воин сам все это видел... Он все это доложит великому государю, когда Бог живым донесет его до Москвы. А там его ждет сынок, Наталья, да дождутся ли...

— А! Воин Афанасьич! Здравствуй на многие лета, до конца века!

— Спасибо, Афанасий Ивлич, как твое здоровье?

— Сам себе дивуюсь, как еще на ногах Бог держит.

— Да, правда, Афанасий Ивлич, кручинно тебе было с этою тяготою на Вятке: шутка ли! Сто стругов снарядить в такую пору, когда все в нетях. Ну, слава Богу, за тобой государево дело не стало.

Это встретил Воина товарищ по наряду на Вятке ратных людей для плавной государевой службы и по постройке там же ста стругов для Волги, Афанасий Косых, мужчина лет под шестьдесят, но еще бодрый, с редкою сединой в русой бороде.

— Ты откудова это теперь?—спросил Воин Афанасия.

— От воеводы, от князя Юрья: на завтра поход объявил против вора, и стружочки мои чтоб наутре отошли от Бакалды вниз до Симбирского с кормом и с зелейными запасы, а сам он идет на вора по сухопутью,— отвечал Косых.

— Так завтра? Ну, слава Богу!—И Воин перекрестился, хотя у него на сердце заскребли кошки. «Шутка ли! С самим встретиться»,— подумал он.

XXXVI. МОНИСТА КНЯЗЯ ЮРИЯ БАРЯТИНСКОГО [10]

— Кажись, он, соколик, глазки открыл?

— И точно, матушка Ираида, смотрит: не подымет ли ево Господь?

— Не говори, матушка, на все Божья воля: уж коли меня, старца негодного, Бог вызволил с турецкой каторги да из Шпанской земли довел досюдова и сподобил меня приложиться к мощам святых угодников, преподобных Гурия и Варсунофия, так ево, воина Христова, поднимет Господь.

Этот разговор осторожным шепотом вели между собой старый инок в черной скуфейке с старенькою живою монашкою, черные живые глаза которой так, по-видимому, не ладили с ее сухим, темным морщинистым лицом.

Они сидели в просторной горнице, в окна которой проникал нежный свет загоревшейся на востоке зари. В той же горнице, на высокой кровати у стены, полузадернутой зеленым тафтяным пологом, лежал мужчина, по-видимому, тяжело больной. Голова его, обрамленная спутавшимися волосами, и мертвенно-бледное, с следами сильного загара лицо резко оттенялись от белой подушки.

Больной действительно открыл глаза.

— Где я? — слабо прошептали его запекшиеся губы.

Старый инок на цыпочках подошел к нему и осторожно нагнулся.

— А! — с горечью протянул больной.— Так я все еще в Веницеи... а мне чаялось...

— Нету, батюшка, ты не в Веницеи, а на святой Руси,— с нежностью сказал старый инок,— ты, должно, меня, старого пса, признал, што выкупил с полону, с каторги: тебе и мерещится Веницея.

— Так где ж я? — изумленно спросил больной.

— В Синбирском, батюшка, у боярина и воеводы Ивана Михайлыча Милославского в почивальне,— проговорил старый инок.

Больной закрыл глаза. Ему казалось, что все это сон. Но между тем в уме его вставали новые неясные образы. Эти запорожцы, которых он видел в столовой избе у царя. Но это сон: он во сне, будто бы в Казани, на берегу Булака видел цыганку, и она ему много наговорила и о сыне, и о запорожцах. Только теперь он видел их не в столовой избе и не у Брюховецкого,

а где-то здесь, близко... И тот еще, самый большой, что упал в столовой избе, закричал: «Вот оно, аспидово отродье, сынок Ордина-Нащокина!» А вот сам Разин... Он помнит, как он этого самого вора Разина хватил саблей по голове... Да, все это сон, хотя он, кажется, и лежит с открытыми глазами...

— Он опять, соколик, открыл глазки,— слышит он шепот.

— Бредит, должно, в огне.

— Кто это говорит? — спрашивает больной, силясь поворотить голову.

— Я, соколик,— говорит монашка, подходя к нему робко.

— Опять цыганка! — слабо простонал больной.

— Я не цыганка, я старица Ираида, от Натальи Семеновны к тебе прислана.

— От Натальи? А где она?

— В Москве, соколик.

— Так это сон?

— Не сон, соколик, опомнись... Припомни, ты был в бою с вором Стенькою, тебя порубили в бою казаки воровские, и мы не чаяли видеть тебя в живых. А теперь, слава Господу, ты в память приходишь... Перекрестись, родной.

Воин — это был он — хотел было перекреститься и не мог, застонал: рука его была на перевязи; он был ранен.

Но эта боль заставила его вспомнить все или почти все. Рать воеводы и князя Юрия Барятинского из Казани подоспела к Симбирску в то время, когда симбирский воевода, боярин Иван Милославский, истомленный почти месячным сидением в облоге от воров, уже хотел было сдаться, отворить ворота в Кремль. Разин с казаками и татарами стремительно бросился на царское войско. Завязалась отчаянная борьба...

Воин все вспомнил, но это был какой-то ад... гром пушек, гиканье налетевших на них казаков, аллалаканье татар, вышедших с топорами и рогатинами, все это смешалось в какой-то страшной картине...

Лично он вспомнил, как на то крыло, где он находился, ударили татары под предводительством мурз Багая и Шелмеско; потом в середину лавы врезался сам Разин с тремя запорожцами... Запорожцы узнали его, он узнал их... Но тут все смешалось в его уме:

мелькнул белый конь под Разиным, готовый, кажется, раздавить Воина; но Воин махнул саблей и угодил в голову Разину... Больше он ничего не помнит.

Теперь Воин осмотрелся кругом сознательно. Да, это не сон, и то не был сон.

Около его постели опять стояли старый инок и цыганка в монашеском одеянии. В первом он узнал бывшего полонянина Варсонофия, которого он выкупил в Венеции.

— Ты как сюда, старче, попал? — спросил его Воин, все еще смутно сознавая свое положение.

— К тебе, батюшка Воин Афанасьич, приплелся я с Москвы,— отвечал старик,— тебе отслуживать за мою волю, што ты дал.

— Как же ты узнал, что я здесь?

— Я с тобой, батюшка, с самой Казани.

Воин недоумевающе посмотрел на монашенку.

— А меня прости Христа ради, батюшка Воин Афанасьевич, за Казань,— сказала она, низко кланяясь.— Я не цыганка: я старица Ираида из Новодевичьей обители.

— Для чего ж ты в Казани цыганкой прикинулась? — спросил Воин с удивлением.

— Так, батюшка, приказала Наталья Семеновна,— отвечала монашка.

— Моя жена?

— Она самая, батюшка.

— А для чего? — еще с большим удивлением спросил Воин.

— Ее спытай, батюшка: ее это воля была,— отвечала монашка.— Для-ради ее супокою мы вот с Варсунофьюшком и пошли искать тебя, потому нас, людей божьих, старцев, кому охота обижать? А пошли она гонца с грамоткою, и по нонешнему времечку ему бы не сносить своей головы: ноне и царских гонцов по дорогам воры вешают. А мы што? Мы та же каличь, нишшая братья убогая, с нас нечево взять. А мы-то с Варсунофьюшком в бродячем деле дотошны: он, сам ведаешь, с самой бусурманской веры, да с Шпанской земли доплелся до Белокаменной; а я, родимый, с той самой поры, как нас с инокиней Надеждой, што ноне твоя благоверная, отпустила мать игуменья из Новодевичья за мирским сбором и как инокиня Надежда из Успенского собору ушла к тебе, с той поры и я все брожу по свету, по угодничкам; и киевским угоднич-

кам маливалась, и самово етмана Брюхатово видала, и соловецким угодничкам, Зосиме — Савватею, маливалась же, да и у казанских чудотворцев, у Гурия и Варсунофея, святые раки лобызала. Там мы с Варсунофьюшком и тебя, соколика, сустрели, да за тобою, как псы верные, и сюда прибрели. А все для-ради супокою матушки Натальи Семеновны. И цыганкой-то я обернулась для-ради ее же благополучия. А ноне вот Бог привел и за тобой походить. Как это пришел под Синбирской с ратными людьми с Казани князь Барятинский, и ты, батюшка, с ним же пришел, да как учинился у вас смертный бой с вором и антихристом Стенькой, с утра до ночи бой шел, а мы, ни живы ни мертвы, ждем, чем кончится, коли к ночи слышим: побили-де царские рати вора Стеньку наголову, и сам-де он бежал в малом числе, и голова-де у него перевязана, саблей рассечена, и рассек-де ево, сказывают, Воин Ордин-Нащокин, а сам-де Воин убит лежит. Как услыхали мы это, батюшка, Воин Афанасьич, что ты мертв лежишь, мы и света божьяво за слезами невзвидели. Коли слышим: жив-де еще Ордин-Нащокин, токмо зело порублен. И велел тогда воевода и боярин Иван Михайлович Милославский снести тебя, голубчика, к ему в палаты и лекаря к тебе приставил, а нас во хожалок место. И был ты все без памяти который день, а ноне вон божиим изволением в себя пришел.

Монашка радостно при этом перекрестилась на иконы. Перекрестился и старик Варсонофий.

— Так вор Стенька, сказываете, разбит? — спросил Воин с просветлевшим взором.

— Разбит начисто, батюшка Воин Афанасьич,— в один голос отвечали старица и старец,— и тою же ночью бежал.

— Бегу яся, несолоно хлебавши,— добавил Варсонофий,— а клевреты его, што не успели бежать, вон все висят на виселицах вдоль берега, ишь какое ожерелье изнавешено их! — И старик показал рукою в окно.

— И запорожцев повесили, тех, что с тобой вместе, батюшка, в столовой избе у государевой руки были, Гараську, да Пашку, да Мишку,— добавила старица Ираида.

— Да и татарские мурзы Башай да Шелмеско, што государю челом били на государевых воевод, и они повешены ж,— присовокупил Варсонофий.— А этот мурза Багай, сказывали, мало не заколол боярина

и воеводу Ивана Михайловича Милославского: мы, говорит, помираем голодной смертью, с наготы да с босоты, а вы, говорит, вон какие жирные, дак ево ратные люди с коня сбили и связали, а ноне вон он болтается у самой Волги, што твоя колода.

В это время в опочивальню, в которой лежал раненый Воин, вошел пожилой мужчина с окладистой бородой и широкой лысиной ото лба. На нем было богатое боярское одеяние.

— Ба-ба-ба! — весело заговорил вошедший.— Да кажись, наш богатырь Илья Муромец в добром здоровии.

— Спасибо, боярин Иван Михайлович, по милости божьей, сам видишь, я очнулся,— отвечал Воин.

Вошедший был боярин и воевода симбирский Иван Михайлович Милославский.

— Слава Богу, слава Богу! — продолжал боярин.— Надо тотчас же еще гонца послать, родителя и супругу твою порадовать весточкою, што ты в себя пришел, наконец. Да и великий государь рад будет такой вести: вить ты саблей огрел вора прямо по башке, зело добре назнаменовал!.. Может, от твоего знаменья он, вор Стенька, и плечи нам показал: бежал, аки тот Святополк Окаянный.

— А где воевода князь Юрий? — спросил Воин.

— Да все еще монистом своим занят,— с улыбкой отвечал Милославский.

— Каким монистом, боярин? — удивился Воин.

— Да воров нанизывает на веревки, шутка ли, более шестисот зерен жемчугу бурмицково нанизал уже на свое монисто... Самые крупные зерна у нево три запорожца, што еще с Брюховецким воровали, да двое мурзишек татарских, Багайка да Шелмеско, кои всю татарву да черемису на нас подняли, знатное монисто! Есть чем похвастать князю Юрью... А не подоспей он, я бы попал в монисто к вору Стеньке... Никто как Бог!

XXXVII. ЭПИЛОГ

В Грановитой палате, в столовой избе, у великого государя с боярами сиденье. Тут же и святейший патриарх Иосиф с освященным собором.

Великий государь и святейший патриарх и бояре думают: великая смута и крамола охватила русскую

землю; все низовые города взяты вором на копье; воеводы, дети боярские и служилые люди прияли от злодеев наглую смерть; царские рати либо осилены вором и побиты, либо предались злодею; замутилась вся русская земля, и что будет дальше, Богу ведомо...

Ниоткуда ни луча надежды...

Как быть? Что умыслить? Где набрать столько ратей?

Великий государь сам думает идти чинить промысл над крамольниками... Но с кем? Где его воеводы? Все они оказались бессильными...

Отвратил Создатель лицо свое от людей своих... За чьи грехи?..

«Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в море далече!» — шепчет святейший патриарх, поднимая глаза к лику Спасителя.

Дьяк Алмаз Иванов, угрюмо уставившись в какую-то бумагу, прислушивается, кажется, как за окном ворона каркает...

Думают бояре, есть им о чем подумать! На них идет эта страшная буря; а кто их укроет? Ромодановский, Шереметев, Барятинский, Долгорукий? Но от них нет вестей; да и гонцы их все погибают в пути, всех ловят и убивают крамольники.

Вон как постарел Алексей Михайлович за этот год... И сколько потерь: жену потерял, дочь и двух сыновей похоронил... «И бе дом его пуст...»

Слышатся подавленные вздохи да карканье вороны за окном...

И на крыльце, где обыкновенно собирались стольники, стряпчие и дворяне, теперь не слышно «шумства» и споров; напротив, испуганным шепотом передают собравшиеся один другому, что будто бы уж и Симбирск взят и выжжен, взята и разорена Казань, Лысково, Нижний, Темников, Корсун, Саранск, оба Ломова, Пенза, Арзамас, — все в руках у злодеев, что все холопи и крестьяне разбежались, режут и вешают господ, жгут боярские усадьбы, что хлеба в полях потопчены, потравлены или выжжены, что скоро страшный атаман, которого ни пуля, ни сабля не берут, нагрянет в Москву... Куда деваться?.. Где спасение?..

Алексей Михайлович ждет совета от святейшего патриарха, на него вопросительно поглядывает, не вразумит ли его Господь?

А святейший патриарх только шепчет, глядя на лик Спасителя: «Услыши ны, Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих в мори далече...»

И Он услышал!..

Там, на крыльце, или на дворе, пронесся вдруг ропот не то изумления, не то испуга:

— Гонец!.. Гонец пригнал!.. С какими вестями?..

И столовая изба вся встрепенулась, точно шум ветра прошел по ней...

Глаза у всех уставлены на дверь, ожидание, томление, испуг...

«Услыши ны, Боже!..»

Гонец в дверях, едва переступил порог, он бледен, шатается, он, кажется, скоро грохнет на пол... Он ничего не видит, ни царя, ни бояр...

— Поддержите... он упадет...

Бояре его поддерживают... Он силится говорить...

— Великий государь!.. Воевода князь Юрий... твои государевы рати... вора Стеньку... и ево толпища... разбили наголову...

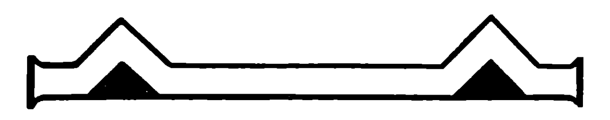
Крик радости вырвался из сотни грудей. Все крестились...

— Самово вора Стеньку... Воин Ордин-Нащокин... саблею посек в голову... а Воина изрубили...

Гонец не договорил. От Симбирска до Москвы он загнал семь лучших коней, не спал и не ел во весь путь...

Гонца увели, он потерял сознание.

Все оглянулись на старого Ордина-Нащокина, который сидел недалеко от царя; по лицу старика текли слезы, слезы и скорби, и радости.



СИДЕНИЕ РАСКОЛЬНИКОВ В СОЛОВКАХ



Архимандрит Никанор и братия, сподвижники «протопопа Аввакума»

Историческая повесть

из времен «начала раскола на Руси»

в царствование Алексея Михайловича, 1674

I. БУРЯ НА БЕЛОМ МОРЕ У СОЛОВОК

По Белому морю, вдоль Онежской губы, у исхода ее, по направлению к Соловецкому острову медленно плыла небольшая флотилия из кочей, наполненных стрельцами. Кочи шли греблей, потому что на море стояла невозмутимая тишь, наводящая одурь на мореходов. Весна 1674 года выдалась ранняя, теплая, и вот уже несколько дней солнце невыносимо медленно от зари до зари ползло по безоблачному небу, почти не погружаясь в море даже ночью и нагоняя на людей тоску и истому. Морило так, что, казалось, и небо было раскалено, и от моря отражался жар, и груди дышать было нечем. Кругом стояла такая тишина, что слышен был малейший плач морской чайки где-то за десятки верст, хотя самой птицы и не было видно, да и ей в эту жарынь не леталось. Весла гребцов медленно, лениво, неровно опускались в морскую лазурь и блестели на солнце спадавшими с них алмазными каплями, а с самих гребцов по раскрасневшимся лицам катился пот, смачивая собой разметавшиеся и всклокоченные пряди волос и бороды.

— «...И от Троицы князь великий поеде и с великою княгинею и с детьми в свою отчину на Волок Ламской тешитися охотою на зверя прыскучего и на птица летучая. И тамо яко некоим от Бога посещением нача немощи, и явися на нозе его знамя болезненно, мала болячка на левой стране на стегне, на изгиби, близ нужного места, с булавочную голову, верху у нее нет, ни гною в ней нет же, а сама багрова. И тогда наипаче внимаше себе, яко приближается ему пременение от маловременного сего жития в вечный живот...»

Это на переднем, на самом большом из всех кочей судне, у кормы, под напятым на снасти положком сидит старый монах и, водя грязным толстым пальцем по развернутой на коленях книге, читает, гнуся и спотыкаясь на титлах да на длинных словах. На трудных словах особенно трясется его седая козелковая бородка.

— От маловременного сего жития в живот вечный, вон оно что! А все никто как Бог,—рассуждал монах,

переводя дух и поправляя на голове скуфейку.— Уж и теплынь же, воевода.

— Что и говорить, тепла печка Богова,— отвечал тот, кого называли воеводою, сидевший тут же под холстовым напястьем.

А с задних судов доносился говор и смех, но как-то вяло, лениво. По временам кто-то затягивал песню, другой подхватывал и лениво, монотонно тянули:

Сотворил ты, Боже, да небо-землю,
Сотворил же, Боже, весновую службу.
Не давай ты, Боже, зимовые службы,
Зимовая служба молодцам кручинна,
Молодцам кручинна, да сердцу неусладна...

— Али в экое пекло лучше! — протестует чей-то голос.

— «...И посла брата своего по князя Ондрея Ивановича на потеху к себе. Князь же Ондрей приеха к нему вскоре. Тогда князь великий нужею выеха со князем Ондреем Ивановичем на поле с собаками»,— продолжал гундосить монах под пологом.

Ино дай же, Боже, весновую службу,
Весновая служба молодцам веселье,
Молодцам веселье и сердцу утеха.

— А я в те поры был у ево, у Стеньки, в водоливах на струге, как он гулял с казаками. А она, полюбовница ево, царевна персицка, сидит на палубе, на складцах, словно маков цвет, изнаряжена, изукрашена, злато-серебро на ей так и горит. А Стенька выпил-таки гораздо, да и ну похваляться перед казаками; мне, говорит, все нипочем, всего добуду и Москву достану. Да и подходит это к своей полюбовнице, берет ее на руки, словно дитю малую, подносит к борту да и говорит: «Ах ты, Волга-матушка, река великая! Словно отец с матерью ты меня кормила-поила, златом-серебром, славой-честию наделила, а я тебя ничем не отдарил... На ж тебе, возьми!» Да так, словно шапку, и махнул в воду свою полюбовницу.

— Что ты, братец мой! И утопла?

— Как топор ко дну.

Это ведут беседу стрельцы, сидя на носу передового судна. Судно это наряднее всех остальных кочей. Нос и корма его украшены резьбой и расписаны яркими цветами. На вершине мачты, над вертящимся кочетком, водружен восьмиконечный крест. Пониже в неподвижном воздухе висит на натянутой снасти

красный флаг с изображением Георгия Победоносца. Это судно воеводское. Несколько чугунных пушек поблескивают на солнце, выглядывая за борт.

— Что ж, воевода, говоря по-божьему, их старцов дело правое,— говорил монах,— двумя персты все мы от младых ногтей маливались, и я, и ты. Вон и в этой книге, гляди-тко, изображен старец, видишь? Вон у ево перстики-то два торчат, аки свечечки, а большой перст пригнут.

И монах тыкал пальцем в изображение на одной странице книги.

— Так-то так, я и сам не больно за три персты-то стою,— нехотя отвечал воевода,— да они за великого государя не хотят молиться: еретик-де.

— Ну, это дело великое, страшное: об ем не то сказать, а и помыслить-то, и-и! Спаси Бог!

Они замолчали. Молчали и стрельцы, только гребцы медленно и лениво плескали веслами да назади тянули про «весновую службу»:

А емлемте, братцы, яровы весельца,
Да сядемте, братцы, в ветляны стружочки,
Да грянемте, братцы, в яровы весельца,
В яровы весельца — ино вниз по Волге.

— Вон и они про Волгу поют. Хорошая река, вольна,— снова заговорил стрелец.

— Как же ты с Волги сюда попал, коли у Разина служил?

— Да у него-то я неволей служил... Допрежь того служба моя была у воеводы Беклемишева, и там как Стенька настиг нас на Волге да отодрал плетьми воеводу...

— Что ты! Воеводу! Беклемишева?

— Ево, да это еще милостиво, диви, что не утопил... Ну, как это попарил он нашего воеводу, так и взял нас, стрельцов к себе неволей. А после я и убег от него.

— И ноздри тебе на Москве не вырвали?

— За что ноздри рвать? Я не вор.

— А ты видел, как потом Стеньку-то на Москве сказнили?

— Нет. В те поры мы стояли в черкасских городех, потому чаяли, что етман польской стороны, Петрушка Дорошонок, черкасским людям дурно чинить затевал.

— А я видел. Уж и страсти же, братец ты мой! Обрубили ему руки и ноги, что у борова, а там и голову отсекли, да все это на колья... Так голова-то все лето

на колу маячила: и птицы ее не ели, черви съели, страх! Остался костяк голый, сухой: как ветер-то подует, так он на колу-то и вертится, да только кости-то цок-цок-цок...

На западе, ближе к полудню, что-то кучилось у самого горизонта в виде облачка. Да то и было облачко, которое как-то странно вздувалось и как бы ползло по горизонту, на полночь.

— Никак, там заволакивает аер-от...

— И впрямь, кажись, облаци божии. Не разверзет ли Господь хляби небесны? — крестится монах.

— А добре бы было, страх упека.

Воевода расстегнул косой ворот желтой шелковой рубахи, зевнул и перекрестил рот.

Облачко заметно расползалось и вздувалось все выше и выше. Казалось, что в иных местах серая пелена, надвигавшаяся на юго-западную половину неба, как бы трепетала. Старый помор-кормщик, сидевший у руля воеводского судна, зорко следил своими сверкавшими из-под седых бровей рысьими глазками за тем, что делалось на горизонте и выше. Жилистая, черная, как сосновая кора, рука его как-то крепче оперлась на руль.

Слева, по гладкой, почерневшей поверхности моря прошла полосами змеистая рябь. Неизвестно откуда взявшаяся стая чаек с плачем пронеслась на восток, к онежскому берегу, которого было не видно. Душный воздух дрогнул, и кочеток заметался и заскрипел наверху воеводской мачты. Что-то невидимое затрепетало красным полотном, на котором изображен был Георгий, прокалывающий змия с огромными лапами.

— Ай да любо, ветерок! Теперь бы и косым паруском можно,— послышалось откуда-то.

— Напинай, братцы!

— Стой! Не моги! — раздался энергетический голос старого кормщика-помора.

Вдали на западе что-то глухо загремело и прокатилось по небу, словно пустая бочка по далекому мосту. Солнце дрогнуло как-то, замигало, бросило тени на море и скоро совсем скрылось. Высоко в воздухе жалобно пропискнула как ребенок какая-то птичка, и скоро голос ее затерялся где-то далеко в неведомом шуме.

— Не к добру,— проворчал старый кормщик, взглядываясь во что-то по направлению к Соловкам.— На экое святое место да ратью итить.

— Ты что, дядя, ворожишь? — спросил походя тот стрелец, что служил у Стеньки Разина в водоливах.

— Что! Зосима — Савватей осерчали, дуют.

— Что ты, дядя! За что они осерчали?

— А как же! На их вить вотчину, на святую обитель ратью идем.

— По делам, не бунтуй.

Небо загремело ближе, и как бы что-то тяжелое, упав и расколовшись, покатилось по морю. Порывом ветра, неизвестно откуда сорвавшегося словно с цепи, метнуло в сторону полотняный намет и, потрепав в воздухе, бросило в воду. Монах, придерживая скуфейку, прятал под полу книгу, а воевода торопливо застегивал ворот рубахи и крестился... «Свят-свят-свят...»

Торррох! Раскололось и обломилось, казалось, все небо над головами оторопелых стрельцов, по-над морем, там и здесь, пронеслись огненные стрелы, снова разорвалось небо, и хлынул дождь.

Все кругом крестились, полной грудью втягивая посвежевший, влажный воздух и выставляя под дождь разгоревшиеся головы и лица.

— Ай да важно! Разлюли малина,— раздавались веселые голоса.

Кто-то запел по-детски: «Дожжик-дожжик, припусти!..» Один старый кормщик глядел сурово, заставляя судно поворачиваться левее.

— Водоливы! К плицам! — громко закричал он.— Воду выливай.

Действительно, воды налило много. Кочи стали идти грузнее. Намокшее красное полотно с Георгием Победоносцем болталось, как тряпка, тяжело хлеща по снастям. Ветер крепчал и вздымал море, которое, казалось, распухало, а местами прорывалось и белело тяжелыми брызгами. Беляки шли грядами, и кочи, сбившись с первого курса, тыкаясь в белые буруны носами, метались в беспорядке, как щепки. Кое-где слышались испуганные голоса, резкие выкрики кормщиков.

Монах, упав на колени и ухватившись одной рукой за уключину, громко молился и вздрагивал всем телом, когда его окатывало солеными брызгами: «Господи, спаси! Всесильный, не утопи! Пророк Иона! Пророкушка матушка! Во чреве китове»,— бессвязно стонал он, поднимая правую руку к небу, которое на него

свирепо дуло и брызгало водой. Воевода, ухватившись обеими руками за мачту, испуганно озирался, бормоча не то молитвы, не то заклинанья: «Охте мне! светы мои! Зосим — Савватей! Соловецки! охте-хте!» Стрелец, что служил у Стеньки Разина водоливом, торопливо сбрасывал с себя сапоги, рубаху и порты, как бы собираясь броситься в море и плыть, сам не зная куда.

Одно судно, на котором еще недавно раздавалась песня о «весновой службе», потеряв руль, отбилось в сторону и перекидывалось с гребня на гребень, как пустое корыто. Другие кочи также разбились врозь и то выскакивали на белые гребни валов, то ныряли, болтая в воздухе жалкими мачтами, словно маленькими веретенами. Ветер завывал и взвизгивал, как бы силясь растрепать и оборвать ничтожные снасти, которые потому именно и не обрывались, что были слишком ничтожны...

Еще раз небесная пелена разодралась сверху донизу, и треснул гром; звякнул второй раз еще резче и заколотил по небу сотнями орудий.

На отбившемся и потерявшем руль судне раздался отчаянный крик: «О-оо! Православные! Батюшки! Спасите, кто в Бога верует!»

— Наляг на гребки, братцы! С Богом, наляг! — хрипло командовал кормщик воеводского судна, направляя хоть его к тому месту, откуда неслись отчаянные крики.

Гребцы налегли всей грудью, то погружая весла глубоко в пенящиеся волны, то скользя лопастями по бокам валов. Судно вздрагивало, то тыкалось в воду носом, то западало кормой, так что кормщик, казалось, правил свое судно на водяную перекатывающуюся гору. Судно, потерявшее руль, видимо, потопало: края его чуть заметно чернели в пенящихся бурунах, и только виднелись руки, протягивающиеся к небу, словно рассвирепевшее небо собиралось бросить им спасительные веревки, а на мачте и на снастях отчаянно бились те, которые искали спасения повыше от зияющей и клокочущей бездны.

Не успело воеводское судно настигнуть погибавшее, как последнее совсем захлестнуло темно-зеленым с белым гребнем буруном. Руки, тянувшиеся к небу, разом упали и замолкли на клокочущей поверхности моря, то подымаясь, то исчезая в воде.

— Кидай причалы! Подавай концы, детушки! — не выпуская из рук руля, повелительно и с мольбою кричал старый помор-кормщик.

Взвились в воздухе, разматываясь и кружась волчком, бечевы и веревки и упали в воду в том месте, где потопавшие боролись с волнами, бледные, с исказившимися от ужаса лицами. Иной, видимо, с отчаянием и злобой погибающего отбивался от топившего его, не умевшего плавать и держаться на воде соседа. Иные руки хватались за веревки, другие, безнадежно поколотив воду, исчезали совсем под нею. Более умелые и сильные боролись с волнами сами и плыли к спасительному судну.

— Православные, спасите Киршу! Полуголове помогите, батюшки! — взмолился воевода, забыв свой собственный страх.

А Кирша, стрелецкий полуголова, взобравшись на мачту потонувшего и уже скрывшегося под водою судна, не чувствуя, что сама мачта опускается все ниже и ниже, умолял сиплым голосом: «Православные! Отцы мои! Не покиньте! Тону».

Набежавшим буруном тряхнуло мачту, руки Кирши скользнули по мокрому дереву, и он, подняв руки к небу, исчез под водою.

— Господи! Помяни во царствии раба... Господи! — с ужасом шептал воевода, безумно озираясь.

— Да, прогневались на нас святые угодники Зосима — Савватей за то, что мы хотим их святую обитель разорить,— твердил старый кормщик.— Преподобные, помилуйте!

II. ЧЕРНЫЙ СОБОР И ПОСОЛ КИРША

На другой день после грозы и бури стояло чудное летнее утро. Море, накануне всколыхнувшееся мгновенно налетевшею бурею и разметавшее стрелецкую флотилию, теперь снова улеглось на покой и казалось еще голубее, чище и приветливее, чем было до бури. Остров, святая вотчина преподобных Зосима и Савватия, с темною зеленью, иглистыми лесами и резко очерченными берегами, у которых кружились, реяли в прозрачном воздухе, плакали и выпискивали на разные голоса чайки, мартины-рыболовы и островерхие стрижи, казалось, радостно тянется к небу своими

церквами и башнями, словно так и вышедшими, как из купели, из глубокой морской пучины. Спасшиеся от потопления стрелецкие суда-большаки и кочи тихо, едва заметно колыхались у берега на поверхности глубокой соловецкой губы, красиво окаймленной зеленью и серыми, проросшими мохом камнями.

Но в самом монастыре было неспокойно. Во всей святой обители господствовала необычайная тревога. Монастырские ворота и все входы и выходы были заперты. По стенам ходили часовые с ружьями, зорко следя за тем, что делалось на берегу, около стрелецких кочей, и прислушиваясь к смутному говору и смятению, господствовавшим в стенах обители. Соборный колокол, разнося гул далеко по острову и по морю, не то бил сполох, не то созывал черный собор, всю братию и богомольцев, священников и дьяконов, соборных старцев и братию рядовую и больничную, монастырских служек и трудников, служилых людей, усольцев и всех православных христиан. В то же время пушкари монастырские по башням и бойницам чистили и заряжали наряд, пушки и пищали затинные. Монастырские голуби, которым так привольно жилось в монастыре на всем готовом, и сизые, и белые волохатые, и глинистые, рудожелтые, и турмана всех цветов и «в штанцах», белоглазые глуповидные галки, космополиты воробьи и стрижи, охотники до всего высокого и грандиозного, до высоких церквей и грандиозных скал,— все эти пернатые отшельники и певчие, выпугнутые из своих келий-гнезд необычным движением, звоном и суетнею на стенах и башнях, шумно кружились над монастырем и кричали на все птичьи голоса, не зная, где присесть и что думать о суетившейся черной братии, забывшей даже сегодня посыпать зерна и крошек для своей крылатой скромной братии. Один, особенно любимый черною братиею глинистый турман «в штанцах», видя общую суматоху и приняв ее сглупу за общее торжество, такие выделывал в воздухе кувырки, что Исачко Воронин, сотник и стратиг всего монастырского воинства, зарядив на монастырской стене последнюю затинную пищаль, так залюбовался на воздушные кувырки любимого монастырского голубя и так задрал свою бородатую голову к небу, на этого сорванца птицу, что чуть не опрокинулся со стены.

На звон колокола из всех монастырских келий, словно черные тараканы из щелей, посыпала черная

братия: из пекарен и трапез, из прядильных и дубильных изб, из страннoприимных и больничных домов и из схименных конурок. Все это, как пчелы, гудело и торопливо, насколько могло, направлялось к собору, на площадке у которого уже виднелась старшая монастырская братия, отцы строители и рядители — архимандрит Никанор, необыкновенно большебровый и горбоносый старик, келарь Нафанаил, кругленький и пузатенький старичок с красным носом и бородкою в виде двух клоков немытой овечьей шерсти, отец Геронтий, сухой и длинный, как сыромятный кнут, чернец, с лицом испостившегося «мурина», городничий старец Протасий — остробородый, с плутоватыми глазами постный лик. Тут же и мирские лица — сотник Исачко, уже сошедший со стены, и сотник же кемлянец Самко: первый — косой на оба глаза, но необыкновенно меткий пушкарь с вздернутым носом и бородою, второй — с покляпым носом рыжий мужик с рыжею, широкою, как лопата, бородою.

Тут же в кругу стоял и стрелецкий полуголова Кирша, которого накануне мы видели на мачте погибшего судна. Кирша не утонул: он погрузился было в море, но его зацепили багром за кафтан и спасли. У Кирши в руках какая-то бумага. Рядом с ним — тот монашек с козелковой бородкой, что читал на море воеводе книгу о преставлении государя и великого князя Василия Ивановича.

Сборище у соборного круга увеличивалось с каждою минутой. Сошлись не только монастырские жители, но и пришедшие издалека, из всех концов Московского государства богомольцы и богомолки, из Архангельска, из Москвы, из Сибири, с Дону, Волги и даже из черкасской земли. Был тут и галанский немец из Амбурха-града, имевший торговый дом в Архангельске и часто наезжавший в Соловки для покупки у братии поташу, смолы и рыбьего зуба: это был бритый, круглощекий с голубыми глазами за пивною слюдой немец, и звали его Каролусом Каролусовичем. Каролус Каролусович тоже пришел полюбопытствовать, по какому случаю такой сбор в монастыре. Вместе с ним и с семейством архангельского купца Неупокоева, приехавшим поклониться соловецким угодничкам, вышла к собору и аглицская немка, мистрис Пристлей, давно жившая в Архангельске с своим мужем, агентом одного лондонского торгового дома,

мистером Пристлеем, и известная всем архангельцам под почетным титулом аглицкой немки Амалеи Личардовны Простреловой. Это была высокая сухощавая женщина с розовыми щеками, белыми и выдающимися, как у кролика, зубами и глинистыми, как перья у голубя в штанцах, волосами. Амалея Личардовна приехала в «Соловки» просто из любопытства, как туристка, посмотреть на это московитское, как ей казалось, уэстминстерское аббатство[1]. В долгое пребывание в Архангельске она порядочно выучилась говорить по-русски и была особенно хорошо знакома с женою Неупокоева и его дочкою, семнадцатилетнею девушкой Оленушкою, с которыми теперь и пришла посмотреть на монастырское сборище и послушать, что там будет.

Когда они пришли к сборищу, то увидели, что какой-то широкоплечий с сросшимися бровями стрелец, это был Кирша, подал архимандриту Никанору какой-то свиток с висевшею на шнурке черною печатью, а тот, развернув свиток и повертев его в руках как что-то такое, которое не знаешь, с которого конца и начать, передал в руки сухому монаху с лицом мурина, грамотею Геронтию.

Геронтий развернул свиток, нагнулся к печати, как бы обнюхивая ее, выпрямился, как смоленый шест, кашлянул, словно из бочки, и, тоже словно бы из бочки, начал что-то читать. Сначала ничего нельзя было разобрать, кроме отдельно выкрикиваемых слов «сие наше», «со-со-со-борное послание», «и завещание», «передаем и повелеваем неизменно хранити», «и по — и поко — и покорятися святей во-восточной церкви...». Далее отец Геронтий овладел трудностями дьяческой с завитками каллиграфии, и из бочки потекли плавно страшные слова.

— «Аще ли мя кто не послушает повелеваемых от нас и не покорится святей восточней церкви и освященному собору, или начнет прекословити и противлятися нам,— гремело на весь черный собор,— и мы таковаго противника, данною нам властию от святого и животворящего Духа, аще будет от освященного чина, извергаем и обнажаем его всякого священнодействия и благодати, и проклятию предаем...»

При слове «проклятие» сдержанный шепот прошел по собору. Все груди, по-видимому, тяжело дышали. Все усиленно, мучительно-напряженно вслушивались

в читаемое и едва ли многое понимали: понимали только одно — «проклятие»; кто-то кого-то проклинал... кого же, как не их, черную смиренную братию, братию рядовую, служек и трудников? А за что? Вон какие мозоли они понатерли на своих грубых ладонях, работая на святых угодничков Зосим — Савватея... А их проклинают... Трудно дышит братия, слышно даже это усиленное дыхание... Иные не то скорбно, не то укоризненно качают поникшими головами...

У отца Никанора ходенем ходят большие брови, а лицо все более и более краснеет. Старец Протасий, оглядывая исподлобья черную братию, глубоко вздыхает. Один Исачко-сотник косит своими глазами на Киршу-стрельца и как бы хочет сказать: «А попробуй, мы те покажем Кузькину мать...»

— «Аще же от мирского чина,— продолжают вылетать слова из сухой бочки,— отлучаем и чужда сотворяем от Отца и Сына и Святаго Духа, и проклятию и анафеме предаем, яко еретика и непокорника, и от православного всесочленения и стада и от церкви Божия отсекаем яко гниль и непотребен уд, дондеже вразумится и возвратится в правду покаянием».

Отец Геронтий передохнул и поправил на висках и на лбу волосы, потому что и на лбу и на висках проступал пот. От волнения и натуги свиток дрожал в его руках и печать на шнурке колыхалась. Сотник Исаченко от скуки, он человек ратный и письмо не его дело, его дело зелье нарядное да пищаль затинная, Исачко выследил над монастырем своего любимца голубя, турмана в штанцах, и искоса опять поглядывал на его отчаянные кувырки в воздухе.

— Чти дале, на нет чти,— нетерпеливо и дрожащим голосом понукал архимандрит.

— «Аще ли кто не вразумится,— продолжал отец Геронтий,— и не возвратится в правду покаянием и пребудет в упрямстве своем до скончания своего — да будет и по смерти отлучен и не прощен, и часть его и душа со Иудою предателем и с роспеншими Христа жидовы и со Арием и с прочими проклятыми еретиками, железо, камение и древеса да разрушатся и да растляется, и той да будет не разрешен и не разрушен и яко тимпан бряцаяй во веки веков, аминь!»

Многие стояли бледные, дрожащие. Одни робко, недоумевающе поглядывали друг на друга, другие с какою-то робкою мольбою смотрели на старого

архимандрита. Отец Никанор — стар бывал человек, живал и на Москве, и архимандричал в Савином монастыре, и на глазах у царя бывывал, и царь его жаловал. Что-то он, отец Никанор, скажет? Али так-таки всех и выдаст головой анафеме? Али на них и закона нет? А Никанор стоит, заряженный, как затинная пищаль. Губы его дрожат. Он вспоминает, как в Москве, лет пять тому назад, принудили его покориться собору, отречься, отплеваться от двуперстия и сугубой аллилуии, пасть сметием и прахом под нозе Никона... И стыд за прошлый позор, и поздняя злость на свою тогдашнюю слабость потоком гнали его старую, но кипучую еще кровь от сердца к пунцовым щекам, к глазам... Вон Аввакум протопоп не убояся собора нечестивых и пребысть крепок, аки адамант и яко скала нерушим...

Оленушка, взглянув на Никанора, испуганно прижалась к матери. Ее синие, как морская вода под ясным солнцем, длинные глаза расширились и потемнели.

— А что дале, после аминя? — резко вдруг спросил Никанор.

— После аминя скрепа дьяка патриарша приказа,— отвечал Геронтий.

Никанор, взяв из рук его свиток и обведя глазами собор, выпрямил свое старое тело. Он видел, что грамота с проклятием произвела удручающее впечатление на всю братию и даже на ратных людей, преданных монастырю, между которыми, кроме местных поморов и усольцев, находилось несколько донских казаков, после поражения Стеньки Разина перекинувшихся с Волги на Белое море, на службу к соловецким старцам, ибо Стенька не раз говаривал своим удалым молодцам, что и он когда-то был в Соловках и маливался соловецким угодникам. Никанор всего более боялся, чтобы ратные люди, под страхом анафемы, не покинули монастырь на произвол судьбы, и потому сразу решил, что ему делать. Он подошел к Кирше, как к посланцу царского воеводы, и стал так, чтобы его видели ратные люди, особенно сотники Исачко и Самко.

— Ты почто прислан к нам? — спросил он громко посланца.

— Прислан я с грамотой,— отвечал Кирша, поводя сросшимися бровями.

— Мы вычли оное безлепичное лаяние патриарша дьяка и то бреханье на ветер пустили. Почто ж еще ты прислан к нам?

— Прислан я,— заговорил Кирша по-заученному,— от воеводы Ивана Мещеринова, чтоб вы, соборная и рядовая братья, добили челом великому государю...

— А потом что?

— Чтоб принесли великому государю вины свои...

Никанор перебил его, схватив за руку.

— Вин за нами перед великим государем нет и не бывало, и добивать нам челом великому государю не по что, окроме как молиться за его государское здоровье, и мы то делаем,— скороговоркою проговорил он.— Поди и доложись о сем твоему воеводе... Слыхал?

— По указу его царского пресветлого величества,— как бы не слушая его, продолжал Кирша,— воевода приказал вам монастырь отпереть и государевых ратных людей принять с честью.

Никанор окончательно вспылил.

— Али твой воевода царским словом торговать стал! — закричал он.— Али пресветлое царское слово может исходить из такого поганого смрадного рта, как у твоего воеводы? Али у великого государя бумаги и чернил недостало, чтобы слово его пресветлое всякими пьяными глотками в кабаках выкрикивалось? А! Так, что ли?

Озадаченный Кирша не знал, что отвечать. Он догадался, что воевода сделал оплошность.

— Говори! — приставал к нему Никанор.— Как твой воевода смел украсть царское слово? Али он не знает, что царское слово, как и словеса Господа нашего Исуса Христа, либо в церкви, как святое Евангелие, должны возглашаться, либо царскою грамотою, по титуле, объявляться? А! Так вы этого не знали!

По собору прошел ропот одобрения. Головы поднялись уверенно, бледность сбежала с лиц. Исачко смело и дерзко измерял косыми глазами Киршу, как бы вызывая его на немедленную потасовку. Послышались выкрики: «Али на них и суда нету!», «Али они и впрямь своим дурным наше добро извести хотят!», «Чего их слушать! Воровство их знамое!».

Кирша стоял, как притравленный зверь, озираясь по сторонам. А прибывший с ним монашек испуганно

топтался на месте, точно выглядывая норку или скважину, в которую можно было бы юркнуть.

В это мгновение в самую середину круга протискался какой-то оборванец с длинными, как у простоволосой бабы, никогда не чесанными пасмами волос, падавшими ему на худое аскетическое лицо и на плечи. Оборванец был босиком, в одной, чужой, по-видимому, рубахе, которая была слишком длинна для него. Из-под рубахи виднелись голые, худые, как щепки, икры ног. На шее у него, как у цепной собаки, висела и при движении звякала тяжелая цепь, замкнутая большим замком у горла, ключ от которого был брошен в море. Оборванец держал в руках старую скуфейку, в которой, скукожившись в комочки, спали еще не оперившиеся, с золотым пушком, голубиные выводки. Оглянув круг и нагнувши свою косматую голову подобно барану, собирающемуся драться, он затопал ногами и, припрыгивая, запел детским голосом:

Бушка-баран,
Не ходи по горам,
Убьют тебя —
Не пеняй на меня.

Многие вопросительно и испуганно переглянулись. Монастырь давно привык к разным выходкам и причудам своего юродивого: но всегда искал в его словах чего-либо пророческого, какого-либо иносказания и иногда, конечно, большею частью уже впоследствии, когда какое-либо событие совершалось, истолковывал их в пользу пророческого провидения своего юродивого. «А вишь Спиря-то блаженный предсказывал нам это тогда, да мы-то, грешные, не уразумели его святых словес,— говорили обыкновенно монахи, когда случалось что-либо неожиданное.— Вон тады, как с Москвы нам прислали книги с трегубым алилуем да с треперстием, Спиря-то все нам пел об трех «люлях» да об «гулях»:

Люли-люли-люли,
Прилетели гули.

А стрельцы-то и были эти «гули» самые, а нам, глупым, и невдомек; а «люли» была та самая трегубая алилуя».

Так и теперь «бушка-баран» — это был не просто баран, а кто-либо другой: либо монастырь, либо стрельцы, что под монастырь пришли. «Не ходи, буш-

ка, по горам, убьют тебя»,— это что-то очень страшное. Кого божий человек предостерегает этим: братию ли, посланца ли этого? Кому быть убитым? Эти тревожные вопросы возникали в душе каждого. Одним казалось, что Спиря грозит посланцу, даже в него и лбом уперся; а другие ясно видели, что он будто бы показывал вид, что бодает отца архимандрита Никанора.

— Гулюшки, гули,— забормотал вдруг юродивый, нагибаясь к своей скуфейке,— а, проснулись, детки, естушки захотели.

Птенцы действительно поднимали свои пушистые с неуклюжими ртами головки и, видимо, искали пищи. Юродивый тут же сел наземь, вынул из сумочки, что висела у него через плечо, горсть зерен, положил их себе в рот, пожевал и пригнулся лицом к скуфье. Птички широко раскрыли красные рты и сами полезли головками в рот юродивого.

Архимандрит Никанор, озадаченный было сначала появлением юродивого и его загадочными словами, скоро пришел в себя, и, обведя собор своими волосатыми бровями, обратился к Кирше с угрожающим жестом.

— Поди скажи твоему воеводе, чтоб он убирался подобру-поздорову: обитель преподобных Зосимы — Савватия не Петровское кружало.

Кирша выпрямился.

— Так это вы постановили? — спросил он глухо.

— Постановили и на том стоим,— отвечал Никанор.

— Так мы вас добывать станем, как государевых изменников,— резко сказал Кирша.

— Добывать!

Никанор обернулся и показал рукою на монастырскую стену. На стене в разных местах чернелись пушки, около которых стояли пушкари.

— Видишь, каковы у нас галаночки?

— Видим-ста: и у нас таких теток довольно — погорластее ваших будут.

— Что он похваляется своими тетками! — возразил Геронтий.— Нам не впервой спроваживать их: али не Игнашка Волохов сломал свои зубы об наши стены?

— Да и Ивлев Корнилко [2] ни с чем ушел,— заметил Никанор,— обитель-то преподобных Зосим — Савватия крепонька живет, сам святитель Филипп, митрополит московский, стенки те выводил.

— Что с ним разговаривать! — послышалось в толпе.— Шелепами его!

— Вон из обители! Вон нечестью! А то и на чепи посидите,— подхватили голоса.

Кирша видел, что его посольство кончено. Он поклонился Никанору и надел шапку.

— Долой шапку! Али не видишь, где ты? Ты перед черным собором! — загалдела черная братия.

Кирша повиновался, снял шапку и направился к монастырским воротам. За ним подтюпцем поспешал согнувшийся монашек. Городничий старец Протасий, у которого на поясе висел огромный ключ, сотники Исачко и Самко последовали за посланцами. Старец Протасий отпер одну четвертную складку массивных железных ворот и, пропустив Киршу и монашка, снова запер монастырскую твердыню.

Скоро рослая фигура Исачки вырисовалась на вершине стены. Он стоял, оборотясь к морю, и грозил кому-то кулаком.

III. ОТБИТЫЙ ЧЕРНЕЦАМИ «ВОРОП»

— Бог в помочь тебе, человече божий,— сказала Неупокоиха, смиренно подходя к Спире и низко кланяясь ему.— Благослови нас, грешных, да помолись твоими святыми молитвами о здоровии рабов божиих, меня, рабы божьи Акулины, да рабы божьи Олены, да раба божья Остафья.

При этом Неупокоиха положила перед Спирей золотую монету. Спиря в это время сидел на нижней ступеньке соборного крыльца и играл с своими птичками. Он молча посмотрел на купчиху своими серыми живыми глазами, глубоко запавшими, потом перенес их на Оленушку, которая робко взглянула на него и потупилась, готовая, по-видимому, заплакать, так дрожали ее губы и щеки подернулись алой кровью, как перед слезами. По лицу и по глазам юродивого пробежал свет и тотчас же как бы отлетел, а лицо подернулось туманом.

Молча полез он в свою сумку и, пошуршав там чем-то, вынул оттуда... Оленушка чуть не вскрикнула при виде того, что он вынул, а мать ее испуганно перекрестилась... Юродивый вынул из своей сумки человеческий череп. Это был желтый, потемневший

костяк, который, вероятно, очень долго лежал в земле. Спиря долго смотрел на него, тихо качая косматой головой, потом снова перенес свой взгляд на Оленушку. Теперь в этом взгляде теплилось что-то доброе.

— Видишь это, раба божья Олена? — спросил он, обращаясь к девушке.

Та стояла молча и дрожала, прижимаясь к матери. Расширившиеся от испуга глаза готовы были брызнуть слезами. Нижняя губа сложилась в плаксивую складку.

— Видишь, Оленушка? — переспросил юродивый ласковее.

Молчит испуганная девушка. Не менее испуганная мать хватает ее за руку.

— Говори... молви словечко, дитятко... Говори божьему человеку: вижу, мол,— бормотала она.

— Вижу,— чуть слышно прошептала девушка.

Юродивый замотал головой, взглянул на солнце, которое высоко стояло над монастырской оградой, снова перенес глаза на череп, перекрестил его, поцеловал и опять остановил свой взгляд на смущенном лице девушки.

— А она была похожа на тебя,— сказал он тихо,— только у нее глаза были черные, что крупный терн, а у тебя вон сини... Да она ж была грешница, а ты чистая отроковица... Молись же об ее душеньке, об рабе божьей Анастасее... Будешь молиться?

— Буду,— прошептала Оленушка и вдруг заплакала.

— Что ты! Что ты, дитятко! — утешала ее мать.— Божий человек тебе святое слово сказал, что ж плакать? И я буду молиться об рабе божьей Анастасее,— говорила она, по-видимому, совсем успокоенная.— Кто ж она была, Анастасея-то?

— Гулюшки, гули,— заговорил юродивый, не отвечая на вопрос и обращаясь к своим птенцам.— Ишь вор, отнял у вас матушку.

— А они сиротки? — участливо спросила Неупокоиха.

— Их матушку голубку Никон съел,— отвечал юродивый.

— Какой Никон, батюшка?

— Вор-ястреб.

— Ах, бедны сироточки!

Юродивый вспомнил о червонце, который положила у его скуфьи Неупокоиха, взял его и возвратил ей.

— Отдай сей сор сметие тем, у кого хлебца нет,— сказал он,— пущай помянут рабу божью Анастасею.

В это время подошла к ним аглицкая немка Амалея Личардовна. Увидев ее, Спиря торопливо схватил свою скуфейку с птичками и побежал, испуганно оглядываясь и бормоча: «Чур-чур-чур! бес во образе немки... бес с курьими лапками...»

— Это дурачок, матушка?—спросила она Неупокоиху.

— Нет, матушка Амалея Личардовна: он юродивый, урод Христа ради,— отвечала та.

— Так шут?

— Нету, матушка, не шут, помилуй Бог!—испуганно заговорила набожная купчиха.— Он божий человек, святой, что ты!

— А у нас в аглицкой земле таковых юродивых нет, и есть токмо шуты, и они бывают умны гораздо,— настаивала аглицкая немка, которая хотя и давно жила в России, а все еще многие стороны жизни поражали ее.

— Нету, нету, родимая, то шуты—особо статья: то у нас скомрахи, гудошники, бражники, а то уроди Христа ради.

Амалея Личардовна невольно вспомнила свою далекую родину. Вспомнила, как она, еще девушкой, в первый раз увидала своего будущего жениха в театре, и именно когда играли об одном несчастном старом короле, которого звали Лиром и у которого были три дочери. Там она видела на сцене и шута, такого же юродивого... А здесь в московской земле ничего подобного нет... И она невольно вздохнула, взглянув на солнце: и солнце здесь не такое, не так ходит, как в ее родной аглицкой земле, так низко ходит московское солнце...

— У нас в аглицкой земле я таковаго шута видала на театре,— сказала она, обращаясь к Оленушке.

— На чем?—с любопытством спросила девушка, которая уже много диковинного и непостижимого слышала от Амалеи Личардовны.— На чем, говоришь?

— На театре, Оленушка,— отвечала аглицкая немка.—Да я уж тебе сказывала о театре.

— А! Помню, помню... Это дом такой, палата большая, аки бы церковь, а в ней люди сидят на скамьях, да друг над дружкой, высоко, ряда в четыре, сидят и глядят на действо: выйдет это аки бы король,

либо королева, либо принец, и говорят, говорят, либо подерутся нарочно, а то жених с невестой выдут, тож говорят о своем сердце... Ах, кабы мне посмотреть на все это!

— Что ты! Что ты, непутевая! — остановила ее мать,— в эком-то святом месте да об скомрахах... Вон и у нас на святках хари надевают да наряжаются, кто козой, кто медведем, кто бесом, тьфу! Не к месту бы сказать, грех какой!

Вдруг что-то грохнуло так, что все вздрогнули.

Неупокоиха даже присела от испугу. Оглядевшись, увидела, что в одном месте над монастырской стеной клубился дым. Сотник Исачко стоял около пушки, над которой и подымался, тая в воздухе, белый дым, и смотрел куда-то в зрительную трубку. В других местах на стене тоже суетились ратные люди. Из келий торопливо выходили монахи, тревожно посматривая на стены.

— Пушкари, к наряду! По местам! — раздался зычный голос Исачки.

— Пушкари, по местам! — повторилась та же команда где-то в воротной башне, это распоряжался сотник Самко.

Почти в одно мгновение передовая монастырская стена усыпана была ратными людьми. Скоро на стене показались священники в облачении и монахи. В воздухе заблестели золотые и серебряные оклады икон, несомых по монастырской стене. Церковные хоругви, возвышаясь почти наравне с башнями, веяли в воздухе как крылья и скрипели огорлиями. Впереди процессии шел Никанор в архимандричьем облачении и митре, искрившейся дорогими камнями и бурмицким жемчугом, и, осеняя серебряным распятием пушки и ратных людей, кропил направо и налево святою водой. Что-то чарующее, поражающее представляла эта картина, где, казалось, всю воинственную рать составляли черные клобуки. Со стены неслось пение нескольких сот голосов, большею частью старых, жалких, дребезжащих, как ослабевшие струны гуслей, но их подхватывали и молодые, сильные голоса, разносившиеся далеко по взморью чем-то глубоко трогательным и печальным. Казалось, древняя священная обитель отпевала себя заживо и кропила святою водой свою собственную могилу. И над всем этим стаи вспугнутых голубей, и выше всех в глубокой синеве слабо

поблескивает белыми крыльями общий монастырский любимец, белый турман «в штанцах».

А там, внизу, на море, на голубой поверхности залива тихо покачивались суда, привезшие ратных людей, собиравшихся громить святую обитель. Кровавым пятном горел на солнце красный флаг воеводского судна. А еще ближе, по берегу, краснелись целые кровавые полосы: это красные кафтаны стрельцов, которые, переняв у немцев некоторые воинские хитрости, шли нога в ногу, поблескивая ружьями. Впереди несли тяжелый зеленый стяг с золотыми кистями. За ними медленно двигались, скрипя и покачиваясь в воздухе, какие-то чудовища вроде виселиц на толстых колесах: то были «тараны», стенобитные орудия, которыми предназначалось разбить в щебень стены, сложенные когда-то руками самого Филиппа, святителя московского, во время его печального изгнания[3]. За таранами чернелись пушки, которые стрельцы везли на себе, лямками. Под зеленым стягом грузно переваливалась массивная фигура, сверкая шлемом и кольчугою: это был сам воевода, холоп его пресветлого царского величества, Ивашка Мещеринов.

Еще пение на стенах не умолкло, как послышалась резкая команда, еще никогда не слыханная пушкарями.

— Господи Исусе Христе сыне Божий, по-милуй нас! — прозвучал на стене голос Никанора.

— А-минь! — отвечали сотники.

И разом грянуло несколько десятков пушек. Дым заволок стены, башни и самих пушкарей. Никанор осенял пушки крестом. Хор черной братии последними надорванными голосами грянул: «Спаси, Господи, люди твоя!» Внутри монастыря послышались крики и отчаянные вопли богомольцев, которых так неожиданно застигла страшная осада.

Исачко своими косыми глазами ясно видел, что пущенные им ядра не долетели до стрельцов, взрыв землю за несколько десятков шагов впереди их строя. Пушкари вновь зарядили пушки.

Никанор, весь красный, с каплями пота, засевшими в его волосатых бровях, ходил от пушки к пушке, кадил их и пушкарей и кропил святою водою.

— Матушки мои! Галаночки! — приговаривал он к пушкам.— На вас наша надежда, вы нас обороните!

Дым ладана смешивался с пороховым дымом. Пушкари, целуя крест, снова кидались к пушкам. Голос

сухого Геронтия, как боевая труба, гремел среди плачущего и взывающего хора: «Спаси, Господи, люди твоя!..» Вопли внутри монастыря раздирали душу.

— Стреляйте, детушки, стреляйте! — кричал Никанор.— Да смотрите хорошенько в трубки, где воевода: в него, жирного, и стреляйте, детки! Коли поразим пастыря, ратные люди разойдутся, аки овцы.

Залпы следовали за залпами, ядра взрывали землю и разбивали камни, а стрельцы все надвигались, и все виднее и виднее вырисовывались железные головы стенобитных орудий. Последовал залп и с той стороны. Ядра, как громадные орешины, защелкали по монастырской стене и с визгом отскакивали назад, отбивая куски камней и глины.

— В стяг-от, в стяг зеленый мети, Исачушко, друг! — молил Никанор.— Там воевода.

На стену вынесли запрестольный образ покровителей монастыря. Далеко блеснула золоченая риза и золотые с самоцветными камнями венцы вокруг темных ликов преподобных Зосимы и Савватия.

Никанор упал перед иконой.

— Святители! Угоднички! Не выдайте своей обители на поругание! — вопил он, ползая перед иконой.— Гляньте-ко с неба сюда! Махните, погрозите перстами святыми на еретиков!

А ядра все гуще и гуще стучат в стены, Исачко ревет на своих пушкарей.

— Дайте, братцы! — закричал он.— Дайте, душу свою вместо ядра и зелья засыплю в матушку!

И сам он зарядил пушку, сам навел ее и грянул.

Зеленое знамя упало, словно подкошенное. Взрыв радости огласил стены.

— Стяг упал! Стяг подбили! — кричали пушкари.— Любо! Любо! Еще катай!

Никанор, раскосмаченный, без митры, которую держал служка, бросился кропить и целовать пушку, которая поубавила московский стяг.

— Спасибо, матушка! Галаночка! Еще угоди, в воеводу угоди, родная!

Новые залпы расстроили передние ряды стрельцов. Стенобитные орудия остановились. Москвичи задумались.

В это время там, где остановились стрельцы, чтобы, немного передохнув, снова двигаться на монастырь, справа, на пригорке, показалась человеческая

фигура. Неизвестный шел к стрельцам и что-то показывал им, поднимая руки. Со стены скоро узнали его: это был Спиря, который показывал стрельцам свою скуфью с птичками.

— Смотри-тко, братцы, Спиря!—закричали пушкари.— Ай-ай!

— Он и есть, братцы. Что он задумал?

Московские стрельцы, видимо, обратили внимание на этого странного человека. Все глядели в его сторону. Некоторые побежали к нему.

В это самое время слева, где рос кустарник, как из земли выросли люди. Прикрываясь кустарником, они приблизились на ружейный выстрел к правому крылу московского отряда. И их узнали с монастырской стены.

— Братцы! Да это наши там с казаками!—раздались радостные голоса.

— Наши! Ай да молодцы! В засад пошли...

Действительно, то была небольшая партия донцов вместе с молодыми и старыми монахами из рядовой братии, рыбаков и других трудников. Ярко оттенялись в зелени кустарника черные клобуки и скуфьи.

И вдруг из кустарника раздался ружейный залп. Московские стрельцы дрогнули от такой неожиданности: они сразу поняли, что это засада. Некоторые из них, пораженные пулями, упали. В этот момент и крепостные пушки дали залп. Москвичи окончательно растерялись.

Никанор снова упал перед образом Зосимы и Савватия, который все еще оставался на стене. В старом мятежнике воскресла вся его молодая энергия, которая изменила ему в Москве, на соборе, где он постыдно, как казалось его фанатическому уму, отрекся от двуперстного сложения и сугубой аллилуии. Этот стыд за прошлое горел у него на душе, жег его огнем: ему нужно было залить этот мучительный огонь совести, и он поднял мятеж во всем северном Поморье. С этим огнем в душе он простирался теперь перед иконой соловецких покровителей, под гром пушек.

— Святители! Великие угодники! Перстом их! Опалите перстом их вашим, аки молнью!—вопил он.

Потом, вскочив на ноги, снова бегал от пушки к пушке, кадил их и кропил с криком:

— Матушки галаночки, не выдайте! Родимые, громите их!

Косой Исачко и кемлянин Самко ревели не менее, распоряжаясь нарядом. Задымленные пороховой сажей, без шапок, то с банником в руке, то с дымящимся фитилем, они были страшны. Пушкари не отставали от них. Пушки накалились до того, что к ним нельзя было дотронуться.

— Уходют еретики! Уходют! — прошел по стене радостный крик.

— Наутек! Наутек! Улю-люлю! Улю-лю-лю!

— Святители! — с радостными слезами стонал Никанор.

Черный хор с ревущим Геронтием во главе дребезжал разбитыми голосами и гнусел до самого неба: «Взбранной воеводе победительная, яко избавльшеся от злых...»

— Хвалите Бога, отцы и братие! Кричите до самого престола Его! Господи! Владыко всесильный!

Приступ был отбит.

IV. СИРОТСКАЯ СВЕЧКА ПЕРЕД ГОСПОДОМ

Странное, удивительное то было время. Маленький островок, едва заметный на карте, ничтожный огорбок, выползший из-под неизмеримых вод Северного Ледовитого океана, крохотная песчинка среди песков морских, Соловецкий монастырь отложился, ушел из-под державы великого неисходимого Московского государства, и московский великий государь, с божьею помощью подклонивший всю Малую и Белую Русь, и царство казанское, и царство астраханское, и царство сибирское со всею необъятною Сибирью, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великие и Малые и Белые Русии самодержец, московский, киевский, владимирский, новгородский, царь казанский, царь астраханский, царь сибирский, государь псковский и великий князь литовский, смоленский, тверской, волынский, подольский, югорский, пермский, вятский, болгарский и иных, государь и великий князь Новгорода низовские земли, черниговский, рязанский, полоцкий, ростовский, ярославский, белозерский, удорский, обдорский, кондинский, витебский, мстиславский и всея северные страны повелитель, и государь иверские земли, карталинских и грузинских царей и кабардинские земли, черкасских и горских князей

и иных многих государств и земель восточных, и западных, и северных отчич и дедич и наследник и государь обладатель (таков был полный титул Алексея Михайловича, и за прописку хотя единого слова в этом титуле дьяка постигало обычное наказание: «бить батоги нещадно»), и такой, повторяем, могущественный государь в течение восемнадцати лет не мог подклонить под свою державную руку этого отбившегося от великого российского стада ягненка. Да и не до того тогда было. Повторяем: то было странное, удивительное время.

Эпитет «тишайший», приданный Алексею Михайловичу его современниками и вполне его характеризовавший, совсем не подходил к характеристике его царствования, полного бурных событий. Он был кроток, набожен, со всеми ласков, с необыкновенно привязчивым сердцем. Он искренно любил Россию, свой народ и всем сердцем желал ему добра, счастия, благоденствия. Его голубиную душу глубоко ценили все его приближенные, с которыми он обходился с отеческой нежностью, и если иногда и наказывал царедворцев за упущения по службе, только не за злоупотребления, то истинно по-отечески: любимое его наказание было купать бояр в пруду. Вот что он сам писал об этом своему стольнику, Матюшкину: «Извещаю тебе, что тем утешаюся, што стольников купаю ежеутр в пруде. Иордань хороша сделана, человека по четыре и по пяти и по двенадцати человек, за то: кто не поспеет к моему смотру, так того и купаю; да и после купания жалую, зову их ежеден, у меня купальщики те едят вдоволь, а иные говорят: мы-де нароком не поспеем, так-деи нас выкупают, да и за стол посадят: многие нароком не поспевают...» И царь доволен, тешится, и выкупанные царедворцы довольны, и ни один не простужался, кушая в мокрой одежде, разве что насморк схватит, который послабее... Да что тогда и за насморки были, когда без платка сморкались!..Таковы были люди, таковы были у них и нервы...

И это-то благодушное царствование благодушнейшего и «тишайшего» государя оказалось самым бурным, роковым для России, государственно и духовно расколовшим ее надвое, на две половинки, которые доселе, через два столетия, не могут спаяться воедино.

Что же это был за клин такой чудовищный, который расколол такое громадное, вековое дерево, как

Московское царство, расколол надвое от ветвей и вершины до корня? И где нашелся еще более чудовищный обух, который вогнал этот страшный клин в вековой московский дуб, вогнал так, что расщепил его надвое? Чья, наконец, была та богатырская рука, которая направила сокрушительный обух на московский дуб?

На эти страшные вопросы во вкусе бессмертного Иоанникия Галятовского[4] можно отвечать только в его вкусе, метафорически.

Великий клин, расколовший Московское царство, был — идея. Идея, в каком бы виде она ни входила в государство, в общество, в семью, всегда входила клином в живое тело и расщепляла его: входила ли она в виде живого слова, проповеди, в виде книги, в виде знания, она всегда и везде одними усваивалась и принималась, другими отрицалась. Принимали ее обыкновенно или почему-либо равнодушные к господствующим понятиям члены государства, общества и семьи, или же члены молодые, юные, для которых господствующие понятия не стали еще делом привычки, чем-то дорогим, своим. Отсюда являлось раздвоение мнений в государстве, в обществе, в семье: отсюда раскол в обширном историческом смысле слова, разделение на «приемлющих и на неприемлющих», на людей «новых» и на людей «старого порядка». Этою идеею во время Алексея Михайловича была книга, и притом печатная, потому что в Москве завелась первая типография, занесенная из Киева, из того места, откуда заносилось в древнюю Русь все лучшее — христианство, просвещение, печать. Прежде всего, конечно, нужно было напечатать самые важные, самые необходимые книги. А таковыми были книги богослужебные. Начали печатать их. Но с какого оригинала наборщикам набирать их? Надо было найти лучшие, правильнейшие оригиналы. Собрали их. Стали сверять, оказались незначительные разноречия и в иных описки, которые от древности вошли в привычку, как, например, «Исус» вместо «Иисус». Книги сверили с греческими подлинниками, исправили и напечатали. Тогда люди привычки, старые люди, отказались принять новые книги... Клин остановился в дереве — ни взад, ни вперед...

Тогда является обух и бьет по клину. Клин, повинуясь страшной силе обуха, входит в дерево и расщепляет его надвое. Обух этот — Никон: он проклял не приемлющих новые книги... те ощетинились...

Рука, двигавшая обухом — Никоном, было время: «приспе бо час»... Приспе час и Московскому государству дать у себя место печати, книге, новой идее...

Соловецкий монастырь вместе с прочими людьми старого склада не принял новых книг и откололся от Московского государства. Нашлись было и в этом монастыре «новые люди», молодые попы, которые начали было служить по новым книгам; но их «архимандрит» велел «сечь плетьми», и они покаялись после вторичного сеченья.

Вскоре и сам Никон, так сказать, «отложился». Оскорбленный невниманием царя, который не иначе прежде называл его, как «собинным другом», Никон бросил патриарший престол и ушел в монастырь, показывая на стоявшую в то время на небе комету:

— Да разметет Господь Бог вас оною божественною метлою, иже является на жни многи!

Он заперся в своем монастыре и сидел там ровно девять лет. Потом его судили и «обнажили» высокого святительского сана... «Откололся» таким образом и Никон, но не от новых книг...

Затем через год или два после суда над Никоном Стенька Разин «отколол» от Московского государства всю юго-восточную окраину... Так до того ли было Московскому государству, чтоб думать об отложившемся ничтожном островке на Белом море, о Соловецком монастыре... Вот и сидят себе старцы в своей обители и поют по старым книгам...

Разина берут и помещают его буйну голову на кол.

Москву очищают от главных вожаков сопротивления новой идее — новым книгам: протопопа Аввакума и других воротил «отколовшегося» московского общества ссылают в Пустозерск.

Остается один Соловецкий монастырь. Покончив со всеми, принимаются и за него. Шлют туда стряпчего Игнашку Волохова с ратными людьми. Черная братия принимает Игнашку в пушки и прогоняет от своих стен.

Шлют стрелецкого голову Корнилишку Иевлева со стрельцами, и его встречают «галаночками» и гонят, аки волка из овчарни.

Шлют, наконец, воеводу Ивашку Мещеринова с целою флотилиею, с пушками и стенобитными орудиями. И Ивашку принимают в «галаночки».

После неудачного приступа Мещеринов отошел к своим кочам. А монастырь, усилив караулы побли-

зости стен и подмонастырского хоромного строения и амбаров, вошел снова в обычную жизненную колею. Но через три дня после приступа случилось обстоятельство, которое послужило началом рокового, трагического исхода «соловецкого сиденья».

Старшая начальная монастырская братия, архимандрит Никанор, келарь Нафанаил, городничий старец Протасий и монастырский законник и грамотей Геронтий сидели в трапезной келье и занимались монастырскими делами. Все они сидели на лавке, а Геронтий у стола, на котором лежали бумаги, книги в кожаных и сермяжных переплетах, свитки и стояла медная большая с узеньким горлышком и ушками пузатая чернильница с воткнутою в нее камышовою для письма «тростию». Утреннее солнце, проникая сквозь узенькие, зеленого стекла, с железными решетинами окна, бросало зеленовато-радужные светлые пятна на бумаги, на серьезные лица братии и на согнувшийся над бумагою широкий затылок Геронтия. У порога стояли два мужика в синих рубахах и усиленно встряхивали волосами, стараясь понять то, что читал нараспев Геронтий.

— «...А который человек по грехом от своих рук утеряетца, или в лесе с дерева убьетца, или колесом и возом сотрет, или озябет, или сгорит, или утонет, или утопленник водою припловет, а то обыщет без хитрости, что которой от своих рук истеряетца и с тех веры за голову не имати»,— читал Геронтий и на этом месте поднял свою черную голову.

— Не имати,— повторил отец Никанор в раздумьи,— стало, на вас поголовщина не падает,— глянул он на мужиков.

Мужики потоптались на месте. Из них низенький, с бородавкою на скуле и белыми финскими глазами смело выставил правый локоть вперед и заложил большой палец правой же руки за подпояску, на которой сбоку болтался деревянный гребешок, которым можно было расчесать разве только хвост у лошади.

— Кака, отцы, поголовщина?— сказал он уверенно.

В то время в келью вошел молодой, высокий чернец. Черные говорливые глаза под крутыми бровяными навесами, широкие скулы, редкая черная бородка, маленькие мягкие усы, не прикрывающие мясистых красных губ, и тщательно заплетенная коса

изобличали в нем не худородного чернеца, да и одет он был чисто. Войдя в келью, он помолился на образа и, сделав шаг к Никанору, поклонился в землю.

— С чем? — спросил архимандрит.

— С челобитьем, святой отец,— отвечал чернец отрывисто.

— А в чем твое челобитье?

Чернец вынул из-за пазухи сложенную вчетверо бумагу и с низким поклоном подал архимандриту, который, не развертывая бумаги, глядел на просителя.

— Жалоба мне, святой архимандрит, на купецкую женку, на Неупокоеву.

Архимандрит, видимо, удивился. И другие отцы глядели на просителя с удивлением.

— На-кось, вычти,— сказал Никанор, передавая бумагу Геронтию.

Тот медленно развернул челобитную, разглядел ее и, защищая своею тенью от солнца, стал читать.

— «...Государю архимандриту Никанору еже о Христе с братьею бьет челом нищей государев сиротинка и ваш богомолец, соборной попишко, иеромонашишко Феклиско. Жалоба мне нищему твоему государеву сиротинке на купецку жену Неупокоеву, на Акулину Иванову из Архангельсково города. В нонешнем, государь, во сте восемдесят первыем году, месяца иуния во 2-й день, приходила та Акулина с понахидою и подала мне нищему вашему государеву сиротинке и холопишку поминанье с большим предисловием. И яз нищей ваш поминание у нее взял и стал читать родителей Акулининых. И та Акулина мне нищему вашему стала говорить: прочитай-де и все. И яз нищей ваш стал ей говорить: Акулина Ивановна, много прочитал, не одна ты. И она, государь, Акулина, возгордев богачеством своим, учала меня нищего бранить лодыжником, и долгогривым шпынем и кутьею называть и мучителем обзывать при народе. И яз нищей ваш государев, не хотя от нее позору и терпети, ее легонько взашей вывел вон из церкви, а она сильною мне чинилася, упиралась и кукиш мне якобы с маслом в нос совала. А назавтрее приволокся я по челобитью к богомолке бабе Нениле понахиды служить, и та же меня Акулина нищею вашею собакою называет, и жеребцом, и кобыльею головою, и бранит всячески неудоб сказаемо. Умилосердися, государь, святый архимандрит Никанор, пожалуй на ту Акулину Иванову

дочь свой праведный сыск и оборонь, что мне вашему государеву богомольцу и холопишке от ее позорные брани и бесчестие нигде от ней ходу нет, ни в кельях, ни в церкви божии, от ее брани и позору чтоб мне нищему вашему государеву богомольцу впредь как жити у престолу соборные церкви под твоим государя своего благословеньем и жалованьем. Государь, святый архимандрит Никанор, смилуйся пожалуй».

Отец Геронтий, кончив читать, подозрительно взглянул на челобитчика. Мужички у порога переглядывались, и моргающие глазки низенького мужичонка как бы подмигивали товарищу: «Знаем-де мы его, кочета брудастого, всех наших кемлянок перетоптал». Архимандрит глядел сердито, двигая, как таракан, своими волосатыми бровями.

— Не затейно ли ты, малый, написал? — кинул он на него недоверчивый взгляд.

— Для чего затейно, государь?

— Для чего! По твоей дурости... Она, Неупокоиха, баба статейна и усердна: ежегод вклады дает на монастырь, да и ноне пять бочек беремянных вина ренсково пожаловала на обитель... Я поспрошаю у ней.

— Сыщи, государь.

— А послухи есть? — повторил вопрос архимандрит.

Челобитчик замялся.

— Видоки были? — повторил вопрос архимандрит.

— Она, государь, шпынем, кобыльей ладоницей лаяла.

Мужики переглянулись... «Так-де и бабы-кемлянки зовут его», — говорили глазенки низенького.

— А при свидетелях было? — переспросил городничий.

В дверях показалась косматая голова и скуфья в руках. Мужики торопливо расступились. Юродивый вбежал радостный, восторженный.

— Бегите, отцы, молиться... у нас светлый праздник, — заговорил он возбужденно.

Все смотрели на него недоумевающе и со страхом. Знали, что Спиря даром не станет радоваться.

— Что ты, Спиря? Не мешай нам, мы церковное дело строим, — строго сказал архимандрит.

— Какое дело в праздник! На дворе велик день!

— Какой велик день?

— Все свечи зажжены... все паникадила... до Бога полымя...

— Да что с тобой?

— Я плясать хочу, вот что... Сам Бог глядит на нас, а вы — на! Вокруг дурна возитесь...

Он искоса взглянул на чернеца-челобитчика. Между тем со двора доносился какой-то смешанный гул. Соборный колокол загудел беспорядочно, набатно...

— Сполох, отцы! — тревожно, шепотом заговорил архимандрит, озираясь на всех и вставая.

— Трезвон, великая служба, разлюли малина! — радовался Спиря и прискакивал.

Все поспешили на двор. Там уже был весь монастырь на ногах. По небу ходили клубы дыму.

— Угодья горят! Кругом пожога! — слышались тревожные голоса.— Это они, злодеи!

— Все, все свечечки теплятся к Богу, весело! — твердил юродивый, поспешая вместе со старцами на монастырскую стену.

Действительно, когда старцы вышли на стену, то с ужасом увидели, что весь остров точно утыкан горящими свечами, огненным кольцом было опоясано все пространство на несколько верст от монастыря. Они горели ровно, тихо, потому что и в воздухе стояла тишина, только в иных местах полымя поднималось высоко и широко, как все уставленное свечами паникадило, а в других местах теплились одинокие копеечные свечечки. Это горели монастырские дровяные склады, скирды многолетнего запаса сена, постройки для рыбного и звериного лова, монастырские карбасы, рыболовные и звероловные снасти, все, куда ни глянешь, горело и дымило, восходя к небу клубами дыма. В просветах пламени виднелось темно-синее море. Птицы носились в воздухе, оглашая весь остров криками. К этому примешивался ужасающий рев скотины и ржанье лошадей.

Старцы стояли безмолвно, как бы вдумываясь в глубину страшного явления, совершавшегося на их глазах. У Никанора седые брови окончательно надвинулись на глаза и судорожно вздрагивали. Отец Геронтий, казалось, еще более высох и вытянулся в кнут. В стороне раздавались возгласы негодования: «Злодеи! Богоотступники! Да они хуже татар! Изверги!»

Один Спиря, казалось, ликовал. Он радостно поскакивал и то говорил с своими голубками: «Гулюшки-гули», то бормотал вслух: «Ай да Иванушка дурачок!

Мещеринушка воевода! Умно сделал, почистил нас, а то уж мы больно грязно жили, жирно ели, сладко пили, мало Богу работали... ай да Иванушка! Затеплил нашу сиротску свечечку перед Господом...»

Ждали вторичного приступа стрельцов и приготовились к отражению их; но приступа на этот раз не было, он был впереди.

V. ОГНЕННЫЙ МОНАХ И ПОСЛАНИЕ АВВАКУМА

Когда в монастыре убедились, что Мещеринов не намерен брать стены на вороп, добывать монастырь «наглостно», а умыслил измором извести святую обитель, временем и голодом истомить и стал для того вести подкопы под землею, насыпать валы да строить городки, то черная братия опять созвала собор: что делать? на что решиться?

На собор созвана была только черная братия, а из мирян приглашены лишь сотники Исачко Бородин да Самко кемлянин. Собор был в трапезе.

Только что Никанор, перекрестясь на образа и поклонившись черному собору, хотел было говорить, как в трапезу вошел Спиря, а с ним никому не ведомый монах. Он был сух, как отец Геронтий, но только ниже его значительно, с огненного цвета волосами, черными, запавшими, но горевшими фосфорическим блеском глазами и с лицом, изборожденным морщинами. В руках его был железный посох с крестом вместо ручки. За поясом берестяной бурак. Босые ноги, повидимому, никогда не знали сапог, ни даже лаптей.

Огненный монах вошел, потупя голову, потом поднял глаза к переднему углу, помолился и земно поклонился передовым старцам, а потом в пояс на все четыре стороны.

— Мир обители сей и благословение божие,— произнес пришлец.

— Аминь!—глухо повторил весь собор.

Пришлец опять поклонился.

— Кто еси, человече, и откуду пришествие твое?— спросил архимандрит.

— Что ти во имени моем? Аз есмь птица божья, зверь лесной пред Господом. А пришествие мое от стран полуночных, из страны далекие, из града Пустозерска. Мене послал блаженный протопоп Аввакум.

При имени Аввакума по собору прошел ропот удивления. Слава этого имени разнесена была во все концы Московского государства: он высился в глазах всех, как единый крепкий адамантовый столп среди падающего правоверия.

— С чем прислал тебя отец Аввакум?—спросил Никанор, обрадованный и в то же время видимо смущенный.

— С рукописанием,—отвечал огненный чернец.

— К нам? К соловецкой обители?

— К вам, отцы.

Все ждали, что пришлец сейчас подаст письмо. Но он оглянулся, ища кого-то глазами. Глаза остановились на юродивом, который сидел на полу и улыбался.

— Али печать не сломишь?—спросил он, продолжая улыбаться.

— Не сломлю, брате, крепка.

— Так визгалочку, поди, дать?

— Визгалочку бы.

Спиря полез в свою сумку и вынул оттуда подпилок, по-видимому, заранее приготовленный. Все с недоумением смотрели, что дальше будет. Огненный монах стал раздеваться среди собора: распоясался, снял полукафтанье и очутился в власянице и портах. Власяница была до того жестка, словно бы она была соткана из тонких колючих проволок. Ропот удивления опять, как ветерок, прошел по собору. Огненный чернец снял и власяницу... Собор ахнул! Сухое тело было обтянуто железными обручами, словно разваливающийся бочонок, буквально оковано железом, которое так и въелось в тело и во многих местах проржавело, там, где было до мяса и почти до кости протерто тело... То было странное и страшное время: гонения, воздвигнутые на людей, не признававших новых книг, на людей старого мировоззрения, которых новый исторический клин отколол от «новых людей», выработали изумительные характеры подвижников старой веры, и чем нагнетение на них было острее, тем более обострялся фанатизм преследуемых и, по общему историческому закону, тем более росло их стадо: ничто так не ускоряет рост и не способствует густоте леторослей на дереве, как подрезывание их...

Собор содрогнулся, увидев это худое, искрещенное железными обручами тело. Вокруг пояса обвивалась железная же полоса, шириною в три пальца. Она окон-

чательно въелась в тело, так что краев ее не было даже видно. Полоса спереди замыкалась замком, который висел на двух сходившихся плотно проушинах.

Спиря стал пилить дужку у замка.

— Но ли нет ключа? — с дрожью в голосе спросил Никанор, весь бледный.

— Ключ у Аввакума на кресте,— был ответ.

— О-о-ох! — простонал кто-то в толпе.— Господи!

Подпилок визжал по нервам... но тогда нервов не знали... он визжал прямо по душе, и притом по грешной душе... Все чувствовали эту визготню там, в себе, глубоко, и им чудились муки ада: горящие смолою котлы с плавающими в них людьми; люди, жарящиеся на громадных сковородах, словно осетры; пилы, визжащие по костям и по становым хребтам грешников; крючья, на которых висят подвешенные за ребра люди; клещи, вытаскивающие языки и жилы из рук и ног...

Визжит-визжит-визжит подпилок! Со Спири пот градом катится...

— Сме-ерть моя! — выкрикнул кто-то, и Исачко сотник упал в ноги пришлецу и стал страстно их целовать: это была увлекающаяся, детская натура: как он увлекался белым голубем «в штанцах», так теперь и этим...

— А! Донял! — добродушно улыбнулся Спиря,— это не пищаль, брат, не гуля в штанцах.

Дужка замка распалась. Замок звякнул о каменный помост. Все вздрогнули.

— А как ты, миленький, к нам попал? — спросил Никанор, все еще бледный.

— Вот дурачок привел, из Анзерского скита,— указал пришлец на Спирю.

— А ты уж и там побывал? — удивился архимандрит.

— Не я, а мои ноги,— отвечал Спиря.

Исачко, поднявшийся с полу, стоял красный, совсем растерянный. Косые, добрые глаза его моргали, как бы собираясь плакать. Огненный чернец глядел на него с любовью и грустью. Черная братия тискалась вперед, чтобы ближе рассмотреть «подвижничка». В трапезе становилось неизобразимо жарко.

Когда Спиря рознял поясной обруч на пришельце, под обручем оказался узкий, уже обруча, кожаный пояс. Спиря вопросительно посмотрел на своего гостя.

— Чик-чик?—спросил он.

— Чик-чик,—ответил тот, улыбаясь.

Спиря бросился к столу и достал из него нож.

— Тут чикать?—спросил он, указывая на живот.

— Тут,—был ответ.

Пояс разрезан и снят. В нем оказалась завернутою длинная, узкая, сложенная вчетверо полоса бумаги. Спиря развернул ее.

— Ишь, как намелил протопоп,—проворчал он,—мачком обсыпал бумажку.

Никанор дрожащею рукою взял от него бумагу. Геронтий подвинулся к нему, протягивая руку.

— Соборне вычесть?—нерешительно спросил Никанор огненного чернеца.

— Соборне,—отвечал тот, надевая на себя опять власяницу и полукафтанье.

— Благословись, отец.

Никанор подал бумагу Геронтию. Геронтий перекрестился, а за ним руки всего черного собора поднялись ко лбам да на плечи. Спиря сел на полу и стал кормить своих голубей.

— «...Всем нашим горемыкам миленьким на Соловках,—начал Геронтий,—протопоп Аввакум, раб и посланник Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, благодать вам, отцы и братия, и чада, и сестры, и дщери, и ссущие младенцы! Послышал я здесь, сидя на чепи в земляной яме, что вы, яко подобает воинам Христовым, ратоборствуете добре супротив проклятых никониан. Честь вам и слава, стрельцы Христосовы! И Никанорушка, свет архимандрит, осквернив руку свою и душу троеперстием, ныне чу кровью омывает пятно то с души своей. Спасибо, свет Никанорушка!»

Куда девалась бледность архимандрита! Он стоял багровый, а из-под седых нависших бровей текли слезы и разбивались в брызги о перламутровые четки.

— «...Хвала тебе, воеводушка и стратиг правоверия! Похвала всем вам, стрельцы божьи в клобуках, и вам, сотнички добрые, и ратные люди, и миряне! Обнимаю вас всех о Христе, длинны су руце мои: всю Русь правоверную обнимаю, яко невесту богоданную».

И Исачко стоял красный как рак.

— Исакушка, слышишь?—прошептал Спиря.

— Нишкни, друг,—отмахнулся тот.

— «...Молю всех вас, страждущих о Христе, кричу к вам из ямы моей, из сени смертней, руце мои прости-

раю к вам из земли, из живой могилы, в ню же ввергоша меня сатанины сыны, молю с воплем и кричанием, откликнитесь, светы мои миленькие: еще ли вы дышите, или уже сожгли вас, что лучину Христову, или передавили, или в студеном море что щенят перетопили? Нет чу? Дай-то Бог. А коли нету, именем божиим заклинаю вас: претерпим зде мало от никониан, претерпим и кнут, и огнь, и костей ломание, претерпим миг един смертный, яко молния краткий, да Бога вечно возвеселим и с ним вместе возрадуемся. Ныне бо в зерцале гадания, тамо же, за гробовой доской, за костром, за виселицей, лицем к лицу Его, Света нашего, узрим. Ныне нам от никониан огнь и дрова, земля и топор, нож и виселица, могила без савана, похороны без ладану; вместо пения «плачу и рыдаю» кричание и рыдание секомых и пытаемых, вопление жен и детей, гугнение урезанных языков; там же ангельские песни и славословие, хвала, и радость, и честь, и вечное ликование в царских венцах. Яра ныне зима, ох яра, студена, но сладок тамо и тепел рай; болезненно терпение, но блаженно восприятие. Того для да не смущается сердце ваше; и я здесь, миленькие мои светы, в землю скачу и ликую, что собачка на цепи: близко венец царский, вот-вот рукою достаю. Так-то, светы. Всяк верный не развешивай ушей, не раздумывайся, гляди с дерзновением в огнь, в воду, в яму глубокую, против ядра и пищали, иди и ликуй и скачи: под венец идешь, на царство. И его-то, нашего батюшку-царя, тишайшего миленького света, нашего «свете тихий», они, сатанины сына, смутили. Да добро! Его сердце в руце божии: сам Бог ему персты сложит истово и светлы оченьки ему откроет. Любо мне, радостно, светики мои, что вы охаете: «Ох! ох! ох! как спастися? искушение прииде!» Чаю су ох, да ладно так, ладнехонько: а вы, светы, меньше спите, убуждайте друг друга, вас много, кричите Бога, услышит за тридевять земель, увидит за синими морями за окиянами: у него чу очи не наши, всевидящи. А я играю, в земле сидя что сурок зимой, плещу руками, звеню цепями, то гусли мои звончаты, аки райская птичка веселюсь, а меня едят вши, добро! Пускай их! Меньше червям останется. Пускай, реку, диавол-от сосуды своими погоняет от долу грязного сего к горнему жилищу и в вечное блаженство рабов Христовых. Идите же ко Христу, светы мои. Приношу вас и себя в жертву Богу живу

и истинну. Богу животворящему мертвые и сожженные в золу. Сам по Нем аз умираю и сам того желаю. Станем же добре, станем твердо. Аще не ныне, умрем же всяко, а из нас, что из зерна горушна, выростут тьмы тем. Помяните первых христиан. Ныне что! Ныне игралище, шутки, широкая масленица нам: нас жгут и вешают в одиночку, а тогда, светы, посекали секирами главу по сорока тысяч, топили в озерах по полутретьи до четверты тысяч, жгли без числа, что лес. А что взяли! Из двунадесяти апостол стали тьмы тем верующих. Тако и из нас. Сожгут одного из нас, что из золы-то выйдет! А та зола, светы мои, семя новое: сколько золинок, праху сего от сожженного тела пустят по свету, сколько новых верных выростет из тех малых золинок. Отрубили у кого голову, ино та голова зерном стала, и отродится то зерно из могилы сам-сот, сам-тысяч: ни едина рожь так не родит, ни ячмень, как голова мученика. Это верно, други. Посеки один дуб, ан сто дубков пойдет от корня. Так-ту! Вон меня еще не посекли, а еще росту, старый дуб, а из меня уж вырос во какой молодой дубок. Терентьюшко млад, что к вам сие мое писание принесет, коли Господь сподобит. А был он стрелец московский, караульщик мой, и замкнуты мы с ним здесь в Пустозерске, что собаки на одной цепи, в яме жили да Христос среди нас. А теперь на! Как познал прелесть света и мое тюремное веселие, из тюремщика сынком мне миленьким стал».

— И-и! Хитер су, вор Терешка! — дергал Спиря Исачка за полу, показывая на огненного чернеца.

— А что он? — удивился Исачко.

— Вон приковал себя ко Христу веригами, ну и любо ему со Христом-ту.

— Уж подлинно, ах!

— «...Стойте же, светы, не покоряйтеся, да страха ради никонианска не впадете в напасть,— продолжал Геронтий.— Иуда апостол был, да сребролюбия ради ко диаволу попал, а сам диавол на небе был, да высокоумия ради во ад угодил, Адам в раю жил, да сластолюбия ради огненным мечом изгнан и пять тысящ пятьсот лет горячу сковороду лизал. Помните сие и стойте, светы, держитесь, крепко держитесь за Христовы ноги да за Богородицыны онучки. Они, светы, не выдадут. Аминь».

Голос Геронтия смолк. Сотни грудей, долго не дышавших от внимания, теперь дохнули ветром.

— Аминь! Аминь! — застонала трапеза.

— Будем стоять! Будем держаться за Христовы ноги да за Богородицыны онучки.

— Добре! Добре! Любо! Умрем за крест, за два перста!

— Потерпим за сугубую алилуюшку матушку! Постраждем!

Голоса смешались, словно на базаре. Слышалось и «за Богородушку», и «за алилуюшку», и «персточки-перстики родимы...».

— А за батюшку «аза»! Ох, за света «аза» постоим! — перебил всех голос юродивого.

Многие смотрели на него вопросительно, не зная, о каком «азе» говорит он.

— Не дадим им «аза»! — повторял юродивый.

— Какого «аза»? — обратились некоторые к архимандриту.

— А в «Верую», — отвечал тот, — в «Верую во единого Бога» — там сказано: «и в Господа нашего Исуса Христа, рожденна, не сотворенна». А никонианцы этот самый «аз»-от и похерили, украли целый «аз»...

— Батюшки! «Аз» украли! Окаянные!

— Так, так, братия, — подтверждал Никанор, — велика зело сила в сем «азе» сокровенна: недаром в букваре говорится: «аз ангел ангельский, архангел архангельский...»

— Ай-ай-ай! И они, злодеи, украли его, батюшку?

— Украли, точно злодеи.

Послание Аввакума внесло такую страстность в это черное сборище, что все готовы были сейчас же идти в огонь, на самые страшные муки. Страдания, и притом самые нечеловеческие, стали для этой нафанатизированной толпы высочайшим идеалом, к которому следовало идти неуклонно, мало того, не идти только, а бежать, рваться со всем безумием мрачного ослепления. На Никанора послание это подействовало как бич на боевого коня и как елей на старые, трущиеся в душе раны. Аввакум, мнения которого он трепетал после публичного отречения от двуперстия, Аввакум, ставший центром и светочем борьбы за старые начала, выразителем силы, ей же имя легион и тьмы тем, этот Аввакум шлет ему привет и хвалу, бросает и на него луч своей мрачной славы. Исачко-сотник, необыкновенно впечатлительное и страстное дитя природы, тоже вспыхнул как порох от послания Аввакума.

А тут еще этот огненный Терентьюшко в потрясающих душу веригах, Терентьюшко, бывший стрелец, тюремщик и мучитель Аввакума, какие ужасы он сообщил!

Для большего нравственного и физического истязания Аввакума в Пустозерске, где его засадили в глубокую сырую и холодную земляную яму, к нему приковали его сторожа-тюремщика, этого самого стрельца Терентия, с тем расчетом, чтобы тюремщик был всегда при арестанте, а в случае, если арестант совратит его, то чтоб все-таки они оба были на цепи и не могли бежать. Но когда увидели, что Аввакум действительно совратил огненного Терентьюшку и этот тюремщик стал молиться на своего колодника, то Терентьюшку сослали в Обдорск, а к Аввакуму приковали бесноватого... Терентьюшко бежал из Обдорска и стал подвижничать, заковал себя всего в железо...

Когда, наконец, черный собор несколько поуспокоился, Никанор стал держать речь.

— Так будем же, отцы и братия, сидеть крепко, Бог даст, отсидимся. А не отсидимся, ино теперь же, загодя посхимимся все: как приспеет час итить ко Христу свету сего временного жития, так пойдем в путь-от во схимах. Эка радость будет Христу, как придет к нему наша черная рать, не махонька ратеюшка придет к нему черных стрельцов...

— А с мирянами, отец, что нам делать, с богомолами? Вишь их тоже рать не махонька у нас,— заметил отец городничий Протасий.— Ртов-ту не мало, а кормить их чем будем? Вон злодеи все наши запасы пожгли на острове: только то и осталось на прокорм, что в стенах.

— Мирянам вольно итить, мы их выпустим из монастыря,— отвечал Никанор.

— А как бы им воинские люди какого дурна не учинили.

— Для чего дурно чинить? Миряне не мы. Да и то сказать: вон немец галанской Каролус Каролусович онома-дни сказывал мне, что ему ноне здесь делать нечего стало и он хочет ехать домой, в Архангельской, да с ним и аглицкая немка Амалея Личардовна Прострелова собирается тож к себе в Архангельской. «А у нас-деи, говорит, у иноземных людей, есть проезжие грамоты, так нас-деи, говорит, государевы ратные люди пальцем не тронут». Так с ними вот мы и мирян

отпустим, пущай едут кочами на Сумской либо на Кемской посад, либо через Анзерской скитец, кому какая дорога.

— А кто ж их морем перевезет?

— На то вожи есть, а то и стрельцы кочами переволокут кого Христа ради, кого за деньги.

— А то и кемляне перетаскают, что приезжали по твой архимандричьий суд,— заметил своим обычным басом отец Геронтий.

— И то дело, коли их кочей злодеи не сожгли.

По-видимому, один Спиря не принимал никакого участия в суждениях собора: он сидел в углу на полу и кормил изо рта своих голубят, которые, трепыхаясь хорошенькими, неуклюжими, еще не обросшими пером крылышками, жадно совали юродивому в рот свои пушистые головки по самую шейку.

Вдруг что-то глухо грякнуло и как бы покатилось по воздуху. То был пушечный выстрел. Исачко и Самко стремглав бросились из трапезы, оставив черную братию в торопливом смятении.

VI. ОЛЕНУШКА В РАЮ

— Кто тут?

— Это я, матушка: Спирька дурак.

— Все сидишь?

— Сижу, плачу... А все, видно, слезы мои не прокапали еще землю насквозь.

— О-охо-хо! Охте мне!

— Что она, голубица-то чистая?

— Забылась мало.

— Не бредила?

— Ноне нету, милый.

— А тебя спознает?

— Спознавала... А долго металась в огне.

— А как теперь огонь, матушка?

— Кажись, легче, голова взопрела.

— Слава Богу!.. А ты, мать, опочи мало, ты сама ни на что свелась; а я посижу за ней, помолюсь.

— Спасибо, милый, только тише будь.

— Ладно... аером не шелохну...

Это Спиря с Неупокоихой. У нее тяжко занемогла огневицей дочка Оленушка. Так, неведомо с чего, и спалил ее огонь: была здоровехонька, все рвалась домой,

в Архангельск; а в ночь перед тем, как на черном соборе порешили всех богомолов мирян отправить из монастыря, она и слегла, впала в претяжкий огонь. Думали и то, и се: не то с глазу ей приключилось нездоровье, с нехорошего глазу, не то наслано злою думою да лихим помыслом; не то так от Бога, его святая воля. Все миряне покинули монастырь, остались одни Неупокоевы. Весь монастырь, вся братия скорбели об Оленушке: так полюбилась одиноким отшельникам скромная, тихая, щедрая на подаяние и братии, и бедным богомольцам юная отроковица. Каждый смотрел на нее как на свою дочку или на внучку, и при виде ее под каждым черным клобуком роем проходили воспоминания из той, как бы замогильной, мирской жизни, и под каждой черной рясой сжималось и саднило глухой болью или распускалось теплотой очерствевшее в отшельничестве сердце. Несмотря на тревоги и гнет осадного положения обители, несмотря на заботы о своем собственном спасении, никто не мог забыть болящей отроковицы, и во время продолжительных церковных литургисаний, навечерий и ночных бдений, прерываемых нередко грохотом пальбы, в молитвах о спасении обители святой и своих грешных душ и всех правоправящих слово божие и истовое перстное сложение, бесстрастные ко всему мирскому губы иноков часто шептали имя рабы божией, болящей отроковицы Олены. Девять дней чистая душенька ее висела между жизнью и смертью, и каждую ночь, казалось, смерть, бродя по пустынному острову, тихо прокрадывалась в больничную келью, где металась в огне Оленушка, и заносила над пыщущей огнем молоденькой головкой свою невидимую, но неотразимую косу.

Но больше всех сокрушался о больной Спиря. Целые дни он не отходил от порога кельи, где лежала Оленушка, а ночи почти напролет молился у нее под окном, кладя поклоны тысячами и постоянно плача. Он даже забывал иногда о своих голубятах, которые жалобно пищали, ожидая, чтоб кто-нибудь накормил их. Болезнь Оленушки напоминала юродивому что-то из его собственной жизни, что-то очень далекое, что почему-то роковым образом связано было с человеческим черепом, который он носил в своей сумке вместе с зернами для голубят... «Она, она самая! — шептал он со стоном,— оох, тяжко!»

Неупокоиха так извелась, ходя за больной дочерью, что падала в изнеможении, и в это время на подмогу ей являлся юродивый: он ухаживал за ней, как за сестрой или матерью, и незаметно от роли дворовой собаки у порога перешел к роли сиделки у больной. Оленушка в короткие часы возврата к ней сознания видела около себя косматую, как у собаки, голову юродивого и добрые, как у собаки же, глаза и привыкла к нему, словно бы он был необходимой принадлежностью ее новой жизни, в которую, как грезилось больной, она была перенесена этим именно косматым с собачьими глазами человеком. Только одного она не могла понять, куда он перенес ее: в рай или в ад. Иногда, казалось, она чувствовала себя в раю: слышала как будто райские гласы какие, невидимое пение и ощущала своим жарким лицом, как ангелы тихонько над ней крылышками помахивали, а когда открывала глаза, то райские видения пропадали, а вместо ангелов она видела только Спирю, который махал над нею зеленою веткою. Иногда же грезилось ей, что она в аду мучится, что палит ее внутренности и голову геенна огненная, и кругом нее раскаленный воздух, словно адская пещь, пожирает ее. Пылавшая огнем голова ее только тогда ощущала что-то невыразимо приятное, когда ко лбу, к темени и к вискам прикладывалось что-то холодное, и когда больная открывала глаза, то смутно видела чью-то руку и большой серебряный крест, прикасавшийся к ее вискам и лбу и охлаждавший горячую голову.

— Аером не шелохну,— шептал Спиря, подходя к кровати, на которой лежала больная.

Северная летняя ночь была светла как день, потерявший свое солнце, которое, казалось, не заходило ни за горизонт, ни за тучку и не бросало сумрачных теней ни от домов на землю, ни от деревьев на зелень и цветы, ни от людей на их собственные лица, а, казалось, было тут где-то, близко, только не видать его диска и не слышно тепла и жару от его лучей. В келье, где лежала Оленушка, было полусветло, полумрачно, без теней и без наглого света, только полусвет. Полумрак этот придавал необыкновенную мягкость и воздушность очертаниям молодого тела, на которое слегка наброшено было белое полотно, доходившее от ног до пояса, выше которого сложены были белые худенькие ручки с отвернувшимися по локоть рукавами сорочки.

Несколько спустившаяся сорочка прикрывала груди, которые вырисовывались из-под полотна острыми конусиками, и открывала белую круглую шею до взгорлия. Голова больной словно бы брошена была на подушку, и бледное, совсем с детским выражением личико казалось спокойно спящим. Длинные ресницы, бросая слабые тени на щеки, далеко отошли от высоко вскинутых дугами бровей. Русые, сбившиеся прядями волосы оттеняли прекрасное, спокойное личико от белой подушки.

Юродивый, ступая неслышно своими босыми ногами, как кошка к мышиной норе, издали перекрестил спящую, приблизился к самой постели и еще неслышнее приподнял покрывало с тела больной и прикрыл им всю ее до самой шеи. Девушка продолжала спать, дыша ровно и спокойно. Юродивый, казалось, боялся взглянуть ей в лицо и опустился на колени на пол. Напряженно глядя куда-то вдаль, словно бы сквозь потолок и стены, он созерцал невидимые, но ему доступные предметы или видения и беззвучно шевелил губами. На изрытом морщинами лице его выразилось такое скорбное и страстное моление, что, казалось, вся душа его трепетала и рвалась из тела туда, куда неслась его мысль. Вот-вот, казалось, закричит он от боли или грохнется об пол как бесноватый. Но вдруг он заплакал и, замотав косматою головою, припал лицом к полу. Долго лежал он так...

...«Тивик! Тивик! Ти-и-вик!» — под окном противикала ласточка.

Спящая открыла глаза и не шевелилась. Ласточка опять тивикнула. В келейное окошко глядели зеленые ветви ели. Девушка, не шевелясь, казалось, припоминала что-то. В глазах ее не виделось ничего горячечного, они смотрели ясно и спокойно. Скоро девушка увидела распростертого на полу юродивого и повернула к нему голову. Тот поднял заплаканное, изумленное, радостное лицо и широко перекрестил больную.

— Как хорошо мне... Легко таково,— прошептала девушка.

— Слава Богу! Слава Богу! — радостно дрожа, так же тихо проговорил юродивый.

Девушка помолчала. Она оглядела потолок, стены, как бы первый раз видя все это. По полу разбросана была свежая трава с не завядшими еще цветами, и у стен стояли зеленые ветки, как на Троицу.

— Это я в раю? — робко спросила больная.

— Да, твоя чистая душенька в раю, дитятко, — так же робко отвечал юродивый.

Девушка задумалась. Потом снова стала осматриваться.

— Как хорошо тут.

Она помолчала и в недоумении посмотрела на юродивого. Тот с любовью глядел на нее.

— А где ж ангелы? — спросила она все так же тихо и робко.

— Ангелы божьи, дитятко, над тобой витают.

Она осмотрелась.

— Я не вижу их, дедушка.

Тот молчал, тихо молясь.

— А яблочки золотеньки?

— Пожди мало, дитятко, увидишь.

— И святых увижу?

— Увидишь, увидишь.

«Ти-вик... ти-вик», — за окном.

— Это касатушка?

— Касатушка, милая.

Девушка снова огляделась. Она искала кого-то.

— А матушка где? — спросила она, как бы только теперь вспомнив это.

— Она тут, милая, опочить легла маленько... Пожди мало, придет.

Опять молчание. Только ласточка за окном тивикает.

— Как хорошо... таково хорошо мне... ничто не болит.

Девушка ощупала голову и села на постели, натянув простыню на плечи. Волосы пасмами падали на простыню.

— Как стыдно... нечесаная...

— Ничего, дитятко, матушка причешет.

Оленушка утерла простыней влажное лицо и откинула назад волосы.

— Дедушка, я хочу испить, кисленького.

Юродивый метнулся в передний угол, где на столе стояли глиняные кружки. Он взял одну, открыл крышку, перекрестил посудинку и поднес к больной. Та тоже перекрестилась, левою рукою придерживая простыню, и стала пить. Когда она пила, юродивый крестил ей голову.

— Спасибо, дедушка.

— Будь здорова, миленькая.

Юродивый поставил кружку на прежнее место и радостными, благодарными глазами взглянул на образа. Девушка, казалось, опять что-то хотела спросить, но не решалась. Она поглядела в глаза юродивому.

— А Бога я увижу в раю? — чуть слышно спросила она.

— Увидишь, миленькая, увидишь... Я уж вижу его...

Оленушка испуганно оглянулась в передний угол, надергивая на себя простыню.

— Где, где, дедушка? — шептала она.

— Он везде... Он тут...

— Господи! Помилуй меня!

— Молись, дитятко, молись, чистая.

Проснулись и воробьи — зачирикали за окном. Оленушка все более, казалось, приходила в себя.

— Утро... А что монастырь, дедушка?

— Слава Богу, невредим молитвами угодничков Зосимы — Савватия.

Оленушка еще что-то припомнила.

— А наш город, Архангельской, что, дедушка? Где он?

Юродивый не знал, что отвечать.

— Где Архангельской? — повторяла больная.

— Далеко он, милая.

— А Боря где?

— Кто, дитятко?

— Боря... Мой суженый... Он не в раю?

Юродивый стоял растерянный и испуганно глядел на девушку. Она, казалось, вспомнила что-то и, закрыв лицо руками, горько заплакала.

— Что-что с тобой, родная? — хватая ее за руку, спрашивал Спиря.

— Оо-о! Я не хочу, не хочу... не надо мне рая, коли в нем нет Бори... Господи! Оо!

— Дитятко! Не плачь, Христа ради не плачь... Боря тоже в раю... Святители!

Оленушка ничего не слыхала. Она безутешно плакала.

VII. СТРЕЛЬЦЫ ГУЛЯЮТ

Проходили месяцы. Осада монастыря продолжалась по-прежнему безуспешно: сидение осажденных было, по-видимому, крепко; а осаждавшие что ни де-

лали, все было бесполезно. Стрельцы рыли рвы, насыпали валы, под прикрытием которых словно кроты подбирались к монастырским стенам; но стен взять было невозможно: первое дело — слишком толсты и высоки, а лестниц приставить к ним нельзя, потому что монастырские ратные люди, как белые, так и черные, стреляли метко, с прицелом, а если и не стреляли, то могли засыпать каменьем наступавших; второе дело — монастырские пушкари и сотники, Исачко и Самко, охулки на руку не клали, какие городки и срубы ни возводили против монастырских стен стрельцы, Исачко и Самко постоянно разгромливали их из своих «пушачек галаночек», а московские пушки били об стены даром ядрами, все едино что горохом об сковороду.

Хотя у Мещеринова были и стенобитные орудия, тараны могучие, с могучими железными головами и стержнями на цепях и крепких устоях, но Исачко и Самко своими «пушачками» шагу им не давали. Только выведут стрельцы городки, только укроют за ними стеноломы, чтоб под прикрытием городков двинуть стеноломы далее, как Исачко и Самко уже гвоздят по городкам, разбивают венцы и звенья, пугают и калечат стрельцов, и стрельцы опять назад прут тяжелые тараны, опять надо начинать сызнова. А Исачко, отгромив приступ да пропев с чернецами «взбранной воеводе», усядется себе на стене, свесив ноги к стрельцам, и машет себе, помахивает шитой ширинкой, выпугивая из-под башенного карниза своего любимого голубя, белого турмана «в штанцах», и любуясь на его удивительные проделки... «Уж и аховая птичка!» — радуется он, глядя на голубя. А за ним радуются и старцы, покончив с «бранной воеводой» и глядя на ушедших к своим кочам врагов. «Божья птичка, что и говорить! Не диви, что и Дух-от Божий во образе голубя явися, чистая, незлобивая птичина, что младенец незлобива».

А стрельцы уже начинают скучать, злятся... «Их, долгогривых, и сам черт не добудет, что тараканы в щели прячутся...» Стали поговаривать, что лучше бы в Сумской воротиться, а то в Москву, к домам, чем попусту норы рыть волчьи да вонючую треску жрать без соли, без хлеба. Стали и о женах скучать, о детях. «Али мы нехристи, либо чернецы, что ни жен, ни баб нам не дают понюхать? Мыслимо ли дело без бабьятины прожить мужику?»

Воевода видел это и стал побаиваться, как бы не вышло чего. Потому, когда стрельцы с ведома своих сотников или полуголовы ездили по праздникам в Кемский посад и привозили оттуда баб и девок, воевода смотрел на это сквозь пальцы, тем более что и сам иногда езжал в посад к знакомой попадейке, у которой была отличная рябиновка, а на шелковом из гагачьего пуха одеяле была вышита самою попадейкою «птица сирин, а у ней глаз вельми силен...». Попадейкин муж, попик Вавилко, часто разъезжал с требами по усольям, а попадейка, молоденькая бабенка, скучала без него: воеводе это и на руку.

На память мучеников Маккавеев, 1-го августа, стрельцы особенно разгулялись. Утром многие из них ездили в посад, послушали, как попик Вавилко обеденку литургисал и за них, за государево христолюбивое воинство молился, а воеводе благословенный хлебец-просвирку поднес величиною с шапку, а из посада навезли себе гостей — целый короб бабьятины. И загуляли.

День Маккавеев выдался теплый, ясный, тихий. На небе стояли курчавые, как белые барашки, облачка, но они не мешали солнцу поливать светом и зелень острова, кое-где изрытую рвами, и темный лес, по которому осень уже брызнула пятнами свою яркую желтизну, и стены монастыря, по которым постоянно сновали черные точки, а иногда поблескивал ружейный ствол у часового или крест на четках у старца.

Стрельцы большею частью сидели кругами на траве и угощались зеленым вином и медами. Тут же виднелись и бабы «прелестницы». Пир шел горой, с полухмели переходя в полный хмель. Стрелец, бывший когда-то у Стеньки Разина водоливом, тянул свою любимую песню:

Весновая служба молодцам веселье,
Молодцам веселье, а сердцу утеха.

— Плясовую! С искрой! — раздался голос полуголовы Кирши.

Разинский стрелец царапнул по струнам гуслей и пошел вприсядку, выгаркивая, словно бесноватый:

Ах вы гусли мои, мысли!

Полногрудая баба-кемлянка, быстро схватившись с травы, выпрямилась и, словно порченая, подергивая

плечами и толстейшими бедрами, топалась на месте, подвизгивая:

Ух, любо-любо-лю,
Что плечиком шевелит,
Что икрами семенит,
Молодушку полюблю,
Что бедрами говорит...

И она действительно говорила бедрами и семенила жирнейшими икрами на толстых ногах.

— Любо! Любо! Ай да Маша! Бедры-то, бедры! Уж и точно разговоры говорят! Любо-дорого! — ржали стрельцы, упиваясь неистовыми телодвижениями бабы.

— Наддай еще! С прищипом! С прищипом! — подзадоривал Кирша.

Гусельник «наддал с прищипом», и гусли завизжали, а бесноватая баба «пошла в три ноги», привизгивая, словно кликушка:

Ихи-хи! ихи-хи!
Ихихушки — ихи-хи!
Пошла баба в три ноги, в три ноги.
А золовки-колотовки
И кутят и мутят,
Деверья-те кобелья
По подлавочью лежат,
По-собачью визжат,
А свекры-те на печи
Быдто сука на цепи,
А и свекор на палати
Быдто кобель на канате.
Ихи-хи! ихи-хи!
Ихихушки — ихи-хи!

Баба плясала с большим искусством и воодушевлением, хотя самые движения ее не были порывисты, а, напротив, плавны до медленности. Зато и отдельные части ее тела и мускулы трепетали страстью и истомой. Стоя на месте, как бы с прикипевшими к земле ногами, она плавно поводила и вздрагивала плечами в такт захлебывающейся музыке, и при этом полные груди ее дрожали и колотились об рубаху, как бы силясь прорвать ее и выпрыгнуть из пазухи. Правой рукой держа платочек, она поводила так предательски вместе с плутовскими глазами, что Кирша ясно видел, как плясавица манит его вон туда, за зеленый кусток,

на травку-муравку. Колыхаясь и подергиваясь судорожно на месте, баба и станом, и бедрами выражала все, даже больше чем все, что ей нужно было выразить специально в данную минуту. Кирша видел это и багровел с каждым ее подмывающим движением. Остальные стрельцы уже не ржали — не до того было: они пожирали бабу глазами.

— Ах, ячменна!..— невольно вырвалось было у старенького чернеца, проходившего мимо, совсем не чернецкое восклицание.

— А! На мокрое наступил? — засмеялся ему вслед Кирша.

Другая бабенка, подзадоренная первой, сорвалась с места, как ошпаренная кипятком, и, взявшись левой рукой в боки, а правую скорчив коромыслом, засеменила ногами и зачастила визгливым голосом:

У стрельчихи молодой
Собирался коровой:
И Семитка пришел,
И Микитка пришел,
И Захарка пришел,
И Макарка пришел...

А гусельник, став против бабы и вывертывая ногами, защипал на гуслях:

И Овдотьюшка пришла,
И Варварушка пришла,
И Оленушка пришла,
И Хавроньюшка пришла —
Поросяток привела...

От другого круга садил вприсядку к этому кругу седобородый казак и гудел, как шершень:

Тпррунды баба, тпррунды дед,
Ни алтына денег нет!

Плясуны и плясавицы сошлись в один круг и выделывали невыразимейшие штуки. Плясуны, подбоченясь чертом и подергиваясь, словно развинченные на все винты, по-видимому, назойливо подбирались к бабам, а те, как бы поманив их к себе, повертев перед ними бедрами и плечами, задорно уплывали от них, производя самые специальные телодвижения. В свою очередь плясуны бешено неслись назад на одних каблуках, а потом снова семенили к бабам, «хребтами вих-

ляя, главами помая и очами намизая», раззадоривали их и манили к себе.

— Фу ты черт! Инда под ложечкой заныло, глядя на дьяволов! — не вытерпел Кирша.

Откуда-то выскочила третья молодуха и зачастила:

Да-а-арья! Да-а-арья,
Дарья, Маланья,
Степанида, Солмонида,
На улицу выходила,
Корогоды заводила!
Да-а-рья!..

— Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, а я пришел! — раздался вдруг чей-то незнакомый, резкий, но твердый и трезвый голос.

Все оглянулись. У ближайшего куста стоял чернец. Из-под скуфейки его падали на плечи густые, хотя недлинные огненные волосы. Плясуны и плясавицы остановились как вкопанные, так и прикипели на месте. Чернец, позвякивая железами, подошел к кругу.

— Здравствуй, Кирша,— сказал он угрюмо,— хорошо ли дьяволу служить?

— Турвонко! Ты ли это? — изумленно воскликнул Кирша и вскочил на ноги.

— Был Турвонт, а теперь старец Теренька,— отвечал чернец с огненными волосами.

— Турвонко, а и впрямь, братцы, Турвонт! Ай-ай! — закричали многие из стрельцов.

— Что с ним? Посхимился? Вот притча!

Все обступили пришельца, глядели на него, как на выходца с того света, ахали, махали руками. «Здравствуй, Турвонушко! — Откедова Бог несет? — Что с тобой сталось? — Кто схимил тебя? — Как сюда попал? — Али к этим чернодырым пристал!»

Бабы боязливо жались, держась в сторонке.

— Хорошо ли дьяволу служите, стрельцы? — повторил свой вопрос огненный чернец, глядя на своих бывших товарищей.

— Гуляем, братец, что ж! Ноне праздник, первый Спас,— как бы оправдывался Кирша пьяноватым голосом.— Спас на дворе, и гуляем.

— Хорошо спасение...

— Чем дурно? Выпей и ты.

— А святую обитель разорять, ноли и это хорошо? — спросил чернец, оглядываясь на монастырь.

— Мы их не разоряем,— оправдывался Кирша.— Вольно ж им великому государю грубить!

— А в чем их грубство?

— Молиться не хотят по-новине.

— А! Так это у вас грубство? А сам ты по-новине молишься?

Кирша замялся. Он сам чувствовал, что никак не может совладать с этой новиной: как забудется только на «Отче наш» либо на «Богородице», так у него два середние перста-то и топырятся вперед, а большой палец сам книзу гнется... «Тьфу ты, лядина!» — так, бывало, и плюнет с досады.

— Да как это ты, Турвонушко, чернецом стал? — спросил он, не отвечая на вопрос рыжего.— И как тебя сюда занесло? Вить ты повез с Москвы в Пустозерск протопопа Аввакума.

— Повез, был грех. А ноне сам меня, светик, на себе к спасению везет,— отвечал рыжий.

Стрельцы, видимо, поражены были внушительной наружностью своего прежнего товарища и однокорытника. Вериги заметно звенели на нем, хотя глухо, при каждом движении, словно на цепной собаке. На лице и в особенности в глазах виднелось что-то такое новое и страшное, что делало его совершенно другим человеком, человеком не от мира сего, не жильцом на свете.

Пир разрушен был, не пировалось как-то при виде этого выходца из другого мира: необычайная воля, проявляющаяся в человеке в той или иной форме, неотразимо действует на других, покоряет их, заставляя цепенеть их волю и совесть. Всякому кажется, что это он за него сделал, и это сознание свербит на совести, саднит болью и ноет на сердце... «Это он за меня, за всех нас...» В то время, в эпоху не расшатанной еще, девственной религиозности, внешние проявления подвижничества, аскетизма и юродства производили на массы, сверху донизу и снизу до крайних верхов, потрясающее впечатление: юродивые безнаказанно, как власть имеющие вязать и разрешать, на улицах, на площадях и в церквах открыто кричали то, за что обыкновенного человека повесили бы, сожгли, четвертовали.

— Послушайте, стрельцы! Слушайте, православные! — начал огненный чернец, окидывая всех своими горячими глазами.— Вас обманом привели сюда. Ста-

точное ли дело, монастырь разорять, да еще какой монастырь! Первый на Руси, которого нет святее во всем Московском государстве. Коли бы вы пошли на Троицу-Сергия, коли бы вас повели на него? А?

Стрельцы молчали, испуганно поглядывая друг на друга.

— Сказывайте: пошли бы?

— Нет, не пошли бы,— робко отвечали некоторые.

— Все это дело Никона,— продолжал чернец,— он смуту чинит во всей земле, он обвел колдовством великого государя. Да ведомо ли государю, что вы здесь добываете святую обитель? Али она татарская? Али то татарские мечетки, а не храмы Божии? (И он указал на церкви, глядевшие из-за стен монастыря: стрельцы испуганно оглянулись на них.) И вы стреляете по крестам! Вы по Богородице ядрами мечете! Али вы бусурмане? Али на вас креста нету?

Стрельцы, казалось, не смели глаз поднять. Страстная речь бывшего товарища смущала их, а пьяная совесть оказалась еще более податливою. Всем стало стыдно. Иные из них готовы были заплакать, как плачут пьяные: не сам плачет человек, а вино, размягчившее его.

— Что вы смотрите на воеводу?— продолжал страшный чернец.— Он заодно с Никоном... Свяжите его, злодея, да и по домам...

— Меня связать!— раздался вдруг всем знакомый голос.

Стрельцы окаменели. Это был сам воевода. Он вошел в круг, бледный, с трясущимися губами, но твердой поступью. Рука его держалась за рукоятку сабли. Стрельцы расступились, как трава от ветру.

— Га!— захрипел воевода.— Вон они что затеяли! Воеводу вязать! Ты кто таков, сказывай!— накинулся он на чернеца.— Сказывай, каков человек?

— Сам видишь,— спокойно отвечал чернец.

— Имя сказывай. Именем кто?

— Мое имя у Бога записано, не прочтешь.

— А! Знаю! Ты из этой волчьей ямы,— и воевода указал на монастырь.— Почто пришел сюда? За каким дурном?

— За твоей головой.

Воевода порывисто выхватил саблю из ножен и замахнулся на огненную голову.

— Вот я тебя, вора!.. Взять его!

Стрельцы испуганно топтались на месте, но не двигались вперед.

— Вам говорю! Вяжите вора!

То же топтанье на месте. Воевода оглядел толпу, и глаза его остановились на Кирше, который стоял понуря голову и тяжело дышал.

— Кирша! Возьми его, вора.

Кирша нерешительно сделал шаг вперед.

— Что меня брать? Я сам пришел,— сказал чернец,— своею волею пришел, так не боюсь тебя.

Этот ответ озадачил воеводу. Действительно, человек сам пришел, не побоялся ни стрельцов, ни его. Тут что-нибудь да не так. Воевода задумался.

— Так что ж тебе надобет?—спросил он, наконец.

— Того, чего у тебя нет, а ты дать можешь,— был ответ.

Воевода не понимал этого загадочного ответа.

— Чего у меня нету и что я могу дать?—переспросил он.

— Воистину так.

— Что ж это такое, чего у меня нету и что я могу дать?

— Венец.

— Венец? Какой венец?

— Нетленный.

Воевода отступил назад. Стрельцы невольно переглянулись. Воевода чутьем угадывал по порывистому дыханью стрельцов, которое слышно было, чувствовал, что власть ускользает из его рук. Чего доброго, стрельцы свяжут его и головою выдадут мятежникам, а то и сами расправятся. Ему казалось, что он стоит на льду, среди глубокого озера, и тонкий лед гнется и хрустит, зловеще кракает под ногами... Надо скорее сойти с опасного места, хоть ползком: надо во что бы то ни стало выйти из этого острого положения.

— Я пришел сюда по указу великого государя, его царского величества!—громко сказал он, оглядывая всю толпу и подходя к чернецу все с тою же обнаженною саблею.

— Его царское величество не указывал разорять монастырей,— так же громко перебил его чернец.

— Молчать, вор!—закричал воевода, подымая саблю.

— Вор тот, кто монастыри разоряет... Его царское величество не указывал тремя персты креститься.

— Врешь, лодыка: его царское величество указал, и освященный собор приговорил.

Чернец повел своими горячими глазами по толпе.

— Не слушайте его, православные! — закричал он.— Он говорит затейно... Вот как креститесь!

И он высоко поднял руку, выставив торчком два пальца, а остальные пригнул. Между стрельцами произошло движение.

— Вот так, вот так! Православные! — истово кричал фанатик.

— Вот же тебе как, нна!

Сабля блеснула в воздухе, и к ногам стрельцов что-то упало. То были все пять пальцев фанатика, отрубленные саблей по самые последние суставы, у связей с ладонью. Стрельцы с ужасом отшатнулись.

Фанатик не поморщился. Он нагнулся, поднял с земли левою рукою два отрубленные пальца, указательный и средний, и истово перекрестился левою рукой.

— Благодарю тебя, Господи, яко сподобил мя еси один листочек нетленного венца получити,— сказал он, подымая глаза к голубому небу, на котором стояли курчавые, как белые овцы, облачка.

Кровь ручьем лила из перерубленной руки, но изувер не обращал на это внимания: он сунул за пазуху два отрубленных пальца и улыбнулся...

— А тех трех перстов мне не надобеть,— сказал он и повернулся к воеводе.

Воевода, бледный, с остоячившимися глазами, стоял в раздумьи с поднятою саблею: рубить или не рубить по огненной голове?..

VIII. СОЛОВЕЦКИЕ СВЯТКИ

Время шло. Скучное северное лето, с его бесконечными днями, почти целые сутки освещаемыми незаходящим солнцем, и с его белоглазыми, надоедливыми ночами, сменилось еще более скучною, хмурою и мертвою зимою с ее такими же мертвыми, бесконечными ночами, освещаемыми иногда от полуночи страшными «сполохами», встающими от северного горизонта длинными, с переливающимися яркими лучами снопами света, которыми северное сияние как бы вознаграждает северную мрачную и бесконечную ночь за ее мрак и бесконечность, за малость северного

дня и за скудость и безжизненность северного солнца. Весь остров завернулся в белый саван, как покойник на льдине Ледовитого океана. Зловещее море кругом на необъятное пространство, туман и мрак или ветер с пургой и леденящий холод, деревья, утонувшие в инее, мрачные, заиндевевшие стены монастыря — все это до боли бесприветно и безотрадно.

К зиме покинули остров и осаждавшие обитель ратные люди. Осада шла вяло, неохотно, недружно, а осажденные защищались стойко, упрямо. Воевода сам видел, что после неожиданного появления в его стане огненного чернеца, которому он отрубил пальцы на правой руке, а потом, забив в колодки, отправил под караулом в Сумской, что после этого неожиданного появления изувера среди стрельцов стрельцы потеряли бодрость духа и упорство в добывании мятежной обители. Думая, что, проведя зиму в Сумском, они к весне опять будут способны с прежнею отвагой пойти на монастырь, он велел уничтожить все построенные для осады монастырских стен городки, разорить осадные укрепления и подкопы и переехал на зимовку в Сумской. Но чтобы монастырь и весь остров продолжали оставаться в осаде и чтобы осажденные мятежники не имели возможности сноситься с землею и пополнять свои запасы продовольствия, а равно боевые снаряды, одним словом, чтобы довести монастырь до безвыходного положения, воевода поставил заставы во всех главных пунктах, по всему берегу Онежской губы справа и слева.

Но черные мятежники не унывали. Всяких запасов у них было вдоволь, а отрезанность от земли была отчасти на руку старым монахам: она не давала возможности молодым чернецам шляться по усольям и соседним посадам и вожжаться с бабами, до которых черная молодежь были большие охотники.

После серой, скучной и мокрой осени с суровыми ветрами и туманами и после долгого Филиппова поста наступили святки. Все же хоть какое-нибудь развлечение для братии: и для почтенных старцев, и для молодшей братии — «утешение» положено: и брашно всякое, и разрешение вина и елея. Чего же больше людям, отрезанным от мира и его прелестей! За трапезой и лапшица добрая, и шти с сушеной рыбкой, и пшенники с яичком, и пироги с вязигой, и икорка паюсная, и теши межукосные[5], и яишенка глазаста, и оладьи со

сметанкой, и квасок добрый, и медвяное питье; а по кельям тоже «утешение»: и коврижки прянишны и сахарны, и древо сахарно доброе, и малинка в меду, и вишенка в сахаре аглицком, и яблочки в патоке, и пастилки двусоюзные, и все от благодетелей. А для молодшей братии, у кого зубы, и орешки кедровы, и орешки калены. После пенья, да метаний, да урочных поклонов это «утешение» немощи ради плоти не возбраняется.

А соснув после обеда, пока не благовестили еще к вечерням и день был ясный, без метели и пурги, старцы выходили на двор, садились на крылечках да завалинках и смотрели, как молодшая братия, служки, да молодые трудники, да ратнички голубей гоняли. Голуби — большая утеха для отчужденных от мира. Спугнут это их ратники либо трудничи, и взвьются они к небу стаями, кружатся, кружатся по аеру над церквами божьими, а турманы свое дело делают, а особливо тот белый, «в штанцах»: уж так-то кувыркаются по аеру, что и сказать нельзя! А старцы поднимают кверху свои седые бороды, щурятся на небо, ищут чудодея турмана «в штанцах», и хоть старые очи ничего не видят издали, а все же утеха некая. А там голуби, все кружась шире и шире, все забирая выше и выше, кажется, совсем хотят оставить монастырь и лететь за море; так нет! Исачко стоит середи монастыря, задрав к небу свою бороду и расставив руки, и все видит, и радостно покрикивает: «Ах он вор! уж и вор птица, что выделывает!» И старцы радуются, хоть и не видят всего, что видит глазастый Исачко. А там голуби, покружась и покувыркаясь по аеру, спускаются на землю и кучами, доверчиво, словно куры, толпятся к старцам. У каждого старца в приполье, либо в скуфейке, горстка зерна либо крох от трапезы, и старцы бросают этот дар божий божьей твари, птичке небесной...

— Воззрите на птица небесная, иже не сеют, не жнут, — с любовью бормочет старец Никанор, швыряя в серую копошащуюся массу крохи от поджаренного пшенника.

А Исачко не отходит от турмана «в штанцах», так и увивается около него. Он вынес ему целый каравай пшенника: сам не ел за трапезой, а приберег своему любимцу и теперь даже испугал его видом огромного кома желтого, рассыпчатого пшенника, брошенного голубю.

— Клюй, дурашка, не бойся, не укусит, не коршун, чать,— бормочет он, нагибаясь к турману.

Появляется откуда-то и Спиря. Он все так же босиком, как и летом, без полукафтанья, в одной длинной рубахе, но уже в скуфейке. Он поднимает голову вверх и смотрит на соборную колокольню. С колокольни срываются два голубя, летят к Спире и усаживаются, как куры на нашест, один на правое плечо юродивого, другой на левое. Спиря осклабляется.

— Что, детки, есть небось захотели?—ласково говорит он.— А не дам, ноне пост.

Голуби машут крыльями и тянутся ко рту юродивого. Тот нарочно нагибает голову.

— Что ты их дразнишь?—вступается сердобольный Исачко,— не томи... Ты думаешь, и птичина по неделям поститься должна, как ты, двужильный!

Старцы добродушно смеются.

— Не томи их, Спиря,— говорит Никанор, смеясь седыми бровями.

Сухой, серьезный старец Геронтий машет Спириным голубям своей скуфьей и вытряхивает из нее крошки, маня проголодавшуюся птицу. Но Спирины голуби не летят к отцу Геронтию.

В это время из-за собора показывается Оленушка. Она в собольей шубейке, подпоясана голубым поясом и в собольей шапочке. На руках рукавички. В правой руке она везет саночки маленькие: Оленушка каталась на салазках за монастырской оградой. Молодые щеки ее пылали морозным нежным румянцем.

Увидав ее, Спирины голуби, снявшись с плеч юродивого, тотчас же перелетели и уселись на плечах Оленушки, махая крыльями и протягивая головки к ее смеющемуся рту с розовыми губами и белыми, как у мышки, зубами. Оленушка заливалась от радости, а юродивый с любовью смотрел на нее.

— Нет у меня ничего, нету, гулюшки!—смеялась Оленушка, защищая свои розовые губы.

Лица у старцев сияли радостью и умилением. Старый седобровый Никанор улыбался бровями, глядя на Оленушку и на голубей. Даже суровый Геронтий как будто потеплел своим сухим лицом. Один Исачко не вытерпел этого.

— Да что вы морите бедную птицу!—отозвался он недовольным голосом.— Вот нашли!

К архимандриту подошел старый соборный звонарь и низко поклонился.

— Благослови, святой отец,—сказал он, протягивая руки пригоршнею.

— В било?—сказал Никанор.

— Во святой колокол, к вечерне благовестить,—отвечал звонарь.

— Во имя Отца и Сына...—благословлял Никанор.

Звонарь поплелся на колокольню. Скоро в морозном воздухе далеко-далеко по острову и по свинцовому морю с льдинами и скалами пронесся металлический крик колокола. Голуби встрепенулись и побросали зерна.

Старцы встали, перекрестились и тихо побрели к вечерне. За ними сыпнула остальная братия, старшая и молодшая, служки, и трудники, и ратные люди. Остались одни голуби доедать зерна и крохи. К ним налетели монастырские галки и юркие воробьи... Монастырь замер...

Скоро на монастырь спустилась и ночь, темная, с темным небом и яркими звездами, блеск которых бледнел только тогда, когда с полуночи шли и трепетали на небе яркие полосы «сполоха»...

Скоро и сон сошел на монастырь: братии надо успеть соснуть до полуночного бдения и до утренних метаний, и братия спит. Не спит только старость, к которой сон нейдет, так старость молится по кельям и вздыхает о грехах своих да о молодости...

Не спит еще и молодость...

Не спит Оленушка. Накатавшись вдоволь на салазках, которые смастерил ей келарь Нафанаил, большой искусник строитель и худог[6], отстояв потом вечерни и воротившись в отведенную ей с матерью келью, она поужинала, пощелкала кедровых орешков, погрызла немножко орла сахарного и вздумала погадать о суженом. Нельзя же, святки на дворе: хоть и монастырь, а все же святки. Мать души в ней не чаяла и потому согласилась на все, хоть в монастыре и грешно было гадать... «Экое мирское дуростное дело, да в святой-ту обители! Что ж, дитя малое, неразумное: пущай побалует... Коли и взыщет Господь, так на мне, на старой дуре; а я отмолюсь, еще привезу в святую обитель, коли жива буду, бочку-другую беремянную вина ренсково да пуд ладану росново»,—думала себе Неупокоиха.

Налили в миску воды, достали жестянку, положили в нее воску от иорданской свечки и стали топить воск на светце. Растопили. Оленушка, вся пунцовая от хлопот, от жару светца и от волнения, загадала про Борю, перекрестилась истово... Рука дрожит, шутка ли! Про судьбу гадает, про суженое... Нагнула жестянку над миской. Желтой лентой полился растопленный воск в воду и, с шипом падая в нее и погружаясь, неровными лохмотами всплывал наверх... Все вылито... Дрожащею рукою, бережно, словно драгоценность какую, вынимает Оленушка восковые лохмотки из воды, кладет их на розовую ладонь и со страхом рассматривает...

— Ничего не разберу, мама,— волнуется Оленушка,— что вышло.

Волнуется и старуха. Приглядывается к ладони дочери, подносит ее к светцу, щурится.

— Кубыть венец,— нерешительно говорит она.

— Ах, нет, мама! Кочеток словно,— еще более волнуется Оленушка.

— Може, и кочеток... У тебя глазки молоденьки, лучше моих... Кочеток — это к добру.

— Нету, мама, это сани...

— И сани к добру.

Оленушка перевернула комок воску на другой бок, приглядывается.

— Не то шляпа, не то сапог,— с огорчением в голосе говорит она.

— Что ты, глупая! Не сапог, а венец! — огорчается и старуха.— А ты не так смотришь, дитятко,— заторопилась она,— надоть тень смотреть... Да-кось!

И она подносила руку дочери к стене, чтоб от нее и лежащего на ладони комка воска падала на стену тень.

— Зайчик, мама.

— Что ты, дурашка! Это твои пальцы.

Оленушка выпрямила ладонь. Тень на стене кельи вырисовывалась яснее.

— Ох, клобук, мама! — испугалась Оленушка и даже побледнела.

Испугалась и старуха, но скрыла, не подала виду.

— Чтой-то ты, непутевая! — рассердилась она.— Венец и есть.

Так и порешили на венце, хотя Оленушка в венце сильно сомневалась.

— А что-то в Архангельском у нас теперь? — грустно заговорила она.

— Святки тож гуляют... поди, озорники в хари наряжаются...

Оленушка вздохнула. Ей кто-то и что-то вспомнилось...

— Господи! Когда же мы в Архангельской, домой воротимся? — заговорила она как бы про себя.

— Весной, дитятко, подожди маленько. Вон летом ты недужала, а там и осада эта.

— А коли и весной осадят?

— Нету, не осадят. Отец Никанор сказывал, ни в жисть не осадят, напужаны-де.

— То-то, мама. А как осадят?

— Отсидимся, дитятко. Отец Никанор сказывал: все войски никониан не возьмут обители, потому: Зосима — Савватий настороже стоят.

Оленушка опять вздохнула.

— А мне хоть век тут жить, так само по душе,— говорила старуха,— святое место, спокой, молишься себе, все тебя уважают... Вот один только этот пучеглазый Феклиска... А все на тебя буркалы пялит... Да уж я его отсмердила добре...

Оленушка вспыхнула. Она сама видела, как на нее засматривался глазастый молодой чернец, что Феклиской звали, и раз в церкви тихонько ей на ногу наступил...

А чернец Феклиска тоже не спал; не спали и еще кой-кто из молодой братии... Нельзя же, святки... Прежде, до этого проклятого сиденья, когда монастырь не стерегли, как девку на возрасте, еще можно было урваться в посад либо на усолья, около баб потереться да грешным делом и оскоромиться мясцом; а теперь сиди в четырех стенах, словно огурец в кадке либо супоросая свинья в сажалке. Надо же и кости поразмять, чтоб и молодая кровь не сыворотилась...

Вон огонек в работницкой поварне, мельтешит там что-то. А что? Посмотрим, благо городничий старец Протасий ненароком пересыпал себе вина и елея и теперь крепко спит.

В поварне «вавилония» идет, как выразился веселый Феклис: «жезл Ааронов расцвете», это значит, чернецы гуляют. Просторная комната слабо освещена светцом. На столе, у края, красуется бочонок. На лавках сидят чернецы и играют в «зернь». А посреди

комнаты стоят друг против друга молодой чернец и черничка: руки в боки, глаза в потолоки, ноги на выверте, плясать собираются. В плясуне монахе мы узнаем старца Феоктиста, вернее Феклиску, а в монашке-плясавице молоденького служку Иренеюшку, который, будучи наряжен теперь черничкою, необыкновенно похож на хорошенькую девочку.

— Ну, царь Давыд! Играй на гуслях! — говорит Феклиска чернецу без скуфьи, сидящему у стола и смотрящему на игроков в зернь.

Чернец без скуфьи оборачивается и смеется при виде плясунов, собравшихся «откалывать коленца».

— Ино играй же, царь Давыд, бери гусли! — не терпится Феклиске.

«Царь Давыд» без скуфьи берет большой деревянный гребень с продетою промежду зубцов бумажкою, — гребень заменяет гусли, — и начинает водить губами по гребню и южжать что-то очень бойкое.

Черничка, подражая настоящей бабе, задергала плечами и завизжала не сформировавшимся еще мужским голосом:

Выходила млада старочка,
Младехонька, хорошохонька,
Поклонилася низехонько:
Я ни девушка, ни вдовушка...

— Не ту, не ту! — перебивает Феклиска.

И, пустившись вприсядку, так что полы полукафтанья расстилались по земле, зачастил говорком, а за ним «царь Давыд» с гуслями:

Не спасибо игумну тому,
Не спасибо всей братьи его:
Молодешеньку в чернички стригут,
Зеленешеньку посхимливают.
Не мое дело в черницах сидеть,
Не мое дело к обедне ходить,
Не мое дело молебны служить,
Как мое дело в беседушке сидеть,
Как мое дело винцо щелыгать.
Посошельицо под лавку брошу,
Камилавочку на стол положу,
А сама млада по келейке пройду,
Молодешенька погуливаю.

— Эх, ну! — гоготал Феклист. — Го-го-го! — пред сенным ковчегом скакаша-играя веселыми ногами!

А Иренеюшко павой выплывал, совершенно по-бабьи, видно, что изучил свое дело в совершенстве, и ручкой помавал, и плечиком вихлял, и глазами «намизал». Игравшие в зернь чернецы бросили игру и любовались Иренеюшкой.

— Ай да черничка! И настоящей не надоть! — похваляли старцы.

А Иренеюшко, подойдя к столу и притопывая ногою в валенке, выговаривает под южжанье гребня:

На улице было
На широкой диво:
Варил чернец пиво.
Чернечик ты мой,
Горюн молодой,
Погуляй-ко со мной.
Вступила хмелинушка
В буйну головушку:
Не даст мне тряхнуться.
Не даст ворохнуться.

— Ну! Ино выпей, млада черничка, на! Вот пивцо, что варил молодой чернец.

И «царь Давыд», положив гребень, налил из бочонка пива в ковш и подал Иренеюшке... Иренеюшко выпил, утер рукавом розовые губы и опустился на лавку.

— Что, брат? Али по-бабьи труднее плясать-ту? — спросил игрец в зернь.

— Не в пример трудней.

— Знамо, надоть, чтоб и плечи, чтоб и все выходило.

В поварню ввалились еще гости. Вошел медвежий поводильщик с бубном, за ним медведь на веревке и коза с рогами, а на рогах старая камилавка. Веселый хохот встретил дорогих гостей.

— Ай да Миша! Ай да воевода Топтыгин! — приветствовал медведя Феклист.

— А ты преж угости меня, — заревел медведь.

— И меня, козу в сарафане, — замекала коза, — мме! И меня!

Гостям поднесли пива. Поводильщик, выпив ковш, задудел в бубен, а «царь Давыд» заюжжал на гребне. Медведь тяжело, грузно пошел плясать, а вокруг него скакала коза, тряся бородой и приговаривая:

Я по келейке хожу,
Я черничку бужу:
Черничка, встань!
Молодая, встань!

Не могу я встать,
Головы поднять.
Уж и встати было,
Поплясати было,
Для милых гостей
Поломати костей...

— Вот я вам переломаю кости, лодыжники! — раздался вдруг грозный голос.

Все встрепенулись и замерли на местах. На пороге стоял городничий старец Протасий. В руках его был огромный посох, «жезл Аарона», как называли его молодые чернецы, по ком гулял этот «жезл»...

И «жезл» погулял-таки в эту памятную ночь соловецкого сиденья...

IX. СПИРИНА ПЕЧЕРОЧКА

Наступила, наконец, и весна, к которой и в сонных грезах, и наяву, в келье и в церкви, под ровное постукиванье вязальных спиц матери и под однообразное чтение нескончаемых кафизм, неудержимо рвалось молодое, несутерпчивое сердце Оленушки. Бог весть откуда стали слетаться птицы, оглашая остров и взморье радостными криками, словно бы это были страннички, слетевшиеся со всего света посмотреть, что-то делается на далеком, уединенном зеленом островке и так же ли тут плачут люди, как в тех прекрасных, далеких теплых землях, откуда они прилетели, или новая весна осушила все людские слезы. И ночью, на поголубевшем с весною небе, и на светлой, румяной заре, и в яркий полдень все неслись и звенели по небесному пространству птичьи голоса, и одни смолкали там, в той стороне, с полуночи, а другие неслись к острову с той стороны, от полудня. Все короче и короче становились ночи, все продолжительнее и продолжительнее становились дни. И вокруг келий, и у монастырских стен, и за стенами, и даже в трещинах и на выступах старых стен и крыш пробивалась зеленая травка. Остров ожил вместе с этою оживающею зеленью и с этим неугомонным птичьим криком и гласом. Даже с монастырскими птицами — с голубями, галками, воробьями — творилось что-то необычайное. Белый турман «в штанцах» вился и кувыркался в воздухе еще безумнее, так что Исачко, задирая к небу голову, чтобы лучше видеть своего любимца, чуть не свихнул свою воловью

шею. Спирины «гули» совсем бросили своего воспитателя и все целовались на соборном карнизе и доцеловались до того, что едва успели кое-как смостить себе на одной балке гнездо, и то благодаря юродивому, который тихонько подкладывал им поблизости гнезда соломки и шерстки...

— Это брат-ту с сестрой? — подшутил над ним однажды Исачко, увидав его за этим благочестивым занятием, и лукаво подмигнул своими косыми глазами.— Ах ты старый греховодник!

Когда же Оленушка спросила Спирю, почему «гули» покинули его, юродивый отвечал:

— Погоди маленько, дитятко, и ты кинешь матушку для Борьки.

Оленушка только вспыхнула и закрылась рукавом. Ей и страшно, и хорошо разом сделалось от слов юродивого. Как он мог узнать, думалось ей, что у нее есть в Архангельске зазнобушка? И как он мог знать, что его зовут Борей? Вестимо, потому, что он святой, прозорливый человек, а потому он насквозь человека видит и мысли его читает, и душу видит как на ладонке, и все грехи его знает. И при этом Оленушка зарделась еще больше: она вспомнила, что сегодня утром ей страх как хотелось молочной каши... А сегодня середа, постный день... Спиря все это знает, ах, срам какой!

Теплый, ласковый весенний воздух тянул Оленушку за монастырские ворота. За воротами, казалось, ближе было к Архангельску: коли бы крылья, как у тех пташек, так бы и полетела через море, и дорогу бы, кажется, нашла, все туда, туда, далеко, откуда солнышко по утрам выходит...

И она очутилась за воротами. Глянула на море, на стены. И смурые стены весною смотрят веселей. Везде пробивается из земли и тянется к небу зелененькая травка. На серых камнях кучами сбились красные божьи коровки, и они выползли погреться на солнышке. Оленушка присела и стала рассматривать их: иные сидят смирнехонько, не ворохнутся, другие копошатся, ползают. В воздухе птичий грай и щекот так и подмывает улететь далеко, далеко от этих постылых мест.

Оленушка пошла дальше, вдоль стен: то сорвет иссера-зеленый кудрявый мох, повертит его в руках и бросит, то нагнется над желтым цветочком, поглядит на него, потрогает лепестки, сдует с них муравья или другую козявку и опять идет себе тихонько, да

нет-нет все и поведет глазами по гладкой равнине моря... Ни кораблик ни один не чернеется, ни парус не белеется; только поблескивают иногда на солнце крылья чаек да мартынов-рыболовов... «То-то кабы чайкины крылья, полетела б, не отдыхаючи, до самово Архангельсково, надлетела б над батюшков двор да и крикнула: «Ки-их! Батюшко родимый! выходь-ко на тесовое крылечко, сустречай свою дочушку Оленушку...» А то бы села у Борюшки под косящатым окошечком и запела б: «Кии-х! мил сердечный друг! отворяйко ты окошечко, впущай к себе птушечку Оленушку...»

Оленушка чуть не заплакала. Шутка ли! Скоро год, как они сидят здесь, словно в темной темнице. А еще когда-то приедут богомольцы да возьмут их с собою! Да и приедут ли? Может, опять нагрянут эти московские разбойники, опять запрут монастырь и опять начнется пальба без конца.

Долго бродила Оленушка вокруг монастыря, тоскуя и не находя себе места. Зайдя за один выступ монастырской стены, подходившей почти вплоть к морю, она уселась на краю обрыва и, собирая вокруг себя мох, стала делать из него венок. Она совсем углубилась в свое занятие, вспоминая то, что нагоняла ей на мысли молодая память, или раздумывая о настоящем, смысла которого она никак не могла понять. Она много слышала о каком-то Никоне, и он представлялся ей каким-то зверем, но зверем не виданным, а таким, какой написан на одном образе в соборе, не то зверь, не то человек, не то баба. И зачем это он книги какие-то новые выдумал? Зачем он велит креститься тремя перстами? И для чего он какой-то «аз» у Христа отнял, а самого Господа Исуса каким-то «ижем» прободал? Что это за «иже» такое? Разве то копие, которым воин Христа на кресте прокалывает в ребра?.. И чего нужно от монастыря этим стрельцам?.. Она думала и об Аввакуме, который представлялся ей в виде того святого, который стоит на столбе и крестит двумя перстами тех, что стоят под столбом... Сколько народу стоит!.. Вспомнила она и того красного как огонь чернеца в веригах, что пришел от Аввакума: этот чернец пропал еще с осени: говорят, его воевода замучил, отрубил ему все пальцы на правой руке, а когда на руке снова выросли только два пальца, указательный и средний, и он опять начал молиться этими двумя пальцами истово, то воевода отсек ему голову, а пальцы сколько ни отсекал, они вновь приростали...

Сидя так неподвижно, Оленушка с удивлением слышала, как будто кто-то под землею шевелится не то глухо скребется. Она стала прислушиваться и осматриваться. Почти под ногами у нее, ниже, под неровным каменистым берегом плескалось море, наскакивая на берег с пеной и снова отступая и падая. Вправо из-за корней и спутавшихся ветвей с свежею зеленью выглядывал большой серый камень. Всматриваясь в него, Оленушка видела, что из-под самого камня, казалось, сползала земля и тихо сыпалась в море с отвесной кручи. Отчего же это сползала там земля? Так камень, кажется, не двигается...

Вдруг из-за камня показалась косматая голова... Оленушка чуть не вскрикнула, да от ужаса так и прикипела на месте с пучком моха в руке... Голова повернулась, и Оленушка узнала Спирю! Юродивый также узнал ее, и его добрые, собачьи глаза блеснули радостью...

— Это ты, девынька?—отозвался он тихо.

— Я, дедушка,—отвечала девушка, чувствуя, что у нее еще колотится сердце.

Юродивый совсем вылез из-за камня. Он был весь в земле—руки, ноги, волосы.

— Ты что тут, девынька, делаешь?—спросил он, приближаясь.

— Венок заплетаю.

— А!.. А кому?

— Богородице, дедушка, на образ.

— Умница, девынька, заплетай.

— А ты, дедушка, что тут делаешь?

— Ямку собе.

Оленушка глядела на него удивленными глазами.

— Норку,—пояснил юродивый,—норку зверину.

— Нору?

— Да, язвину, девынька... язвину, их же и личи имут, Сын же человеческий не имел.

Оленушка все-таки ничего не понимала и в недоумении теребила свой венок.

— Печерочку себе махоньку копаю, девынька,— пояснил Спиря, показывая руками, как он это копает.

— На что ж она тебе, дедушка?

— А молиться в ней буду, вон как в Киеве печерски угоднички молились.

— А на что ж церква, дедушка?

— Церква церквой... только в церкви соблазн бывает, девынька, а в печерочке только Бог да смерть.

Девушка невольно вздрогнула... «Господи! Как страшно...»

— Страшно меж людьми, девынька, на вольном свету, а под землей благодать.

Оленушка задумчиво смотрела на море. Юродивый сел около нее.

— Только ты, девынька, никому не сказывай о моей печерушке, ни-ни! Ни матушке родимой!

— Не скажу, дедушка.

— То-то же, мотри у меня. Христом прошу.

Девушка продолжала смотреть на море и прислушиваться к далекому плаканью чаек.

— Что, скучаешь у нас, девынька?

— Да, дедушка, домой бы.

— Али дома лучше?

— Лучше.

Юродивый помолчал, вздохнул, помотал головой. Он вспомнил, что и у него когда-то было свое «домой». Только давно это было.

И перед ним вместо этого безбрежного моря с плачущими чайками нарисовалась другая картина, вся озаренная солнцем юга. Высокий берег Волги с темною зеленью в крутых буераках. В зелени не переставая кукует кукушка. Красногрудый дятел однообразно долбит сухую кору старого тополя. В ближней листве высокого осокоря свистят задорные иволги, а на сухой ветке тоскливо гугнит лесной голубь-припутень. Вниз по Волге сверху плывет косная лодочка, изнаряженная, изукрашенная. По воде доносится песня:

Полоса ль моя, полосынька,
Полоса ль моя испаханая...

Лодка причаливает к берегу. Удалые молодцы высаживаются и выводят под руки кого-то на берег... Виднеется девичья коса, а на солнце играет «лента алая, ярославская»...

«Здравствуй, батюшка атаманушка Спиридон Иванович! — кричат удалые.— Примай любушку-сударушку за белы руки...»

Спиря вздрагивает и дрожащею рукою ощупывает в своей суме мертвый череп... «Прочь, прочь!» — мотает он своею поседелою головой...

— Так в Архангельском лучше, чем у нас, вот здеся? — снова заговорил он.

— Лучше, дедушка, не в пример лучше.

— А чем бы, скажи-тко?

— Ах, дедушка! Да теперь там, с весной-то, что кораблей из-за моря придет! И из галанской земли, и с аглицкой земли, и с датской земли, и с любской земли, да из города Амбурха! Ах и что ж это!

Оленушка даже руками всплеснула.

— Ну и что ж, что придут? — как бы подзадоривал ее юродивый, любуясь оживлением девушки.

— Как, чу, что! А товаров-то, узорья всякого, что навезут!

— Ай-ай-ай! — качал головой юродивый.

— И зерна всяки чурмышски, и зеньчуг большой и мелкой и скатной, и бархаты турецки, и вларенски, и венедски, и бурски, и немецки, целыми косяками! А что отласов турецких, золото с серебром, что камок куфтерей добрых всяких цветов, и камок кармазинов, крушчатых и травных, и камочек адамашек! А то золото и серебро пряденое, бархаты черленые кармазины, бархаты лазоревы и зелены, бархаты таусинные гладкие, да бархаты багровы, да бархаты рыты...

Спиря ласково глядел на нее и грустно качал головой.

— А-ай-ай! Что у вас узорочья-то! — повторял он как-то машинально.

— Да, дедушка, а отласы-те каки! — все более и более увлекалась Оленушка.— И черлен отлас, и лазорев отлас, и зелен отлас, и желт отлас, и таусин отлас, и багров отлас! А объяри золотны, а камочки индейски, а зуфы анбурски, а шелки рудо-желты да дымчаты, а шарлат сукно да полушарлат, да сукна лундыши, да сукна настрафли! А ленты-то, ленты!

Оленушка даже руками всплеснула.

А перед юродивым опять промелькнула «лента алая, ярославская», и крутой берег Волги, и эта широкая голубая река, и туманно-голубое безбрежное Заволжье...

«Атаманушко Спиридон Иванович!.. Любушка...»

— Господи! Отжени — ох! — невольно простонал, хватаясь за сердце, юродивый.

Оленушка невольно остановилась.

— Что с тобой, дедушка?

— Ничего, дитятко... Так ленты, сказываешь?

— Ленты, дедушка, алы...

— Так и алы?
— Алы и лазоревы...
— Тете-тете... ишь ты...
Юродивый отмахивается от воспоминаний, мотает головой, а воспоминанья встают, встают как мертвые из гробов... Краски прошлого встают, звуки голоса, и этот проклятый голос:

Полоса ль моя, полосынька,
Полоса моя непаханая...

Это грехи встают, как они встанут на Страшном суде... Куда от них деваться? Некуда! В землю, в язвину, в пещеру? Они и там найдут...
Оленушка взглянула на море, да так, казалось, и застыла. Приподнятая рука остановилась в воздухе. Доплетенный венок упал на колени. Щеки ее все более и более заливал румянец...
В туманной дали на гладкой поверхности моря белели, как светлые лоскутки, паруса... Да, это не крылья чаек...
— Дедушка! — чуть слышно заговорила девушка.
Юродивый взглянул и оглянулся кругом.
— Что, дитятко? — спросил он рассеянно.
— Плывут... вон паруса...
— Кто плывет?
— Они... богомольцы...
Девушка показывала на море. Юродивый щурился, прикладывал ладонь над глазами в виде козырька.
— Не вижу, девынька.
— А я вижу, дедушка, вон...
— У тебя глаза молоденьки.
Оленушка вскочила на ноги, поднялась на цыпочки и готова была, казалось, побежать по морю, как по суху. Глаза ее горели, губы дрожали.
— Господи! Богородушка! Кабы батюшка приехал!
Вдруг на стене что-то грохнуло и рассыпалось гулом по острову и по морю. Юродивый перекрестился.
— Вот тебе и на! — сказал он тихо и опустил голову.
— А что, дедушка? — встрепенулась Оленушка.
— Злодеи плывут, дитятко. Ах! Ноли не слыхала пушки?
Оленушка, бледная как полотно, упала на землю и зарыдала голосом.

X. НАЧАЛО БЕСПОПОВЩИНЫ

Не сбылись надежды Оленушки. С весны монастырь снова обложен был стрельцами.

Теперь воевода Мещеринов явился под монастырь уже с царскою грамотою, за государственною большою печатью, «под кустодиею»[7], каймы и титул писаны золотом.

Стрелецкий полуголова Кирша вступил в монастырь во всем величии посольства, с двумя сотниками, держа царскую грамоту на голове, на серебряном подносе, словно дароносицу. Власти монастыря ввели его прямо в собор. Старик архимандрит, круто насупившись и шевеля своими волосатыми бровями, с амвона принял грамоту с головы Кирши, который ни за что не решался нагнуться или шевельнуть своею волчьею шеею...

— С царскою грамотою, что и с дарами, гнуться не указано,— раздался в тишине его сиплый голос.

Черная братия усиленно дышала. Никанор, приняв с головы стрельца грамоту, повернул ее на свет.

— Печать большая государственная, под кустодией, с фигуры... подпись дьячья на загибке,— бормотал он как бы про себя, рассматривая документ государственной важности.

Около него стояли келарь Нафанаил, городничий старец Протасий и длинный и сухой, как жезл Аарона, старец Геронтий.

— Огласи грамоту, по титуле,— сказал глухо Никанор, передавая грамоту Геронтию.

Геронтий взял грамоту. Сухие и длинные руки его дрожали. Черная братия притаила дыхание.

Геронтий откашлялся, словно ударил обухом по опрокинутой сорокоуше.

— «...Бога,— начал он прямо с октавы.— Бога в трех присносиятельных ипостасех единосущного пребезначальнаго, благ всех виновнаго светодавца, им же вся быша, человеческому роду мир дарующего милостию!»

Грамота ходенем ходила в его руках. Голос иногда срывался. Золото, которым блистал титул царя, рябило в глазах. Он передохнул.

— «...И сие благодеяние повсюду повестуя, мы, великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России

самодержец и многих государств и земель восточных и западных, и северных отчич и дедич и наследник, и государь, и облаадатель...»

...«Облаадатель» на слоге «лаа» он неимоверно вытянул, в точности следуя написанию титула, в котором «обладатель» неизменно должно было писаться с двумя «азами» после «люди»: «начертание истовое», освященное, за опущение одного «а» в титуле дьяков секли батоги, а подьячих кнутом нещадно... Таково было время...

— «...Облаадатель! — рявкнул Геронтий.— Соловецкаго нашего монастыря архимандриту Никанору, келарю Нафанаилу, городничему Протасею и соборному старцу Геронтию (опять сорвался голос), священником, дьяконом, всем соборным чернецом, и всей братии рядовой и больнишной, и служакам и трудникам всем!»

Он перевел дух. Собрание дышало тяжело, порывисто, словно в церкви не хватало воздуху. За окнами ворковали и дрались голуби. Воробьи чирикали, словно перед грозой. Залетевшая в собор ласточка пронеслась над самой головой Геронтия, едва не зацепив его крыльями, и прицепилась лапками к иконостасу. Над черными клобуками и скуфьями собора поднялась костлявая рука Спири: юродивый грозил пальцем ласточке.

— «...В минувших летах и в прошлом во сте восемдесят во втором году,— продолжал, передохнув, Геронтий,— посланы были по указу моему государеву к вам, к братии, книги новой печати для церковного обиходу, чтобы вам по тем книгам службу служить и литургисать. И вы тех книг дуростию своею и озорством не приняли, и по тем книгам не литургисали, и божественного пенья не пели, и молебнов не служили, а яко свинии бисер многоценен те книги ногами потоптали, и моих государевых ратных людей в монастырь не пустили, и по ним якобы по неприятелям и врагам церкви божии и меня великого государя из пушек и пищалей стреляли, и аки козлы мерзкие по старым книгам литургисали и аллилуию сугубили, а не трегубили, и аз из символа веры, яко волчец некий из нивы господней, не исторгали, а козлогласовали с азом и иже у имени Господа и Спаса нашего Иисуса Христа яко камень многоцветен из ризы Господней украли, и иное неподобие творили».

Черная братия с изумлением и страхом смотрела на чтеца и на старого Никанора. Геронтий передохнул и отер рукавом пот, выступивший на сухом морщинистом лбу. Никанор насупился так, что за бровями совсем не видно было глаз, только лицо его покраснело. Губы беззвучно шевелились, как бы пережевывая страшные слова грамоты.

Не поднимая глаз от бумаги, Геронтий глубоко забрал в грудь воздуху и продолжал:

— «...И как к вам сия наша великого государя грамота придет, и вы б от своей дурости и озорства всеконечно отстали, и моих государевых людей честно и грозно приняли по старине, и по новым книгам есте литургисали, и аллилуию б есте не сугубили, и аза из символа веры извергли, и ижа у Иисусова имени не отымали. А буде вы сего нашего государского указа не послушаете и от своего озорства не отстанете, и за то вам от нас великого государя быти в опале и в жестоком наказании и конечном разорении безо всякие пощады, даже до смертной казни».

Все кончено! Геронтий с трудом перевел дух и поднял глаза к небу, к куполу. Братия, по-видимому, ждала чего-то. Но Никанор, на которого все смотрели, упорно молчал.

Геронтий вертел грамоту в руках. Посол Кирша ждал и глядел на Никанора. Тихо кругом, и только слышалось, как перед образом Спасителя юродивый стукался лбом об пол.

— Грамота великая, подлинная,— говорил сам с собой Геронтий, глядя на золотое письмо в начале,— каймы и фигуры писаны золотом... богословье и великого государя именованье по иже, а соловецкого монастыря по мыслете писано тож золотом.

— Эко диво золото! — раздался вдруг хриплый голос.— У дьяков золота много.

Все оглянулись. Это говорил юродивый.

— Спиридон дело говорит! — вдруг глянул из-под своих бровей старый Никанор.— Можно золотом написать не токмо по мыслете, а и по самое твердо, а то и до ижицы, всю грамоту можно золотом написать, а все ж та грамота будет не в грамоту.

— А печать под кустодиею? — возразил Геронтий, весь бледный.

— А каймы и фигуры?

— На то есть писцы и богомазы,— отрезал Никанор,— все состряпают.

— Так ты думаешь, эта грамота не царская? — удивился Геронтий.

— Она у царя и на глазах не была.

— Ноли великого государя обманывают?

— И Бога обманывают,— послышался ответ юродивого.

— Только у Бога дьяки не нашим чета,— пояснил Никанор.

Черный собор, доселе тихий и спокойный как омут, зашевелился: словно рябь от ветерка по тихому омуту, пробежало оживление по сумрачным дотоле лицам черной, черноклобучной и черноскуфейной братии. Засверкали глаза, открылись рты, заходили бороды, задвигались плечи, замахали руки.

— Золотом писано, эка невидаль! У мово батюшки баран с золотыми рогами всегда по двору хаживал,— закричал чернец Зосима из рода князей Мышецких.

— Что баран! Мы сами на миру едали баранов с золотыми рогами! А у нас в Суздале богомаз черту рога позолотил! — отозвался другой чернец.

— Черт золотом писан! Вон что! А то ат-грамота золочена! Позолотить все можно! — раздавался третий голос.

— Не в золоте дело! Вон, слышь, алилую матушку трегубо! Али она, матушка, заяц трегубый!

— Не надо нам зайца! По-заячьи литургисать не хотим.

— Не дадим им, никонианам, аза батюшку! Аз слово великое!

— Великое слово аз! На ем мир стоит! За его, батюшку аза, помирать будем!

— Ижем Исуса Христа прободать не дадим! Мы не жиды!

— И трех перстов не сложим! Ин пущай нам пальцы и головы рубят, а не сложим!

Невежество, дикий фанатизм и изуверство брали верх. Более благоразумные и грамотные священники и иеромонахи молчали и только озирались на бушующую молодшую братию и на закоренелых стариков. У Никанора глаза искрились из-под седых бровей, как раздуваемые ветром угольки в пепле.

Юродивый, протискавшись к Кирше, который стоял ошеломленный, и вынув из сумы череп мертвеца,

показал его изумленному стрелецкому полуголове. Тот с испугом отшатнулся назад.

— Знаешь ты, кто это?—спросил юродивый, протягивая череп к Кирше.

— Не знаю, не знаю,—был торопливый ответ.

— А! Не знаешь?.. Та и мы знать не хотим того, кто тебя послал... Мы знаем только Того, кто нас всех на землю послал, и меня, и тебя, и вот его.—Он ткнул пальцем в череп.—А ты знаешь Его?

— Кого?

— Того, который на кресте вот так пальчики сложил (юродивый сделал двуперстное сложение), когда Ему руки ко кресту пригвоздили?

Кирша не мог ничего отвечать. Он только испуганно глядел то на череп, то в добрые, собачьи, теперь светившиеся глаза юродивого.

— Он так велел креститься, а не по-вашему,—твердил изувер.

Кругом стоял гам и галас. Черный собор видимо делился надвое. Зазвучал трубный голос Геронтия, доселе молчавшего.

— Грамота царская, истинная, с титулом и богословьем в золоте! Грамота истовая, ей перечить нельзя.

— Волим повиноваться великому государю!—поддержали его священники.

— Не волим!—кричала рядовая братия.

— Мы за великого государя молиться охочи!—раздавались слабые голоса благоразумных священников.

— Молитесь, коли вам охота, только вы нам после этого не попы!—перекрикивала их сильнейшая половина.

— Какие попы! Никониане!

— Щепотники! Хиротонию ни во что ставят!

Кирша видел, что его посольство опять не выгорало. Когда крики несколько стихли, он обратился к Никанору, который стоял как заряженный.

— Какой же ответ, святой архимандрит, дать мне воеводе?

— Таков, каков Христос дал сатане в пустыне!—разрядился Никанор.

Кирша глядел на него вопросительно.

— Я не знаю, что Христос сказал сатане, я не поп,—возразил он.

— А не поп, так и не суйся в ризы!

— Я не суюсь в ризы...

— Как не суешься! А зачем в чужой монастырь да с своим уставом лезешь?

— Я не сам лезу, мне указано, я с грамотой великого государя.

— Нам ваша грамота не в грамоту! Апостолыте да святые отцы были постарше ваших грамотеев: так мы крестимся и петье поем так, как они повелели.

— Я ничего не знаю, я послан, так великий государь изволил,— оправдывался Кирша, чувствуя, что он слаб в богословии, что его дело на саблях говорить да делать то, что воевода велит.

— Так уходи с тем, с чем пришел! — крикнул Никанор.

— Уходи подобру-поздорову! — Заковать его! — В яму! — Зачем в яму! — раздавались голоса.

— Стой,— снова затрубил Геронтий, обращаясь к Кирше,— я за великого государя всегда Бога молил, теперь молю и напредки молить должен. Ино как поволит великий государь, а я апостольскому и святых отец преданию последую, а что Никон в новых книгах наблевал, и той его блевотины я отметаюсь: новоисправленных печатных книг, без свидетельства с древними хартейными, слушать и тремя персты крест на себе воображать сумнительно мне, боюсь Страшного суда Божия!

— Ох! Ох! Страшен суд Божий! — опять заревела черная братия.

— Долой никонианские книги! Долой еретическую блевотину!

Кирша понял, что ему ничего не оставалось делать, как поскорей убираться из монастыря. Сотники, которые безмолвно стояли у него за спиной, повернулись к выходу и, держа сабли наголо, прошли сквозь ряды черной братии. Вслед за ними шел Кирша с блюдом под мышкой. За Киршей вышли из собора Геронтий и другие черные священники.

Перед собором стояли в сборе все монастырские ратные люди. Впереди их сотники Исачко и Самко.

— Одумайтесь, пока не поздно,— сказал Кирша, направляясь к воротам.

— Поздно уж! — гордо отвечал Исачко.

— У нас дума коротка: приложил фитиль, и бубух! — пояснил Самко.

— Доложи воеводе, что мы за великого государя Бога молим! — крикнул Геронтий вслед удалявшемуся Кирше.

— И мы! И мы також! — подхватили черные священники.

Тогда Самко подскочил к ним, закричал: «Кто вам велел, долгогривые, за еретиков молиться!»

— Великий государь не еретик! — прогремел Геронтий.

— Нам великого государя не судить! — подхватили черные попы.

— А! Так вы все заодно! — приступил Исачко.— Мы за вас горой, а вы к нам спиной!

— Кидай, братцы, ружье! — скомандовал Самко, обращаясь к ратным людям,— нам с еретиками не кашу варить! Пущай их целуются с стрельцами.

— Клади ружье на стену! — крикнул Исачко к часовым, стоявшим на стене,— нам тут делать нечего, лучше в Кемском зелено вино кружать.

— Любо! Любо! — закричали ратные, бросая ружья,— в Кемской!

Часовые тоже бросили свои ружья и сходили со стены.

В это время откуда ни возьмись юродивый, сел наземь между черною братиею и ратными людьми, подпер щеку рукой и запел жалобно, как ребенок:

Чижик-пыжик у ворот,
Воробышек махонькой,
Эх, братцы, мало нас,
Сударики, маненько...

— Да, мало вас останется, как мы уйдем! — засмеялся Исачко,— всех вас тут, что глухарей, лучком накроют.

Из собора высыпала вся черная братия. Впереди всех Никанор архимандрит, Нафанаил келарь и старец Протасий городничий. Увидав, что ратные покидали ружья, Никанор остановился в изумлении.

— Что это вы, братцы, затеяли? — тревожно спросил он.

— В Кемской, отец архимандрит, собираемся,— отвечал Исачко.

— Зачем в Кемской?

— Мед-вино пить.

— По старине Богу молиться, а не по новине,— добавил Самко.

— Да что с вами! — изумился архимандрит.— Кто говорит о новипе?

— Вон они все,— Самко указал на черных попов,— за еретиков молиться хотят.

— Мы не за еретиков молимся, а за великого государя,— перебил его Геронтий.

— Ну и молитесь себе, а мы вам не слуги.

— Нам на великого государя руки подымать не пристало, руки отсохнут,— пояснил Геронтий.

— Ноли мы на великого государя руки подымаем? — возразил Никанор.

— На его государевых ратных людей, все едино.

— Много чести будет всякую гуньку кабацкую царской порфире приравнивать.

Между тем келарь Нафанаил, ходя меж ратных людей, бил им челом, чтоб они умилостивились, взяли назад ружья. «Братцы! Православные! — молил старец.— Будьте воинами Христовыми, не дайте на поругание обитель божию, святую отчину и дедину преподобных отец наших Зосима — Савватия: они, светы, стоят ныне у престола Господня, ручки сложимши, за нас Бога молят, да не излиет на нас фиал гнева своего. Детушки! Воины Христовы! Постойте за святую обитель, как допреж того стояли!»

Геронтий все более и более возвышал свой трубный голос.

— Кто противник царю, Богу противится! — перекрикивал он всех своею трубою.

Никанор понял, что наступает решительная минута, и закричал к ратным людям, указывая на Геронтия и на черных попов:

— Что на них смотреть! Мечите их всех в колодки!.. Мы и без попов проживем: в церкви часы станем говорить, и попы нам не указчики: у нас един поп Бог и его всевидящее око.

Не знал тогда Никанор, что его слова «без попов проживем» послужат источником того исторического явления в русской жизни, которое выразилось в «беспоповщине»,— явления необыкновенно живучего [8].

Ратные кинулись на Геронтия и на всех черных попов и почти на руках стащили их в монастырскую тюрьму. А юродивый продолжал сидеть на земле и, раскачивая своею лохматою головою, жалобно причитал:

Эх, братцы, мало нас,
Сударики, маненько...

XI. ВОРОВСКОЙ АТАМАН, СПИРЯ БЕШЕНЫЙ

— В ту пору, еще до Стеньки Разина, гулял на Волге воровской атаман Спиря, по прозванию Бешеный. Уж и точно что бешеный был! Такого я отродясь не видывал. Да и как его земля-матушка держала! Да она, поди, земля-то, и не примет его, окаянного! Был он родом из детей боярских, да только царской службы не служил, царским воеводам пятами покивал, и был таков: все считался в нетях, а братья его, у него было их четверо, все были в естях. Каждую весну собиралась его станица понизовой вольницы: как весна, так и кличет клич: «Эй вы, голые и босые, кнутом сеченные, катом меченные, холопы боярски и рейтары царски! Валите в мою станицу, по Волге-матушке гулять, зипуны добывать!» Ну и сыпанут к ему голутвенные да отчаянные, что осы на мед. А станы его были по Волге по всей, и в Жигулевых горах, и под Лысковом, и под Макарьем, и пониже Саратова, и повыше Царицына. Соберется это станица Спирина, не одна сотня голутьбы, не две и не четыре, а в тысячу шапок и больше того, соберется эта галичь, а косные лодочки у него давно готовы, вверх пузом лежат по жигулевским яругам, слетелось воронье драное да рваное, кто с ружьем, с ножом за поясом да за онучкой поворозкой, кто с кистенем, а кто и просто с дубиной да осиной, возьмут в руки яровы весельца, грянут весновую службу, ну и пошла строчить строка кровавая: как к городу либо к боярской усадьбе, и пошел по крышам да по подклетью летать «красный петух», красными крыльями до неба машет, «кукарску» поет от зари до зари. А Спиря кричит: «Добывай, братцы, зипуны с плеч боярских да с подьячих, крапивного семени, а коли зипуны не посымаются с плеч, с кожей сымай!» Хоть и боярское отродье сам-от атаман, а готов был всех бояр да подьячих в ложке воды утопить и эту воду выпить.

— Насолили, должно, эти бояре ему.

— Был пересол, это правда. Бегал он однова от службы, в нетях был, это еще смолоду, когда только женился: с год эдак пожил с женой, ребеночка прижил с ею, дочку, а тут вести пришли, чтоб все дети боярские в поход снаряжались. Братья-то ево в естях объявились, а он в нетях, на низы, на Волгу сошел. Долго ли, коротко ли нетовал, а об молодой жене не забывал,

все тянуло его повидать ее и с дочкой. Вот однова он и нагрянь в свою вотчину, да ночью, чтоб никто из холопей не видал да воеводе не донес. Приходит. Дело было летом. Так да эдак, пробрался он к своему двору, прополз садком к светелке, где жила его жена. Коли слышит, под ракитовым кустом что-то шушукает. Он по-за кустом, словно еж, пробрался да и слушает... «Настенька,— говорит,— разлапушка, а что,— говорит,— коли твой постылый из нетей воротится?» — «Не знаю,— говорит она,— соколик мой, что и будет со мной: останется одно,— говорит,— со крутого бережочка да в Оку реку».— «Что ты! — говорит он.— Не моги и думать об этом! Мы,— говорит,— лучше сделаем его в нетях на веки вечные».— «Как же это? — говорит она.— А коли придет?» — «Тут-то мы ему нетей и поднесем: так на тот свет в нетях и уйдет». А он все слышит. «А,— говорит,— змея подколодная! Так я же вас в нетях сделаю, а сам останусь в естях». Да тут же и положил их на месте. Его бросил под кустом, а у нее голову отрубил и унес с собой.

— С кем же это она, подлая, снюхалась?

— С его ж воеводой, с Мышецким князем.

— Поделом им.

— Поделом! Эх ты рыбин сын! А сам нешто не нюхал чужих жен?

— Нюхать нюхал, да не попался.

— То-то! А попадись-ка...

— Да полно спорить, дядя Серега, сказывай дальше... Ну, отсек ей голову?

— Отсек голову да и приносит к своим молодцам, на Волгу. «Смотри,— говорит,— братцы, какова у меня женушка красавица! Соскучился по ее красоте, да вот,— говорит,— и принес с собою». А она, сказывают, точно была красавица. Вот он велел молодцам заострить палю осинову, взоткнул на палю голову женину да и говорит: «Плюйте, братцы, атаманской жене в мертвые очи». Как сказал, так и сделали молодцы: каждый подходил к мертвой голове и плевал ей в лицо, а иной, горяченький, так и пощечину давал покойнице. Натешившись такою забавочкою вдоволь, и ну лютовать Спиря! Уж и лютовал же! Лет пятнадцать — шестнадцать ни проходу, ни проезду не было по всему низовью, а особливо доставалось боярам да воеводам. А голову женину не оставил на пале, а взоткнул ее на

таманской лодке, на мачту: так с жениной головой и лютовал по Волге. Я сам эту голову видел...

— Что ты, дядя! Как!

— Костяк один белел на мачте: мясо-ту и глаза и всё черви съели, а волосы ветром разнесло, и остался только голый череп да челюсти с белыми зубами... В ту пору у нас с ним бой был на воде, на Волге. Уж и чёсу же он нам задал! Всех перебил, что было у нас стрельцов, да перетопил, и воеводу Беклемишева на мачте под жениной головой повесил. Меня в ту пору Бог спас, доплыл до берега, да из-за кустов уж, из-за верболозу, и видел, как воеводу вешали.

— А что после с им, с этим Бешеным Спирей, было?

— А было то, что никому не дай Бог... Гулял он эдак десятка полутора годков по Волге, перегубил душ христианских несосметимое число, да и говорит одинова молодцам: «Скучно мне, братцы, без жены... Вон женушка моя высоко живет, не достать ее, а вдовцом мне стало тошно жить: либо жену добыть, либо в Ерусалим итить, либо в Соловки посхимиться; а то так мне жить опостылело,— говорит,— и кровь-де христианская не радует».— «Ладно,— говорят молодцы,— исполать тебе, батюшка атаманушка, Спиридон Иванович: умел нас в люди вывести, нарядить в зипуны да кафтаны цветные, сослужим и мы тебе службу, добудем полюбовницу, да такую, чтобы краше ее на Руси не было». И махнули в верховые города, благо все низовье облупили дочиста и всех баб и девок и дочерей воеводских перебрали. Долго ли, коротко ли рыскали они по верховым городам, коли приезжают в стан и привозят атаману такую красавицу, какой и в сказках не бывало, боярскую дочь из-под Мурома. Как увидал атаман ее, так и задрожал: словно то была его жена покойница, только еще краше. Жаль ему стало бедной, в первый раз пожалел душу христианскую и говорит: «Жаль мне тебя, красавица боярская дочь, я хочу-де воротить тебя к отцу-матери: кто-де будут твои отец, матушка, какого-де ты роду-племени?» — «У меня,— говорит девица, а сама плачет,— у меня нет ни батюшки, нет ни матушки: я-де кругла сирота».— «А кто были,— говорит он,— твои родители и откедова ты родом?» — «Я,— говорит она,— из-под Мурома, из роду Хилковых...» Атаман так и вскочил, как обожженный. «Хилковых!» — «Да,— говорит,— Хилковых».—

«А которого Хилкова?» — «Спиридон Иваныча»,— говорит она. «Так ты Оленушка?» — говорит, а сам весь дрожит. «Оленушка»,— говорит она и сама руки ломает. «Так вон,— говорит,— посмотри на мачту,— а на самом лица нет,— смотри, что-де видишь?» Девица взглянула вверх, да так и помертвела. «Это,— говорит он,— твоя матушка родима — это я-де убил ее и голову взял с собой, по Писанию: «Бог-де соединил, человек да не разлучает». Девица молчит — чуть жива. «А знаешь,— говорит он,— Оленушка, кто я тебе довожусь?» Она молчит, только дрожит, что осиновый лист. «Я,— говорит он,— твой родитель, Спиридон Иванов, сын Хилков, а ныне воровской атаман Спиря Бешеный, хотел взять тебя, дочь свою родную, себе в полюбовницы...» Да как схватит себя за волосы, да как захохочет!.. А она-то, уж и Бог знает, что с ней сделалось, как глянет на мачту-ту, на материну голову, да на отца, как тот, с горя должно, сбесился, да перекрестилась, да со всего размаху в Волгу...

— Что ты! Ах, бедная сиротка! Ну, и что ж?

— Только пузыри пошли...

— И не пымали?

— Где пымать!

— Ну, а он?

— Он хотел было туда ж за дочкой, да молодцы не пустили, связали... А там, как пришел в себя, достал с мачты женину голову и был таков!

— Как? Пропал?

— Пропал без вести. Одни сказывали — в Ерусалим пошел молиться, другие — что утопился.

— Я здесь! Я — Спиридон Иванов, сын Хилков, не пропал и не утоп! — раздался вдруг словно из-под земли глухой голос.— Здесь я!

Стрельцы оцепенели от этого голоса и от этих слов. Они сидели в окопах, подведенных почти к самым монастырским стенам, и отдыхали после земляных работ, готовясь к приступу на следующее утро и слушая рассказы бывалого человека, старого стрельца, не раз бившегося на Волге с понизовою вольницею, в том числе с шайками атамана Спири Бешеного, а потом попавшего в водоливы к Стеньке Разину. Самый рассказ Чертоуса — так звали старого стрельца — подготовил слушателей к чему-то страшному, и вдруг этот подземный голос!.. Многие из стрельцов крестились, с испугом озираясь кругом; другие вскочили, чувствуя,

что подземный голос выходил как будто у них из-под ног...

— Чур! Чур! Чур! Наше место свято! Ох!

— Аминь! Аминь! Аминь! Рассыпься!

— Помилуй мя, Боже, по велицей... охте мне!

Под покровом вечерних сумерек стрельцы, сидевшие за окопами, не заметили, как во все время рассказа Чертоуса из-за камня, нависшего над морем, и из-за древесных корней и зеленого моха смотрели два блестящих глаза, по временам вспыхивавшие, как у собаки, зеленым фосфорическим блеском.

— Это нечистый дух либо водяной,— говорили иные стрельцы, глядя на воду и невольно вздрагивая.

— Нет, это е в о душа бродит, земля е в о не принимает,— пояснил Чертоус.

— То-то! Не надо было поминать его не в добрый час.

— А как было знать его! Кабы знатье — вестимо что...

Где-то в ночной тишине заплакала чайка... Что-то проснулось в воде... Опять словно плач протяжный над морем, и опять тихо...

— Это, поди, она плачет чайкою, Оленушка, что утопла...

— Матушка! Матушка! — окликает Оленушка Неупокоева спящую мать.

— Ты что, дитятко? — спрашивает сонный голос.

— Мне страшно что-то.

— Чего страшно, глупая? С нами крестная сила.

— Вон кто-то за окном царапается.

— То голуби спросонья крыльями.

— А это кто плачет?

— Чайка, али не слышишь?

— Да, слышу, чайка.

— Что ж ты не спишь?

— Я сон видела... я летала над морем... лечу это и стала падать в море, ух!

— Это к росту, глупая.

— А меня из воды Спиря вытащил...

— Ну, чего ж еще! Перекстись истово, сотвори молитву Исусову и спи.

— Жарко... в окно кто-то глядит...

— Что ты! То бузиновая ветка... Придвинься ко мне ближе и баинькай, глупая...

— Ох? Что это!..

Это грянула с сторожевой башни вестовая пушка, и глухой гул ее, казалось, отскочив от монастырских зданий, покатился по морю. Вздрогнули кельи, и сонный монастырь ожил: и ратные люди, и черная братия спешили к монастырским стенам, крестясь и спрашивая друг друга, что случилось, хотя каждый догадывался, что случилось что-то недоброе.

В самом деле, над монастырем висела страшная опасность. Стрельцы, сделав в одном месте подкоп, под защитою которого они могли подобраться под самую стену, и протащив туда до десяти лестниц, ночью приставили эти лестницы к стенам, плотно, лестница к лестнице, и, пользуясь сном часового в этом месте, полезли на стену. Так как лестницы приставлены были одна бок о бок к другой, тесно, чтобы на одном этом пункте сосредоточить силу нападения и стойко выдержать сопротивление на стене, в случае если монастырь вовремя проснется, то казалось, что на стену взбиралась сплошная масса людей, сверкавших в темноте бердышами. Монастырь был на краю гибели. Уже верхние стрельцы, во главе которых взбирался старый Чертоус, почти касались верхушки стены. В монастыре была мертвая тишина, все спало.

Не спал один человек: это был Спиря юродивый. Из своей подземной засады, из «печерушки», он высмотрел, что враги подкопались под самую стену. Он видел, что готовится что-то. Когда он из своей засады, напугав стрельцов словами «я, Спиридон Иванов, сын Хилков, здесь», пробрался в монастырь и оттуда на стену, он увидел, что лестницы были уже приставлены и стрельцы взбирались по ним. Выждав, чтобы они подобрались выше, он разбудил часового, стоявшего у вестовой пушки, и, велев ему приложить фитиль к затравке, остановился у самого края стены.

Пушка грянула... Дрогнули лестницы, сверху донизу покрытые стрельцами, и стрельцы дрогнули. Подняв головы, они, при свете северной весенней ночи, с ужасом увидели наверху, над самыми их головами, страшного человека с черепом в руках...

— Я, Спиридон Иванов, сын Хилков, здесь, а вот женина голова! — раздался знакомый стрельцам голос, который еще недавно привел их в ужас.

Вслед за возгласом сухой костяк черепа с треском ударился в голову Чертоуса.

— Ох, батюшки! Мертвец! Это он! — И Чертоус навзничь полетел с лестницы.

Неожиданный пушечный выстрел, страшный возглас со стены, отчаянный крик Чертоуса произвели общее смятение: на стрельцов напал ужас; они падали с лестниц, сбиваемые верхними товарищами и увлекая нижних...

— Батюшки! Мертвецы на стене! Нечистая сила! — слышались испуганные крики.

За ними следовали стоны падающих, нарывающихся на острия копий и бердышей. Стрельцы, раненые и здоровые, падали один на другого, давили раненых, душили своею тяжестью здоровых, упавших раньше. Кучи народу, кричащего и стонущего, барахтались под стенами. А на стенах не умолкал страшный голос:

— Я здесь! Сарынь на кичку! Го-го-го-го! Здесь-здесь я!

Когда монастырские ратные люди и черная братия, всполошенные вестовою пушкою, выбежали на стену, те из стрельцов, которые не были ранены при падении или не получили никаких тяжких повреждений, успели спрятаться за окопы, а те, что были ранены или тяжко ушиблись, отчаянно метались под стеною и стонали.

Старый Никанор, выбежавший на сполох в одном подряснике и босиком, поняв, в чем дело, широко перекрестился и поклонился юродивому.

— Господь Бог наградит тебя на небесах, и святая обитель будет молиться за тебя вечно! — сказал он, целуя руку юродивого.

Но этот вырвался и побежал к лестницам.

— Ох-ох-ох! — кричал он.— Головушка моя упала! Охте мне, оо!

И он стремительно стал спускаться со стены по лестнице. Все с недоумением смотрели, что из этого будет. А что, как стрельцы опомнятся и схватят его? Но юродивый недолго оставался под стеною: он поднял что-то с земли и снова стал взбираться по лестнице. В руках у него оказался знакомый всем череп...

Скоро ратные люди встащили на стену все лестницы осаждающих. Ударил колокол, и братия сыпанула в собор, словно пчелы в улей, служить благодарственный молебен.

XII. ИСПОВЕДЬ КНЯЗЯ МЫШЕЦКОГО

После такого вторичного, неудачного приступа осада монастыря снова затянулась на неопределенное время. Воевода Мещеринов, опасаясь, что за этим проклятым соловецким сидением его русая головушка успеет подернуться инеем седины, а кемская попадейка состареться, бил челом о подмоге ратными людьми, и к нему прислали в помощь около восьми сот свежих стрельцов, двинских и холмогорских. Поглядели и эти стрельцы на серые стены, по которым от времени до времени двигались темные тени, посмотрели, покачали головами и в душе пришли к тому же заключению, что и прежние: «За что, мол, про что старцев божиих тревожат? Вон как голосно за стенами звонят святые колокола, молятся, знать, старцы, не дурно какое чинят, а Богу работают... вон и голубки над монастырем полетывают и ластушки-касатушки вокруг церквей пореивают, таково хорошо там, а мы разорять их пришли... али мы нехристи?»

И потянулась вялая, неохотная осада, потянулось бесконечное время. Лето же, как назло, выдалось жаркое, душное, марящее, какое только способен создать сырой, водянистый север. Стрельцам почти постоянно приходилось проводить время в окопах, в сырых и душных землянках, и только по ночам они могли выползать из своих берлог, чтобы подышать воздухом; а то покажись только днем, так со стен монастыря, того и гляди, угостят пулей, а соберись стрельцы кучкой, так и галанскими орехами черная братия попотчует. И из-за чего, думалось стрельцам, вся эта истома? Чем провинились старцы? Что крестом-ту истовым крестятся, не щепотью, так вина эта не больно винная: эта вина не в вину. Недаром отцы и деды двумя персты крестились: а они были не глупее сыновот да внуков своих. Да и то сказать: так оно от старины повелось, так бы ему и стоять. Дак нет! Завелись умники: знаем-де, на чем свинья хвост носит. Эко диво! Али московские чудотворцы: Петры, Лексей, Иона и Филипп щепотью крестились, что в святые угодили, у Христа в переднем углу сидят? Да и кто ныне пристал к этим новинам? Али люди? Самые что ни на есть дрянные людишки, вот кто пристал к новинам этим. Кому все равно, как ни молись, тот на эти новины пошел, кто и в церкву-то мало хаживал, али

кому выслужиться захотелось, на виду стать, вот кто эти новинники. Статочное ли дело свою веру менять! Кто в своей вере не крепок, тот царю, как и Богу, плохой слуга: дурно у него на уме, корысть, а не вера. Стояла допрежь сего Русь на двух перстах, а как она будет стоять на трех, про то бабушка надвое сказала. Вот хотя бы взять самих нас, стрельцов. Ноли мы не христиане были? Ноли мы за церковь да за великого государя не стояли? Мы и теперь стоим, да только хромлем, вот что! Мы крест целовали служить великому государю верой и правдой: мы крест целовали по-старому, истово, на двух перстах, а не на трех. А теперь велят молиться трюми персты. Али это дело? Ну, и молимся супротив шерсти, велено, так не ломать же крестного целованья в угоду сатане. А сунься-ко дома с трюми персты, так бабы стрельчихи рогачами ребра пересчитают, а то и хуже: на постель тебя баба к себе не пустит. Баба не то что наш брат мужик: нам, случается, и лба недосуг перекрестить, а баба ни-ни! Баба божья работница, баба блюдет старую веру и соблюдает ее. А поди заставь бабу креститься по-новому, так она и скажет-засъ! А то на! Старцы вон нам поперек дороги стали, чудеса, да и только.

Так рассуждали стрельцы своим простым умом, не догадываясь, конечно, что эта неразумная борьба против родных братьев, оставшихся верными старой обрядности, протянется на столетия, что она станет источником великих преступлений и бесчеловечных жестокостей со стороны тех, которых старцы называли «дрянными людишками», что эти «дрянные людишки» прольют потоки русской крови, и прольют бесплодно, что, наконец, это «соловецкое сиденье» растянется на сотни лет и что в этом «сиденьи» очутятся не одни соловецкие старцы, а целая половина России: эта половина России, так называемые «раскольники», «старообрядцы», которые в конце концов все-таки останутся победителями, потому что Россия, слава Богу, начинает уже понимать, что борьба ее с расколом обошлась ей дороже всех войн, начиная с Отечественной войны 12-го года и с крымской и кончая последней турецкой, что в войне с расколом Россия потеряла не пять и не десять мильярдов, а тьмы тем их, а все-таки не взяла ни одной раскольничьей Плевны, говоря иносказательно, и не возьмет: «соловецкое сиденье» будет продолжаться вечно, если Россия не снимет осаду с раскола

и не прекратит своей «отечественной войны» с людьми старой обрядности, которая, как всякая обрядность, а тем паче религиозная, тем правее и чище, чем она консервативнее, так сказать, археологичнее...

С своей стороны, осажденные в простоте своей души верили еще более, что дело их правое и что за гонимый «аз» и за «матушку алилую» они готовы мученический венец принять. Поэтому, когда черные попы с Геронтием во главе заупрямились было, говоря, что царскому воеводе не следует противиться, что хотя ни «батюшкой азом», ни «матушкою сугубою алилуею», ни тем паче двумя персты поступаться не надобет, бо еже и наглую смерть прияти, однако же «кесарева кесареви» воздати подобает и противу царского рожна прати не приходится, так, когда черные попы и Геронтий высказали подобный взгляд на дело, братия, продержав их под караулом четверо суток, на пятые выбросила за ворота, аки древо посохшее, бурелом негодный, и решила без попов выдержать бурю до конца. «Мы-де старые дубы,— говорил Никанор,— постоим за себя, а исповедоваться будем не попам, а самим себе да Господу Богу: вон Он, Батюшка, на все взирает оком своим, и на дубы великие, и на кедры ливанские, и на крины сельные[9], что в травушке-муравушке растут: и они, эти крины, самому Господу исповедуются, так нашей ли исповеди не примет Батюшка Свет!»

Вон в одной келье, на жестком деревянном ложе, на которое брошена кошемка, мечется в жару старый чернец. Густые, с сильной сединою волосы, растрепанные и местами сбившиеся, словно неваляная и немытая шерсть, падают на лицо и на раскрытую грудь, на которой видно большое серебряное распятие. Разметанные члены, широкие костлявые плечи и грудь изобличают, что когда-то это была мощная фигура. Горбоносое с высоким лбом лицо, глаза, теперь болезненно притухшие, очертание губ, подбородка — все невольно подтверждает давно ходившую в монастыре молву, что чернец Зосима, который теперь мечется на болезненном одре, не простой черныш, не худородный, а роду княжеского, только каких князей, никто не знал: он давно пришел в монастырь, внес богатый клад в монастырскую казну золотом, серебром и дорогими камнями и постригся под именем Зосимы, тезкою стал преподобному Зосиме — Савватию.

Несколько дней тому назад старец Зосима и Спиря юродивый, ревнуя об освобождении святой обители от нового Мамая — так величали воеводу Мещеринова эти два старца,— забрали себе в голову смелую мысль: пойти по стопам приснопамятных иноков Пересвета и Осляби и так или иначе добыть нового Мамая. Для этого они ночью вышли из монастыря и, никем не замеченные, добрались до стрелецкого стана. Стрельцы спали. Спали даже часовые. Зосима и Спиря подползли к палатке воеводы и только было хотели войти под полог, как проснулась спавшая у самого входа в палатку воеводская собака, залаяла на ночных посетителей и разбудила воеводу. Озадаченные неожиданностью, старцы хотя тут же разрубили бердышом череп собаки, но, услыхав тревогу во всем лагере, должны были поспешить назад в монастырь... Из воеводской палатки раздался выстрел, и Зосима, вскрикнув и схватившись за бок, был подхвачен сильными руками юродивого.

Зосима находился между жизнью и смертью. «Безребрая», как выражался Исачко сотник, уже махала косою над головой раненого, только Спиря «ей, шельме, тертого хрену подносил», и она бегала от божьего человека, как черт от ладану.

Окна в келье открыты, чтобы легче дышать больному. Откуда-то, должно быть с монастырской стены, доносится полупьяное напеванье:

> Ах, ты шапка, ты шапка моя.
> Одново сукна с онучею...

Это Исачко, от скуки подвыпивший, сидел на затинной пищали, глядел на море и мурлыкал свою любимую песенку «про шапку»: ратным людям дозволялось выпивать вне правил монастырского устава об «утешении».

«Ти-ти-вик! Ти-ти-вик!» — пропискнула ласточка.

Спиря, сидевший около раненого в глубокой задумчивости, поднял свою косматую голову. Ласточка, влетевшая в окно, села на засохшие прутья освященной вербы, заткнутые за образа, и поглядывала своими изумленными глазками.

Раненый открыл глаза и блуждал ими по потолку.

«Ти-и-вик! Ти-и-вик!»

— Это ее душенька,— как бы про себя пробормотал раненый.

— Чья? — спросил Спиря тихо.

— Ейная... она за мною прилетела.

Спиря перекрестился. Снова тихо в келье. Косые лучи солнца сквозь открытое окошко падали на лежавшее на маленьком аналое, рядом с Евангелием, распятие. Там же лежал и знакомый нам череп.

— Кровь... все кровь... лужи крови... и на траве кровь... на кустах... солнышко встало, и оно кровавое... А она разметалась... лежит... а головы нет... где голова? Кто ее унес?.. Он сам унес... Господи помилуй!

Это раненый не то бредит, не то вспоминает что-то. Вздрогнул юродивый, слушая эти непонятные слова, глянул на череп: и на нем играли косые лучи солнца.

Ласточка снялась с вербовых прутьев, покружилась по келье и с писком выпорхнула за окно. Раненый открыл глаза.

— Это к моей смерти,— сказал он и поглядел на юродивого осмысленными глазами.

— В животе и смерти Бог волен,— отвечал последний.

— Нет, мой конец пришел... «конец приближается»... Будет, пожито... гораздо пожито...

Раненый перекрестился и снова взглянул на юродивого.

— Не хочешь ли испить?—спросил последний.

— Хотел бы...

Юродивый поднялся, чтобы подать кружку с питьем.

— Нет, не того,— отрицательно покачал головою больной.

— Чего ж тебе?

— Крови бы пречистой...

Юродивый посмотрел на него с удивлением: не бредит ли де? Нет, не бредит: глаза глядят разумно, жар прошел.

— Христовой бы кровушки перед смертью,— пояснил больной.

— Причаститься захотел?

— Да, душа алчет и жаждет... Исповедай меня, брате святый.

Юродивый задумался. Он вспомнил слова архимандрита, когда изгоняли из монастыря Геронтия с попами, «будем друг у дружки исповедываться, перед лицем Господа, как крины сельнии исповедуются»...

— Добре, брате. Кайся Господу,— сказал он и встал.

Затем, встав перед аналоем на колени, он начал читать предысповедную молитву. Больной тихо повто-

рял за ним. «Се ми одр предлежит, се ми смерть предстоит, суда Твоего боюся»,— слышались молитвенные слова, которые перебивал доносившийся со стены монотонный напев:

Ах, ты шапкя, ты шапкя моя...

— Великий грех у меня давно лежит на душе, тяжкий грех! Ох, какой тяжкий! — начал больной после молитвы.— Сорок лет, словно жернов на шее, волоку я этот грех и доволок до могилы. Ни днем, ни ночью, ни во пиру, ни в беседе, ни за четьем-петьем церковным, ни за келейною молитвою не отваливался от моего сердца этот горюч алатырь-камень. Вот так и стоит она передо мною, кровавая, и шепчет: «За что погубил меня? Куда ты девал мою голову?» Ох, тяжко! Смертушка моя, как тяжко!

Он помолчал, как бы собираясь с силами. Юродивый тоже молчал, хотя губы его шевелились. Ласточки задорно щебетали за окном, как будто силясь одна другую переговорить, словно бы у них шла речь о предметах такой важности, как сугубая алилуя.

— Был я княжово роду, воеводин сын княжич и воеводич,— продолжал больной, тяжело вздохнув.— Рос я в холе и воле, не ведал сызмальства ни судержу, ни суперечины, был батюшковым любимым сынком, а у матушки мизинчиком. Таким и вырос, таким и до окаянства дошел. Из воеводича и княжово сына я сам стал воеводою и князем: лет сорок тому будет, как я воеводою назначен был. Послан я был в те поры на воеводство в Муром...

— В Муром! — изумленно перебил его юродивый.

— В Муром... И спознался я в те поры с некоею женою благородною. Муж ее числился в моем полку, да только все обретался в нетях. И как спознался я с тою женою, и нача мя искушати бес, нагнал на меня слепоту и окаянство лепоты ради женки той: «Убей,— говорит,— мужа и возьми себе жену». День и ночь в бдении и тонце сне не отходил от меня бес: «Изведи да изведи мужа того».

— Муж тот был из роду Хилковых? — спросил юродивый глухим голосом.

Больной испуганно приподнялся на своем ложе и так же испуганно глядел на юродивого.

— Ты почем знаешь, что он был Хилков? — спросил он в свою очередь.

— Знаю,— был короткий ответ.— Кайся дале...

Голова больного снова опустилась на изголовье, и он глубоко вздохнул.

— Вижу, что тебе Бог все открыл,— продолжал он более покойным голосом,— и мое покаяние дойдет до Бога с твоими молитвами, человече святый.

— Не говори этого,— строго перебил юродивый,— я — сосуд сатанин, и грехам моим несть числа.

— Ин будь по-твоему....— больной снова тяжело вздохнул и продолжал: — Обошел меня бес, распалилась плоть моя окаянная, и я положил в душе извести того человека.

— Спиридона Иванова, сына Хилкова, мужа Настенькина? — подсказал юродивый.

— Ты и ее знаешь? — вздрогнул больной.

— Знал... ну?

— Ну, и пришел я к ней однова ночным временем, и утаились мы с нею в саду, и стал я ее к своему злому умыслу приводить, чтоб Спиридона извести... И вдруг словно архангел мечом поразил меня... Дальше я ничего не помню: опамятовался уже я утром, когда солнышко взошло, и увидел около себя ее...

— Настасью Хилкову?

— Настасью; увидел ее на траве мертвую, а голова у нее от туловища отрезана и где девалась, неведомо...

— Вот она! — неожиданно сказал юродивый и поднес к больному череп.— Смотри, узнаешь?

Больной глядел испуганно, ничего не понимая. Он посмотрел в глаза юродивого: в них теплилось что-то кроткое и тоскливое.

— Это она, Настенька, моя жена, а твоя бывшая полюбовница... Поцелуй ее теперь, как в те поры целовал, князь Захар, княж Остафьев, сын Мышецкой...— это говорил юродивый, поднося к губам больного страшный костяк...

На лице больного изобразился ужас. Челюсти его дрожали. Дрожали и волосы, прилипшие к потным вискам.

— Кто ж ты сам? — шепотом спросил он, отворачивая лицо от отвратительного костяка.

— Я — Спиридон Иванов, сын Хилков, боярской сын и воровской атаман, а ныне соловецкой трудник.

Больной застонал и лишился сознания, а юродивый, став на колени перед аналоем, шептал: «Господи! Прости ему, не вмени ему во грех...»

А со стены доносилось бессвязное пение:

Одново сукна с онучею...

Ласточка опять влетела в окно, села на сухих прутиках вербы и весело пропискнула... Должно быть, к покойнику...

XIII. РОКОВЫЕ КАЧЕЛИ

К западной стороне монастырской ограды, за поварнею, на втором дворе, где находились сушилы, поставлены новенькие качели. Соорудил их все тот же великий худог, городничий старец Протасий, для общей любимицы Оленушки. Скучать стала Оленушка в монастырских стенах, в этом нескончаемом осадном сидении, так заскучала, что даже с лица спадать стала, алый румянец со щек, словно заря с зимнего студеного неба, сбегать начал, и стала она то на молитве в церкви задумываться, то по целым часам сидела на завалинке у своей кельи, глядя неведомо куда; то замечали старцы, что у нее будто глаза заплаканные и смех не так звонок. И стало жаль старцам своей «девыньки мизинчика», своего монастырского «серебряного колокольца», что звонил своим серебряным голоском среди угрюмой скитской тишины, и надумали старцы устроить для своей любимицы забавочку, качельцы в ограде поставить. Хотя бы оно и зазорно монастырю такую затейку затевать — качели ставить в стенах святой обители, да еще и в осадном сиденьи, только ведь не для братии была эта затейка, для отроковицы невинной. «Она-деи, отроковица, пред Богом светла и чиста, аки свечечка воскояровая пред образом,— говорил старец Протасий,— так пущай-деи качается душенька отрочате на качельцах, что кадильцо пред Господом: не возбраняйте-деи сим ничто же, сих бо есть царствие Божие...» Старец Протасий любил поговорить от Писания, хотя и знал всего-то Писания от «мал бех» да до «лядвия моя наполнишася поругания», а на «слово-титлах» всегда спотыкался...

Вот и соорудил старец Протасий для Оленушки качельцы, да такие ли знатные да пестротою измечтанные: по белому столбу да полоса синя, да полоска красна, да опоясочка лазорева, а там опять синяя, да лазоревая, а дале зеленца подпущено, да алые зубья, да киноварь, ажно глаза рогом лезут, как долго поглядишь на эту пестрину наглостную. А веревочки старец

приладил аховые, пенька новгородская первый сорт; а чтоб ручки Оленушка не потерла об новгородскую пеньку, старец Протасий не пожалел своей старой бархатной скуфейки, изрезал скуфейку и обшил ею те места веревки, за которые должны были держаться нежные Оленушкины ладонки. И сиденье вытесал старец гладкое, дубовое, из той доски, что на гроб себе смиренный Протасий припас, да излишек остался, испостился и высох так старец, что гроб надо было переделать в узенький гробишко, а от крышки гробовой можно было отпилить лишки на Оленушкины качельцы. Зато и рада была Оленушка: так и повисла на сухой шее добренького дединьки Протасьюшки и так расцеловала его бледную лысину, что инда краска на ней выступила... «То-то молодешенько-глупешенько»,— шептал старец, смахивая шальную слезу с ресницы и вспоминая что-то очень далекое и очень милое, подернутое серою пеленою времени. А на верху качелец старец Протасий крестец малый водрузил из древа кипарисового, да крестец истовый, осмиконечный: «Оно дело-то прочнее живет, коли оно по-божески строено, коли сго крестец святой осеняет, так-ту, девынька...»

И вот теперь «девынька», окрашиваемая косыми лучами заходящего солнца, качается на своих пестрых качельцах, словно русалка на гибких ветвях плакучей ивы. Оленушка качается тихо, сидя на дубовом сиденье и слегка придерживаясь руками за веревки. Плавно скользит длинная тень ее по зеленой мураве монастырского двора, перекидываясь с травы на белую стену поварни. Так же плавно вместе с Оленушкой двигается, раздуваясь в воздухе, подол ее голубого сарафанчика, из-под которого выглядывают белые чулочки и малиновые юфтовые, казанского шитья, черевички. Вслед за нею реет в воздухе своими длинными двумя концами ярославская лента, вплетенная в русую косу. Оленушка качается как бы машинально, потому что лучистые глаза ее то безмолвно и задумчиво глядят неведомо куда, то так же задумчво опускаются вниз...

А внизу, на траве, оперщись спиною о столб качельный, сидит молоденький служка Иренеюшка, тот самый, что на святках плясал в поварне за бабу, и плетет корзинку из сухих морских водорослей. Черная скуфейка его брошена на траву, а черные, как вороново крыло, густые и длинные волосы, спадая на спину и плечи, заставляют думать, что это сидит девоч-

ка с распущенной косой. Он по временам поднимает свои черные, с большими белками, ласковые глаза на качающуюся девушку и снова опускает их на работу.

— И тебе кручинно здесь в монастыре?—спросила девушка, по-видимому, продолжая начатый разговор и не глядя на своего собеседника.

— Так кручинно, так уж кручинно, что хуть в море, так впору,—отвечал последний, не поднимая головы.—Уж бы скорей стрельцы нас взяли!

— Ох, что ты!—испуганно прервала его девушка.

— Что! Все легче, нечем так-ту.

Оленушка ничего не отвечала; она только тяжело и продолжительно вздохнула. Над монастырем пролетела чайка и словно бы проплакала в тихом воздухе.

— Вон ей лучше... она птица, а не человек,—как бы про себя проговорил Иренеюшка.

— И то правда,—согласилась девушка и снова вздохнула

Из-за ограды, должно быть, с берега, ясно доносились слова заунывной песни:

Что кукует кукушечка и день и ночь,
Ни на малый час перемолку нет...

— И стрельцы поют... у них весело,—тихо проговорил Иренеюшка.

Оленушка не отвечала: она вслушивалась в пение, голос такой хороший, кручинный...

Разорил сокол ее гнездышко,
Разогнал ее малых детушек,
Малых детушек, кукунятушек.

— Эх! Умереть бы, Господи!

— Что ты! Что ты, Иренеюшко!

— Э! Ноли так-ту маяться!

Девушка перестала качаться. Глаза ее упали на черную, низко наклоненную голову молодого послушника.

— Для чего же ты пошел в монастырь, коли теперь...—спросила было она и не договорила.

— Меня матушка отдала,—грустно отвечал юноша.

— За что?

— А так... за батюшку... Богу посвятила...

Оленушка глядела на него с удивлением: она не понимала того, что говорил он.

— Богу? Как посвятила?

— По обету... обет такой дала, давно, я тогда был еще махеньким... Батюшку в те поры послал царь с ратными людьми на воровского атамана, на Стеньку Разина...

— А кто твой батюшка? — спросила Оленушка, заинтересованная словами юноши.

— Барятинский князь, Юрье Микитич...

— Так ты княжич? — спросила изумленная девушка.

— Был княжич, а ноне служка... кошели плету.

Голос у юноши дрогнул... Задрожали пальцы, которыми он сплетал гибкие нити морской травы.

— Ах, бедненький! — невольно вырвалось сожаление у Оленушки.— Как же это матушка твоя отдала тебя сюда? И не жаль ей было?

— Жаль; да что поделаешь? Богу обещала, коли-деи Бог воротит батюшку из похода жива, так отдам-деи Богу сына... Ну и отдали. Стенька-то уж больно страшен был... Как батюшка ушел из Казани против Стеньки к Синбирскому городу, так мы с матушкой и всей Казанью и день и ночь Богу молились.

— Что ж, воротился батюшка?

— Воротился... Стеньку на Москву отвезли и там сказнили, а меня вот сюда...

Слезы невольно брызнули из глаз юноши и полились на его жалкое плетение. Он припал лицом к ладоням и плакал. Оленушка не могла выносить этого и, соскользнув с качелей, стала на колени около плачущего юноши.

— Не плачь, Иренеюшко... не плачь, княжич,— всхлипывала она сама.

Иренеюшка заплакал еще сильнее.

— Княжич, голубчик, не плачь!

И девушка гладила волнистую голову юноши. Тот не унимался, а напротив, почувствовав ласку, услыхав участные слова, уткнулся лицом в колени и плакал навзрыд, как бы силясь вылить всю размягченную посторонним участием душу. Слезы брызнули у Оленушки.

— Господи! Да что ж это такое! — всплакалась она, силясь приподнять голову юноши.

Тот продолжал качать головой, как бы от нестерпимой боли, и не переставал плакать. Оленушка припала к нему лицом и обхватила его.

— Княжич мой! Родненькой! Не надо! Не надо, миленькой! — страстно молила она.

Он приподнял голову, не отнимая мокрых пальцев от лица. Девушка обвилась руками вокруг его шеи, прижалась лицом к его лицу и в забытьи шептала, целуя его руки и щеки: «Милый! Дорогой! Братец мой!»

Она не заметила в этом страстном порыве жалости, как его руки отнялись от лица и обвились вокруг девушки, а горячие губы бессознательно соединились... «Сестрица! Оля моя! ягодка!» — «Братец мой! Княжинька!» И губы снова сливались, слова замирали...

— Ну, вот! — как бы опомнилась Оленушка, вся красная.— Вот теперь ты не плачешь! Ах, как я рада!.. Знаешь что?

Иренеюшка смотрел на нее молча и, казалось, ничего не понимал.

— Знаешь что? — торопливо, радостно захлебываясь, говорила Оленушка.— Когда ты будешь совсем большой... который тебе год теперь? — спросила она, перебивая себя.

— Шестнадцатый,— машинально отвечал Иренеюшка.

— А мне уж семнадцать, я старше... Так вот, как ты вырастешь совсем большой, так тогда возьми и уйди из монастыря... Да, уйдешь?

Иренеюшка молча покачал головой.

— Отчего же? А?

— Нельзя... Монастырь — что гроб.

— Ну, вот еще!.. А то княжич, княжной сын, и кошельки плетет, ах!

И Оленушка звонко и весело расхохоталсь. Иренеюшка молча любовался ею. Оленушка вдруг подошла к нему и стала играть его шелковыми волосами.

— Ишь, словно у девочки коса... Ах, как смешно! — болтала она.— Дай я тебе заплету ее и свою ленту вплету в косу, вот и будешь княжна, княжецка дочь, ах!

И она повернула его за плечи и стала плести ему косу. Иренеюшка невольно повиновался шалунье, находясь под каким-то сладким обаянием, прежде им не испытанным никогда.

Черная коса была вмиг заплетена. «Вот так-ту... уу, какая большая коса-косынька!.. А теперь ленту надоть...» И она выплела алую ярославскую ленту из своей косы и вплела ее в косу Иренеюшке.

— Ах, как хорошо! — она повернула его к себе лицом.— Ах, какая хорошенькая девочка! Ах, княжецкая дочь!

Иренеюшка не шевелился, он стоял как очарованный.

— Ну, что ж ты молчишь, царевна Несмеяна! — приставала к нему Оленушка.— Ну, покачай меня.

И она, взяв его за плечи, подвела к качелям: «На, держи, а я сяду». Усевшись на дубовое сиденье и ухватившись руками за веревки, она вдруг зачастила тоненьким голоском:

Ох и ток-точки,
Уж и дайте лучки —
На баране клочки,
Перебить клочки
На полосточки,
На подметочки.

И вдруг весело засмеялась. «Качай же! Ну! Княжецка дочь, ну, живо!»

Иренеюшка повиновался: он качнул ее раз, два, в третий сильнее, и отошел в сторону... Оленушка взвилась, весело сверкая глазами...

— Ай да дедушка Протасьюшка! Ай да миленькой... Еще, еще, шибче поддай!

В это время из-за сушил показалась черная скуфейка и острая седая бороденка старца Протасия. При виде смеющегося личика Оленушки старые, запавшие, но все еще плутоватые глазки старца блеснули добротою, и он, не желая испугать ребят и помешать их забаве, снова юркнул за сушилы.

— Еще, еще, миленькой княжич! — настаивала Оленушка.

Иренеюшка снова поддал. Размах делался все шире и шире. Оленушка взлетала до самой перекладины. В воздухе раздувался подол ее сарафана да мелькали малиновые черевички да белые икорки в чулочках.

— Душечка! Еще выше! Я хочу, чтобы голова закружилась! — умоляла она.

Иренеюшка, весь пунцовый от натуги, со всего размаху толкал летающую мимо него доску, и Оленушка взвивалась все выше и выше.

— Ох, хорошо! Ох, как хорошо! Еще!

— Будет страшно...

— Нет, еще! Сердце замирает...

— Упадешь, убьешься.

— Ох, я словно в раю... голова кружится... ох, ох, падаю...— Она была бледна...

Иренеюшка схватился за доску, но она увлекла его, и он упал на землю. Сила размаха, однако, ослабела. Иренеюшка вскочил с земли и снова ухватился за доску. На этот раз он остановил ее и только хотел помочь Оленушке встать, как она без чувств упала ему на грудь. Он обхватил ее и вместе с нею опустился наземь... Голова ее упала к нему на плечо...

— Оленушка! Что с тобой! Милая!

Она не отвечала. Юноша поднял ее голову и, увидав закрытые глаза девушки, бессознательно припал губами к ее холодным губам...

— Душечка! Оленушка! Ох, господи! Она умерла! — с ужасом вскричал он, опуская на траву тело девушки.

— Кто умер! Ах! — раздался сзади чей-то испуганный голос.

Иренеюшка вздрогнул, перед ним стоял Спиря юродивый, бледный, испуганный.

— Что это! Это ты ее! — вскрикнул он не своим голосом.— Что ты с нею сделал?

— Это не я... нет, убей меня Бог, не я... она сама... она высоко качалась...

— Упала? Убилась?

— Нет... сомлела...

Юноша приблизил свое лицо к самому лицу девушки, ломая руки.

— Оленушка! Оленушка!

— Ты убил ее, окаянный,— хрипло проговорил юродивый, становясь на колени.— Ты убил ее!

— Нету, нет... я сама...

Это Оленушка: она открыла глаза и, встретив взгляд наклонившегося к ней Иренеюшки, обвилась руками вокруг его шеи...

— Это не ты, не ты, я сама... Мне ничево, милый мой! Княжич!

Приподнявшись немного, она увидела юродивого.

— Дедушка! Миленький! Не сердись, я не убилась... он, он ничевошеньки не виноват...

Юродивый быстро перекрестил ее, но, увидав ленту в косе у Иренеюшки, невольно улыбнулся и покачал головой.

— Ах вы, дурачки мои, дурачки, и сердиться-ту на вас нельзя... как есть дети,— пробормотал он и махнул рукой.

Между тем из окна поварни за всем этим давно наблюдали два черных, блестящих глаза. Лицо наблю-

давшего подергивалось злорадною улыбкой, а красные мясистые губы шептали: «А! Умеешь целоваться... да еще как, взасос! Ишь смирена, недотрога! А тут, чу, «миленькой, душечка, братец», то-то!.. Уж жив не буду, а достану тебя, кралю: будешь моя...»

XIV. «А ВСЕ ИЗ-ЗА ПУЧЕГЛАЗОЙ»

Инок Феоктист, или попросту чернец Феклиска, давно был одержим бесом Фармагеем, как выражался архимандрит Никанор. Бес этот не давал ему покоя, постоянно развертывая перед его мысленными очами соблазнительные картины то в образе толстотелых баб-кемлянок, то в образе самой Вавилкиной попадейки, тоже бабы сдобной, как папушник, то, наконец, в виде беленькой и пухленькой Оленушки, что цыпочкой семенила ножками в малиновых черевичках по самой, кажись, по душе Феклискиной. И прежде Оленушкин образ не давал ни спать, ни молиться Феклиске: так и стояла она у него поперек сердца чернецкого. Но еще, когда можно было вырваться из скучной обители в Кемской, Феклискино горе было с полагоря: заберется, бывало, удалой горюн черноризец в посад на государево кружало, маханет свою распостылую скуфеюшку под лавочку, тряханет своими «чесными власами», миганет своими буркалами бесстыжими бабе прелестнице, подопрется фертом в боки и, чувствуя в себе «криле яко голубине» и «юность яко орлю», саданет по кружалу с приговором, «по складам»:

Буки-аз-ба,
Веди-аз-ва,
Глаголь-ах-га,
Добро-аз-да! —

так кемляне только ахают, а бес Фармагей, во образе целовальника, облизывается от удовольствия. Когда же настало сплошное сиденье, когда осада обложила монастырь на лето и на зиму и когда не только в Кемской, где бабьим духом пахнет, но и за ворота нельзя было показать носа, чтоб не наткнуться на проклятых «агарян»-стрельцов, Феклиска почувствовал себя окончательно в «сени смертной» и в «юдоли плача» и стал «яко лев рыкаяй, иский кого поглотити»: конечно, бабу.

И вот тут-то бес Фармагей указал ему на Оленушку. Феклис и сам давно на нее зарился. Еще как только появилась она в монастыре, вместе с матерью и в сопровождении аглицкой немки Амалеи Личардовны Простреловой и галанского немца Карлоуса Карлоусовича, Феклис уже начал подходцы делать к светлоглазой отроковице, но отроковица по-видимому, не понимала его, не видела, как он «мережи запускал», а старая Неупокоиха очень хорошо видела, куда гнет черноризец, и держала ухо востро. Притом же самому Феклису казалось, что Оленушка слишком еще глупа и не знает, где раки зимуют. Но когда он из поварни увидал, как она с Иренеюшкой сама раков ловила под качелями, то решил во что бы то ни стало добиться своего. Но как добиться? Он об этом долго думал, раскидывал и так и сяк, пока не дошел до нового решения, и самого, казалось, верного.

Решение это стоило гибели монастырю.

Как некогда Троя погибла ради прекрасной Елены, так и «Соловецкому сиденью» приготовила трагический конец, сама того не ведая, Оленушка... Женская красота — великая сила: она миром правит...

. . . .

Все лето 1675 года стрельцы не уходили из-под стен монастыря, но и монастыря не брали: видно было по всему, что у них «рука не подымалась в своих», что стрелять в людей, и особенно в мирных и богомольных старичков за то только, что они крестятся истово, по-старине, по-московски, как крестились и сами стрельцы и их жены, стрелять в таких людей казалось совсем богопротивным делом, и всякий раз, когда воевода вел их на приступ, стрельцы морщились или лениво почесывали затылки. Мещеринов видел это, видел бесполезность летних осад и пошел на хитрость... «Ну, — думал он, — я вам, бабиным сынам, покажу Кузькину мать: я вас доведу не мытьем, так катаньем. Теперь вам тепло, вольготно на солнышке порты да онучи сушить да с кемлянками возжаться, а как придет зима, не в ту дуду задудите: теперичушки уж не поведу вас в Сумской зимовать, на печи животы парить, зимуй здесятка... Захотите, ешь мухи, погреться в монастыре, тады и на вороп пойдете...»

И действительно, пришла осень, наступили холода, пошли заморозки, сиверко так по ночам, что кочи стали примерзать к берегам, а воевода не ведет

стрельцов в Сумской: сыч сычом сидит в своей палатке из кошом да еще и печку себе чугунную измыслил.

— Ишь, чертова ладаница! — ворчал Кирша полуголова.— Ему тепло, дуй его горой с полугорьем, а каково нам! Онучи к подошвам примерзают.

— Ну, ин в монастырь греться,— намекал Чертоус.

— И впрямь, братцы, с голоду да с холоду и Ивана Великого запалить так впору,— подтверждали стрельцы.

На эту безысходность положения и рассчитывал хитрый воевода. Он знал, что зимой, в суровые холода, когда птицы на лету замерзают, а дыхание превращается в иней, стрельцы волей-неволей захотят погреться в монастыре.

Перед никольскими морозами воевода объявил стрельцам, что он в последний раз хочет вести их на вороп.

— Так ли, сяк ли, ребятушки, а погреться надоть,— пояснил он коварно,— а в монастыре, у старых чертей, уу кака теплынь по-за печью!

Стрельцы принялись делать подкопы в мерзлой земле. Приходилось работать больше топорами да пешнями. До седьмого поту работали стрельцы да лаяли воеводу.

— Эх, вор-собака! Чтоб ему эдак-ту могилу собе копать.

— Ни дна б ему, ни покрышки!

— Без попа б ему, без ладану, без вечей, без савану!

Особенно шибко захотелось стрельцам попасть в монастырь, когда подступили рождественские святки. Шутка ли, святки на морском берегу, на снегу да под метелями! Да это собачьи святки, хуже! И собаке хозяин в праздник кость выбрасывает, и помои для нее в праздник праздничные. А тут на! Мерзни на снегу весь день, глядючи на постылое море, а ночью считай сполохи. Да эдак с тоски да с кручины повеситься можно.

За день до праздников стрельцы не вытерпели и приступили к воеводе:

— Веди нас, отец родной, на вороп, а то помрем наглою смертью,— взывал Кирша.

— Веди хоть на черта, все едино помирать! — раздавались другие голоса.

— И впрямь подыхать пришло, братцы!

— На вороп! К бесу их, долгогривых! Чего глядеть!

И стрельцы пошли на приступ. Это было 23 декабря. Утро выдалось ясное, не особенно морозное. Обледенелые стены, башни и зубцы на них сверкали самоцветными камнями. Из-за стен в разных местах вился неровными клубами дымок к голубому небу. Голуби, вспугнутые перед этим с колоколен благовестом к утреннему стоянию, делали в воздухе последние круги и снова опускались на карнизы церквей и колоколен. Едва лишь солнце, выткнувшееся одним багровым окрайком из-за горизонта, позолотило кресты на монастырских церквах, как стрельцы уже почти вскарабкались на стены по лестницам, приставленным ночью, под покровом мрака, когда в монастыре этого, казалось, ни одна душа не подозревала. Вот-вот стрельцы взберутся на стены... Еще несколько усилий, и они там...

— Но-но-но, лошадка! — раздался вдруг голос над головами стрельцов.

Все вздрогнули испуганно и подняли головы. На стене, у самого края, юродивый, босиком и без шапки, скакал верхом на палочке, подстегивая себя кнутиком.

— Но-но-но, воеводская лошадка! — опять крикнул юродивый и остановился.

Невольно остановились и верхние из стрельцов. Ими овладел суеверный страх.

— Что, братцы, озябли? Штец горяченьких захотели? — снова окрикнул их юродивый.

— На вороп, ребятушки, на стену! — неистово раздался вдруг голос воеводы.— Что стали, черти! Вот я тебя, куролесова!

И воевода выстрелил из ружья в юродивого. Ружье повысило, и пуля угодила в белого голубя, тихо опускавшегося на карниз соборной колокольни. Голубь опрокинулся в воздухе и комом слетел на церковную крышу, где и застрял в снегу.

— Ах, окаянный! Турмана ушиб! — послышался со стены отчаянный голос.

То был голос Исачка-сотника. Убитый воеводою голубь был его любимец — турман «в штанцах».

— Вперед, стрельцы-голубчики! Громи стены, дьяволы! — неистово вопил воевода у стены, поднимая руки к небу.

— Раз-два-три! — раздался окрик Исачка.— Катай, ребята, кипятком!

— Во имя Отца и Сына, ксти еретиков водою и духом! — кричал юродивый.

На стенах словно выросли черные фигуры старцев и ратных людей. В руках их дымились паром ушаты и ведра с кипятком.

— Лей разом! В очи лей!

— Плюнь на них, Господи, слюною твоею, ею же горы огнем дышут! — крикнул Никанор, показываясь на стене с крестом в руках. — Плюнь, Господи, слюною Твоею огненною!

И Господь плюнул... Со стен полились, клубясь и дымя, реки кипятку...

— Ай! Ай! О! Господи! Огонь! Смерть! — раздались отчаянные вопли стрельцов.

Поливаемые кипятком, они стремглав падали с лестниц, увлекая друг дружку. Крики были ужасные. Воевода метался как безумный, без шапки, и рвал на себе волосы.

Стрельцы бежали поголовно, покинув осадные лестницы и бросая оружие. Иные бросались в снег лицом, стараясь утолить боль ошпаренных кипятком носов, щек, лбов, рук, другие хватали комья снегу и терли им обожженные лица.

А Исачко, стоя на стене, хватался за живот и хохотал как безумный.

— Ох, умру! Ох, батюшки, лопну!

Смех Исачки заразил всю черную братию. Смеялись до слез. Даже старый Никанор не то смеялся, не то плакал истерически.

— Улю-лю-лю! Улю-лю-лю! Улепетывай, заячье московское! — раздавались голоса со стены.

— Похлебали штец монастырских, будут помнить.

— Ай да Спиря! А все он придумал, божий человек.

— Шапок-ту что пометали, братцы, страх!

Действительно, внизу, на снегу чернелось несколько стрелецких шапок, оброненных при падении и в поспешном бегстве.

Торжество братии было полное. Это уже чуть ли не третью или четвертую грозу Бог пронес мимо монастыря, щадя своих богомольцев. Пострадал за всех один невинный голубок, утеха братии. Но в общей радости о нем забыли, и даже Исачко вспомнил о своем любимце, когда бедный турманок совсем закоченел, лежа на крыше кверху окровавленным брюшком и вытянув свои красные ножки, а около него сидела ворона и чего-то зловеще выжидала...

Один Феклис чернец не принимал участия в общей радости. Он стоял на стене, хмурый и бледный, при-

слонясь к башне, и прислушивался к голосам, тихо разговаривавшим у самой стены под башнею.

— Что ж, и отбили? — спрашивал женский голосок, резавший, казалось, чернеца Феклиса по сердцу.

— Отбили... кипятком отлили,— отвечал юношеский, тоже знакомый Феклису голос.

— Ах, слава Богу!

— Ну, уж... лучше б осилили.

— Кто они?

— Стрельцы, знамо.

— Ох! Чтой-то ты, Иренеюшка! Страх какой! Упаси Бог!

— Нас бы не обидели... Зато ворота настежь, вылетай из темной темницы...

— Ох! Чтой-то ты!

— Дело говорю... Мы б с тобой знаешь что?

— А что? Говори — не томи!

— Вольные пташки... Ты в Архангельской, а я...

Голос смолк. Феклис напряженно прислушивался.

— А ты? — послышался робкий вопрос с дрожью в голосе.

— Я на Дон... Там вольная жизнь... Казаки сказывали, там всем бегунам рады.

— Ах, Господи! Как же так? Для чего на Дон?

В голосе вопрошающей слышались слезы.

— Куда же мне? Мне к родной стороне путь заказан: я, чу, отпет заживо.

— Ах, Боже мой! Что ж это такое!

— Так, Оленушка... Уж так, чу, мне на роду написано, мертвой печатью припечатано...

— Господи! Да ты еще такой молоденькой... ты... Вон я...

— Что ж, не пропаду... А пропаду, все же легче, нечем тутотка изнывать...

— А я-то, княжич!..

Больше не было слышно. Казалось только, что кто-то всхлипывал...

Феклис мрачно сверкнул глазами...

— Ноне же ночью прокрадусь к воеводе, и будь что будет! — прошептал он и исчез в башне.

— И как он, Спиря-то, узнал, что стрельцы ноне утром на вороп пойдут? — слышались голоса черной братии, сходившей со стен.

— Как? Знамо: он святой человек; в сониях видит.

— В сониях, это точно... А не узнай он вперед в сониях-ту, что они, еретики, задумали, ну, и капут бы нам.

— О-о-охо-хо! И святок бы не дождались.

— А он—как ни в чем не бывало: вона опять с своими голубями короводится.

Спиря все слышал, разговаривая с голубями... «Не в сониях я видел,—думал он про себя,—а из своей печерочки все выглядел да подслушал... О печерочке-то никто не ведает, Оленушка одна знает, да и то не всё».

Спиря жестоко ошибался: тайну юродивого знала не одна Оленушка; знал ее еще кто-то, и знал всё...

— В сониях, то-то в сониях!—шептал и Феклис, сходя со стены.—И сония его не помогут, как я свою-ту струну трону... Ух, загудит струна! А все из-за этой пучеглазой... Эх! Была не была!

XV. ПЕРЕБЕЖЧИК

На монастырь спустилась ночь темная, непроглядная. Небо заволокло с запада мрачною пеленою, и бесконечная пелена эта, словно бы разодравшись от края до края, стала сыпать на остров тучи снегу. Он падал на землю тихо, ровно, не кружась метелью и не завывая ветром. Тишь стояла мертвая. Весь остров казался похороненным под снегом.

А между тем за одним из уступов монастырской стены, вдоль береговой покатости, где весной Оленушка сплетала венок из серо-зеленого мха, медленно двигалось что-то темное. Эта темная человеческая фигура как бы из земли, из-под снегу выросла. За падающим снегом ни лица, ни других очертаний этой тени нельзя было разобрать, но видно было, что она подвигалась к тому месту, где у небольшой губы, врезавшейся в остров, расположен был стрелецкий стан.

Невдалеке от стана двигавшаяся по снегу и под падающим снегом тень приостановилась и, видимо, к чему-то прислушивалась...

— Ну, а дале-то што?

— Дале знамо што... Ерема в церковь, а Фома на паперть, Ерема крестится, а Фома кланяется. Ерема в книгу глядит, а Фома ничего не видит...

— Ха-ха-ха! Ну? Вот дураки! Ну?

— И пришел лихой пономарь и учал денег просить на молебен: Ерема в мошну, а Фома в карман, у Еремы ни пула, а у Фомы ничево...

— Ха-ха-ха! Ну?

— Ну, осерчал лихой пономарь: Ерему в шею, а Фому в толчки; Ерема в двери, а Фома в окно, Ерема в лес, а Фома в сосник...

— Да это словно бы нас ноне из монастыря в толчки...

Тень снова стала подвигаться на эти голоса. Послышался шорох шагов по снегу.

— Стой! Кто идет? — послышался окрик, и часовые вскочили с своих мест. — Кто ты?

— Ваше спасение, добрые люди, — отвечала тень.

— Кто ты таков? Каков человек?

— Человек добрый.

— Зачем пришел?

— Это я скажу воеводе, ведите меня к нему.

— Ишь ты! Да ты чернец?

— Чернец и есть.

— Может, с подвохом с каким, с умыслом?

— Коли бы с подвохом, не пошел бы прямо на вас.

— А пес тебя ведает.

— Что пса в судьи брать! Ведите к воеводе, чего боитесь? Вас двое-тка, а я один; у вас ружья да сабелье, а на мне один хрест.

— И то правда.

Стрельцы повели таинственного пришельца дальше, один спереди, другой сзади.

— Да ты не тот, что утресь на палочке ездил по забороду? — спросил один стрелец.

— Нету, не тот.

Подошли к какой-то землянке, занесенной снегом. Сбоку, под навесом, чернелось что-то вроде норы. Один из стрельцов нагнулся к норе и постучал ружьем о деревянную подпорку.

— Кто там? — послышался голос из норы.

— Мы, стрельцы с часов.

— За каким делом?

— Языка привели.

— Какого языка?

— Чернеца... Сказывает, чтоб к воеводе вели.

Из норы выглянула косматая голова. Это был Кирша, полуголова стрелецкий.

— Как пымали? — спросил Кирша.

— Не ловили, сам пришел, — отвечали стрельцы.

— За каким делом? — обратился Кирша к чернецу.

— За государевым,— был ответ.— Веди меня к воеводе, за мной есть государево слово и дело.

Кирша помялся было, взглянул на небо и почесал в затылке. Снег продолжал сыпаться, как из рукава.

— Уж и времечко ж выбрал с государевым словом и делом! — досадливо произнес Кирша.

— Самое как быть время,— отвечал пришлец,— добрый хозяин и пса в такую пору со двора не пустит; а я, как видишь, пришел, потому: мое дело — большое дело.

— И то правда, коли не врешь... Да там разберем... Постой тут, я мигом...

И Кирша юркнул в свою нору.

— Ну и наварил же ты варева,— заметил стрелец пришельцу.

— Не вам расхлебывать только,— отвечал последний.

Скоро Кирша выполз из норы в кафтане, в шапке и при сабле.

— Ступайте за мной,— обратился он к чернецу и к одному из стрельцов.— А ты подь на свое место.

Все двинулись к берегу. Впереди шел Кирша, а за ним чернец, за чернецом стрелец. Путь лежал мимо землянок, занесенных снегом и казавшихся могилами.

— Эк ево прорвало! — ворчал Кирша, отряхиваясь от снегу...— Вот сторонка, нну!

Скоро показалось что-то вроде шалаша, покрытого снегом. На верхушке, на древке, болталось что-то темное. Кирша подошел к самому шалашу. Из шалаша зарычала собака.

— Цыц, Каргаска, свои! — подал голос Кирша.

— Кто там? — окликнули из шалаша.

— Я, Кирша.

— За коим делом?

— К его милости воеводе.

— Что в таку пору?

— Не мое дело, осударево, не терпит.

В шалаше послышались голоса. У самого низа палатки раздвинулась немного кошма, и оттуда вышел большой пес, виляя хвостом. Увидав чернеца, пес недоверчиво зарычал.

— Не трошь ево, Каргас.

Вскоре опять раздвинулась кошма, и в палатке показался свет.

— Иди к воеводе,— позвали Киршу.

Тот вошел в палатку. Свет от светца, стоявшего на небольшом стольце об одной ноге, заставил его зажмуриться. Кирша перекрестился, предварительно сняв шапку, откашлялся, встряхнул волосами, поклонился, снова тряхнул кудрями и уставился на воеводу, который полулежал на медвежьем одеяле, а около него стоял серебряный жбан, должно быть с «тепленьким».

— Что там? — торопливо спросил воевода.— Али долгогривые что?

— Нету, воевода: какая-то проява к нам пришла: ни чернец, ни пес его знает что... Сказывает: с осударевым словом и делом.

Воевода вскочил и накинул на себя кафтан с шитьем.

— А каков он из себя?

— Так, кажись, ничевошний, не видать.

— А введи.

Воевода принял осанку: растопырил ноги и сделал важное, то есть совсем глупое лицо.

— А ты стой там,— обратился он к высокому сухому стрельцу с серьгой в ухе, постоянно ночевавшему в воеводской палатке, в качестве постельного, истопника и телохранителя.

Увидав глупое лицо у своего воеводы, Каргас очень обрадовался: значит, будет кричать на кого-нибудь, распекать, Каргаска очень хорошо изучил своего повелителя, а Каргаска будет лаять... то-то весело!

— Цыц, ешь те волки! — прикрикнул воевода.

Кошма раздвинулась, и в палатку вступил чернец Феклис... Он разом окинул своими бегающими глазами всю палатку: в головах воеводской медвежьей постели стоял зеленый стяг с Егорьем на коне; и тут же вблизи висели сабли и пистолеты; в одном углу стоял большой кованый сундук.

Феклис перекрестился на стяг и сделал поясной поклон воеводе.

— Ты кто таков и какого ради орудия пришел к нам? — важно, несколько с гнусом, спросил воевода.

Каргаска приготовился лаять, не спуская глаз с глупого лица воеводы и косясь на пришельца.

— Соловецкого монастыря чернец Феклис, пришел ради государева слова и дела,— был ответ.

— Какое твое слово до великого государя?
— Челобитьишко, государь.
— А в чем твое челобитье?
Лицо воеводы все делалось глупее, то есть важнее.
— Вины свои принес я великому государю,— отвечал Феклис, низко кланяясь.
— А в чем твои вины?
— Дуростию моею и маломыслием пристал я, нищий ваш государев богомолец, к соловецким ворам и крамольникам.
— И того б тебе делать не довелось, и то тебе вина,— важно и строго заметил воевода.
— И аз, нищий ваш, чернец Феклиска, окоростовел с теми соловецкими ворами: двуперстное сложение держал и сугубую алилуею блевал.
— И того б тебе делать не довелось, и то тебе вина,— повторял воевода.
— И тем яз, нищей государев иночешко, великому государю, его царскому пресветлому величеству, учинил грубство.
— И того б тебе делать не довелось, и то тебе вина,— продолжал автоматически твердить воевода, так что даже Каргаска стал недоумевать, когда ж он ругаться-де начнет?
— А ноне я вины мои принес головою: волен великий осударь меня, нищево своего холопишку, сказнить.
Воевода промычал. Каргаска прицелился лаять. Сухой стрелец с серьгой, стоя навытяжку, усиленно сопел. Кирша стоял, по-видимому, разочарованный: он, казалось, большего ожидал.
— А велит мне великий государь вины мои простить, и я грубство свое ему, великому государю, заслужу с лихвою: введу тебя, воеводу, со стрельцами в монастырь... Государь, смилуйся, пожалуй! — заключил Феклис и снова сделал поясной поклон.
При последних словах воевода попятился назад и стоял с раскрытым ртом и стоячими глазами. Кирша сделал невольное движение. Каргаска разом залаял: он думал, что пришла пора начинать и ему действовать.
— Цыц, окаянный! — вскипятился воевода на своего невпопад усердного союзника и даже затопал ногами.
Озадаченный пес поджал хвост и спрятался за сундук, откуда робко поглядывал то на того, то на другого. Воевода сделал шаг к чернецу.

— И ты не затейно то государево дело сказываешь? — спросил он ласковее, но все еще недоверчиво.

— Спаси Бог! В эком-су великом государевом деле да затейки затевать! — торопливо заговорил чернец.

— И не обманом хочешь нас под дурно подвести?

— Кака мне корысть подводить вас под дурно!

— И ты на том крест целовать будешь?

— И крест и Евангелие целовать стану, что мне великому государю прямить.

— Ладно. Надо об этом деле подумать.

Воевода почесал затылок, застегнул кафтан и вопросительно посмотрел на Киршу. Кирша нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

— А как ты ноне попал к нам? — снова обратился воевода к чернецу.— Как тебя выпустили?

— Я отай ушел, воевода.

— Как! Ноли через стену?

— Нету, воевода: есть у меня там под землей заячья норка, норкою я и прополз.

— И ты нас хочешь оною норкою провести в стены?

— Нету, норкою не способно будет: узка гораздо, гладкой не пролезет.

— Так как же?

— Есть в стене место такое, проломное: с этой стороны его распознать нельзя, а я укажу.

— Что ж, что укажешь? А дальше что?

— Выломать камни, там не велика сила надобеть.

— Ну и что ж?

— В ночь выломаем, вот нам и ворота.

— И войдем?

— Ночью и войдем...

— Сонных, что щенят, заберем, лядиных детей! — не вытерпел Кирша, брякнул радостно.

Не вытерпел и Каргас: выскочил из-за сундука и ну радостно, неистово лаять то на воеводу, то на Киршу, то на сухого стрельца с серьгой и даже на незнакомого чернеца.

— Цыц, анафема! Цыц, клятой! Вот взбесился! — кричал воевода; но пес уж и его не слушал: он по глазам видел, что воевода рад, и неистово выражал свой собачий восторг.

Кирша радостно потирал руки и ржал, глядя на Каргаску. Воевода шагал по палатке, отбиваясь от собаки, которая лезла целоваться. Феклис самодовольно,

с злым выражением в красивых глазах, улыбался, навивая клок бороды на палец.

— И ты как перед Богом говоришь?—уставился воевода на чернеца.

— Как перед Богом!

— И укажешь место?

— За тем пришел, свою голову принес под осудареву плаху.

— И не величкой силой проломаем?

— Плевошное это дело будет.

— Ну, добро! И за то великий государь, его царское пресветлое величество, пожалует тебя таким жалованьем, какова у тебя и на уме нет.

Чернец поклонился, чтобы скрыть блеск глаз, говоривший о чем-то ином, только не о государевом великом жалованье.

— Что ж ты стоишь вороной!—вскинулся воевода на Киршу.

Кирша оторопел. Каргас тоже накинулся на него с лаем: воевода-де лает, так и мне следует.

— Беги живой ногой, веди попа с крестом и Евангелием,—пояснил воевода.

— Мигом, воевода!—как-то икнул Кирша.

— Живо!

И, передернув плечами, Кирша, как ошпаренный, метнулся из шалаша, чуть не сбив с ног стрельца с серьгой.

— Ишь, леший!—огрызнулся этот последний.

Каргаска с лаем кинулся за посланцем, и долго его радостный лай раздавался вдоль сонного берега моря, посыпаемого снегом.

XVI. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ «СОЛОВЕЦКОГО СИДЕНИЯ»

— Мама! Ты слышишь?

— Что, дитятко?

— Слушай, а? Кто-то плачет.

— Что ты, глупая, кому теперь плакать?

— Ох, мама! Мне страшно: я слышу, как кто-то плачет.

— Да это ветер в трубе, ноли не слышишь?.. А ты перекрестись, прочти молитву Исусову и спи.

Оленушка крестится, придерживая левой рукой рубашку, шепчет молитву и снова опускает свою рас-

трепанную, с спутавшейся косою голову на белую подушку. Тихо в келье. Лампадка сонно мигает у образа. Неупокоиха вздыхает. На дворе слышна вьюга. Сон так и клонит, тяжелит веки и туманит... Неупокоиха ровно посапывает...

— Мама! А мама!

— Ох, Господи Исусе! Ты что опять?

— Мне не спится... У меня, мама, мысли!

— Какие у тебя, у глупой, мысли! Ноне не каталась на салазках, пурга, ну и не спится.

— Завтра покатаюсь, с Иренеюшкой... А мои салазки лучше его...

— Не в пример лучше... Ну, спи, дитятко.

— А в Архангельском, мама, что теперь?

— Что, глупая! Спят.

— Батя спит?

— Нет, на салазках катается.

Оленушка смеется... Опять тихо, только вьюга завывает в трубе и под окном... Лампада как будто вздрагивает... По стене словно тени какие ползут... Слышен ровный сап... Где-то сверчок засверестит и смолкнет... Жутко Оленушке, нейдет сон, все что-то слышится в порываниях ветра за окном...

— Мама! Кто это стучит?

— Асинька? Ты все не спишь?

— А ты слушай, мама.

— Что мне слушать-ту? Тебя, дуру?

— Нету, мама, там стучит, слышишь?

— Это вьюга, ветер.

— А во что она стучит?

— А во что придется: в ставни, в било у трапезы, что висит.

— А как это, мама, мертвецы по ночам ходят?

— Что ты! Что ты, непутевая! С нами крестная сила, на нас кресты.

— А как же дедушка Спиря говорил, что к ему душенька ево Оленушки приходит?

— Что ты пустое мелешь, глупая? Какой Оленушки?

— А у нево дочка была Оленушка.

— А! Ну, он святой человек, он видения в сониях видит.

— И я во сне все вижу, и Архангельской вижу часто, и батю, и как мы по грибы ходили.

— Ну, то-то же.

— А мне Исачко сказывал, что он сам лешего видел.

— А ты уж и с Исачком, глупая, подружилась!

— А как же, мама! В ту пору, как стрельцы шли на монастырь воропом, перед святками, и убили его турмана беленького в штанцах, так мы с им хоронили турмана, а я плакала! И он, Исачко, плакал же...

— Было о чем дураку!

— Он, мама, не дурак, он добрый... И он сказывал, что часто видит во сне покойного турмана.

— Фу! С тобой точно одуреешь... Да спи ж ты, говорят тебе, сорока!

И Неупокоиха повернулась носом к стене и ухо заложила стеганым, полосатым, словно шашечная доска, одеялом. Скоро опять раздался ее сап, а Оленушка, полежав с закрытыми глазами, снова открыла их и стала смотреть на мигающие полосы на потолке: полосы шли от образов, от лампадки. Она задумалась об Архангельске: хотела вспомнить лицо Бори и не могла... Вот-вот, кажется, вспомнила, и,собственно,не его вспомнила, а то, как они грибы в лесу собирали, как нагнулись над одним грибом, как Боря взял ее руку, все это хорошо помнится, и как потом они потянулись друг к другу, как губы их слились, и как коленами раздавили гриб, когда Оленушка, вся красная, вырывалась, все это вспомнила она... но лица Бори никак не могла вспомнить... это не его лицо, нет, это Иренеюшка... А вот и «архимандрит» Никанор на качелях качается, чудно что-то... И дедушка Спиря на салазках тут же... И Исачко за рога лешего ведет, леший его турмана поймал... Слышно, как стрельцы поют на берегу:

Разогнал ее малых детушек,
Малых детушек, кукунятушек,
Что по ельничку, по березничку...

— Ох, Господи! Что это такое?

Оленушка, задремавшая было, снова проснулась. Послышался стук, и словно бы какие-то камни повалились... Опять тихо, только ветер пошумливает. Лампадка гаснет... Скоро, должно быть, утро... Опять стучит... Это, верно, какой-нибудь трудник встал рано и дрова колет за поварней... А вот уж месяц прошел, как стрельцы, перед святками, на вороп ходили, да их кипятком отгромили от стен... Тогда и чернец Феклис

пропал, как в воду канул. Спиря сказывал, что Феклиска к стрельцам перебежал... Какие глаза нехорошие... стыдные какие-то у этого Феклиса... У Исачки лучше, хоть и косые... А у Иренеюшки?.. На Дон хочет уйти... Зачем на Дон! Не надо!

Оленушка прислушивается... В монастыре что-то случилось: слышны голоса, стук, звяканье железом...

Оленушка вскочила: это уже не вьюга... Голоса явственно слышны... это голос Исачки... Еще голоса... Гул...

— Мама! Мамонька! Вставай!

— Ты что! Ты сдурела?

— Ох, нет! Слышишь?

На дворе уже ясно слышались крики сотен голосов...

— Батюшки! Владычица! Не пожар ли?

И мать и дочь стали торопливо одеваться.

— Ах, Господи! Что ж это такое! Не стрельцы ли?

В окно застучал кто-то.

— Батюшки! Кто там?

Стук повторился, только не в окно, а в дверь.

— Вставайте! Пожар! Кельи горят!

— Владычица! Скорее, Олена! Ох, матушки!

Оленушка первая бросилась к дверям, едва успев накинуть на себя шубку... Двери распахнулись... В этот самый момент что-то темное накрыло ее, и сильные руки схватили поперк стана...

— Мама! Ой! Оо!

Что-то мягкое зажало ей рот, и голос ее замер в груди... В ужасе Оленушка чувствовала, что ее куда-то несут... Сзади слышались отчаянные крики, стук оружия, пальба...

Оленушка все поняла: монастырь взят... Но куда ее несут? Где мама? Где Иренеюшка?..

— Ребятушки! Голубчики! Отстоим! — слышался отчаянный голос Исачки.

— Владыко многомилостиве! Помози! — стонал где-то несчастный Никанор.

— Сдавайтесь, старцы! Вам ничего не будет.

— Поздно, святые отцы, монастырь наш.

— Никого не бить! Слышишь, рябята, отцов не трогать! — командует Кирша.

— Оленушка! Оленушка! Дитятко! О-о-о! — Это отчаянный голос матери.

— Что, тетка, орешь?

— Как в монастырь, братцы, баба попала?

— Да у них, поди, и девье мясо тут есть, вот разлюли малина с клюквой!

— Оленушка! Девынька! Оо-оо-оо!

— Вяжи ратных!

Стрельцы наполнили уже весь монастырь. И в пролом, сделанный ночью в стене по указанию чернеца Феклиса, и в ворота, от которых были отбиты замки, стрельцы валили волною, и пока монастырские ратные, услыхав тревогу, успели выбраться из своих келий и спросонья оглядеться, монастырские часовые были перевязаны и около заряженных пушек стояли уже стрельцы. Сотники Исачко и Самко и архимандрит Никанор бросились было к своим «галаночкам», но их там схватили и отца Никанора тотчас же увели под караул. Исачко и Самко отчаянно защищались и сбросили нескольких стрельцов со стены.

— Братцы, не сдавайтесь!—кричал со стены Исачко, барахтаясь и отбиваясь.

— Умирай, ребятушки, а в поганые руки не давайся!—хрипел Самко, которого стрельцы душили за горло.

Но стрельцы, видимо, задавливали массою ничтожную горсть защитников монастыря. Стоны и проклятия, плач и хохот, треск ломаемых древков и лязг оружия и прочего железа сливались в общем хаосе. И среди этого хаоса иногда пронизывал утренний воздух отчаянный, хриплый женский вопль: «Оленушка! Оленушка!» «Ищите, братцы, Оленушку, должно, девка»,—слышались и стрелецкие голоса.

В это время около Неупокоихи, которая безумно металась во все стороны, ища свою пропавшую дочь и вопя охрипшим голосом «Оленушка, Оленушка»,— послышался крик и хохот:

— А вот и Оленушка! Держи ее!

— Ай-ай, братцы, девочка монашком переодета.

— Впрямь девочка, ай-ай!

Неупокоиха метнулась туда, на эти голоса.

— Пустите меня! Я не девочка! Ой!

— Врешь, девочка, да кака хорошенькая!..

Это был Иренеюшка, которого приняли за девочку.

— Чернечик молодой, а не девочка, тьфу! Дуй-те!

— Ишь ты чево захотел, жеребец! Девьятинки!

— Знамо, на голодны зубы...

Где ж в самом деле Оленушка?

Вон за монастырской стеной, по направлению к стрелецкому стану, кто-то, видимо, спешит с какою-то ношею в руках. При свете занимающегося утра можно рассмотреть, что это несут человеческое тело: видны болтающиеся ноги и перевесившаяся через левое плечо несущего русая голова с длинными, спадающими ниже пояса несущего, такими же светло-русыми косами...

Из монастыря доносится нестройный гул и крик множества голосов. Вскоре из монастырских ворот выбегает кто-то, осматривается во все стороны и, увидав удаляющегося от монастыря к берегу человека с ношей, стремительно бросается вслед за ним. Вот он уже почти настигает его.

— Стой! Остановись! — кричит он убегающему.

Этот последний вздрагивает, но не останавливается, а, напротив, прибавляет шагу.

— Стой, окаянная душа! От меня не уйдешь.

Убегающий узнает голос преследующего и усиливает бег. Последний уже настигает совсем.

— Стой! Не то ножом пырну, окаянный!

У преследующего в руке нож. Он поднимает руку, сталь блеснула, как льдина...

— Господи Боже, благослови на злодея! Нна!

— Ой! Зарезал!

Ноша падает в снег, как сноп. Косы разметались по белому снегу, как льняные пасмы. Это Оленушка.

Раненый, подняв руки, быстро оборачивается. Это чернец Феклис. Он бросается на преследующего.

— А! Дьявол! Вот я тебя!

— Меня! Нет, тебя, нна же! Издыхай!

Феклис пластом повалился на снег и захрипел. Кровь хлынула горлом и из раны в груди. Снег так и багровел кругом.

— Это тебе за монастырь и за все! Помилуй его, Господи!

И юродивый, это был он, бросился на колени перед разметавшейся на снегу Оленушкой.

— Дитятко! Очнись, Господь с тобой!

Девушка не шевелилась. Юродивый бережно приподнял ее, взял на руки, как маленького ребенка, и стал осторожно тереть виски ее снегом. Оленушка открыла глаза.

— Что, девынька, испужалась? — ласково говорил юродивый и с нежностью смотрел в испуганные глаза девушки.— Испужалась, дитятко, сомлела?

— Это ты, дедушка? — слабо спросила Оленушка.
— Я, дитятко.
— А мама где? Мамушка! — испуганно вскрикнула она.
— Ничего, ничего, девынька: матушка там...
— Не сгорела?
— Ох, что ты! Помилуй Бог! Она тебя ждет.
— Где?
— Там, в монастыре.
Оленушка встала на ноги. Юродивый запахнул ее шубку.
— Студено, закройся.
Из монастыря доносился неясный гул и крики. Оленушка со страхом поглядела туда.
— Что там?
— Ничего, не бойся, дитятко.
Как ни умел владеть собой юродивый, но Оленушка видела, что он дрожит.
— Там стрельцы, дедушка? — робко спросила она.
— Ничего, ничего, не пужайся...
— А Иренеюшка?
— Тамотка же.
Оленушка что-то вспомнила и задрожала всем телом.
— А где он?.. Это он унес меня...
— Пойдем, пойдем, — торопил ее юродивый.
Она оглянулась и увидела на белом, кровью окрашенном снегу широко раскинувшее руки мертвое тело. В груди его торчал нож... Мертвые, широко раскрытые глаза убитого глядели на небо, как бы спрашивая: что же там, когда здесь все кончено?

XVII. «НА ТЕПЛЫЕ ВОДЫ»

Вновь наступила весна. Суровое северное поморье, долго спавшее под снегом, проснулось под теплыми лучами весеннего солнца и зазеленело молодой зеленью. Зазеленел и Соловецкий остров, и Кемской и Сумской посады, и Анзерский скиток... Только не ждут уже к себе молодые кемлянки и сумские молодухи дружков милых, молодых стрельчиков, а молодая Вавилкина попадейка своего милого друга, Иванушку-воеводушку: с весной отплыли московские стрельцы с своим воеводушкой на страну далече... Тихо в монастыре и около.

Зазеленел с весной и Архангельской славной город, о котором так долго скучала Оленушка: и в Архангельском, и вокруг него, как говорила Неупокоиха, «разтвяли твяты лазоревые и пошли духи малиновые».

Особенно цветут садики вокруг торговой площади в городе Архангельске. Да и вся площадь, особенно у заборов, зеленеет молодою травкою.

Утро. Весеннее солнце, только что выкатившись из-за восточного взгорья, окрашивает золотисто-пурпуровым цветом церкви и крыши домов и протягивает длинные тени поперек всей площади. У торговых рядов и около казенных весов и мер да у кабацкого кружала стоят возы с припасами съехавшихся в город из окрестностей поселян. Привязанные у возов и у хрептугов лошади, пережевывая сено и овес, то и дело ржут, не видя своих хозяев. А хозяева, мужики и бабы, а равно рядские сидельцы и посадские люди, все это кучится к середине площади, где высится огромный деревянный «покой», два столба с перекладиною. С перекладины спускается длинная, круто плетенная веревка, с петлею на конце. Тень от виселицы и от веревки идет по головам собравшейся толпы, теряясь где-то за заборами и в зелени садиков.

Все смотрят на виселицу, перекидываясь односложными словами и междометиями. Иногда из нестройного гула ясно вырежется и замрет среди лошадиного ржания фраза удивления.

— Ишь ты, какой покой-от съерихонили, и-и-ах! — острят тут же толкающиеся земские ярыжки.

— Уж и точно покой... покой он по-по какой-он ко-ко, покой, с загогулиной, э-эх н-ну!..

Под виселицей ходит варнак с рваными ноздрями, в красной касандрийской рубахе с засученными рукавами и исподлобья вскидывает своими немигающими глазами на толпу. Это палач.

Два стрельца, приставив ружья к виселичному столбу, расположились под виселицей, и один у другого ищет в голове.

Вдруг где-то за площадью глухо застучал барабан. Толпа колыхнулась. По лицам у всех пробежали не то тени, не то лучистые искры. Головы поднялись и беспокойно задвигались на плечах. Барабан не умолкал, все более и более приближаясь.

Из-за людских голов показалась дуга и лошадиная морда. Из-за лошади по временам высовывались два затылка обнаженных человеческих голов. Скоро показались и спины их.

При приближении барабана толпа раздвинулась, и открылось необычайное шествие.

Впереди взвод стрельцов, с барабанщиком в голове взвода. Барабан выбивал глухую, беспорядочную дробь, а барабанщик, лениво колотя палочками по туго натянутой шкуре, шибко делал выверты локтями. Стрельцы шли сердито, как бы стыдясь своего дела, а понурый Чертоус беззвучно шевелил губами.

За стрельцами жирный, красномордый попина, в черной рясе и с крестом в отекших от жиру руках. Видно было, что торчавшая впереди виселица поглощала все его внимание.

За попом поджарый подьячий, в потертом кафтане и с таким же потертым лицом. За ухом лебединое, в виде лопаты, перо, а у пояса медная с ушками чернильница.

За ним стрелец вел за поводок пегую клячу, на которой, спиной к виселице и конской гриве и лицом к хвосту, сидел высокий старик с седою, сбившеюся на затылок косою. В руках он держал горящую восковую свечу.

Далее следовала телега, тоже ведомая стрельцом, державшим за повод лошадь, впряженную в эту телегу. В телеге, лицом назад, покачивались при движении телеги и терлись одна о другую плечами две человеческие фигуры. В руках их тоже горели зажженные свечи.

За первой телегой — другая. В ней тоже два седока задом и оба со свечами.

За телегами другой взвод стрельцов.

У самых виселиц шествие остановилось. Стрельцы сняли с пегой клячи необычайного седока с седою косою. Старое, темное и осунувшееся лицо оборотилось к толпе и, видимо, усталыми глазами из-под седых, нависших бровей глянуло на виселицу... На лице показалась грустная улыбка... Это был архимандрит Никанор.

Толпа замерла. Слышалось только усиленное дыхание да изредка подавленный вздох.

Сняли с первой телеги двух седоков, у которых

к ногам прикованы были дубовые колодки. У одного, высокого, плечистого, хотя, видимо, изможденного колодника красная голова так и отливала на солнце золотом, а запавшие глаза искрились, как у кошки в темноте. Другой, худой и косматый, с сумою через плечо, казалось, любовался виселицею и всем, что он видел... Добрые глаза светились детскою радостью... Это были огненный чернец Терентьюшко, ученик Аввакума, и Спиря юродивый.

Сошли и со второй телеги, гремя цепями как спутанные лошади, сотники Исачко и Самко.

Все осужденные встали в ряд. У каждого в руках горело по свечке. Все молчали, только Исачко косился на виселицу, над которой в глубокой лазури утреннего неба кружились голуби, и судорожно улыбнулся: вероятно, ему вспомнился любимец его, турман в штанцах, застреленный воеводою Мещериновым Ивашкою и теперь покоящийся в земле, на далеком острове...

К осужденным подошел поджарый подьячий, вынул из-за пазухи кафтана бумагу, развернул ее, снял шапку и, крикнув пискливо-скрипучим голосом к толпе «шапки долой!», стал гнусить что-то...

Все слушали как будто рассеянно, словно бы то, что читали, совсем до них не касалось... Никанор же, который стоял первым, слушая читаемое, задумчиво качал головой, между тем как посиневшие губы его беззвучно шептали: «И се мимо иде, и се не бе... и камо иду, не вем... дние его яко цвет сельний — и тако отцветут... да-да, отцвели... отцветут и падут...»

Чтение кончилось... Он взглянул на свечку, вздохнул и сам задул ее... Потом положил свечку к себе за пазуху, бормоча: «Тамо зажгу ее... долог путь тамо, ох долог!» — и сам подошел к виселице.

Палач, казалось, не смел приблизиться к нему и глядел вопросительно на подьячего.

— Верши! — хрипло проговорил последний.

Палач протянул руку к петле. Никанор отклонил его руку.

— Сам на себя сумею венец-то надеть! — И поклонился на все четыре стороны.— Сам надену...

И надел: вложил шею в петлю, отведя в сторону волосы и освободив из-под веревки бороду, как делал он это обыкновенно, облачаясь в ризы перед литургиею... Он поднял глаза к небу...

— Господи! В руце твои...

— Верши! — прохрипел подьячий.

Тот стремительно дернул за другой конец веревки. Веревка запищала в немазаном блоке... Тело старого архимандрита поднялось от земли... ноги подогнулись, руки конвульсивно поднялись к шее. Палач встряхнул веревкой, еще, еще, и сам как бы повис на ней...

— Ооох! — послышался стон в толпе.

— Глядите, православные, как люди на небо возносятся! Гляньте-ко! — раздался вдруг чей-то голос, так что все вздрогнули.

Это крикнул юродивый, указывая на колыхавшееся в воздухе бездыханное тело старого архимандрита.

— Господи! За что ж это? Ооох!

— За крест истовый, за веру... Нну! Времечко...

Многие испуганно крестились, и странно! Все крестились именно тем истовым крестом, за который вот тут же, сейчас, умер человек, которого и в купели крестили этим же крестом, и сам он крестился им более семидесяти лет...

Подьячий подошел к качавшемуся телу и робко потрогал его за ноги.

— Отошел, кажись, — тихо сказал он палачу, — спусти.

Палач, красный от натуги, опустил веревку. Мертвое тело мешком повалилось на землю... седые волосы разметались...

— Ох, смертушка! Оо! — Это из толпы.

Палач распустил петлю, вынул из нее голову мертвого и оттащил труп в сторону, к виселичному столбу.

Под виселицу подошел юродивый. Он обвел толпу своими кроткими глазами, и вдруг лицо его озарилось глубокою радостью...

— Оленушка! Дитятко!

Действительно, у края толпы, прижавшись к матери, вся бледная и дрожащая, стояла Оленушка, с распухшими от слез глазами. Рядом с ней, также бледная и испуганная, опираясь на руку плотного рыжего мужчины в немецком платье, стояла и знакомая нам аглицкая немка, Амалея Личардовна Прострелова, и тут же, сердито поглядывая на поджарого подьячего, виднелся галанский немец, богатый Карлоус Карлоусович из Амбурха. Из-за Оленушки робко выглядывал в своей черненькой скуфейке юный Иренеюшко, а на него ко-

сился исподлобья стоявший тут же краснощекий малый в щегольской синей канаусовой рубахе, с четырехугольным прорезом густейших русых волос на низком лбу: это был Боря, у которого на сердце... да не до Борькиного сердца теперь!..

— Ох, мама! Матушка! Оох! — стонала Оленушка, припадая к плечу матери.

Юродивый, запустив левую руку в свою суму — он не расставался с нею и в архангельской земляной тюрьме, где заключены были осужденные,— вынул оттуда череп и поцеловал его. Потом стал кланяться на все четыре стороны.

— Простите, православные, в чем согрубил вам!

— Бог простит, родимый, Бог простит! — загудела толпа.

— Прощай, Оленушка! Прощай, девынька!

И юродивый издали перекрестил ее, а потом снова поцеловал череп, говоря: «А теперь ты, моя Оленушка, здравствуй: я к тебе пришел...»

И положив череп в суму и не задувая свечи, сам вложил свою косматую голову в петлю.

— Возноси на небо! — скомандовал он палачу.— Я со свечой иду ко Господу. Теплись, моя свечечка!

И опять палач-варнак дернул за веревку и даже присел на корточки...

Взлетел Спиря на небо... поджал ноги... опустил их... из окоченелых пальцев не выпала горевшая свечка, но припала к груди... задымилась рубаха... вспыхнула... поломя охватило бороду... перекинулось на косматую голову... затеплился, как свечечка воскояровая, весь Спиря...

Раздались вопли по всей площади...

— «О, Владычица!» — «Господи спаси!» — «Свят-свят... О! Изверги!»

Оленушка упала как сноп... Боря вскрикнул и припал к ней.

— О, барбарей! Доннерветтер! Пфай-оо! — неистово бормотал Карлоус Карлоусович.

У Амалеи Личардовны по бледным щекам текли слезы.

Труп с обугленной головой вынули из петли и положили рядом с Никанором...

Под виселицу молча подошел огненный чернец и, подняв кверху правую руку с отрубленными пальцами, громко сказал: «Мотрите, православные! За истовый

крест отсекли у меня персты... Слава тебе, Господи!.. Топерь секите мою голову, стрельцы!» — обратился он к стрельцам, стоявшим у виселичных столбов.

Стрельцы смущенно потупились... «Господь с тобой, Тургонушко,— бормотал Чертоус,— мы туточка ни при чем... наше дело рабье...»

— Верши! — проскрипел подьячий к палачу.

И огненный чернец качался в воздухе... Рыжая голова, освещаемая солнцем, казалось, испускала лучи...

Седой Чертоус, бледный, с дрожащими губами, ударил ружьем оземь, так что приклад разлетелся надвое, и мрачно подошел к подьячему.

— Вешай и меня... и я хочу венец получить,— так же мрачно сказал он.

Подьячий с испугом попятился назад... «Что ты! Что ты! Бог с тобой!» — бормотал он.

— Вешай, это твое дело!..

К виселице подошел Исачко и стал надевать на себя освободившуюся от третьего трупа петлю. Поправляя ее у себя на шее, он поднял голову... Опять над виселицей кружатся голуби... а вон и белый турман... у Исачки дрогнули углы губ и заискрились косые, добрые глаза... Прошлое с этим голубем встало перед ним... Он махнул рукой палачу...

Палач натужился, потянул; ноги Исачки отделились от земли; он закинул голову, встряхнулся и — «ох»,— крикнули в толпе, Исачко упал...

— Сорвался! Ох, страсти! — прошептал кто-то.

Исачко поднялся с земли с обрывком на шее, красный, с налитыми кровью глазами...

— О, шанде-Барбарей! — обратился Карлоус Карлоусович к соседу в немецком платье.— Вот срам! К нам, за море, отправляют лучшие веревки и пеньку, а казне оставляют брак, гниль... О, Московия!

Исачко, шатаясь, подошел к подьячему, который что-то горячо говорил палачу. «Да вить это ты, государь, отпустил веревку-ту, казенна»,— оправдывался варнак.

— Вот тебе за веревку, казнокрад! Ина же! Ешь.

И полновесная пощечина Исачкиной широкой и мозолистой ладони глухо звякнула по сухим скулам подьячего... Подьячий как стоял, так и свалился снопом на трупы повешенных.

— И мы хотим венцов! Вешайте и нас! — послышался ропот в толпе, и толпа хлынула к виселице.— Хотим помереть за веру, за крест! Берите всех нас! И мы с ними заодно! Казните нас! Секите головы!..

Площадь превратилась в бушующее море...

На другой день, утром, из Архангельска, по холмогорской дороге, вышли два странника, один старый, другой молоденький, оба с сумками и дорожными посохами.

— Так-ту, Иренеюшко,— говорил старик,— коли на Руси дышать нечем стало, так и Бог с ней... И птица от зимы на теплые воды летит, так-ту и мы с тобой.



СОЦИАЛИСТ ПРОШЛОГО ВЕКА

Историческая повесть *

---

* Материалами для этой повести послужили документы, извлеченные из государственного архива проф. В. Н. Ламанским и напечатанные им в первом томе «Памятников новой русской истории». *(Примеч. автора.)*

I. НА КРЕЙСЕРЕ

> «В шестьдесят лет все расколы исчезнут. Сколь скоро заведутся и утвердятся народные школы, то невежество истребится само собою. Тут насилие не надобно».
>
> *Екатерина II (Дневник Храповицкого)*

По темно-бирюзовой глади Черного моря, от кавказского берега к крымскому, медленно двигался парусный военный фрегат.

Это было еще тогда, когда о возможности двигаться по воде иначе как при помощи парусов или весел ум человеческий еще не загадывал: это было в 77-м году прошлого столетия.

Тихий весенний ветерок, ласково повевавший со стороны Кавказских гор, чуть-чуть надувал белые паруса фрегата, которому, казалось, никогда не суждено переплыть эту бесконечную темно-бирюзовую равнину. Кругом — подавляющее однообразие. На голубом небе ни облачка. На море — хоть бы парус забелелся где, хоть бы темная точка показалась на горизонте. Только дельфины, которым, казалось, тоже наскучило это однообразие, то там, то здесь выставляли из воды свои темные изогнутые спины и, словно по команде, кувыркались опять в море.

На фрегате почти не заметно было движения. Матросы, за неимением работы, почти все расположились в передней части судна, и только более копотливые да вахтенные неторопливо возились у своих мест, кто у снастей, кто у руля. Около офицерских кают, в тени, под тентою, на складных табуретах сидело несколько молодых офицеров — кто курил и молчал, кто изредка перекидывался словами то с тем, то с другим товарищем.

— А и скучна, господа, эта крейсерская служба,— говорил белокурый с голубыми глазами офицерик, задумчиво поглядывая на море.

— Что говорить! Тоска порядочная,— лениво, как бы нехотя, отвечал другой, темнолицый и сероглазый, ни на кого не глядя.

— Тощища, мало тоска! Точно белка в колесе: от Кафы к Суджук-Кале, от Суджук-Кале опять к Кафе... Уж и дельфины надоели.

— А тебе бы в баталию сейчас... Чесменским героем сразу бы стать...

— Не героем... А вот хоть бы как Евдоким Михайлович, счастливец! Чего он не видел!

— Успеешь еще... Да что вы все молчите, Евдоким Михайлович! Хоть бы рассказали, как вы мыкались по всем морям, что народу перевидали... А?

Тот, к кому относились эти слова, сидел немножко поодаль и задумчиво глядел вдаль, медленно пуская дымок из коротенького чубука. Это был мужчина лет за тридцать, худощавый, сильно загорелый брюнет с добрыми задумчивыми глазами. В этих глазах, как и в кроткой улыбке, было, казалось, что-то свое, особенное, что никому не высказывалось и о чем, казалось, постоянно думалось.

Когда его окликнули товарищи, он улыбнулся своею доброю, загадочною улыбкою, но ничего не отвечал.

— А? Много видали?

— А загар-то у вас на лице почище нашего.

— Да,— отвечал тот, к кому обращались,— я всякого солнца изведал, и южного, и северного.

— Да также восточного и западного,— засмеялся голубоглазый, сверкнув своими белыми зубами,— счастливец вы!

Тот, к которому относились эти слова, молча и с улыбкой пожал плечами.

— А в скольких кампаниях вы, Евдоким Михайлович, участвовали? — спросил другой офицер.

— В тринадцати.

— Как раз чертова дюжина! — засмеялся первый.

— А в архипелажской экспедиции находились? — спросил второй.

— Находился... Что за рай земной этот Архипелаг, эти Циклады и Спорады!.. А все дома, на Оке, лучше.

Ему вспомнилось, что в кармане у него, на груди, письмо... Он невольно ощупал грудь... Да, тут... И ему мучительно захотелось домой, туда, далеко, на берег родной Оки...

«Я все жду тебя, жду... Я Богу молюсь, морю молюсь: отдай мне его, сине море...»

Он глянул на море, оно было больше чем синее. Только недалеко, на небольшом пространстве, оно казалось совсем черным, точно кто окрасил его в этом месте самою густою тушью: это по небу плыло ма-

ленькое, одинокое облачко и тень от него ложилась таким черным пятном на бирюзовое море...

«Отдай мне его, сине море...» Нет, пока еще не отдает, крепко держит... А так ли там, над Окою, как тогда, шепчется с весенним ветерком кудрявая береза?.. Не то она шепталась, не то мы... Нет, мы... Это не береза нашептывала мне, не ее то был голос: «Возьми меня, милый, за синее море, возьми с собой...»

— О чем это вы опять задумались, Евдоким Михайлович?

— А! Что такое?

— О чем задумались? — приставал блондин.

— Да так... ни о чем, собственно...

— О далеких морях? О своих экспедициях?

— Да, пожалуй...

— А расскажите нам, пожалуйста, где вы бывали? Вот уж сколько мы с вами в море, а вы нам до сей поры не рассказали о своих морских странствиях... Вспомните старину, расскажите... Может, и на нас повеет ветерком с далеких морей да океанов.

— Да, в самом деле, расскажите, Евдоким Михайлович, — просил и другой офицер.

— Право, разгоните тоску и свою, и нашу... Вы, видимо, о чем-то тоскуете.

Туман, туман по долине,
Широкой лист на ялине,
А ще ширший на дубочку,
Понял голубь голубочку,
Да не свою, а чужую...

Это тянул тихо, заунывно какой-то матросик, забившись промежду снастей.

— Что воешь? Али подыхать собрался?

— Это он о своей Марусе...

— Ишь панихиду тянет, со святыми упокой, — шутили другие матросы, — и язык-то у хохла суконный, и песня-то суконна.

— Что ж, Евдоким Михайлович, расскажете?

— Что ж вам рассказать? — спросил он.

— Да всю вашу морскую жизнь... Вспомните все...

— Хорошо, так и быть... Вспоминать — значит переживать... Попробую пережить опять мое прошлое, побывать с вами в далеких морях...

— И расчудесно! Давно бы пора.

— Отлично! Мы слушаем.

— Да вся суть-то, господа, не долга, историйка не величка, мыканье как мыканье, да в душе-то за все мыканье много пребывало: и камушки-то самоцветные в душе светились, а порой и жерновом осельным сердце-то приваливало, как там, помните, что привалиша камень с кустодиею. Всего в душе перебывало... Спервоначалу-то, еще мальцом когда был гардемарином, так все больше нудили летом по чухонскому океану, то около Кронштадта, то у Ревеля толчемся. Испытал я и эту морскую болесть, а потом обтерпелся. А молодая-то душа все вдаль рвалась: крылья-то уж Господь Бог дал ей могучие, непоседа душа человеческая, все едино, что вот у вас...

Он кивнул голубоглазому блондину, который жадно слушал.

— Крылья, и лете-лете на крилу ветренюю,— улыбнулся смуглый.

— Да, точно, жаден дух человеческий, все ищет, все рыщет по свету, пока в могилку не заглянет... Ну-с, государи мои, плескались мы сначала у родных берегов, а как доплескался я до мичманов, так и выпустили из клетки, лети, душа!.. Сначала вышли мы в свое пока море, до Копенгагена... И то так и ел глазами все невиданное: и солнце-то, кажись, не так ходит, и люди-то не так созданы... Да это что! Простора еще не было... А там, дальше да больше, больше да шире, и до Портсмута добрались, и весь этот «туманный Альбион» очами поедал, и с Цезарем, кажись, да с его легионами блуждал по этим серым берегам... А тут уж, понимаете, государи мои, сам седой старец, его величество океан, на вас дышит величием божиим... Я, дурак, упал на колени перед ним, заплакал от счастья, слезы только кап-кап-кап... Слышу, божеская грудь на меня, на ничтожного мичманишку, дышит, великая грудь... А Алексей Григорьевич Орлов увидал меня в таком блаженном оцепенении да и улыбается. «Что,— говорит,— Кравков, пробрало?..» И точно я будто бы сам вырос на седых гривах этого великана, точно я выше стал, в груди силы прибыло, сам чуял, как крылья в душе вырастают...

— Ну и что ж дальше? В океане...

— В океане, сударь мой, я точно вырос, в лейтенанты меня произвели... Ну, и полетели мы дальше по седому океану: Франция, Испания, Португалия, все это

я топтал вот этими ногами, вспоминая подчас мою далекую Оку, мою скромную деревеньку и усадебку...

Он разом замолчал и задумался... Ему, казалось, слышался голос: «Я морю молюсь: отдай мне его, сине море!..»

— Франция, Испания, Португалия,— повторял его слова беспокойный блондин,— а там, дальше?

— Не выдержал! — как-то глухо произнес рассказчик.

— Чего не выдержали, Евдоким Михайлович?

— Душа не выдержала, тело не выдержало души, перелилась чаша через край, я занемог...

— Чем?

— Объелся, обожрался... Не я, не тело объелось, а дух мой: уж больно жадно дух мой пожирал новые впечатления... в Италии уже, в Ливорно, я слег...

— Что ж с вами было?

— Не знаю, голубчик, горячка, что ли, только когда я начал оправляться, так Орлов велел меня отправить в Питер уже по сухопутью. Это было в мае 1771 года. А в следующем году я уж опять мыкался по морям, да не по южным, не под жарким солнцем Италии, а под солнцем Ледовитого океана. Что за угрюмое море, государи мои! И как величественно неприветливо!.. Из Архангельска я обогнул Нордкап. Среди этого Ледовитого черта можно с ума сойти! Представьте только в своем воображении: плывете вы день, плывете другой, третий, четвертый, а солнце все не заходит, все вертится как ошалелое кругом, с утра до вечера, с вечера до утра, все плавает этот страшный огненный шар над горизонтом и не тонет в море... Страшно становится под конец! Хочется уйти, спрятаться от этого обезумевшего небесного светила, думается, что оно сбилось со своего пути, потеряло ночь и не может найти ее, просишь у Бога ночи, нет, нейдет ночь... Изобразите себе в мыслях эту картину: солнце потеряло свой закат, солнце светит не оттуда, откуда оно светило вам всю жизнь, с востока, с юга, с запада, нет! Оно светит с севера и тень вашу посылает на юг... От этого вида точно и мозги-то ваши опрокидываются. Обезумело, как есть обезумело солнце! Я сам чуть не обезумел, я не мог спать, я начал было пить с тоски, я просил ночи, тьмы, а тьма пропала...

— А матросы что? — весь красный от волнения, спросил голубоглазый.

— Что матросы! Говорят: вот благодать! Как бы-де у нас в деревне так весь год светло было, так и лучины бы не надо было запасать.

— Молодцы матросики! Вот философы! — засмеялись оба офицера.

— Да, только они и отраду давали: послушаешь это, как они насчет солнца-то острят да выгадывают, ну, и полегчает на душе... Солнушко, говорят, спьяна с дороги сбилось, дверей не найдет и шатается по небу... Кита, говорят, спужалось, боится в воду окунуться...

— Ну, а как вы оттуда выбрались?

— Кругом, мимо Гаммерфеста, да сторонкой от Гольфстрема и обогнули всю Норвегию и Швецию, да опять в чухонское море, в Ревель.

— А как же вы попали в Архипелаг?

— Это после. Это я потом назначен был в эскадру контр-адмирала Самойлы Карлыча Грейга. Так уж с ним мы ходили до Копенгагена сначала, а оттуда в Портсмут, а далее опять в Средиземное море, к Ливорне, а уж оттуда в Архипелаг.

— Что ж вы там делали?

— Да все крейсировали, как и здесь, турецкие корабли ловили.

— А много изловили?

— Не мало... Больше все топить приходилось... Там меня и в капитан-лейтенанты произвели...

Течет речка лозоньками,
Плачет девка слезоньками,—

тянул за душу все тот же унылый, однообразный голос.

— Это Маруська-то, что ль, плакалась?

— Маруська, знамо, все по ем...

— Ваше благородие! Ваше благородие! — точно из земли вырос матросик.

— Что ты? — тревожно спросили офицеры.

— Кажись, турка крадетца...

— Где? Где видишь?

— Вон тамотка... во-во, должно, к Анапу улепетывает...

На фрегате все зашевелилось. Раздалась команда. Заскрипели блоки, снасти. Матросы, словно кошки, рассеялись по реям. Заходили паруса точно живые,

надулись. Бог весть откуда взявшимся ветром... Точно само море проснулось...

— Ну, вот, скучали без работы, вот и работа будет,— на ходу бросил словами Кравков своим собеседникам, быстро, отрывисто отдавая приказания.

— Живо, готовь фитили! Осмотреть запалы!

— Вот те и Маруська...

— Левей, левей, черт!

Фрегат накренился, сделал полуоборот и на всех парусах полетел к Анапе.

II. НА РОДИНЕ

В ясный, летний вечер, когда солнце опускалось уже на темные игольчатые вершины сосен и елей, обывательская тройка, мерно позвякивая колокольчиком, тихою рысцою катила по извилистому проселку, постукивая о сухую землю нешинованными колесами простой извозчичьей телеги. Проселок извивался вдоль Оки по направлению к Гороховцу.

На облучке сидел ямщик в синей посконной рубахе и в шляпе гречушником и как бы для очищения совести постоянно махал над лошадиными крупами обдерганным кнутиком, сопровождая эти помахивания эпическими, ленивыми, и ему и лошадям прискучившими возгласами: «Но-но, боговы! с горки на горку, даст барин на водку... но-но, пошаливай!», хотя флегматические лошаденки и не думали шалить.

— Трогай-трогай! — понукал, в свою очередь, сидевший в телеге «барин»,— уж не далеко осталось.

— Но-но, погромыхивай, боговы! Не далече, помахивай!

Сидевший в телеге «барин» был Кравков, Евдоким Михайлович, тот самый загорелый капитан-лейтенант, которого мы видели на Черном море и который рассказывал о своих далеких скитаниях двум молодым морячкам мичманам.

Кравкову, небогатому, но даровитому от природы юноше, с самой школьной скамьи молодая жизнь улыбалась. Умный отец его, мелкопоместный дворянин Владимирского наместничества, служивший в гвардии и вышедший в отставку с небольшим чином, заметив способности «востроглазого Евдоши», порешил, что он умом и знанием должен завоевать свое счастье,

и отдал его в морской кадетский корпус. «Недаром Великий Петр любил море, в море сила, морем свет держится: пусть же мой Евдоша хлебнет из этого ковша, как Илья Муромец, и наберется силы»,— часто говаривал он про своего бойкого сынишку. И Евдоша не обманул ожиданий отца: из Евдоши вышел способный моряк, хотя, когда он уже мичманом явился на родину, некому было на него порадоваться. Он нашел в своей деревеньке только две могилки, отца и матери, да зеленеющую над ними кудрявую березку.

Поплакав под этой березкой, он опять воротился к своему морю, которое, как поэт в душе и мечтатель, любил больше всего на свете. И вот, как мы видели в предыдущей главе, начались его мыканья по синим, по зеленым и по фиолетовым волнам океана. Все товарищи любили Кравкова как задушевного, честного до мозга костей и в высшей степени симпатичного человека, пылкого фантазера и хорошего собеседника. Начальство отличало его перед всеми как способного моряка, хотя и косилось на него за одну его, с их точки зрения, слабость — за гордость, холодность отношений к высшим, за самостоятельность убеждений. Он никогда не заискивал в начальстве, не забегал вперед, не умел мило льстить, изловчаться. Когда даже всесильный Орлов трепал его любезно по плечу, он как будто хмурился. «Я не теленок, чтоб меня гладили»,— говорил он при этом товарищам. Он много читал. Мыкаясь по свету, он доставал в Европе такие книги, каких в России достать было нелегко. Руссо с его философиею природы был его любимым писателем. Но вместе с тем он глубоко любил высокую, чарующую своей простотой, поэзию Евангелия, и оно вместе с Руссо составляло его настольную книгу.

В поэзии моря, как и в поэзии Евангелия, он видел идеалы своей жизни, и других идеалов он не искал бы, кажется, совсем, если бы в его отзывчивое сердце не заронил луча живой, реальный идеал с плотью и кровью и с прелестными серыми глазами.

Когда вид могучего океана в первый раз произвел на его душу потрясающее впечатление и когда под тяжестью своих собственных страстных порывов его нервы не выдержали и он слег в Ливорно, откуда Орлов и отправил его для поправления здоровья на родину, он в своей гороховецкой вотчинке встретился с тем реальным идеалом с серыми глазами, который

и занял в его душе место рядом с поэзиею палестинских рыбарей. Это была дочь его соседа, богатого барина, масона и «вольтерианца», шаловливая Катя, выросшая на полной свободе, как лесная белка, и, как белка, подвижная и стремительная. Катя полюбила загорелого моряка, которого она слушала с замиранием сердца, когда он рассказывал ее отцу о своих скитаниях по голубым и фиолетовым морям. Влюбленные поклялись принадлежать друг другу во что бы то ни стало. Но так как Катя хорошо знала характер своего упрямого отца, который не раз высказывал, что скорее застрелит свою любимую дочь, как белку, чем позволит ей унизить свой род, выйти за какую-нибудь «мелкую сошку», то молодые люди и порешили выждать совершеннолетия Кати, чтоб потом, не нарушая ни гражданских законов, ни законов приличия, соединиться уже навеки.

Только не так вышло, как им мечталось.

Во время последней крейсировки в Черном море Кравков получил известие, что его невесту самодур отец хочет насильно отдать замуж за богатое и титулованное ничтожество. Возвратившийся из Владимира в азовскую флотилию, бывший в отпуску, лейтенант, приятель Кравкова, привез ему письмо, в котором невеста умоляла его немедленно приехать. «И мое, и твое счастье на волоске,— писала она между прочим,— а если ты не приедешь, то мне остается только в Оку броситься».

Кравков тотчас же подал в отставку и при прошении представил свидетельство врачей о болезни, а сам поскакал в Петербург, лично хлопотать об отставке и о пенсии.

В адмиралтейств-коллегии все сделали быстро, и на доклад коллегии последовала высочайшая резолюция о выдаче Кравкову пенсиона.

Но тут-то и начались те мытарства, та всероссийская правда, которая губит мелкие и честные единицы ради интересов крупных государственных паразитов. Несмотря на высочайшую резолюцию, граф Чернышев Иван Григорьевич, вице-президент адмиралтейств-коллегии, решительно отказал выдать Кравкову пенсию.

— Нет у нас, государь мой, пенсионной для вас суммы!—резко сказал он Кравкову при всех просителях.— Мы обязаны оберегать интересы ее императорского величества.

Кравков очень хорошо знал, как этот господин оберегал интересы государства. Моряки его не иначе называли, как «вор-президент» адмиралтейств-коллегии, а не вице-президент. Сама императрица была о нем самого низкого мнения. Она сама говорила Храповицкому о всех его проделках: и о том, как он у князя Орлова «зажилил камин» — подлинные слова Екатерины,— «и не возвратил взятых на то денег, когда ездил в Англию», и о том, как он оттягал картины у вдовы герцога Кингстона, и пр.

Этот-то господин ни за что ни про что при всех оборвал Кравкова, который еще никому не кланялся.

Несчастный очутился без копейки денег.

— И не ищите правды,— говорили Кравкову его петербургские товарищи по корпусу, когда он хотел жаловаться на Чернышева,— все они таковы, вор на воре и вор у вора из рук дубины рвут... У нас правда только на бумаге.

Собрав последние гроши, оставшиеся от жалованья, и продав мундир, он поскакал в свою деревеньку, на Оку, увозя из Петербурга не очень хорошее чувство к «властителям и судиям» вообще.

«А что там дома? Не опоздал ли? Не все ли уж потеряно?» — острым ножом резали вопросы, когда из-за зелени леса блеснула синеватая полоса родной реки.

— Да что ты так тащишься, любезный! Точно тебя за смертью послали! — волновался он.

— Но-но, боговы! Помахивай!

— Кой черт помахивай! Еле ноги переставляют! Болван!

— А, ешь те муха! Шевелись, пошевеливай!

Но вот показалась знакомая роща, где когда-то Евдоша еще резвым мальчиком за белками гонялся, а там все еще чернеются знакомые грачовые гнезда. Грачи уж вывелись, вон как орут над рощею. И скворешня знакомая торчит над скотным двором. Как почернела! А тогда была еще новенькая. А где теперь тот «Петька» скворец, которого юный Кравков перед отправлением своим в морской корпус сам воспитал и который так хорошо величал самого себя «скворгушка, скворгушка»?..

Вон и березка кудрявая, под тенью которой приютились две знакомые могилки с покосившимися крестами.

Знакомая родная деревенька с черными избушками и хлевушками и осиротелая родная усадебка, какое все это маленькое, жалкое, но дорогое сердцу!

Но не так его сердце рвется к этой родной усадебке, как вон к тому большому барскому дому, что стоит за Окой как раз против его скромной усадебки. Дом с колоннами, с цветником, с садом, с теплицами.

Но отчего все окна в нем закрыты ставнями? Отчего не видно кругом движения, жизни? Ни на террасе, ни на берегу ни души. Точно все вымерло. Ее любимая лодочка «Дельфин» привязана у плота. Над ее мезонином не развевается знакомый маленький флаг с изображением на нем якоря.

Что все это значит?.. Уехали? Но куда?..

Только белые голуби кружатся у ее балкона...

«Неужели опоздал!..» У Кравкова сердце точно упало и замерло...

Ямщик, употребив последние энергические усилия, заставил, наконец, свою тройку лихо подкатить к невысокому крыльцу усадебки.

Из ворот с лаем выбежали собаки. На крыльце показалась белокурая девочка, скорее девушка лет шестнадцати, и остановилась в изумлении.

— Барбос! А, старый, не узнал!

Собака, не узнав лица своего господина, которого давно не видела, узнала его голос и завизжала от неожиданного счастья, показывая такую безумную радость и столько искренности, сколько самый любящий человек не сумеет высказать словом и ласками.

— Батюшки! Барин приехал! — закричала и девочка захлебывающимся голосом, стремительно убегая в дверь, из которой снова опять выскочила красная, как кумач.

— Здравствуй, Поля,— ласково сказал Кравков, вылезая из телеги и с трудом отбиваясь от Барбоса, примеру которого последовали и другие, младшие собаки: «Значит,так следует, это барин»,— быстро сообразила четвероногая дворня.

Девушка робко подошла к Кравкову и схватила было его руку, чтоб поцеловать ее; но тот отнял руку и поцеловал девушку в голову. Она еще более вспыхнула.

— Лукьяновна, няня, здорова?

— Здорова-с, барин. Да вон и сама баушка.

На крыльце, на которое уже успел взойти и Кравков, в дверях показалась старуха. Она безмолвно всплеснула руками и закрыла ими лицо...

— Ох, баринушка! Ох, милый! О-ох!

— Здравствуй, няня...

У Кравкова голос сорвался. Он предчувствовал что-то недоброе. Он увидел, что заплакала и девушка, а старуха вся дрожала, всхлипывая.

— Что с тобой, няня! Что случилось?

Он сам испугался своего вопроса... Зачем он спросил?.. Он боялся ответа на свой, прорезавший его собственное сердце вопрос.

— Ох, батюшка! Родной мой! Баринушка!

— Да что же? Что с вами! — Он уже боялся спросить, что случилось.

— Ох, родной! Ох, батюшка! Светик ты мой!

— Да скажи ты, Поля, что с няней?

Но и девушка только пуще расплакалась.

Тогда старуха, отняв руки от лица, стала порывисто крестить своего барина.

— Постой, постой, родимый... Дай сердцу-то на месте стать, все расскажу.

— А лошадок-то, барин, распрягать велишь? — вмешался ямщик.

— Известно, распрягай.

— Ишь упарили! И дорожка же!

— Что ж мы тут стоим? — заговорила вдруг старушка. — Пожалуй в горницу, батюшка, а ты, Полюша, беги, ставеньки открой.

Кравков машинально, сам того не сознавая, отворил дверь в сени, а потом направо, в знакомую с детства «горницу». В ней было темно, как в могиле. Разнородные ощущения клещами сдавили сердце... Такого смутного страху он и среди бурного океана не испытывал...

Ставня открылась, и свет словно бы испуганно ворвался в комнату, в одну ее половину, боясь проникнуть дальше. Скрипнула и отворилась другая ставня...

Знакомые стены, стол, стулья и на стене потемневшая гравюра, изображающая Петра Великого в бурю на Ладожском озере... Какие ничтожные волны в сравнении с теми, которые он видел!

На круглом столе, у кожаного дивана, лежала женская соломенная шляпка с голубыми лентами и тут же маленькая палевая перчатка.

У Кравкова не то радостью, не то новым страхом сжалось сердце... Нет, это не радость...

Вошла нянюшка и, взглянув на шляпку и на своего барина, вновь заплакала...

— Ну, говори же, няня, разом: умерла?—глухим голосом, с трудом, выговорил он последнее слово.

— Ох, нет, родимый...

— Нет, говоришь? Няня! Где ж она!

— Ох, постой, постой, болезный, все, горемычная, расскажу... Пришла это она, голубушка, ни жива ни мертва, положила это на стол свою шляпочку и вон энту перчаточку да и говорит: «Нянюшка, гит, меня батюшка силком замуж хочет отдать, за Никиту Кириллыча, а я, гит, и перед Богом, и перед людьми невеста твово барина, Евдокима Михайлыча...» Ох!

Старуха остановилась и опять заплакала. Кравков с трудом передохнул.

— Ну, говори, няня, не плачь.

— Не буду, не буду, родной,—всхлипывала старуха,—вот она, горлинка божия, и говорит: «Я, гит, нянюшка, ушла от родителя, я, гит, хочу ехать к Евдоким Михайлычу, поеду, гит, во Владимир, а оттоле-де напишу ему, чтоб приезжал за мной».—«Что ж, говорю, и с Богом, дитятко, коли уж вас Господь раньше благословил к супружеству, поезжай, говорю, ластушка».—«В ночь, гит, и выеду, только бы мне лошадок достать до ямщика».—«Что ж, я говорю, барышня, за лошадками дело не станет: мой-де Ермил с Полюшей и проводят тебя до Владимира». Только я это, родной мой, выговорила, как слышу у крыльца конский топот. Барышня глянула в окошко да так и помертвела: отец, говорит, а с ним вместе этот злодей... «Что я буду делать! Пропала я, бедная!» А сама ручки ломает...

Старуха опять остановилась. Кравков сидел бледный, с широко раскрытыми, точно от ужаса, глазами.

— Ну, кончай же... Они увезли ее?

— Ох, нету, родной... Дай передохнуть... Вбежали это в комнату... А, говорит старый-то барин, ты здесь! Ах ты, гит, упрямая девчонка! Вся в меня, только я, гит, сильнее тебя... Да взял ее, голубушку, эдак в охапку, как дитю малую, и понес на крыльцо... А она, сердешная, только молит слезно: пустите, пустите меня... А родитель-то ейный, отец-от, вынес ее эдак, голубушку, на крыльцо да и передает с рук на руки нелюбу-то злодею. Берите, гит, дочь мою

из родительских рук: она-де теперь ваша и перед Богом и перед людьми. Теперь она, гит, глупа, молодешенька, свово талану-счастья не разумеет, а после меня же-де благодарить будет. Да так ее в руки-то злодею и вложил, как ребеночка... А она, сердешная, как вскрикнет не своим голосом, как вскрикнет!.. О, Господи! Господи!

— Так и увезли?

— Нету! Ох, нету! Коли б увезли...

— А что? Говори же, не мори меня!

— Баринушка мой! Не могу, язык не выговорит...

— Что же? Господи!

— Слушай же... Все доскажу, дорежу тебя... Как злодей-то взял ее в руки, а она, ластушка, как вскрикнет да и вырвись из рук погубителя-то свово... Ох!.. А отец-от опять за нее... А она как кинется на берег, да с кручи-то прямо в Оку... Только и видели ее...

Кравков не имел силы даже вскрикнуть...

— А как барышня бежали к Оке, так они сказали: «Я к тебе иду, возьми меня»,— да с этим словом и нырнули с кручи,— добавила Поля, которая стояла у дверей и рукавом рубахи утирала глаза.

Кравков продолжал сидеть по-прежнему. Он даже не плакал.

Старуха, несколько успокоенная тем, что он, казалось, не так сильно был поражен ее рассказом, как она того ожидала, стала припоминать подробности.

— И платьице-то на ей, на голубушке, было светленькое да веселенькое такое...

— По белому полю цветики махоньки,— поясняла Поля.

— Стали искать это ее в реке баграми да неводами,— продолжала старушка.

— А сам барин в лодке в барышниной,— опять вставила внучка.

— Не мешай, глупая... Искали-искали ее. Недалече вить и отнесло ее... Вон там и нашли...

— Супротив, почитай, березки,— не вытерпела Поля.

— Вынули это ее, сердешную, а у нее и головка падает, и косынька-то растрепалась... Я мигом простыни притащила, чтобы на простынку-то ее положить да качать... На твоих простынках, родной, и качали ее... Спать бы ей, горемышной, с тобой на этих простынках да радоваться, так нет, не привел Бог...

— А я ей платье, барышне-то, расстегнула, барин велел,— добавила Поля,— сам он хотел расстегнуть, да руки трясутся...

— Убивица он, вот что, а не отец! — с сердцем сказала старушка.

— Что же, не откачали? — чуть слышно спросил Кравков.

— Где откачать, батюшка!.. Так и отвезли ее на ту сторону с нашими простынками... После уж я их взяла... А на третий день и похоронили сердешную... Еще городской поп-от не хотел ее хоронить, утопленница, говорит, без попа-де да без ладану померла,— так ейный барин кнутом попу пригрозил, ну и схоронили голубушку там же, в садике у них.

— А сам барин уехал,— вставила свое слово Поля.

— Куда уехал?

— В чужие земли, сказывают, уехал, а дом велел запереть наглухо,— отвечала старуха.

Кравков взял в руки маленькую перчатку, поглядел на нее и снова положил на стол... В этот момент он почувствовал себя таким одиноким сиротой во всем мире, таким чужим для всех... Ничего у него не осталось, ни моря, ни жизни...

Он упал головой на стол и зарыдал... Старуха и девушка стояли около него и тоже плакали.

III. В ТИХОМ ОМУТЕ

Для Кравкова началась не жизнь, а вечная агония.

В то время когда он был в море, когда у него было дело, которое он страстно любил, которое составляло цель и всю окраску его жизни, в которое он, наконец, воплотил идеал своего духа, для него мир казался не пустыней: в этом мире была у него цель, к которой он шел, и жизнь казалась ему вечным движением вперед, постепенным достижением чего-то искомого, что и было его идеалом, хотя, быть может, не ясно сознанным, смутно представляемым.

Потом, когда он нашел, в этом искании своего идеала, и нашел совершенно случайно, точно с завязанными глазами, как древние изображали «слепое счастье», нашел другой идеал, идеал личного счастья, мир казался ему раем, в котором все было уготовано для его личного блаженства.

И вдруг все это было разрушено... Он бросил море, своих товарищей, свои привычные и любимые занятия, все, что наполняло его жизнь, бросил для новой жизни, которая представлялась ему такою лучезарною, и что же нашел!

Он разом потерял все. Жизнь потеряла для него всякий интерес, и весь мир стал для него пустыней...

Куда идти? Чего искать? Да для чего, зачем? Идти разве туда же, в Оку...

Но это бы еще ничего, что мир стал для него пустыней. Можно было бы и в пустыне забыться. Но забыться нельзя... Взамен всего, что у него было, ему оставили что-то незабываемое, от которого и в пустыне нельзя спрятаться... Ему оставили страдания, острые, жгучие... Куда от них бежать? Как тут забыться!.. Он был глубоко одинок; но он был не один: и днем и ночью за ним ходило это незабываемое, эти острые, жгучие муки...

Он потерял сон... Целые ночи он или сидел на берегу Оки, там, у березок, или отправлялся на ту сторону реки, где под землею лежало что-то для него не умершее... Он сидел и думал, мучительно думал...

Если б он мог вновь отдаться делу, которое он любил; но он сам порвал с этим делом так резко, в таких окончательных формах, что возвратиться к нему не было никакой возможности... Да и зачем теперь ему дело?

Какие бесконечные ночи! И дни бесконечные... Хоть бы сном забыться... И на Оке тихо, и в лесу тихо, ничто не шелохнет... Он сидит на берегу Оки, сжав голову руками.

Что это, как будто кто плачет? Кому же плакать, как не его собственной душе...

Нет, плачет кто-то...

— Кто тут?

Нет ответа. Это ему представляется, чудится в ночной тиши...

Нет, в самом деле кто-то плачет, и близко, явственно всхлипывает. Он поднимает голову... Да, точно, плачет...

— Кто тут? Кто плачет?

Он встал и направился к тому месту, откуда слышался плач. Под кустом что-то белелось. Словно чем-то ожгло его по сердцу...

— Кто это?

— Это я, барин,— отвечал всхлипывающий голос.

— А, это ты, Поля... Зачем ты здесь? Об чем ты плачешь? — Девушка еще сильнее заплакала.— Что с тобой, Поля? Зачем ты не дома, не спишь?

— Ах, барин... А вы сами... котору ночь не спите...

Он схватил себя за голову.

— Я не могу спать, Поля... А ты ступай, не мешай мне...

Вероятно, он скоро покончил бы с собой, если б жестокая горячка не уложила его в постель. Две недели он был между жизнью и смертью. Старушка няня и в особенности ее внучка не отходили от больного. В бреду он говорил такие вещи, которых ни старуха, ни девушка не понимали: то чудились ему какие-то далекие моря, по которым он, казалось, плавал и произносил непонятные слова; то жаловался на каких-то злых и бессердечных людей, то вспоминал какое-то письмо и звал кого-то. Всего страшнее казалось для его юной сиделки, для Поли, когда он говорил с каким-то морем, как будто с живым человеком: «Отдай мне его, сине море, отдай!..»

Поля совсем извелась за это время, но не оставляла больного, как ни уговаривала ее старая бабушка. Когда старухи не было в комнате, девушка часто становилась на колени и по целым часам молилась. Когда больной стал приходить в себя и к нему иногда возвращался сон, девушка украдкой целовала у сонного руку и тихо плакала.

Некоторые ближайшие соседи, узнав о возвращении Кравкова и о постигшем его несчастии, приезжали к нему; но старуха, видя, что пользы от этих посещений не видалось никакой, старалась не пускать их к больному.

Но и горячка прошла, как все проходит на свете, только нравственное состояние Кравкова не улучшалось. Прежних стремлений уже не было в душе; острые боли также в ней несколько полеглись, но тупая тоска не покидала его, как не покидали и воспоминания о его «потерянном рае». Он потерял и веру в людей. А между тем жить надо было. Ни постигшее его великое горе, ни тяжкая болезнь не разрушили его организма, а только надломили энергию его духа, оборвали в душе какие-то струны...

«Живи, Кравков, живи,— говорил он сам с собою, медленно поправляясь и бродя одиноко по берегу

Оки,— не умер, значит, должен жить... А для чего? А какое тебе дело до этого? Велено жить, и живи... Это твоя барщина... Вон твои мужики работают на тебя, это их барщина...»

Но кроме личного горя, в его душе вставали общие вопросы жизни.

«Где же правда?.. Там, в роскошных палатах, ее нет, она и не завиталась там... У Чернышева правда? У всех этих напудренных вельмож, у которых на словах общественное благо, а на глазах крокодиловы слезы?.. Знаю я эту правду и ей служить не буду...»

— Ты что, Поля?

— Меня за вами бабушка послала, барин.

— А что?

— Бабушка говорит, обед простынет... Кушать пожалуйте...

— А, хорошо... Ты что, Поля, такая бледная?

— Я ничего, барин... так...

— Ты за мною замаялась, бедненькая, когда я был болен?

— Нет... это что же-с?.. Это так...

— Хорошо, Поля, я сейчас приду.

«Разве вот у этих, бедных людей правда? Вон они так за мной ходили... Вот хоть бы и Поля... Да это, может быть, от холопской их преданности? Это их барщина ходит за мной...»

«Говорили, у масонов правда... Знаю я эту правду! В Херсоне вон офицеры втянули меня в эту бездну, и я насилу выкарабкался... Там все барство, все бары лезут в масоны, князи и вельможи... Вот, говорят, и Чернышев масон... Не таковы были люди Христовой правды: они ходили босиком, в милотях и шкурах козьих, рыбу ловили, от рук своих кормились... А эти! Это Навуходоносоры, велят, чтоб им кланялись, как тому идолу на поле Деире[1]... Нет, не тут правда... Была для меня правда в море, только в море она и потонула... Кому я там служил? Им же, Навуходоносорам, и они же меня бросили в печь огненную...»

— Что вы, баринушко, мало кушаете у нас?

— Нет, няня, я хорошо ем.

— Уж и хорошо, словно цыпленок клюет... А яишенка-то какая!

— Яичница чудесная, няня.

— Чудесная, а не кушаете... А все оттого, что вокруг своей печали ходите.

— Как так, няня?

— Да все думаете в мыслях... А коли у человека мысли, нету тово хуже.

Кравков улыбнулся.

— Как же, няня, без мыслей-то жить?

— А как други-то люди живут! Да хоша бы Петр Ильич, либо Андрей Исаич... Понаведались бы когда к ним, а то они к вам: вот бы мыслей-то и не было... А они же все навещали хворого-то.

— Твоя правда, няня, побываю у них.

— Они люди простые, хоша и господа тоже.

«Может, я тут, в этой глуши, среди простых людей найду правду и душевный покой... Они же живут, не рвутся к небу... Да у них, впрочем, и горя такого не было...»

— А это Полюша вам рыжичков набрала.

— Спасибо ей: она добрая девочка.

— В сметанке-та да с сольцой, и-и-скусно.

Кравков послушался старухи и стал иногда видеться с соседями, то он их навестит, то они к нему приедут. Хотя общество их и не было ему по душе, да и интересы этих захолустных, небогатых помещиков были самые узенькие, обыденные, вертелись то около поля с запашками, то около охоты за зайцами и утками, или же вращались в сфере местных сплетен, однако и с этими дикарями он чувствовал менее свое одиночество. Но порой и эти соседи с их скучными разговорами наводили на него тоску. Как идеал их стремлений было тоже масонство; но Кравкову опротивела одна мысль о масонах.

Он чувствовал, как тоска и пустота жизни затягивали его, словно омут. Он опять стал задумываться. Опять воспоминания прежней, такой разумной и светлой жизни туманом падали на его душу. Опять в этом прошлом воскресал дорогой образ. Он снова запирался дома или бесцельно бродил по лесу, по окрестностям. Но он чувствовал, что и там, по лесу, за ним что-то бродило... Это бродило за ним его прошлое, его тоска... От нее некуда уйти, разве в могилу?

Но последняя мысль казалась ему оскорблением всего его светлого прошлого, безумною, грешною мыслью, барским капризом... «От барщины бежать? Нет, живи, страдай...»

Всего мучительнее терзало его сознание, что он не может возвратиться к прежней жизни, которая теперь

представлялась ему потерянным раем. Мысль его, когда она на минуту отрывалась от созерцания того, что им было потеряно вот здесь, на этом самом берегу, блуждала по далеким морям, где над его головой сверкало чудное солнце юга, где чарующею картиною развертывались перед ним волшебные страны. Ему казалось, что он опять бродит по оливковым и апельсинным рощам островов Архипелага, слышит прибой фиолетовых волн вечно говорливого моря... Там, в Геллеспонте, созерцая берега некогда бывшей Троянской земли, он переживал тысячелетия, своею душою чувствовал то, что чувствовали когда-то эти герои и полубоги Греции, с которыми он породнился мыслью еще на школьной скамье...

«Но как воротиться в этот дивный мир? Через Петербург?..»

Но перед ним вставал во всем омерзении барской спеси возмутительный образ Чернышева, и его гордый дух возмущался... «Ни за что не поклонюсь презренному сановнику!»

«Но как же жить?» — снова терзался он вопросом.

«А живи так, как советует старуха нянька, без мыслей»,— отвечает внутри его как бы чей-то посторонний голос.

И он решился жить «без мыслей»: он отдался течению той жизни, которая его окружала.

Кравков снова стал видеться с своими соседями, ездил с ними на охоту, толковал о мужиках, об урожаях, о собаках. Он делал то, что делали все. Но так как ни пороши с заячьими следами, ни собаки не могли наполнить собой пустоты жизни, то дополнение это старались находить в вине: в этом зеленом российском океане Кравков и надеялся утопить свое горе.

Из нижеследующего читатель увидит, насколько Кравков успел в этом.

IV. В ИРГИЗСКИХ СКИТАХ

Прошло три года.

Летним утром 1780 года, за Волгой, по дороге от села Малыковки, что ныне город Вольск, Саратовской губернии, к Яику, шел какой-то прохожий, опираясь на длинную палку, какие обыкновенно носят странники.

Прохожий был мужчина лет тридцати пяти, хотя

резкие морщинки, проведенные на его лице не то горем, не то думами, придавали этому строгому с задумчивыми глазами лицу гораздо более лет. На голове у него была простая мужичья войлочная шляпа, как-то не по-мужичьи опущенная на глаза, которым, казалось, тяжко было смотреть на все окружающее. Одет прохожий был в грубую синюю крашенинную рубаху с косым воротом, в такие же штаны, заправленные в высокие мужицкой работы сапоги. На плечах серый зипун и котомка да за поясом тыква-горлянка для воды.

Хотя по всему одеянию это был совсем мужик, но в лице его, в выражении глаз и в каком-то неуловимом огне их было что-то такое, что как будто говорило, что глаза эти на своем веку перевидали что-то другое, не то, что доступно простому мужику в его обыденной обстановке, а голова эта, прикрытая мужицкою шляпою, передумала много такого, о чем мужичья голова никогда и не загадывает.

В волосах прохожего и в бороде с черным волосом резко переплетались серебряные нити седины.

Он остановился, по-видимому, затем, чтоб передохнуть. Солнце уже пекло сильно. Прохожий окинул взором расстилающуюся перед ним необозримую равнину. Это была степь, по которой семь лет тому назад бродил неведомый скиталец, за которым пошла потом половина России[2].

— Экое море, Господи! — тихо, с каким-то умилением в голосе проговорил прохожий.— Только это не то море, не фиолетовое... А далеко-далеко оно, это фиолетовое море, словно моя молодость и мое счастье.

Он задумался. Безбрежная степь невольно навевала на душу думы. Тихо, безмолвно кругом. Изредка над степью пролетит седой лунь, плавными взмахами широких крыльев нарушая мертвое однообразие пустыни, да в голубом прозрачном небе, трепеща острыми крылышками, реет сизая пустельга. Единственные живые голоса степи — это монотонно сюрчащие кузнечики.

«Так вот где мыкался Пугачев, гоняясь за своей долей и за своею страшною смертью... только я уж не ищу своей доли...»

Он сбросил с себя котомку, отвязал от пояса тыкву-горлянку и стал жадно пить находившуюся в ней воду.

— Что ж мудреного, что за Пугачевым все по-

шли, когда кругом одна неправда? Где же правда-то?.. Говорят, там, за этой степью, в тихом уединении леса...

Он снял с головы шляпу и горько улыбнулся, глядя на нее. Потом глянул на свою рубаху, на запыленные сапоги, на котомку.

— Капитан-лейтенант в сермяге... Что ж! Чем я лучше их, что кроме сермяги ничего не знали?.. А я знал, и того довольно с меня... Вспоминай прошлое... Эх, Руссо, Руссо! Тысячу раз правы твои святые слова: только в природе человек находит истинное успокоение. Да, вот она, тихая, безмолвная, кроткая, а как много душе сказывает она, мать-природа... О, моя матушка, матушка!

Он заплакал, закрыл лицо ладонями. Голова его тихо качалась из стороны в сторону.

— О, как горька ты и сладка, память прошлого. Матушка, матушка моя!

Долго сидел он так, не поднимая головы, потом отнял руки от лица, оглянулся кругом и стал опять надевать на себя котомку.

— Иди, иди, капитан-лейтенант,— с горькою усмешкой проговорил он,— а то прошлое твое по пятам идет за тобою.

Он тихо поплелся дальше. На дорогу из сухого чернобыльника выскочил зайчик-тушканчик, сел на задние лапки и с любопытством глядел на прохожего.

— Что, дурачок! Не боишься людей? Люди, верно, еще не научили тебя страху...

Тушканчик в несколько прыжков очутился опять в траве.

Путник продолжал идти, от времени до времени поглядывая в расстилавшуюся перед ним даль. Степи, казалось, конца не будет.

Но вот на горизонте показались неясные очертания леса. Вдали желтели нивы созревшего хлеба и виднелись, разбросанные по равнине, конические шапки стогов сена.

— Должно быть, близко,— тихо проговорил путник,— это признаки жилья людского.

На нивах темнелись отдельные точки. Ясно было, что это люди.

Скоро пустынник различил, что это были жницы, убиравшие хлеб. По темному одеянию он принял было

их за мужиков, но, подойдя ближе, увидал, что это все были бабы и девушки. Все они по одежде напоминали черничек.

У самых нив дорога разделялась на два пути. Прохожий остановился, видимо недоумевая, какою дорогою идти ему дальше.

Он подошел к жницам, которых было несколько десятков, и снял шляпу.

— Бог в помощь, люди добрые,— сказал он, кланяясь.

Жницы поднялись, держа в руках серпы и пучки сжатой пшеницы.

— Спасибо тебе, человече, на Божьем слове,— отвечала одна из них, пожилая, с добрыми карими глазами.

— Скажите, матушка, какой дорогой я пройду в скиты?— спросил прохожий.

— Коли ты с добрыми мыслями, так пройдешь прямою дорогою,— был загадочный ответ.

— С добрыми, матушка.

— А откуда ты, человече?

— Теперь из Малыковки.

— А кто тебе напутствие дал во скиты?

— Василий Алексеевич Злобин.

— Злобин Василий Алексеич нам ведом, хороший человек... Что ж ты в скиты, по какому такому делу?

— Ищу, матушка, тихого пристанища в горькой жизни.

— А! Только наше пристанище труд любит, да потрудится человек во славу Божию.

— И я ищу труда.

— Дело благое... Только вот тебе дорога в скиты, так и иди в лес.

Путник поблагодарил, поклонился и пошел тем путем, который отклонялся вправо: это и была дорога в иргизские скиты, ныне уже не существующие: они уничтожены в сороковых годах нынешнего столетия[3]. Скоро путник вошел в лес, прохладная тень которого, казалось, живительно подействовала на усталого странника. Он снял шляпу и поднял свое задумчивое лицо. В грустных глазах засветилось что-то радостное.

— Как тихо тут, безмятежно... Ужели тут обрету я свое пристанище? Может быть: верно, недаром говорит старая песня, которую я слышал когда-то еще от

покойницы бабушки, что горе-злосчастие отстало от горюна только тогда, когда за ним захлопнулись монастырские ворота.

Где-то за лесом вился к небу синий дымок. По временам доносился крик петуха да ленивый лай собаки.

— Да, жилье близко... Не видеть уж мне отсюда синего моря...

Лес начал редеть. Показались заборы, огороды, строения. Из-за деревьев блеснул крест. Прохожий перекрестился.

— Благословен путь твой, человече! — раздался вдруг чей-то голос сзади.

Прохожий невольно вздрогнул и обернулся. Из лесной тропочки выходил на дорогу седой старичок в скуфейке. В руках у него была плетенка, доверху наполненная черно-сизою ежевикой.

— Благословен путь твой, человече! — ласково повторил старичок.

— Спасибо вам, дедушка-отче,— отвечал прохожий, невольно потупляясь перед светлыми, совсем молодыми глазами старичка.

— В скиток к нам путь держишь, милый? — еще ласковее спросил старичок.

— В скит, отец святой... Могу я видеть Никиту Петровича?

— А кто тебе, миленький, сказал про грешного Никиту?

— Василий Алексеевич Злобин.

— А, он, родной...

— Вот и письмо у меня к Никите Петровичу.

— Так-так, миленький,— улыбался старичок,— я этот самый Никита и буду.

— Вы?.. Извините, я не знал...

Старичок еще добродушнее улыбнулся.

— Как же, миленькой, знать всякое древо в лесу? А я здесь то же древо старое во скитском нашем вертограде... Как же тебе знать меня, не видавши?

Пришлец снял с головы свою коническую шляпу и вынул из нее завернутое в платок письмо.

— Вот вам, Никита Петрович, письмецо от Злобина.

Старичок, поставив свою плетушку на землю, взял поданное ему письмо, посмотрел на надпись, разломил большую сургучную печать и стал читать напи-

санное на четвертушке синей бумаги. По мере чтения лицо старика принимало какие-то неуловимые оттенки, не то на нем отражалось изумление, не то радость, не то сомнение. Несколько раз он вскинул на пришельца своими ясными очами.

— Так вы и будете оный податель?—спросил он, ворочая письмо в своих сухих пальцах.

— Я, Никита Петрович.

— Евдоким Михайлыч Кравков?

— Да, я самый.

— Господин капитан-лейтенант?

— Да, точно.

— Зело рад... такой высокий чин—и в нашу бедную обитель...

— Ежели только примете... Вот мой указ об отставке...

Кравков вынул из того же платка вчетверо свернутый лист бумаги. Старик с улыбкой посмотрел на него своими ясными глазами.

— Нет, нет, увольте, батюшка Евдоким Михайлович, господин капитан-лейтенант,—торопливо заговорил он,—мы не сыщики, мы не связываем душу живу указами да пачпортами, это дело темное, не наше, нечистое дело... Кто убо воспретил птице небесной летати по аеру? Ни сам Господь... Вон она, птичина божья, полетывает,—старик указал на кружившихся над скитами голубей...—Так душу ли живу вязать пачпортами! Христос тому не учил, не спрашивал. Он указов да пачпортов, когда звал с собою апостолов, нет, не спрашивал!.. Вспомните одно место в святом Евангелии: «ходя же при мори Галилейстем, виде два брата, Симона глаголемого Петра и Андрея брата его, метающего мрежи в море, беста бо рыбаре. И глагола има: грядите по Мне и сотворю вы ловца человеком. Они же абие оставивша мрежи, по Нем идоста...» Спрашивал Он от них пачпортов? А? А они спрашивали Его, кто-де ты такой? Спрашивать, кто ты да как, это уже дело Пилатово, не наше: ему подавай пачпорта да указы... Ты ли еси царь иудейский—это он вопрошал... А мы—нет: мы по слову Христову всякого странного приимаем в обитель свою, она Божья, не наша...

Старик говорил горячо, страстно... Ясные глаза его теплились глубокою искренностью, он забыл даже, что они стоят еще в лесу, что собеседник его,

быть может, устал, проголодался. Много, видно, испытал он на веку, много видел несчастных жертв этих пачпортов «да указов», много знавал людского горя, виною которого было это «Пилатово дело», эти допросы да пытанья, оттого и говорил с страстностью.

— Они, Пилаты, вяжут душу живу, печатают ее кустодиею, душу-то живу, словно ко Христу привалили камень с кустодиею... Так нет, не удержали под печатью душу живу, воскресла: воскрес батюшка Христос!.. Пущай они, Пилаты, печатают душу, а мы нет; мы просим у Владыки-света: кто даст мне криле, яко голубине, и полечу... да и полечу, полетит душа моя без пачпорта, а Владыка-свет везде найдет ее: аще взыду на небо, Ты тамо еси, аще сниду во ад, Ты тамо еси, аще возьму криле мои рано и вселюся в последних моря, и тамо бо наставит мя и удержит мя десница Твоя...

«Вселюся в последних моря — что-то как бы резнуло по сердцу слушавшего эту горячую речь путника,— да и там я чувствовал его...»

— А то на! Душу в подушное обратили, словно осла подъяремного; плати, душа, подушное... Душу-то платить за себя заставляют, и кому же платить! На какое дело!.. Бог тебе дал душу живу, ее припечатали кустодиею! Бог тебе дал свой образ и подобие, его оскоблили... Дивлюсь, как носов не порезали, оно было бы еще глаже...

Старик, однако, опомнился и как бы смутился немного.

— Что ж я развякался так! Не обессудь, родной... Странничек истомился в путине, а я его морю... А все эти указы да пачпорта... Пусто б им.

Он торопливо взял свою плетенку с ежевикой.

— Так пойдем же, родной, господин капитан-лейтенант, пойдем в обитель нашу... Там и потолкуем, а ты отдохнешь да подкрепишься чем Бог послал.

Они пошли дальше. Перед изумленными глазами Кравкова постоянно развертывалась картина, которой он не ожидал: из зелени леса выступило целое поселение, церковь, большие длинные дома и целые группы построек... Все это смотрело так приветливо, весело. Из-за домов выглядывала голубая поверхность огромного озера, окаймленного лесом. Густые ветлы, клены, дуб, липа, береза, все это так живописно осеняло таин-

ственное поселение, спрятавшееся в зеленую чащу среди необозримой заволжско-яицкой степи. По озеру кое-где скользили рыбацкие лодки. На огородах виднелись люди, бабы и девки копались в грядках, пололи, поливали. Слышался стук топора, визг пилы. На всем лесном оазисе, видимо, кипела жизнь, но так ровно, тихо, гармонично. Попадавшиеся навстречу старичку и Кравкову мужики, не мужики, монахи, не монахи, а что-то среднее, низко кланялись... «Господь посреди нас»,— отвечал им на это старичок, и они проходили далее.

— Вот наши палестины, пустыня прекрасная,— добродушно сказал старичок, когда они вошли на обширный двор, среди которого стояла небольшая деревянная церковь, украшенная поверху осьмиконечными крестами.

Старичок ввел Кравкова под крытое крыльцо длинного деревянного дома, где в тени навеса, у стены и по краям, находились широкие деревянные лавки.

Вдруг в воздухе пронесся резкий металлический крик, и эхо откликнулось ему по лесу и за озером. Кравков невольно вздрогнул. Крик повторился еще и еще. Били в чугунную доску.

— Било заговорило,— с улыбкою заметил старичок,— к обеду зовет братию... Оно у нас голосисто, до Бога кричит... Час приспе обедать, и вы с нами потрапезуете... А после того мы с вами и покалякаем.

На двор, как муравьи, посыпались со всех сторон люди. Кравков не верил, что он в степи, в безлюдном Заволжье, где он видел только диких сайгаков, убегавших при виде человека, да медленно плавающего над степью беркута, либо белого луня.

V. «ПРЕКРАСНАЯ ПУСТЫНЯ»

— А ты поуспокойся, родной, не надрывай сердца-то.

— Не могу, святой отец, видит Бог, не могу... Уж очень долго все это в душу прятал, вот душа и не выдержала: прорвалась...

— Знаю, знаю, родной. Сам я такой же жернов осельный на душе носил.

— И я несу...

— Ладно... У нас ты ево на мельницу сдашь, жернов-от осельный... Ну, так как же? Досказывай все как на духу, легше станет на душу камень гнести, а то и совсем с души свалится... Ну, так приехал ты домой...

— Да, приехал, думал, счастье найду с нею...

— Так, а родители уже померли?

— Померли давно. Вот приезжаю я, думаю, в рай приехал, а меня встретило лютое горе...

— Что ж, преставилась отроковица?

— Нет... Я и сказать не могу, язык коснеет...

— Что ж, родной, дело прошлое, не воротить.

— Да, не воротить... Она ждала меня, а отец силой отдавал ее за злодея.

— Точно, силой — это нехорошо... не силой, а любовью надо: не силой Христос нас привел к себе, но любовью... Кая же любовь выше, аще положить душу за други своя... Сила — это дело Пилатово... Ну?

— Она вырвалась из рук злодея и утопилась в Оке...

— Ах, бедная отроковица, бедная! Погубила свою душеньку чистую.

— И мою погубила...

— Что ты! Что ты! Пока человек жив, Божье око бдит над ним; а Божье милосердие — море неисчерпаемое: на всех достанет.

В стороне, на берегу озера под ветлами, послышалось тихое, мелодическое пение. Пел чей-то свежий, юношеский голос:

О прекрасная пустыня!
Сам Господь пустыню восхваляет,
Отцы в пустыне скитают,
Ангелы отцем помогают,
Апостоли отцов ублажают,
Пророцы отцов прославляют,
Мученицы отцов восхваляют,
А вси святии отцов величают,
Отцы в пустыне скитают
И гор воды испивают,
Древа в пустыне процветают,
Птицы ко древам прилетают,
На кудрявыя ветви поседают,
Красные песни воспевают,
Отцов в пустыне утешают...

С глубоким вниманием слушал Кравков это тихое, грустное пение. Они сидели с Никитою Петровичем

в скитском саду, под грушею. Тут же был и скитский пчельник. Пчелы суетливо жужжали по цветам, а другие, словно пули, быстро летали то к озеру за водой, то назад в свои ульи.

— Кто это поет?—задумчиво спросил Кравков.

— А вьюноша тут у нас... Двое их у нас, два брата, иноки младые, Герасим да Савватий... Вот тоже, что и ты, из благородных, даже можно сказать, из высокоблагорожденных.

— Кто же они?

— А из роду Персидских... Отцы их и деды атаманствовали в вольском войске. Знаешь, чать, о вольском войске?

— Как же... Вольские казаки, говорят, к Пугачеву тогда пристали, так после усмирения бунта вольское войско уничтожили, на Терек перевели.

— Точно-точно. Вон и наше яицкое войско за ту же провинку Уральским сделали, чтоб и имени-де и духу бунтовничего не осталось... Так вот эти-то вьюноши Персидские не захотели властям неправедным покориться, не поехали на Терек и пришли к нам в пустыню, еще малыми робятками, да вот и теперь живут у нас во славу Божию, трудятся, и оба какие грамотники! Все стихи духовные наизусть знают... Вот нашли же утеху в пустыне, да еще в таких младых летах... Найдешь и ты свою утеху.

— Дай-то Бог!

Голос невидимого певца смолк, а собеседники все, казалось, к чему-то прислушивались, не то к тихому шепоту листьев, не то к умолкшей мелодии, которая как бы еще стояла и медленно замирала в очарованном воздухе.

— Тихо у вас, хорошо,—невольно вздохнулось Кравкову.

— Да, тихая пустыня, безмолвная, это точно. Но кто в ней, в пустыне-то этой, долго пожил, для того она не безгласна, друг мой... Преклони токмо ухо к ней, она с самим Господом говорит... Слышишь?

— Да, кажется, и я слышу...

Но это не пустыня говорила. Из-за ветел доносилась еще боле тихая, плачущая мелодия:

Как расплачется, как растужится
Мать сыра земля перед Господом:
Тяжело-то мне, Господи, под людьми стоять,

Тяжелей того — людей держать,
Людей грешных, беззаконныих,
Кои творят грехи тяжкие,
Досаду чинят отцу-матери,
Убийства-татьбы делают страшные,
Повели мне, Господи, расступитися,
Пожрать люди-грешницы, беззаконницы.
Отвечает земле Исус Христос:
О, мати ты, мать сыра земля!
Всех ты тварей хуже осужденная,
Делами человеческими оскверненная!
Потерпи еще время моего пришествия страшного:
Тогда ты, земля, возрадуешься:
Убелю тебя снегу белей,
Прекрасный рай проращу на тебе,
Цветы райские пущу по тебе...

— Уж и мастер же петь Герасимушко!.. Да и оба они, и Савватий, оба хороши певцы... Как хорошо службу поют! Это, сказывают, в роду у Персидских господ. И отцы их, атаманье, у! певуны же, сказывают, были на все войско... А вот сим вьюношам Господь послал талант пустынножительства: не скорбят о прелестях мира сего тленного, о роде своем, об атаманстве: и забыли, кажись, что они из породы Персидских *...

* Иргизские иноки братья Персидские, Герасим и Савватий,— это личности вполне исторические, не вымышленные. Когда, после поражения Пугачева Михельсоном под Черным Яром, между трупами пугачевцев найден был документ, обличавший, что волжское войско предалось Пугачеву, то войско это было уничтожено и переселено на Терек. Молодые же Персидские, происходившие от атаманов волжского войска, братья Герасим и Савватий («Дети майора Персидского», как их называли в официальных бумагах), ушли на Иргиз, где и оставались иноками до уничтожения, уже в сороковых годах нынешнего столетия, иргизских раскольничьих общин, где они пользовались большим уважением. По уничтожении иргизских монастырей Герасим и Савватий Персидские, уже маститые старцы, воротились к себе на родину, в Дубовку, где у них оставались имения, и у себя на хуторе, на речке Бердее, основали свой собственный скит. Слава об этом ските и о самых подвижниках прогремела по всему среднему Поволжью, по Дону и по Уралу, где раскольники знали Персидских и считали их, как значится в делах, «великими светилами правды». О ските же их староверы выражались: «солнце православия, зашедшее на Иргизе, по милости Божией воссияло на Бердее». Когда слухи об этом дошли до правительства, то оно приказало запечатать и скит Персидских. Но энергия братьев-иноков была несокрушима. Они основали на Бердее тайный скит, превратив в моленную простую «овечью избу», чтобы тем усыпить бдительность властей, подобно тому как первые христиане усыпляли бдительность язычников-римлян, отправляя свои богослужения в катакомбах, в пещерах, в «норах» и «язвинах». Но власти и об этом

Старик остановился. Он увидел, что Кравков, закрыв лицо руками, плакал. И у старика слезы навертывались на глаза.

— Что ж, сынок, поплачь маленько... Это хорошо: это душа твоя плачет, это пустыня в нее вошла, святая, тихая пустыня... Ну, старое-то, горькое все, прискорбное, нечисть светская, все это слезами сладкими изойдет... Это, друг, пустыня очищает тебя, аки баня паки бытия... Это душа в тебе возрождается и, аки младенец, исходя из утробы матерней, плачет... Хорошие это слезы, друг, и я плакал такими...

— Нет, не такие это слезы. Это слезы стыда, позора... Ведь они, мои злодеи, душу мою отравили. Там у меня, в душе, проказа!

— А ты забыл о прокаженном, друг мой?

— Нет, помню... Но тогда был Христос на земле, а меня некому очистить.

— Не говори так, мой друг, Христос и поныне на земле. Он среди нас.

— Да я-то его не вижу... Я чертей видел, а Христа нет.

— Каких чертей ты видел, дружок?

— Да они меня, злодеи-то мои, други и соседи, они меня споили совсем, чтоб овладеть мною... А я пил с тоски, потому что спать не мог. И ко мне стали черти являться...

— Это, друг мой, мечтание.

доведались. Братьев Персидских, уже очень дряхлых старцев, арестовали. «У отцов наших войско волжское взяли,— говорили они перед властями,— и насеки атаманской лишили («насека» — атаманская булава и доселе); с нас же ризы ангельские снимают и посохи страннические отнимают. Порушены казацкие вольности на Дону, на Яике и на Волге — нет более славного войска яицкого и волжского, и не возвратится вспять казацкая вольность. Мы скрыли себя в пустыне, там стали в ряды воинства Христова; но пришел враг и разогнал наше войско. Вот мы и решились искать нового убежища, дабы умереть не в остроге и предстать пред Господом не в серой свите (армяк, чапан) арестанта, но во иноческом одеянии». К скиту Персидских на Бердее стали тяготеть раскольники с Дона, Бузулука, Медведицы, с Бурлука, Иловлы и Волги. Все эти сведения о Персидских я извлек из архивных дел саратовского губернского правления, когда занимался исследованием движений в расколе Поволжья, равно историею уничтожения иргизских монастырей и гонения на раскольников в Саратове, Хвалынске, Вольске, Камышине, Дубовке, Царицыне и во всем нижнем Поволжье (гонения эти особенно сильны были в 40-х годах). Дворянский род Персидских доселе известен в нижнем Поволжье: из атаманов Персидские превратились в предводителей дворянства и т. п. *(Примеч. автора.)*

— Я сам знаю, что мечтание, да только я видел эту мечту... Голуби, я их видел...

— Какие голуби?

— Да когда злодеи довели меня до исступления, вокруг моей головы все голуби летали.

— Что ж, это мечтание... Ты был болен...

— Да, болен был. А они, пользуясь этим, подлецом меня сделали, злодеем, убийцей!

— Что ты! Господь с тобой!

— Да... Я никого не убил, не зарезал, но хуже того: я моих крестьян продал им, как скотину... Я и себя разорил, и крестьян...

— А Господь на что? Он поможет им: у Него-света всего много.

— Но я души продал, родные души: я продал свою няньку-старуху, которая выносила меня на руках, не спала за мной и дни и ночи... Я продал и внучку ее: бедная Поля!

— Кто ж эти злодеи твои были?

— Да все соседи, все дворяне, благородные...

— Ох уж эти благородные! От них-то все и зло на земле!

— От них, это я сам на себе испытал. Чем выше человек стоит, тем он бездушнее. От черного рабочего народу нет такого зла, а все зло от нашего брата, от благородных... Они, благородные, довели меня до безумия, до скотства. А как увидели, что я в безумии могу что-либо учинить над собою или над другими, меня как вора или разбойника взяли они под караул да и отвезли во Владимир. А сколько времени там меня морили! Да и это еще ничего. Нет, им нужно было до конца сгубить мою душу. По знакомству с графом Воронцовым, Романом Ларионовичем, нашим генерал-губернатором, они уговорили его назначить меня на место. А у графа свой умысел был. Водилась у него некая метреса, девка, тоже из благородных, да надоела ему. Так он и возымел мысль сбить ее с шеи, отделаться. А так просто, как от холопки, отделаться нельзя, благородная ведь, шляхетскую честь надо соблюсти: надо выдать за благородного же. Я как раз и пригодился. Взял он, Воронцов-то, да и назначил меня во Владимире в верхний земский суд заседателем, а там и стал ухаживать за мною: познакомил с своею метресою. Та уж была подучена, она и обвела меня своею красотой да притворною невинностью. Лицом же, на

мое несчастье, она походила на мою покойную невесту. Я и поддался соблазну, женился на ней: думаю, по крайней мере, заживу человеком, успокоюсь в своей семье... А вместо успокоения я нашел сущий ад. Она не любила меня, а вышла за меня, чтоб мною прикрыть свое поведение. Тогда я все понял. Она не думала скрывать от меня своих поступков, а говорила, что как прежде любила графа, так и теперь любит. Да только граф-то ее уж не любил: у него завелась новая утеха. Чтоб отделаться от нас, он перевел меня на службу в Пензу, подальше от себя. А там мне еще хуже стало, я не вынес моих мучений. Я хотел покончить с собой, но рука не подымалась.

— Как можно! Эка грех какой! Уж что же хуже самоубийства!—качал головой старик.

— Невтерпеж было... Я ведь никому о своем горе не говорил, вам это первым рассказываю.

— Что ж, мне можно: мне как будто на духу.

— Вы как отец меня приняли...

— И точно, я всем здесь отец, потому старше всех: тоже, значит, ветх деньми...

— Да... Я так и решил с собой: пойду искать добрых, простых людей.

— Простые-то добрее, потому к Богу ближе живут.

— Правда, я сам это чувствую здесь. У вас рай.

— Точно, рай, пустынюшка-матушка.

— Спасибо Злобину, Василий Алексеевичу, он направил меня к вам.

— И благо учинил: у нас тихо... Вон как хорошо наш скитской соловушко распевает, благо праздничек Бог дал: все скитские-то по ягоды да по грибы пошли, и он вот, Герасимушко наш, пустыню воспевает...

А из-за ветел действительно неслось пение:

О, прекрасная пустыня,
Любимая моя другиня!
Безмолвная мати пустыня,
Безмолвная, не празднословная,
Безропотна, не строптива,
Смиренномудренна, терпелива...

— А как же жена?—спросил старик.

— Она осталась в Пензе.

— И не знает, что с тобой?

— Не знает, да она и не хочет знать: она тяготи-

лась мною, да и мне она стала в тягость... Впрочем, она, кажется, нашла свое счастье. Она обо мне жалеть не будет. Я для нее, как и для всего света, в воду канул.

VI. ПЕРЕД ИСПРАВНИКОМ

Кравков окончательно поселился в скитах. Жизнь его так уходила, что он искал покоя, забвения. Скитская же жизнь вполне отвечала идеалу человека, утомленного жизнью, с разбитым прошлым и с будущим, в котором не светилось ни одного луча надежды. Если б он был другим человеком, он бы примирился и с тою жизнью, как мирятся миллионы. Но в душе его теплилось что-то такое, что освещало перед ним возмутительные стороны той жизни, которую он бросил, и он не искал возврата к ней... У него в душе было много поэзии, теплоты. Еще если б у него осталось море да молодые верования; так нет, голубое море с его бесконечною далью у него отнято, и молодые верования его разбиты. Так лучше уж тут, в этой пустыне, среди природы похоронить себя.

А в этой пустыне была своя жизнь и много поэзии. Скиты представляли значительное поселение людей, совершенно свободных, ни от кого не зависевших, не знавших ни что такое исправник, ни что такое подати и паспорты. В скитах в это время находилось более ста мужчин, и старых, и молодых, и даже детей, и до пятисот женщин. Пустыня эта была, в сущности, не пустыня, а только уединенная колония, маленькое теократическое, но, в сущности, демократическое государство, не знавшее ни войн, ни рекрутчины, ни начальства. Начальство они были сами. А кто заслуживал между ними наибольшего уважения, тому они охотно и с любовью повиновались. Делить им было нечего: у них было все общее. Да и делить было не из чего: их уединенная, действительно прекрасная мати пустыня была маленькая землица, буквально «текущая медом и млеком». У них было обширное хозяйство. Обширные девственные степи, которых от сотворения мира не касались ни соха, ни плуг и по которым только разгуливали стада робких сайгаков, степи эти, прародительницы нынешней «самарской житницы», родили им золотую пшеницу сам-сто. Озера и реки Иргиза давали им в изобилии рыбу. По землям их паслись

целые стада крупного и мелкого скота. Это был действительно рай.

Все скитники работали на общину. Но это была такая легкая, такая благодарная работа.

Были в скитах и такие радости жизни, которые возможны только там, «в мире»... Где молодость, здоровье, там и любовь, иначе жизнь была бы неполная.

Три года прожил Кравков в скитах и чувствовал, что в душу его сошел мир: те глубокие раны, которые он носил в сердце, зажили. От всего прежнего остались только тихие, дорогие воспоминания, а все острое, жгучее точно подернулось дымкою дали, смягчилось в своей резкости и жгучести...

«Ученый моряк, капитан-лейтенант, поклонник Руссо,— с тихою улыбкой думал он иногда,— а теперь раскольник-скитник... А побыл бы Руссо в моей шкуре, в шкуре бедного российского дворянина, тогда бы он понял, что такое скит для русского, что такое «пустыня» для затравленного зверя...»

И, сидя на берегу Калача, так называлось озеро, над которым расселились скиты, он закидывал в воду удочку и тихо подтягивал молодым инокам Герасиму и Савватию Персидским, которые пели один из любимых скитниками «противоцерковных стихов»:

Кто Бога боится, тот в церковь не ходит,
С попами-дьячками хлеб-соли не водит,
К Богу с покаянием часто прибегает
И властей-начальства знать совсем не знает.

Озеро разделяло мужской скит от женского, который был красиво расположен по ту сторону. Скитницы в это время мочили у берега лен и, слушая, как поют «братья», с своей стороны голосисто запевали:

По грехом нашим, на нашу страну
Попусти Бог беду такову:
Облак темный всюду осени;
Небо и воздух мраком потемни;
Солнце в небеси скры свои лучи,
И луна в ночи светлость помрачи,
А и звезды вся потемниша зрак,
А и свет дневной преложися в мрак...

Тихо, действительно пустыня, действительно рай. Ни прилива, ни отлива в этом море тиши и упокоения.

Но когда в душе улеглись жгучие боли, когда прошлое — и то далекое, счастливое, светлое, и это недавнее горькое,— когда это прошлое отошло уже в об-

ласть воспоминаний, а настоящее как бы застыло в той форме жизни, о которой можно было бы сказать: «иде же несть ни болезнь, ни печаль, ни воздыхание», Кравков почувствовал, что ему чего-то недостает... Недостает прилива и отлива в этом тихом пристанище, недостает бурь в этом беспечальном море тишины... Да, недоставало чего-то.

Будь он такой же, как Герасимушко Персидский, который ничего, кроме Волги и Дубовки, не видал, для которого весь мир — в этой опрокинутой над пустынею скорлупе голубого неба, ограничиваемого вон этим горизонтом, он удовольствовался бы пением «Стиха преболезненного воспоминания о озлоблении кафоликов» или об «Аллилуевой жене милосердной», собиранием грибов и ежевики, ужением рыбы в Калаче и Иргизе, делением дня и всей жизни между заутренями и обеднями, вечернями и всеношными; но, на несчастье или счастье, он видел когда-то такое, чего Герасимушке не понять, передумал столько, сколько все головы обоих скитов не передумали во всю свою жизнь. Часто, сидя на берегу Калача и закинув удочку в воду, он совсем забывал, где он, а вместо скита на том берегу озера перед его глазами расстилался троянский берег, в виду которого стоял когда-то их корабль, а в душе бесконечною лентою развертывались картины, одна другой ярче, одна другой заманчивее... «Что-то делается там, вне этой мертвой пустыни? Все так же ли бьет ключом жизнь, как тогда, давно когда-то?» Ему страстно захотелось хоть еще раз взглянуть на эту жизнь, хоть издали прислушаться к ее чарующему шуму. Ведь это все равно, что заживо погребенному выйти из темной могилы и посмотреть вновь на голубое небо, на жаркое солнце, увидеть те места, по которым он когда-то, до погребения своего, ходил, не думая, что все это у него разом отымется, что все это станет для него недоступным, недосягаемым.

Хоть бы раз еще увидеть родную Оку, тот берег с березою, с которыми связано было столько сладких и горестных воспоминаний. Там же и родная усадебка, и родная деревенька, которую он так бессовестно продал. Там же и дорогие могилы... И все это брошено, забыто!

В душе его заговорило горькое, мучительное сознание того, как бесчеловечно поступил он с людьми, которые бесконечно были ему преданы, которые, ка-

жется, вымолили его у смерти, когда он, после страшного нравственного потрясения, беспомощно метался в своей одинокой горенке... Нет, не беспомощно: над ним плакали и страдали. Два любящие существа не покидали его ни на минуту, забывая и сон, и покой, и он их бесчеловечно продал, как гончих собак, продал, одну уже на закате ее жизни, когда ей самой был нужен и уход, и покой, другую на самом рассвете ее молодой жизни... Между тем она его любила: он не мог этого не видеть при всем безумном эгоизме, на который только способно личное, острое страдание, забывающее все, кроме своих личных болей.

Нет, он должен поправить эту бесчеловечную ошибку, если только уже не поздно. Он должен их выкупить, дать им волю вновь жить своею жизнью хотя бы вот в этих скитах. У него еще сбережено несколько сот рублей, и он выкупит из кабалы бедную старушку и столько же, если не более несчастную девушку.

В одно утро, когда все скитники собрались за трапезу, Кравкова не оказалось меж ними. Прошел день, другой, третий, прошла неделя — нет Кравкова. «Добрый барин», как все привыкли его звать в скитах, исчез, словно в воду канул. Все пожалели о нем, потому что все любили его за скромность, хотя не могли не видеть, что у него есть за душою что-то свое, чем он ни с кем не делился; но как все догадывались, что это было горе, которое таилось в его душе, то его жалели и любили еще более.

«Не перекипел еще,— бормотал про себя, качая седою головой, Никита Петрович,— не убродилось душевное пиво, нет, не убродилось... Понес свою душу супротив всех четырех ветров житейских — размечут ее буйные ветры... не скитская душа, воинствующая...»

Прошло недели три. В Макарьевской слободе, что под Нижним, проходил какой-то мужик с котомкой за плечами, опираясь на длинную палку. Он шел через базар, не обращая внимания на обычную базарную суетню и на то, что базарные люди перед кем-то

снимали шапки. Этот кто-то был исправник, как можно было судить по его полицейской форме, а еще более по начальническому виду.

— Эй! Ты кто? — послышался вдруг окрик.

Все воззрились на того, на кого кричал исправник. А тот, к кому относился окрик, продолжал идти далее, ни на что не обращая внимания.

— Эй ты, бродяга! Тебе говорят! — повторился окрик.

Опять нет ответа. Пухлые щеки исправника побагровели от гнева.

— Задержать его! — крикнул он десятским.

Несколько человек перегородили дорогу прохожему. Тот остановился, удивленно посматривая на них. Подошел исправник.

— Ты кто такой? — с прежним гневом спросил он.

Прохожий спокойно поглядел ему в лицо, смерил с головы до ног, и что-то вроде усмешки блеснуло в его черных задумчивых глазах. Это окончательно взорвало полицейского претора.

— Как ты, мерзавец, смеешь не отвечать мне! — окончательно накинулся он на странного человека.— Да я тебя, мерзавца...

— Ты? Меня? — спокойно спросил прохожий с тою же усмешкою.

Исправник даже отшатнулся.

— И ты еще смеешь тыкать меня! Ты! Ты!

— Я следую твоему примеру,— был тот же спокойный ответ.

— Да ты знаешь ли, кто я!

— Знаю... Человек, роняющий власть.

— Как! Я!.. — исправник не нашелся даже, что сказать.

— Да, ты... Ты роняешь власть...

— Я исправник!

— Вижу... Тем хуже для тебя, ты не на месте...

— Да как ты смеешь со мной так говорить!

— Потому что ты так говоришь...

— А! Так я тебе покажу! Говори: кто ты такой?

— На это отвечу, ибо ты, яко исправник, имеешь право на такой вопрос: я — капитан-лейтенант.

Исправника,видимо,озадачил такой ответ. Он сразу как бы смутился. Но, увидев, что окружившая их базарная толпа как будто насмешливо улыбается, снова покраснел от досады.

— Какой ты капитан-лейтенант! Ты бродяга.
— Нет, я не бродяга... Со мной указ об отставке.
— Так ты самозванец!
— Такой же, как и ты.

В толпе послышался сдержанный смех. Исправник злобно оглянул народ,но ничего не сказал.

Между тем прохожий снял с себя котомку, неторопливо вынул из нее книгу, из книги вчетверо сложенный лист и подал его исправнику.

— Вот мой указ.

Исправник торопливо развернул бумагу. Руки его дрожали. Быстро пробежал он написанное, бормоча: «Капитану-лейтенанту Евдокиму Михайлову сыну Кравкову... из адмиралтейств-коллегии... подписал вице-адмирал Чичагов... печать... скрепа...»

— Так ты Кравков?
— Да, я Кравков.
— А если вид подложный?
— Можете справиться по принадлежности.
— Но и настоящий указ можно добыть каким ни на есть способом от другого лица.
— Я не добывал.
— Зачем же вы так ходите?
— Так хочу.
— Для чего вы носите бороду?
— Бород ныне носить не воспрещается.
— Но вы дворянин.
— Чем же борода бесчестит дворянина? Бороду и Спаситель носил.
— Так то Спаситель... А вы российский дворянин.
— И русские цари носили бороды.

Исправник не знал, что дальше говорить.

— А зачем вы крестьянское платье носите?
— Так хочу... Не хочу иметь никакой отлички от крестьянина: он такой же человек, как и я.

В толпе послышался ропот удивления и одобрения. Исправник чувствовал неловкость своего положения, но старался выдержать роль претора до конца.

— Дворянину в неподобной одежде ходить нельзя.
— Почему же?
— Соблазн... неподобно... в законе не указано.
— На это нет закона, как равно законом не воспрещено дворянину есть черный хлеб вместо белого...

— Вот так отрезал, братцы,— послышалось замечание в толпе.

— Нну! Язычок же! Бритва...

— Ай да барин! Умеет ответ держать...

— Комар носу не подточит... Вот те и тихоня!.. И насчет одежи, нну!

Исправник грозно оглянул толпу. Все шарахнулись назад.

— Все же я должен вас арестовать,— решил наконец исправник.

— За что? Как!

— За ношение неподобной одежды.

— Но мой указ; мое звание!

— Ваше поведение недостойно вашего звания... Я вас арестую.

— Вот те и клюква! — не выдержал кто-то в толпе.

Исправник нетерпеливо обратился к десятским.

— Разогнать эту сволочь! Прочь отсюда! В шею их!

Десятские бросились на народ. Передние осадили задних, те бросились бежать. Десятские пустили в ход палки.

— Идите за мной,— продолжал исправник, пряча бумагу Кравкова за борт кафтана.

— Но зачем? Я иду к себе на родину.

— Куда это?

— Во Владимир, в Гороховец.

— А откуда?

— Я иду из-за Волги, из Иргизских скитов.

— А зачем вы там были?

— Я просто жил там... Я могу жить где хочу.

— Но я все-таки обязан представить вас высшему начальству, препроводить в наместническое правление... Как решит начальство...

Кравков должен был покориться необходимости.

Его, как арестанта, отправили в Нижний при бумаге и велели сдать в наместническом правлении «под расписку», словно пакет какой-нибудь.

«Пилатово это дело, темное, нечистое»,— вспоминались ему дорогой слова Никиты Петровича: вот и узнал, что делается на Божьем свете, вдали от пустыни... Опять бы туда? А то хоть на край света, только бы подальше отсюда!..

VII. ПЕРЕД ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОМ И АРХИЕРЕЕМ

2-го октября 1784 года Кравков предстал перед лицо исправляющего должность нижегородского и пензенского генерал-губернатора, генерал-поручика Ребиндера, одного из тех Ребиндеров, об одном из коих мы читаем очень характерное замечание в «Дневнике Храповицкого»[4] под 4-м марта 1787 года, где говорится: «Услыша, что Ребиндер с графом Стакельбергом поехали верхами, сказано (т. е. Екатерина II сказала Храповицкому), что когда лифлянды вместе сойдутся, всегда говорят по-чухонски. После того вошел Ребиндер и в том признался».

Эта меткая характеристика в устах замечательной женщины и императрицы могла быть применена в то время и ко всем Ребиндерам, в том числе и к нашему, к нижегородскому. Эти люди, охотнее говорившие по-чухонски, чем по-русски, не знали и не хотели знать страны и ее народа, которыми, однако, управляли в качестве правителей и наместников, и не могли любить ни первой, ни последнего.

Тщательно выбритый, завитой и напудренный, Ребиндер с удивлением и какою-то нескрываемою гадливостью смотрел на стоявшего перед ним мужика с умными задумчивыми глазами.

— И вы капитан-лейтенант подлинно? — спрашивал он с ядовитою вежливостью.

— Подлинно капитан-лейтенант,— был ответ.

— И вы проходили морское учение?

— Проходил.

— В каком заведении?

— В морском кадетском корпусе.

— И экспедиции делали?

— Да, более десяти.

— Что же заставило вас бросить службу?

— Нежелание продолжать ее.

— Странно... Может быть, неудовольствия по службе?

— Нет, меня отличало начальство.

— Как же вы могли променять лейтенантский униформ на это... на эту сермягу?

— Променял.

— Не понимаю!

— Много пришлось бы рассказывать... не стоит...

— Но что же вы делали? Где жили? Что намерены делать?

— Я воротился домой... Меня обобрали и обманули... Я поступил на службу, меня опять безбожно обманули... Я бросил службу... сбросил с себя оболочку даже, под которою прячется одна ложь, и ушел туда.

— Куда же? — с едва скрываемою иронией спросил Ребиндер.— Где это вы нашли такую Аркадию?

— За Волгой.

— За Волгой? Вот тут?

— Нет, на Иргизе.

— На Иргизе? Где же это?

— За Малыковкой.

— Я этой местности не знаю.

— Ниже Симбирска и выше Саратова... В Иргизских скитах.

— А! В скитах! Так вы раскольник? Вот что! Дворянин — и раскольник! — Ребиндер пожал плечами.

— Нет... я не раскольник... Я только нахожу сомнения в рассуждениях церковных, не почитаю не только духовенство, но и церковь...

— О! — Ребиндер встал.— Даже церковь?

— Да... И то, что попы называют таинствами, я не признаю...

— Что же вы признаете?

— Евангелие и правду...

— О! — улыбнулся вельможа.— Я не православный, в вашей религии я не силен... Я лучше попрошу его преосвященство переговорить с вами о сем предмете... Прощайте! Можете увести его,— обратился он к стоявшим у порога с ружьями солдатам.

Кравков, горько улыбнувшись, вышел.

«Прежде к Пилату,— шептал он,— а теперь, видно, к Анне и Каиафе поведут... Ходи, Кравков, ходи... Вот тебе и свет широкий, вот тебе и фиолетовые моря!..»

На другой день Кравкова вели по улицам Нижнего, как простого арестанта. И перед ним и за ним шли два солдата с ружьями. Перед его глазами открывалась красивая панорама Волги и далекого Заволжья. Он вспомнил, как давно когда-то, еще мальчиком, он был в Нижнем с отцом, и эта далекая панорама поразила его юное воображение. Неужели же можно добраться туда, в эту недосягаемую даль? — думалось ему тогда. А в такие ли дали после забрасывала его судьба! Такие

ли панорамы развертывались перед его изумленными очами, когда корабль его носило по океанам!.. А теперь... вон куда занесло его утлую ладью...

Кравкова ввели к архиерею. Горькое чувство шевелилось в душе арестанта.

— Приблизися, сын мой,— тихо сказал архиерей, опершись тучным телом на аналой, на котором лежали крест и раскрытое Евангелие, и заплывшими жиром глазками осматривая с ног до головы интересного арестанта.

Кравков не двигался. Губы его судорожно передергивались.

— Подойди, сын мой,— повторил епископ, возвышая голос.

— Зачем? Что мне тут делать? — произнес арестант.

— Сотвори крестное знамение и поцелуй крест и слово Спасителя твоего.

— Для чего!.. Я не хочу этим играть... Я много целовал его, я его слезами обливал...

— Паки поцелуй,— настаивал епископ.

— Да зачем вам это! Зачем вам этот крест, какое вам дело до Спасителя! — с страстною горечью произнес арестант.

— Как какое дело! — изумился епископ.

— Не Его ли именем вы мучите народ, глубоко верующий, глубоко любящий, народ, у которого вера чище вашей и искреннее!.. Не Его ли именем возжигают костры и сожигают на них тысячи невинных! Не Его ли именем пролиты реки крови, когда Он Сам пролил свою божественную кровь за нас, чтобы только мы не были зверьми, не ели бы друг друга!.. Не Его ли священным именем сильные угнетают слабых, богатые обирают нищих!.. Не Его ли именем прикрывают все глубоко неправое и глубоко безнравственное!.. Вы вон в шелковой рясе, в богатых палатах, тот весь в золоте, у тех власть и богатства, и вы ли смеете бестрепетно богохульствовать, произнося чистое имя Того, Который не имел, где главу приклонить! Вы ли Его служители? Нет, вы служители Ирода!.. Это Он, божественный страдалец, к вам обращался, говоря: «О, порождения ехиднова! Како можете добро глаголати, зли суще?»

— Что ты! Что ты! Ты богохульствуешь, еретик! — мог только произнести архиерей, все далее и далее

отступая в глубь обширного кабинета, с испугом оглядываясь по сторонам.

— Нет, вы богохульствуете каждым вашим словом, каждым поступком! — продолжал арестант.— Вы от Его божественного учения, от всех правил и заповедей Его не оставили неискаженным и неоскверненным ни одного слова, ни одной йоты, как слепые и злые люди не оставили камня на камне от того храма, где Он, божественный страдалец, учил любить ближнего, как самого себя... А где ваш ближний? Вы загнали его в леса, в пустыни, в норы и язвины, вы отдали его кровное достояние богачу, а его хижину оставили без крыши, вы одели сильного пурпуром, а его тело отдали на жертву холода и дождей, вы обули богача в сафьян и замшу, а ближнего гоните босым и голодным на барщину... О, порождения ехиднова!..

Кравков вдруг остановился, как бы сразу проснувшись или опамятовавшись от бреда. Он протянул вперед руки...

— Простите меня, ваше преосвященство! — со слезами в голосе заговорил он.— Я не хотел оскорбить вас... Я не к вам относил мои слова!.. Я небу жаловался, я ветру кричал... Ваше преосвященство! Я так много думал, так много страдал...

— Успокойся, сын мой... Бог тебя простит... В тебе говорит заблуждение, дух гордыни,— начал было архиерей.

— Гордыня! В армяке-то этом! — И арестант с горечью показал на свой жалкий костюм.

— Гордыня и в рубище ходит... А ты, сын мой, смирись...

— Что вы мне говорите! — опять страстно воскликнул арестант.— Меня прислали к вам, чтоб вы меня увещевали, как раскольника, как какого-нибудь начетчика... Да я Вольтера всего прочел, Руссо наизусть знаю, Дидерота, Даламберта, Гельвеция! Над святыми словами Евангелия я до сих пор плачу, как ребенок... Я правды ищу, правды, слышите ли! А где она? У вас в консистории, что ли? В синоде? У исправников? У губернаторов? Я Христовой правды ищу, а вы увещевать меня хотите!.. Раскольник я!.. Да не вы ли Христа раскольником сделали!.. Увещевать! В чем же? Что я сделал? Кому зло учинил? Какое преступление совершил? Разве

то, что эту подлую, по-вашему, одежду на себя надел? За это и исправник меня арестовал... А вы-то что тут, слуга Христов? Вы тоже разве исправник? Разве Никодима приводили ко Христу с солдатами?

Он снова остановился, точно его покинули силы. Архиерей в смущении перебирал четки.

— Что же тебе надобно?—спросил он в нерешительности.

— Мне ничего не надо,—отвечал Кравков упавшим голосом.—Но вам-то что от меня нужно? Что нужно им? За что они меня взяли, за что арестовали, как убийцу?.. Я одно только прошу, отпустите меня, не мучьте.

— Но ты покорись властям.

— Каким?

— Предержащим властям... Ему же убо урок урок, а ему же дань дань...

— Знаю, знаю... Дань-то особенно... Да я-то не податной, я дворянин... говорю это с сожалением...

— Все равно... власть... А ему же убо страх страх...

— Знаю, давно знаю! Это Его-то святые слова исказили, из Евангелия сделали уложение о наказаниях. О, порождения ехиднова!

Архиерей позвонил. Кравков вздрогнул и снова как бы опомнился.

— Отпустите меня, ваше преосвященство.

В кабинет с низким поклоном вошел седой монах.

— Отец эконом,—обратился к нему архиерей,—проведи господина капитан-лейтенанта в следственную, впредь до особого распоряжения.

— О, порождения ехиднова!—тихо бормотал Кравков, следуя за отцом экономом.

VIII. ПЕРЕД ШЕШКОВСКИМ

Ранним утром 13-го ноября 1784 года в Петербург через московскую заставу въезжали сани-пошевни. По взмыленной и заиндевевшей тройке, от которой пар шел клубами, видно было, что ездоки торопили ямских лошадей, и только, когда у шлагбаума подвязывали к дуге колокольчик, усталым коням дали несколько секунд на передышку. Дело ездоков было, по-видимому, спешное.

Кто же были эти путники? Тайной экспедиции канцелярский чиновник Григорьев с «будущим», как значилось в подорожной, на которой сверх того чернели три крупно написанные магические слова: «По высочайшему повелению». Вот почему так взмылены ямские лошади и почему часовой так торопливо подвысил шлагбаум.

А кто был этот «будущий» без имени? Конечно, Кравков. Это он сидит закутанный в нагольный арестантский тулуп и задумчиво глядит на выступающий из тумана Петербург.

«Вот и он опять, Вавилон новый». Захотелось Кравкову выглянуть из «прекрасной пустыни» на свет Божий — ну вот и гляди, пока тебя из тюрьмы в тюрьму будут перевозить.

Замелькали знакомые петербургские улицы, мосты, будки, часовые.

«Все-то прячутся, все-то стерегут кого-то, точно дикими зверями населен город. Нет, хуже чем зверями, благородными Чернышевыми, добрыми Шешковскими, Вяземскими».

Под визг полозьев, захватывавших камни мостовой и резавших душу, Кравков, казалось, слышал, как Герасимушка Персидский тянул свою тоскливую мелодию:

Оле бедствия на святой Руси,
Оле лютости по всей земли:
По глухим дебрям все скитаемся,
От зверей лютых уязвляемся,
Всюду беднии утесняемся,
Из отечества изгоняемся.

«Ах, если бы можно было вон бежать из этого отечества, туда, к фиолетовым волнам, под яркое солнце».

Сани остановились у крыльца большого, с колоннами, дома. Приехали! Как-то холодно стало на сердце у приехавшего.

«В 80-х годах прошлого века,— говорит В. И. Ламанский в своем исследовании о Кравкове *,— русское образованное общество, к лучшим представителям которого, за исключением, быть может, балахнинского исправника, принадлежали все лица, так вдруг едино-

* Памятники новой русской истории; том I. *(Примеч. автора.)*

душно заинтересовавшиеся личностью Кравкова, это общество, по крайней мере, большинство образованного дворянства, не отличалось особой преданностью церкви и православию, считало сотнями в своих рядах ревностных масонов, иллюминатов или усердных поклонников Вольтера, Дидро, д'Аламбера, Гельвеция. Ни в Нижнем, ни в Петербурге особенно никого тогда не могло удивить, что какой-то русский дворянин, отставной капитан-лейтенант, с неуважением отзывается о русской церкви, не почитает ни таинств ее, ни обрядов. Кощунство над верою, насмешки над христианством были в то время у нас до такой степени в моде, что им предавались часто даже люди верующие, из боязни прослыть отсталыми. В речах Кравкова, так вдруг поразивших высокопоставленных лиц и в Нижнем, и в Петербурге, были высказаны те вольные мысли о церкви, которых держались и они сами, и огромное множество их друзей и знакомых, и, наконец, несколько сот тысяч русских крестьян и купцов-раскольников, которых в то время запрещено было преследовать. В простых словах Кравкова: «где хочет, там и живет, и что хочет, то и думает» — выразились самые невинные и естественные требования каждого свободного человека, самое первое правило, начала свободы совести, начала, торжественно провозглашенные законодательством того времени! Тем не менее и Ребиндеру в Нижнем, и высшим лицам в Петербурге мысли Кравкова представляются «зловредными». Подобно балахнинскому исправнику, арестовавшему Кравкова, все они одинаково были поражены не мыслями Кравкова, а тем обстоятельством, что их возвещал отставной капитан-лейтенант с бородой, в неподобной одежде; что он, осуждая греко-российскую церковь, ее таинства и обряды, в то же время называл себя христианином, почитал Николая Чудотворца. Раскольника-крестьянина не арестовал бы и балахнинский исправник; дворянина масона, деиста или атеиста преспокойно оставили бы в покое, но дворянин-раскольник был явлением до такой степени странным, что не мог не возбудить к себе сильного подозрения и в балахнинском исправнике, и в исправляющем должность генерал-губернатора, и в князе Вяземском, и в самой императрице Екатерине II. Все они были изумлены этим случаем не только как лица правительственные, представители государства, но и просто как

люди образованные, представители русского общества второй половины XVIII века».

Как бы то ни было, Кравкова в тот же день представили пред ясные очи Степана Ивановича Шешковского.

Шешковский — это была замечательная личность в истории второй половины прошлого века. На памятнике его, который доселе можно видеть на кладбище Александро-Невской лавры, в соседстве с памятником фон-Визина, сохранилась лаконическая эпитафия: «Служил отечеству 56 лет». Но как служил! Должность его была скромная. Он титуловался только обер-секретарем тайной экспедиции. Но Степана Ивановича боялись не только простые смертные, но даже первые чины в империи... Попасть в руки Степана Ивановича — это все равно что попасть в волчий капкан. Под рукой вельможи рассказывали, что Степан Иванович так привык делать «обыски» и «допросы», что когда ему некого было обыскивать и допрашивать, то он обыскивал самого себя. Сам он о себе говорил, что у него «восковое сердце», что злыми языками толковалось так, что он из своего сердца что хотел, то и делал, но оно так же нечувствительно было к чужому горю и чужим слезам, как простой кусок воску.

Шешковский встретил Кравкова извинением, что его, может быть, напрасно побеспокоили; но что, по долгу службы, он просит господина капитана рассказать ему о себе все, «как отцу родному». Кравкову человек этот с «восковым сердцем» показался добряком, и, перемученный дорогою, разбитый нравственно, с чувством усталости в душе, он действительно начал говорить ему «как отцу родному». Упавшим голосом, часто останавливаясь, как бы переживая все то, что он говорил, Кравков действительно рассказал ему все, что нам уже известно, что довело его до решимости порвать связи с миром, глубоко опостылевшим ему. Рассказал и о своей неудачной женитьбе, о жене, которая надбавила горечи в тот ковш горя, который ему пришлось испить.

— Впрочем,— прибавил он с горечью,— напрасно я вам об этом и сказываю: она, я думаю, уже давно замужем. Сказал я о ней для того только, что я твердо решился удалиться от света и от масонов, ибо и в Пензе, и во Владимире все масоны, да и граф Воронцов сам сказывал, что он масон: я-де и Чернышева ваше-

го поставил масоном. Я решился искать прямо христианской жизни и ушел из Пензы, продал свое платье, оделся в это и пошел в раскольничьи скиты. Там я и нашел людей, прямо живущих по закону Божию.

Глаза Шешковского, ясные и прозрачные, как глаза невинного младенца, казалось, выражали сочувствие к арестанту, которому, видимо, надоело все то, что он должен был повторять в десятый раз, вовсе того не желая.

— Раскольничьи скиты,— повторил Степан Иванович мягко,— но ведь там живут люди, не имеющие никакого просвещения, наполненные суеверством и невежеством, и самые простые мужики. Кажется бы, по состоянию вашему, отнюдь не прилично по здравому разуму прилепляться к таким простякам, забыв свою честь, что вы почтены в государстве.

Кравков слабо махнул рукой.

— Мне ни честь, ни достоинства не нужны, а приятна их жизнь и обряды в богопочтении. Я почитаю, они основаны на истине Священного писания, а посему я их и считаю настоящими христианами.

Глаза Степана Ивановича встретились с глазами сидевшего в стороне, у окна, какого-то старичка и что-то строчившего. Старичок понял этот взгляд и стал строчить еще усерднее.

— Но ведь эти люди,— продолжал он еще более мягко,— наполнены суеверством и невежеством, то кажется никак не совместно и не прилично вам быть в их сообществе, а надлежит, оставя такое заблуждение, искать, по состоянию вашему, лучшей участи и уклониться от их прелестного учения.

Кравков сделал нетерпеливый знак. Все это так ему надоело! А этот еще повторяет одно и то же: «не совместно, не прилично».

— Я ничего не хочу! — рванулся он было с места, но остановился.— Один раб двум господам служить не может... Бороды брить, другого платья носить и лучшей участи иметь я не желаю, а только прошу отпустить меня за границу.

— За границу? — Степан Иванович насторожил уши.

— Да, за границу.

— Что же вы там будете делать?

— Там дела больше, чем здесь.

Степан Иванович опять взглянул на строчащего

старичка, как бы говоря глазами: «Строчи, строчи, ничего не моги пропустить».

— Гм, дела больше, чем у нас... А в каком месте?

— Уж я там изберу себе место, какое Бог назначит.

— Так-с, отлично... А делать-то что будете?

— Работать и читать.

— И читать?

— Да, и читать.

— А что бы такое, позвольте спросить?

— Философов, Руссо, да мало ли кого!

— Так, так, отлично, и философов, и Руссо... Раскольники и Руссо — это что-то не вяжется, господин капитан-лейтенант... Суеверство!..

Кравков нетерпеливо пожал плечами.

— Что вам дались раскольники! — заметил он.— Эти люди, живущие в лесах, как затравленные звери, упражняются в богомолии и в трудах, да они же, бедные, и подати платят.

— А много их там? — любопытствовал Степан Иванович.

— В том скиту,— отвечал Кравков,— где я был, живет человек сто — двести мужчин да сот до пяти женщин и старухи, все трудятся в работах и подати платят.

— Да они и должны платить,— возразил Шешковский,— ибо они имеют земли и промыслы.

— Да земля-то ведь Божья,— с своей стороны возразил русский социалист прошлого века,— а Бог не велел никому никакого насилья делать, ибо Он сотворил всех равными.

«Ого-го! — казалось, говорили глаза Степана Ивановича, обращенные к пишущему старичку,— слышите? Смекаете? Это пугачевщиной пахнет...»

Но он этого не высказал, а сделался еще любезнее.

— Ах, государь мой,— начал он снова,— как вам не стыдно, имевши чин, и притом штаб-офицерской, быть так упрямому против установленного в государстве порядка и защищать таких людей, которые, живучи в праздности, под видом ложной святости, стараются своими хитростями вовлекать людей в свои пагубные сети, что самое случилось и с вами.

Терпение Кравкова наконец лопнуло... «Чего им от меня нужно? Что я им сделал!» Он уже начинал чувствовать, что пропала его свобода, что паутина, в которой он очутился, запутывала его все больше и

больше... «Прощай, свобода! Прощайте, голубые моря!»

— Так как же-с, государь мой? — стоял над душой страшный паук в образе «доброго друга».

— Как! Да ежели я сделал какое зло,— с отчаянием заговорил арестант,— то в вашей воле, меня можете мучить, бить или живота лишить. Я на все готов. Только души у меня отнять никто не может. Буде же хотите, судите меня воинским судом. Хоть сжечь велите, только я от своего намерения не отступлю!

Степан Иванович пожал плечами, как бы сожалея «оподлившегося» дворянина.

— Никто вас мучить не будет,— снисходительно заметил он,— да и нет нужды.

— Так что же вам от меня нужно?

Степан Иванович как-то странно улыбнулся.

— Можно думать,— сказал он, продолжая улыбаться,— что вы столь упорствуете для того, что вас старички послали посланником за них пострадать и для того вам в напутствие дали образ святителя Николая...

— Это благословение матери,— нетерпеливо перебил его Кравков.

— Положим... Но старички весьма ошиблись,— продолжал более серьезно Шешковский,— ныне, по власти Божией и по милости всемилостивившей государыни, наша вера христианская соблюдается от всех по самому Евангелию и преданиям святых отец. А люди эти, держащиеся старого обряда, достойны сожаления, ибо отчуждаются церкви Христовой по одним только обрядам. Впрочем, они также христиане, почему и вас, кажется, мучить нужды настоять не будет, а только требуется от вас, по общим государственным законам, повиновение, как от сведущего по службе человека и заслужившего штаб-офицерский чин.

На всю эту речь Кравков ничего не отвечал. Так опротивели ему эти казенные, лицемерные речи людей, которые сами ни во что не верили, даже в человеческую честность.

— Как же, государь мой?

Кравков все молчит. Только губы его нервно вздрагивают.

— А? Согласны, мой добрый друг?

Опять молчание. Слышится только тяжелый сдержанный вздох.

— А? Скажите же, государь мой.

— Я уже более говорить не буду,— отвечал Кравков, не поднимая головы.— Я все сказал... Отпустите меня за границу, ведь других отпускают.

— Конечно... только...

— Ну, а если нельзя, пошлите на каторгу, там я буду работать, или отошлите в острог, я и там трудиться буду. А здесь я заперт и живу в праздности.

Шешковский стал ходить по комнате и что-то соображать.

— Хорошо,— сказал он, а потом, обращаясь к строчившему старичку, спросил: — Готово?

— Готово-с, ваше превосходительство.

— Литерально? [5]

— Литерально-с, ваше превосходительство.

Затем Шешковский обратился опять к Кравкову.

— Теперь не угодно ли вам, государь мой, руку приложить,— указал он на бумагу, поданную ему старичком.

— К чему? — нетерпеливо отвечал арестант.

— А к вашим показаниям.

— Зачем это?

— Так заведено-с, порядок, государь мой.

— Не стану я руку прикладывать! Делайте что хотите! Я ведь уж забыл и писать.

Кравков задыхался. Он видел, что его уже сделали государственным преступником.

— Я не хочу писать! Не хочу сам затягивать свою петлю! — повторял он, пятясь к порогу.— Я разучился писать!

— Полноте-с... А Руссо, а философы?

— Пустите меня! У вас и говорить разучишься... Я совсем перестану говорить... Для вас слово Божие, речь и то уже преступление... Делайте со мной, что хотите!

— Так не подпишете?

— Нет!

— Напрасно-с, только время затягиваете... А впрочем, все равно... На этот раз можете идти...

Он хлопнул в ладони. В дверях показались солдаты с ружьями.

— Проводите господина лейтенанта... До свиданья, государь мой... Подумайте на свободе.

Кравков вышел, не произнеся более ни одного слова.

Он сдержал слово, данное Шешковскому: до 11-го генваря 1785 года он не произнес ни одного слова. Он не говорил даже с караульными солдатами. Он сделался молчальником. «Слово, речь, уже и это преступление...»

11 генваря Кравков заговорит вот по какому случаю. В этот день у князя Вяземского был парадный обед по поводу одной радости, выпавшей на долю князя накануне. 10-го генваря Вяземский, по должности генерал-прокурора, докладывал императрице ведомость о политических преступниках, содержавшихся в крепостях.

— А что дворянин-старовер Кравков? — спросила Екатерина.

— Продолжает упорствовать, ваше величество.

— Как упорствовать?

— Все молчит, государыня.

— То есть как же молчит?

— Да после первого допроса, ваше величество, велели ему руку приложить к его показаниям, так не захотел, уперся, говорит: «Совсем перестану говорить, ибо-де у нас, в России, простое слово Божие, речь и то уже преступление».

— Так и сказал?

— Так и сказал, государыня.

Краска не то негодования, не то стыда так и залила все лицо Екатерины.

— Каково!.. Это все вы своим неуменьем обращаться с преступниками, своею жестокостью доводите их до того, что они говорят, и вправе говорить, что в России простое слово Божие, речь и то уже преступление!.. А! Что скажут обо мне в Европе! Что я людоедка? Что мне мои подданные боятся говорить правду?.. Какая-де в России свобода! Только на словах...

Князь Вяземский стоял бледный, потерянный. Храповицкий, присутствовавший тут же, весь красный, утирал фуляром пот, каплями выступавший на лбу, на щеках и даже под косою.

— Что ж вы их, пытаете, что ли! — продолжала императрица. — Морите голодом? И это в мое-то царствование, когда я торжественно, перед всей Европой, провозгласила уничтожение пыток, всяких насилий над

подданными, даже преступными! Когда я хочу только милости и милости! Когда я хочу быть только их матерью!.. А! Слово в России — преступление! И это говорит не мужик, а просвещенный человек, видевший Европу! Вот до чего вы довели моих подданных вашею жестокостью...

Совсем уничтоженный, князь Вяземский умолял об отставке... Храповицкий, нагнувшись над какою-то бумагою, которую он переписывал, весь смущенный, прикладывал к этой бумаге фуляр, силясь что-то вытереть.

При виде его смешной фигуры императрица вдруг улыбнулась.

— Что, закапал пóтом «Обманщика»?

— Ненароком, ваше величество, простите,— бормотал он,— вспотел нечаянно.

— Сам же перепишешь...

— Перепишу, государыня, вспотел...

— Вспотел в чужой бане.

Гнев императрицы окончательно прошел. Она взглянула на Вяземского.

— Ты просишь отставки?

— Не гожусь я, ваше императорское величество, увольте, не гожусь.

Екатерина милостиво положила ему на плечо руку.

— Только ты один и годишься,— ласково пояснила она,— ни из князей Голицыных, ни из Долгоруковых нельзя сделать генерал-прокурора. А ты мой ученик, я тебя сама формировала, и сколько я за тебя выдержала: все называли тебя дураком *.

Вяземский упал на колени, целовал край платья императрицы и плакал.

— Матушка!.. Великая, великая! — бормотал он бессвязно.

Эта-то неожиданная нахлобучка, а потом милостивое признание, что он не дурак, дало Вяземскому повод устроить званый обед для друзей. А так как причиною нахлобучки был Кравков, то генерал-прокурор в тот же день решился быть как можно мягче и снисходительнее к своим арестантам, а в особенности к Кравкову. 11-го же января он велел отнести своему арестанту обед со своего стола. Этот-то обед

* «Дневник Храповицкого», изд. Барсукова, стр. 4, 279, 323. *(Примеч. автора.)*

и заставил Кравкова говорить. Узнав, что это обед от Вяземского, и вспомнив, сколько времени они его мучат напрасно, Кравков не мог подавить припадка вспышки и сказал караульным, принесшим обед: «Отдайте его собакам».

Вечером, когда ему принесли и ужин с княжеского стола, последовала та же история. Этот княжеский ужин Кравков выбросил в тот сосуд, который арестанты называют «чиганашкой».

— Скажите Шешковскому,— обратился он при этом к караульным,— если со мною ничего не сделают и станут меня еще здесь держать, то ведь руки у меня не скованы, я сам что-нибудь над собою сделаю.

Это так напугало Вяземского, что он тотчас же поскакал к митрополиту Гавриилу.

— Ваше высокопреосвященство! Помогите,— молил он митрополита.

— В чем, сиятельнейший князь?

— Государыня думает, что я жестоко обращаюсь с моими арестантами и не умею их направить на путь истины. А мне вот на шею посадили раскольника дворянина, такого, что Вольтера да Руссо читает и в скитах жил. Как мне с ним сладить насчет веры! Позвольте мне его к вам прислать, ваше высокопреосвященство.

— Хорошо, пришлите.

IX. ПЕРЕД КНЯЗЕМ ВЯЗЕМСКИМ

В чем состояло объяснение митрополита с Кравковым, как они поняли друг друга, из дела неизвестно. Но несомненно, что митрополит не возбудил в странном раскольнике того глубокого презрения, какое возбудили в нем и архиерей нижегородский, и Ребиндер, и Шешковский, и Вяземский. Оно и не удивительно: митрополит Гавриил был умнее всех их и более всех понимал душу человеческую. Недаром Екатерина особенно уважала этого иерарха, посвятила ему даже своего «Велисария»[6] и всегда называла его «мужем острым и резонабельным». Этот же митрополит, глубоко возмущаясь старинным обычаем, в силу которого провинившихся священников секли как сидорову козу, исходатайствовал у правительст-

ва указ об уничтожении этого гнусного обычая-закона.

Как отнесся митрополит к воззрениям Кравкова, можно отчасти судить по письму его к князю Вяземскому по поводу того же Кравкова.

«Сиятельнейший князь Александр Алексеевич, милостивый государь!—писал он.—Присланный от вашего сиятельства ко мне флота капитан 2-го ранга Евдоким Кравков многократно был увещаем, но остался в прежних мыслях. Он привержен к толку старообрядцев, называемому поповщиною, но при всей той приверженности имеет мнения, и раскольниками не терпимые. Его отзывы и рассуждения показывают человека расстроенных мыслей. А как в такое состояние приведен он печальными обстоятельствами и причиною того почитает других, то происшедшее от сего в нем негодование производит недоверчивость, отвращение и упорство. Исправить его, кроме снисхождения, не можно. Он через время, увидевши не то, что ныне заключает, может смягчиться в своем упорстве. Я его с сим к вашему сиятельству препровождаю».

«Снисхождение»—только «снисхождение». Но этого государственные умники никак не могли понять. Им хотелось непременно переубедить человека, который был умнее их и притом же доведен до крайнего нервного возбуждения, благодаря все тем же умникам.

— Что дворянин-старовер?—снова спросила императрица Вяземского через несколько дней.

— После увещания митрополита, ваше величество, спокойнее стал.

— А касательно мыслей?

— Упорствует, государыня.

— А что митрополит сказал?

— Митрополит, государыня, пишет, что исправить его, кроме снисхождения, ничем не можно.

— Снисхождение!—живо заговорила императрица.—Слышите, что говорит умный человек? А? Слышите?

И Вяземский и Храповицкий, тут же занимавшийся «перлюстрацией», вытянулись.

— Точно, государыня,—процедил первый.

— Снисхождение... милость,—поддакивал второй.

— Да, милость, только милость, а не строгость правит миром,— горячо сказала императрица,— вспомните, неразумный сын премудрого и милостивого Соломона через свою строгость царства лишился... Это за то, что он наказывал подданных скорпиями...

— А князь кормит Кравкова устрицами, матушка.

Екатерина невольно улыбнулась. Это говорил Нарышкин Лев, показавшись на пороге внутренних покоев. На плече у него было полотенце.

— Устрицами?

— Точно, матушка.

— Не устрицами, государыня, а точно от своего стола посылал,— оправдывался Вяземский.

Императрица заметила полотенце на плече у своего друга «Левушки».

— Это что у тебя за полотенце?—улыбнулась она.

— Да вот покои твои убирал, матушка,— невозмутимо отвечал Нарышкин.

— А Захар что же?

— Не хочет.

— Как не хочет!

— Так и не хочет, сердится на тебя, матушка.

— За что еще?

— Да говорит, государыня всю прислугу избаловала: сама изволит печи топить, а прислуга дрыхнет... Так, говорит, житья не будет во дворце.

Екатерина засмеялась.

— Это правда, я немножко виновата перед Захаром: сегодня утром я проснулась раньше обыкновенного, дела было много, и показалось мне холодно... Я пожалела прислугу и не разбудила, да сама и растопила дрова... Нечего делать, надо просить прощения у Захара Константиновича.

Императрица, видимо, была довольна этой невинной, но ловкой шуткой своего «Левушки». Этот «Левушка» при помощи своих дурачеств умел необыкновенно искусно льстить. Хитрый царедворец, прикидывавшийся повесой, больше всех знал слабость императрицы к популярности и всегда умел ловко угодить этой слабости. Он так поступил и в данном случае: речь шла о снисхождении, о милости. об уме и доброте Соломона; «Левушка» все это слышал из соседней комнаты и явился с полотенцем на плече, чтоб «насмешить свою матушку»...

— Так устрицами, князь, кормишь Кравкова, а не скорпиями? — продолжала шутить матушка.

— Стараюсь, государыня.

И он действительно постарался.

В тот же день он велел привести Кравкова в присутствие тайной экспедиции, где, конечно, был и неизбежный Шешковский. Последний был не в духе, узнав, что императрица не одобряет их жестокого обращения с арестантами.

«Сама печи топит, прислугу жалеючи, а мы вон якобы мучим наших молодцов,— бормотал он, расхаживая маленькими шажками по присутствию,— что ж нам, ручки, что ли, у них целовать, когда они упорствуют?.. Устрицами Кравкова кормим, скорпиями... Да он, подлец, и стоит скорпиев, эдакий кремень... Устрицами... А все этот Левка-наушник, все он переносит, шпынь проклятый... Совсем избаловали арестантов: пытать, слышь, не моги... Да чем его, подлеца, кроме дыбы проймешь? Эх, то-то времечко было, то-то лафа была Андрею Иванычу Ушакову [7], когда у него под руками и застенок, и дыбушка-матушка, и эдакие разные плеточки, сразу все выпытывают. А мы вот всухомятку допрашивай, не смей и посечь...»

Вошел Кравков. Он много изменился за последнее время, постарел, поседел, хотя ему едва только минуло сорок лет.

— А! Господин капитан-лейтенант: сколько лет, сколько зим! — дружески подошел к нему Степан Иванович.

— Как ваше здоровье, господин капитан? — спросил Вяземский, кивая головой.— Сама всемилостивейшая государыня интересуется вашим делом.

— Благодарю, я здоров,— был короткий ответ.

— Очень рад... Ну, а как насчет вашего решения?

— Какого решения?

— Насчет то есть мыслей в рассуждении религии?

— Мои мысли на этот счет известны его высокопреосвященству.

— Все это так-с... Его высокопреосвященство, конечно, смотрит со стороны догматики, а мы, согласитесь, должны относиться к делу с государственной точки зрения.

— Со стороны, так сказать, цивильной,— пояснил Шешковский.

— И шляхетской,— добавил князь Вяземский.

— А также в рассуждении раскола.

Кравков молчал.

— Как же, капитан? Не бросили вы ваших бредней? — не вытерпел Шешковский.

— Каких бредней? — спросил Кравков.

— Ах, капитан! Да неужели вы сами не понимаете, сколь для вас постыдно, заслуживши чин штаб-офицерской, войти в такое заблуждение, которому следуют люди, не имевшие никогда никакого просвещения, удалиться от общества и тем паче оставить святую церковь, все ее предания и верить таким людям, которые не только никакого понятия, в чем они сомневаются, не имеют, но что сами, по глупости своей, истинно полагают, то и тому правдоподобного доказательства дать не могут.

— Но ведь я же это слышал! Что вам до меня?

— Нам вас жаль.

— Так отпустите меня.

— Куда? В скиты?

— Да хоть где-нибудь дайте спокойно умереть.

— Зачем умирать?

— Ну, уйти от всех, от этой горькой жизни, забыться... забыться...

— Что ж! Если вы хотите посвятить себя на службу Богу и удалиться от суеты...

Кравков сделал нетерпеливое движение, но смолчал.

— Что же! Вы можете избрать место, по желанию вашему, в монастыре, где быть вам не только не постыдно, но и полезно бы было для вас, и притом, надеюсь, на сие бы и всемилостивейшая государыня изъявить изволила свое благоволение.

Говоря это, князь Вяземский невольно вспомнил: «А все тебя считали дураком... кто же это все? Уж не Левка ли Нарышкин, наушник, шпынь и льстец...»

— Ну, так как же? — снова обратился он к арестанту.

— Устрицы... все только устрицы... скорпии бы,— пробормотал про себя Шешковский,— ах, Андрей Иваныч!..

Вяземский старался не слыхать его слов; он решился до конца быть мягким.

— А? Что же вы на это скажете, мой друг? В рассуждении монастыря...

— Помилуйте! — не выдержал арестант.— Что вам до меня за нужда! Бог насильно никого к спасению

призывать не велел, а открыл путь всякому, кто как желает спастись... Что вам до меня? Как я о величии Божии мыслю и ищу спасения, знать никто не может.

«Ах! — думал он при этом,— как умнее всех их Никита Петрович, простой мужик... А ведь эти государством правят».

— Зачем вы хотите меня непременно в монастырь засадить?

— Не мы,— продолжал пилить Вяземский, стараясь оправдать доверие государыни, что он не дурак,— не мы, но сам Бог, через посредство постановленных пастырей церкви Христовой, которым Он вверил сам, по словеси своему, пасти стадо, призывает вас к истинному богопознанию. Положим, что вы, конечно, веруете в Бога, чаете себе спасения, но равным образом и всякий христианин того же желает и ищет этого по своему состоянию. Всякий исполняет все обязанности, налагаемые законом и верою, и церковь святую почитает матерью своею, все ее предания, установленные от Христа, и предания святых отец по возможности исполняет; а вы совсем отчудились от церкви и ее оставили. Поверьте, если бы сие не было прискорбно и вы не были бы достойны сожаления в рассуждении таких странных кроющихся в вас воображений, то, конечно бы, понапрасну не стали бы принуждать вас к присоединению к церкви Христовой, страшась, дабы не отдать ответа Богу, что об вас не старались или мало об обращении вашем попечения имели, тем более что и всемилостивейшей государыне весьма сие угодно, ибо она, аки мать, о чадах своих печется, но видит своего подданного, падшего в такое заблуждение. И для того мы (он взглянул на Шешковского, который нетерпеливо шуршал бумагой), мы, будучи обязаны верностию к самодержице своей, должны о вас иметь сожаление и, сколь возможно, привести к познанию истины.

Вся эта проповедь, дышащая грубейшим материализмом, полная кощунства над верою и учением евангельским, терзала и мучила Кравкова, стоила ему всякой пытки.

— Так как же? Ясны для вас мои доводы? — продолжал пилить Вяземский.

Кравков встал, но голова его оставалась опущенною на грудь.

— Я родился во тьме,— тихо сказал он,— хочу так же и умереть... Я не знаю, что кому нужды иметь обо мне попечение... Я ни от кого ничего не требую и не желаю, ни о чем никого не просил и не прошу... Если же я сделал что противное закону, то вы вольны меня разжаловать, наказать по законам и хотя лишить жизни.

— Зачем же! Помилуйте!

Кравков махнул рукой и быстро вышел из присутствия.

«Трудно иногда представить себе,— говорит по этому случаю г. Ламанский,— до какого уродства и безобразия способны доходить люди в своем безверии и индифферентизме, когда по каким-нибудь внешним расчетам и соображениям считают себя призванными являться защитниками веры, христианства, учения любви и свободы, не только не нуждающегося в их покровительстве, но еще оскверняемого ими в своей святыне! Кто хлопочет об обращении Кравкова? Князь Вяземский, низкой души человек, нечестный гражданин, грязный в своей семейной жизни! О нравственности и крепости христианских убеждений Шешковского и других нечего и упоминать».

X. «МАТЕРНЯЯ РЕЗОЛЮЦИЯ»

После этих неудачных увещаний Кравкова оставили на время в покое. Дни проходили за днями, а ни к нему никто из властей не заглядывал, ни к себе его не призывали. Казалось, что об нем все забыли. Но тем сильнее в нем заговорила память прошлого.

О том далеком, светлом прошлом, когда перед ним заманчивой панорамою расстилалось таинственное, но полное иллюзий будущее, когда во власти его, казалось, находились целые моря и океаны с неведомыми странами и народами, когда он сам бороздил эти моря и рвался в новые, невиданные страны и когда впереди, среди этих грез и действительности, вставал светлый образ навеки погибшего друга, об этом далеком прошлом он даже и не вспоминал, потому что не мог реально представить его себе. Ему теперь казалось, что этой полосы в его жизни совсем даже не было, что

все это пронеслось в волшебном сне, в молодых грезах. Он даже не мог теперь представить себя тем Кравковым, каким он был когда-то в этих разлетевшихся грезах, в этих «сониях», пробуждение от которых было такое страшное. Разве это он, вот этот одинокий Кравков, плыл тогда на фрегате от кавказского берега к Крыму, к Кафе, и рассказывал молодым офицерам Павлюку и Шастову о своих далеких плаваниях? Да разве это он плавал? Разве он восторженно молился седому океану и плакал от умиления?.. Нет, это был кто-то другой, а не он... Да, этого прошлого не было, оно было только во сне... И та, когда-то свежая, а теперь уже почти забытая могила на берегу Оки, и та, которая лежала в этой могиле, и ее соломенная шляпка на столе, и одна перчатка, и то последнее письмо: «отдай мне его, сине море»,— все это было во сне...

Но у него осталось еще и другое прошлое, близкое — и вот об нем он теперь вспоминал как о чем-то недосягаемом.

Обширная луговая поляна залита лучами утреннего солнца. С одной стороны ее окаймляет зеленый лес, звенящий голосами птиц, с другой — ровные, плоские берега Иргиза, а дальше бесконечная степь, что раскинулась вширь от Волги вплоть до Яика-Урала. Из-за лесу блестит на солнце золоченый крест скитской церкви. В прозрачной синеве кружатся голуби. А здесь, на поляне, кипит работа. От самого лесу вытянулся строй косарей, человек до ста, и, широко размахивая косами, эта длинная лава косцов медленно двигается вперед, шаркая острыми косами по зеленой траве, убранной всевозможными цветами. Высокая, сочная трава так и расстилается, так и падает ниц перед этими витязями. А против этой длинной лавы «старцев» идет другая, еще более длинная лава «стариц», все это бабы молодые, сильные. «Старицы» идут лавою косцов в двести. Косы сверкают на солнце, как алмазные полосы.

— Вон как старица Платонида забирает впереди всех, словно лебедь плывет.

— Уж и мастерица же косить! Двух мужиков за пояс заткнет.

— Вон какую широкую полосу гонит, богатырь старица!

— Одно слово, по писанию, «широковидная».

— Да и сестра Виринея шибко режет.

— А наш-от старец Вавила, гляньте, каким козырем идет.

— Словно Самсон на филистимлян.

Обе лавы косарей все ближе и ближе сдвигаются. Уже небольшая полоса нескошенной травы разделяет мужскую лаву от женской. Сестра Платонида и старец Вавила первые прорезали свои полосы до конца и остановились, красные, разгоревшиеся.

— Бог в помощь, матушка Платонидушка.

— Спасибо на божьем слове, Вавилушка братец.

Косцы вынимают из-за голенищ деревянные лопатки и шаркают ими о притупившиеся косы. Приближаются и другие косцы, лава к лаве.

А Кравков вместе с Герасимушкой и Савватеюшкою Персидскими идут за лавами косцов и собирают в плетешки перепелиные яйца: после скошенной травы перепелиные гнезда открываются то там, то здесь, и Кравков с своими молодыми друзьями собирает серенькие, пятнистые яички, потому что все равно их сороки повыпивают. Вон они, долгохвостые, так и вьются над скошенными полосами, ища легкой добычи. А из этих перепелиных яичек какие вкусные яичницы готовят в скитах!

Первая полоса скошена. Косы притупились. Косцы собираются у «стана» и, усевшись кругами на земле, начинают «отбивать» небольшими молотками на таких же небольших наковальнях притупившиеся лезвия кос. Звон раздается по всей поляне, и эхо его повторяется в лесу по ту сторону Иргиза.

Передохнув, идут косить вторую полосу. А там вскоре и копны готовы, вся поляна так и усеяна копнами. Тут уж «копнить» сено, это бабье дело, на такое дело сестры большие мастерицы.

А там, глядишь, и ржи и пшеницы стали созревать. Новая работа всему скитскому населению, и так почти круглый год: уборка, молотьба, помолы на скитской мельнице. А тут же и возка арбузов и дынь с бахчей, соленье и квашенье тех и других на зиму... Горы огурцов, капусты...

Проходит лето. Наступают осенние заморозки, «звонкая осень», когда шибко укатанная и промерзшая дорога звенит на заре под коваными колесами. Но снегу еще нет, ибо заволжская осень суха и ясна. Озеро уже подернуто тонким, прозрачным, как стекло,

льдом. Лед делается все толще и толще. Ранним утром Кравков отправляется с юными Персидскими «глушить» рыбу по замерзшим берегам Калача, особенно по ту сторону озера, в приглубых заливах и в длинных «кутках», по берегам, поросшим резучею осокою. В руках у них «чекмари», длинные палки с круглыми в кулак наконечниками из корня того же дерева, из которого сделан «чекмарь». Лед так еще тонок, что Кравков и его юные друзья ложатся на животы и ползком перебираются на ту сторону Калача. Сквозь прозрачный лед видно далеко в глубину, вода как хрусталь чиста: в глубине видны плавающие рыбы. По мере движения охотников по льду он гнется, трещит, вот-вот проломится; но они ползут осторожно. Вот они и переползли, идут вдоль берега. Здесь вода еще прозрачнее. Видно дно озера как на ладони, и приютившаяся под водою травка, и, заснувшая на зиму, зеленая лягушка, уткнувшаяся носом в какую-нибудь ямочку. Они идут тихо, чуть скользят по зеркальной поверхности. Вон подбилась к подводной травке щука и стоит неподвижно, только гибкий хвост ее немного шевелится. Кравков поднимает высоко над головою «чекмарь» и со всего размаху бьет им по льду как раз против головы щуки. Удар оглушает ее, она вертится на месте. Еще удар и еще, и хищная рыба опрокидывается пластом. На том месте, где ударили «чекмарем», во льду образовалась чудная, всех радужных цветов звезда. Кравков еще сильнее бьет по льду «чекмарем», и лед пробит. В отверстие засовывается рука, и щука вытаскивается на поверхность. А там Герасимушка «глушит» огромного карася, Савватеюшка никак не может заглушить жирного линя.

Слышно, как на току молотит братия, и старцы и здоровые старицы: далеко разносятся в утреннем воздухе звонкие удары цепов об промерзшую, гладкую, как ровная доска, токовину. В лесу звучат топоры об замерзшие деревья, это братия готовит дрова на обитель. Все работает, и работает не по принуждению, а из любви, по охоте, и потому во всем довольство, обилие.

Гулко в морозном воздухе раздаются удары в скитское било, это святой отец Никита Петрович созывает в обитель свою братию, старцев и стариц,

труждающихся и обремененных: это значит, что настал час общественной трапезы. Все сходятся в просторную избу и садятся за огромные столы, а служки, молодые послушники, разносят по столам яства, а во время трапезы кто-либо из братии, которые грамотные, читают по очереди то Евангелие, то деяния апостольские, то житие святых либо другое что божественное.

Так вспоминал Кравков скитскую жизнь, сидя в своем одиночестве и не зная, что в эти самые часы решается навсегда его участь.

В кабинете императрицы идет доклад. Екатерина, несколько откинувшись на спинку кресла и поглаживая рукой перламутровый разрезной нож, слушает доклад Вяземского и поглядывает иногда на Храповицкого, который за отдельным столом углубился в какие-то корректурные листы. У окна Лев Александрович Нарышкин тихонько дразнит попугая, просовывая к нему в клетку кончик носового платка.

— «Он, Кравков,— читает Вяземский,— как человек против звания своего делает поведением и жизнию своею нетерпимый в обществе не только соблазн, но самым своим ложным мнением развращает и других, отторгнувшись от святой церкви и наставлением неправомыслящих невежд, избрал лучшее сожитие с теми невеждами, нежели в обществе людей, законами и верою охраняемых, так что никакие увещания духовной и мирской власти о повиновении церкви и установленным государственным законам воздействовать в нем не могли, за что, по силе законов, и достоин он, Кравков, жестокому наказанию...»

Заметив, что при последних словах императрица как будто поморщилась, докладчик в нерешительности остановился.

— Наказанию, да еще жестокому,— сказала она, глядя на Вяземского,— не люблю я этих слов.

— Эти слова из закона, ваше величество,— оправдывался докладчик.

— И в законе таких слов не должно быть: жестокость, наказание...

— И скорпии, матушка,— вкинул свое слово «Левушка», ударив попугая по носу.

— Именно скорпии... Я не хочу быть похожею на Ровоама.

— А Соломона[8], матушка, ты превзошла,— продолжал хитрый «Левушка».

— Ну, Лев Александрович, уж ты не в меру льстишь мне,— заметила императрица.

— Нет, государыня, никогда я вам не льстил, а всегда говорил сущую правду... Будь на вашем месте Соломон и приди к нему княгиня Дашкова[9] с моим братцем, как те две матери с ребенком...

Екатерина рассмеялась.

— А ведь ты прав: она бы Соломона в гроб вогнала.

В это время к столу в нерешительности приблизился Храповицкий.

— Ты что, Александр Васильевич? — спросили его.

— Вот тут, ваше величество, княгиня...

— Опять княгиня! Дашкова?

— Так точно, государыня.

— Что же она?

— Вот тут, в корректуре «Обманщика»[10], княгиня сделала маленькую поправочку в слове.

— Какую же?

— Слово «это» заменила словом «сие».

— Оставь «это»... Не правда ли, Лев Александрович, «это» более по-русски, чем «сие».

— Правда, матушка, разве не смешно было бы сказать: сей попугай большой разбойник?

— Верно, верно...

— А «сия княгиня», «сие» как-то возвышеннее.

— Ах ты, шпынь... Ну, продолжай,— обратилась она к Вяземскому.

— Слушаю-с.

— И я слушаю.

— «За что, по силе законов, и достоин он, Кравков...»

Вяземский остановился.

— Только не жестокому наказанию,— повторила Екатерина,— напиши тяжкому осуждению.

— Слушаю-с... «тяжкому осуждению: но поелику довольно из собственных его изречений, да и по существу самых его деяний видно, что в сие заблуждение впал и столь упорно настоит по вселенному в него от вышеприведенных невежд суеверию, которое он, по слабости рассудка своего, мнит быть истинным, а сие самое и ввергло его в совершенную фанатизму...»

— Да, да,— соглашалась императрица,— фанатизма — это дело серьезное, и фанатики люди опасные... Ну, продолжай.

— «...ввергло его в совершенную фанатизму,— с удовольствием на лице повторил генерал-прокурор эту фразу,— или лучше сказать, что лишен он, конечно, здравого рассудка. Почему, а более подражая матернему ее величества человеколюбию и милосердию...»

При этих словах что-то неуловимое мелькнуло по лицу Екатерины, отразилось в ее глазах и тотчас же сгасло, точно искра. Нарышкин еще усерднее занялся попугаем.

— «...от положенного законами жестокого наказания»,— продолжал Вяземский.

— Осуждения,— поправила императрица.

— «...от того осуждения его избавить; но дабы он не мог, по таковому своему упорству и пренебрегаючи не только общее, но и собственное благосостояние, между обществом по разным местам шататься, а тем самым не подавал бы другим слабого рассудка людям соблазна, а не меньше по объятому им суеверству чрез странные разглашения о святой церкви, то послать его за надежным присмотром в шлиссельбургскую крепость...»

— Нет,— остановила докладчика императрица,— не в шлиссельбургскую.

— В петропавловскую?

— Нет, в ревельскую.

— Слушаю-с... «...в ревельскую крепость, где велеть тамошнему коменданту содержать его под такою стражею, чтоб он никак оттуда уйти не мог, и для того отвесть ему особый покой; однако ж будущим при той страже подтвердить, дабы с ним поступано было с сохранением человеческого состояния, не делая никаких оскорблений».

— Это хорошо,— одобрила императрица.

— Э, ваше сиятельство, да вы не одним языком язвите,— пробормотал Нарышкин, отдергивая руку от клетки с попугаем.

Екатерина глянула в его сторону: «Что, укусил?»

— Типнул, матушка... Настоящая княгиня, и язычок такой же.

— Ах ты повеса.

— Я серьезно, матушка, говорю: ведь у попугаев и пераклитов язык подобного сложения человеческому, это верно.

— Как?

— А вы разве не изволили этого доселе заметить?

— Не замечала.

— Извольте посмотреть.

И Нарышкин, с трудом подняв массивную клетку, поднес ее к императрице.

— Купать попку, купать! Он этого не любит.

— Дуггак! дуггак! дуггак! — закричал попугай и заметался в клетке.

— Извольте видеть его язык?

— Вижу... точно сложение подобное... je ne savais pas cela... je donnerais à la perruche la survivance de votre charge...* Удивительно...

Клетку опять поставили на место.

— Мешай дело с бездельем, — улыбнулась императрица. — Я слушаю доклад.

— «А как он, Кравков, — продолжал докладчик, — человек, лишившийся здравого разума, то иногда что-либо станет делать или говорить непристойное, в таком случае коменданту его от того удерживать по данной ему, по высочайшему учреждению, власти. Буде же, паче чаяния, оный Кравков станет что врать важное, то в таком случае писать о том к генерал-прокурору, а страже, находящейся при нем, наиприлежнейше истолковать, чтобы от него, яко от безумного человека, ничего не слушать и никому бы, кроме него, коменданта, о том вранье никак не разглашали под опасением военного суда. Писем писать ему не велеть и ни от кого к нему не брать, чего ради бумаги, пера, чернил и всего к письму способного ему ни для чего не давать, также строго смотреть, чтобы он чего над собою или над стражею сделать вредного не мог и для того ножа и никакого орудия, чем человек себя и другого повредить может, не давать...»

— Вот как попке, — пробормотал «Левушка».

— «...да и караульным в том покое, где он содержан будет, никакого орудия не иметь. На пропитание же и одежду выдавать ему на каждый день по семи копеек...»

---

* «Дневник Храповицкого», изд. Барсукова, 5. *(Примеч. автора.)*

— По десяти,— поправила Екатерина,— он штаб-офицер.

— «...по десяти копеек. В каком же он состоянии находиться будет, и придет ли он в познание истины, генерал-прокурору через каждые четыре месяца, при требовании на него кормовых денег, рапортовать. Если же, паче чаяния, оный Кравков пожелает позвать к себе попа для исповеди или святого причастия, то оного к нему, хотя бы он был и здоров, допустить; буде же будет в болезни, то потому же преподать ему о сем спасительном для него способе совет, сказав, однако же, священнику, что буде он, Кравков, откроет ему свое заблуждение и станет просить его о присоединении к церкви, то чтоб он в то же время дал знать коменданту, а оный имеет донести о том генерал-прокурору. Если же он умрет, то похоронить его, Кравкова, по церковному чиноположению и о том коменданту той крепости отписать».

Докладчик кончил и поклонился.

— Быть посему,— последовала высочайшая резолюция.— А что «лексикон рифм»? — обратилась Екатерина к Храповицкому.

— Первые тетради готовы, государыня.

— А «Февей» [11] переписывается?

— Почти готов, государыня.

— Спасибо за проворство.

— Еггмолов дуггак! Дуггак Еггмолов! — вдруг закричал попка.

— Молчи, попочка, услышит, побьет.

Екатерина улыбнулась: «Это ты его научил, повеса?»

— Нет, матушка, он своим умом дошел.

Екатерина погрозила «Левушке» пальцем, а к Вяземскому наклонила голову: тот понял, что его отпускают, поклонился и вышел. «Матерняя, истинно матерняя резолюция»,— шептал он с умилением.

«Лица, осудившие Кравкова за его неправославие (так характеризует г. Ламанский «златый на севере век»), сами нисколько не сочувствовали и не верили православию: иначе они не поступили бы таким образом с Кравковым. Если бы, например, Кравков был деист или атеист, то никто не тронул бы его, очевидно, не из признания свободы совести, а потому,

что все тогдашние правительственные лица в России, вместе с большинством образованного общества, сами глубоко сочувствовали Вольтеру и энциклопедистам. Никому из правительственных лиц не могла тогда прийти в голову дикая мысль о том, чтобы хватать в тайную экспедицию людей за деизм, атеизм или масонство (которое впоследствии Екатерина стала преследовать только за сочувствие масонов к великому князю Павлу Петровичу), словом, всех образованных русских неправославных, и так насильственно обращать их в православие! Известны сношения Екатерины II с Вольтером и энциклопедистами; Дидро она даже приглашала в воспитатели к своему сыну; а тогдашний обер-прокурор святейшего синода, П. П. Чебышев, громко хвалился своим атеизмом... Но отчего же тайная экспедиция, встретясь с Кравковым, вдруг так воспламеняется жаром учительства и непременно от него требует, чтоб он обратился к церкви? Мы видели, что Кравкова пытают (хотя не в застенке, а мягко, любезно) и осуждают не за то, собственно, что он мыслил и веровал неправославно, не согласно с церковью, а за то, что он, природный российский дворянин и отставной штаб-офицер, носил бороду и неподобную одежду, мыслил и веровал, как не просвещенный невежда. Тайная полиция Российской империи в 1784—1785 годах ловит дворянина Кравкова и сажает его в каземат ревельской крепости, с лишком на 11 лет (вечно, до смерти), за то единственно, что он веровал и мыслил по-мужицки, не прилично своему званию, не согласно с тогдашними исправниками, губернаторами, и С. И. Шешковским, князем Вяземским и императрицей Екатериною. По существу не напоминает ли это дело священной тайной инквизиции, о которой если не сам Шешковский, то князь Вяземский и императрица отзывались, без сомнения, не иначе, как с благородным негодованием? И не есть ли случай с Кравковым одна из самых обыкновенных историй в летописях всех прежних и нынешних полицейско-военных государств, в которых тайная полиция не только разыскивает и предупреждает преступления, но сама судит и наказывает людей, по ее мнению, виновных, обладает бесконтрольной властью, распоряжается огромными тайными суммами и заправляет внешнею и внутреннею политикою страны? С этой высшей точки зрения, я боюсь, история бедного Крав-

кова покажется русскому читателю самым незначащим анекдотом...» *

Замечания — глубоко верные.

Так кончилась первая попытка «хождения в народ человека легального». Но с самым этим человеком еще не все было покончено.

XI. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

В мае 1785 года из кронштадтской гавани собирался выходить в море фрегат «Витязь», тот самый, который в 1777 году мы видели крейсирующим в Черном море между Кафою и Суджук-Кале. Но якорь почему-то не подымали. Матросики, наладив все к отходу, стояли и бродили меж снастями в ожидании приказа капитана. Один из них стоял в стороне и, поглядывая за борт, на воду, тихонько про себя мурлыкал:

Течет речка лозоньками,
Плачет девка слезоньками.

— Да за чем, братцы, дело стало? — интересуется один матросик.

— А нечистый ево знает: должно, господа офицера с кумушками прощаются.

— Эй, Маруська! Слышишь, хохле!

А тот, к кому относились, продолжал жалобно мурлыкать:

Не плачь, девка, не журися,
Ще ж я молод не женился.

— Эй, черт, Маруська! Тебе говорят?

— А что?

— Чево мы стоим, не сымаемся?

— Охвицер говорит, рестантов ждут.

— Куда ж их? Али в море топить?

— Нет, в Ревель, Богу работать.

Действительно, на пристани показалась партия арестантов, конвоируемая солдатами. Тут были и ста-

---

* «Памятники новой русской истории», 1, 47—48. *(Примеч. автора.)*

рые и молодые, бритые и с бородами; у иных были урезаны либо правое, либо левое ухо; виднелись и такие, у которых были вырваны ноздри, это больше старики.

Скоро арестанты были доставлены на борт фрегата, и корабль, пользуясь попутным ветерком, вышел в море.

Один из арестантов, которого сопровождали особо два солдатика, обратил на себя внимание матросов. В лице его, необыкновенно грустном и в то же время чем-то оживленном, в какой-то горькой улыбке и в выражении черных, ясных и задумчивых глаз было что-то особенное, чего не замечалось ни у одного из прочих арестантов. Матросы заметили, что он глядел куда-то далеко, туда, дальше, где море сливается с небом, а по впалым щекам его медленно катились слезы.

— Глянь-ко, Маруська, на тово вон с бородой, видишь?

— Вижу... что плачет?

— Да, он самый.

— Что ж? На кого не доведись: невольник.

— Да тебе разве повылазило?

— А что?

— Али не видишь, кто это!

— А Бог ево знает.

— Да это Евдоким Михайлыч.

— Что ты! Кравков?

— Он и есть, что капитаном у нас был.

— Ай, ай! С нами свят! За что ево?

— А Бог ево знает... А какой добрый был человек.

Матросы нарочно подошли ближе к таинственномы арестанту, показывая вид, что идут по делу. Арестант взглянул на них, и в глазах его, сквозь застилавшие их слезы, как бы что-то затеплилось, точно радость.

— Здравствуй, Маруська! Здорово, Гаврилов! — произнес с улыбкою арестант.

Матросы точно остолбенели. Кравков продолжал глядеть на них.

— Разве не узнаете Кравкова, капитана?

— Как не узнать, ваше высокородие! Да как же это, Господи!

— Эй, проходи, служба! — загораживал собою

Кравкова один из конвойных.— Проходите, господа служба! Разговаривать не приказано.

— Да мы Бог знает как! Мы и не знай что!

— Мы всей душой, вашескородие!

— Бога за вас молим денно-нощно!

— Сказано, проходи! Капитану пожалуюсь! — горячился конвойный.

— Отойдите лучше, братцы,— тихо сказал Кравков,— он человек не вольный, под присягой... Спасибо за то, что не забыли.

— Ах, ваше скородие! Евдоким Михайлыч! Да мы, Бог знает, как!

— Проходи! Проходи!

В это время из офицерской кают-кампании вышли два офицера с какою-то бумагою в руках. Это были списки арестантов, препровождавшихся на «Витязе», который должен был сдать их в Ревеле коменданту крепости.

— Да неужели ж это он? — говорил, видимо волнуясь, белокурый, лет под тридцать офицер с голубыми глазами.

— Конечно, он,— отвечал другой, темнолицый, смуглый, с серыми глазами.

— Удивительно! И за что это!

— Надо полагать, за масонство.

— Но ведь он не любил масонов.

Они подошли к конвойным.

— Где тут капитан-лейтенант Кравков? — спросил смуглый.

— Да здесь они, ваше благородие,— весело отозвался тот матросик, которого дразнили Маруськой.

— Вон они, вот Евдоким Михайлыч! — подтверждал другой матрос.

— Я здесь, господа! — с дрожью в голосе проговорил Кравков.

Они остановились в изумлении, пораженные... Его голос, его глаза и лицо его, но не то, каким они его знавали прежде, живым, цветущим, полным энергии... Да, это он, только в каком виде, в какой одежде!..

— Здравствуйте, господин Павлюк! Здравствуйте, Шастов!

Да, это Кравков говорит. Это сам он, не тень его.

— Евдоким Михайлович! Голубчик!

— Что с вами, дорогой друг?

— Как видите, я арестант,— отвечал Кравков, указывая на конвойных.

— Но как? За что?

— За неподобную одежду.

— Ваше благородие! Извольте проходить,— опять заговорил конвойный.

— Что! — крикнул на него белокурый Шастов.

— Разговаривать, ваше благородие, не приказано!

— Молчать! Вот ты так не смей разговаривать!

— Я что, ваше высокородие, мне приказано, присяга...

— Молчать! Я лучше тебя знаю службу.

И он бросился обнимать Кравкова: «Голубчик! Да как же это! Где вы пропадали? Как попали сюда, опять на «Витязя» — и в таком... ах, Боже мой!..»

— Вот что лучше, господа,— взволнованным голосом сказал другой офицер, Павлюк,— проведи ты, Саша, Евдокима Михайловича к нам в каюту, а то здесь неловко... видишь? А я уж сам проверю арестантов (он поправился) — я сам проверю людей по спискам и тотчас же приду к вам,— сказал он, протягивая Кравкову обе руки.

Шастов и Кравков вошли в офицерскую каюту. Все напоминало последнему его службу на этом фрегате, каждая мачта, каждая снасть, паруса, и знакомые, хотя постаревшие лица матросов, и эта каюта, на оконном стекле которой все еще видны были нацарапанные алмазом из перстня слова: «Прощай, товарищ». Это когда-то нацарапал Кравков, в день своего прощанья с фрегатом и с добрыми друзьями.

— Цела,— грустно улыбнулся он, показывая на надпись.

— Да, голубчик... А вы-то!

— А меня уж нет, стерся...

— Бог с вами!

— Да, стерся совсем, и окно мое разбито, разбита жизнь и душа...

— Ах, голубчик! Да что же это! Как?

И Шастов снова обнимал своего старого друга, бывшего начальника и товарища.

— Да скажите же, за какое это преступление?

— Говорю вам: за ношение неподобного платья.

— Какого же, голубчик?
— Мужицкого, мужицкой рубахи и бороды.
— Неужто за это?
— Главным образом за это.
— Да как же все случилось? Расскажите все, что было с вами с того дня, как мы с вами простились в Херсоне.
— Слишком много рассказывать, да и тяжело, признаться.
— Нет, это облегчит вам душу, наше к вам участие, мы как родные...
— Да как вам сказать! Все это так просто, а между тем так ужасно... В Петербурге, воротясь из Херсона, я ничего не нашел кроме оскорбления.
— Как! От кого?
— От Чернышева... Меня выбросили, как выеденное яйцо... Но я спешил домой, меня там ждала невеста... Да только вместо невесты я нашел ее могилу да забытые ею у меня на столе шляпу и перчатку...
— Ах, голубчик! Вот горе-то!
— Да что об этом! Если бы умерла она, это бы еще ничего: Бог дал, Бог и взял... А то ее заставили утопиться из-за меня.
— Господи! Да кто же это!
— Отец... Что потом было, ну, да об этом я могиле расскажу... А там меня разорили, и меня и душу мою ограбили.
— Кто же, голубчик?
— Да все люди, которым я верил... Потом меня же осквернили: душу мою, что ограбили у меня, бросили под ноги животному... И все это властители и судии наделали. Вместо людей я нашел зверей, вышедших из лесу и облекшихся в шитые кафтаны.
— Понимаю... Видывал и я таких.
— Я бежал от них, как Иоанн, в пустыню, и только там нашел людей.
— Где же это, голубчик?
— Там, куда звери в шитых кафтанах не заходят: я ушел к гонимым, к отверженным и там нашел людей... Это простые люди, мужики, да душу-то свою они не променяли на шитые кафтаны... И я сбросил с себя кафтан, надел их рубаху, делал их дело, думал по-ихнему и нашел, что Руссо был прав, советуя человеку одичать. Только я не успел одичать: я вышел

из пустыни посмотреть, что делают звери в кафтанах, и вот они меня загрызли... Удивительно только! Зверье всякое повышло из лесу, надело на себя шитые кафтаны да рясы, а людей позагнали в леса...

Шастов, по-видимому, многого не понимал из того, что говорил Кравков, но он помнил, что у него и прежде была эта манера говорить как-то иносказательно, полузагадками и сравнениями.

— И долго вы там пробыли? — старался он выпытать у собеседника более ясные сведения о его прошлом.

— В скитах-то?

— Да... А вы разве в скитах жили?

— В скитах, в иргизском кадетском корпусе, — улыбнулся он, — только не в шляхетском, а в мужичьем, в сиволапом.

— Да за что ж вас собственно осудили?

— Ей-Богу, не знаю: читали мне длиннейшую резолюцию, из коей я ничего не понял: не то я раскольник, не то я сумасшедший, не то одержимый фанатизмою.

— Так за это только?

— За это, за фанатизму: а фанатизма моя вся в том и состоит, что я не похож на них, не кусаюсь и не мучу никого именем Христовым, как они.

— И к чему же вас присудили?

— К заточению до смерти.

— Господи! На вечное заточение.

— На вечное и одиночное... Позволили только похоронить меня, когда умру, по церковному чиноположению, да дозволяли еще, с разрешения коменданта, сделаться подобным им зверем, когда того пожелаю.

— Как это?

— Да когда я открою попу свое заблуждение, а какое, я и сам не знаю, и когда пожелаю присоединиться к церкви.

— А разве вы от нее отреклись?

— Меня обвиняют в этом за то, что я верю только словам Христа, а не их искажениям этих слов: вот за Христа-то на меня и взъелся Шешковский... Верь Вяземскому, а не Христу, это значит присоединиться к церкви... Э! Да что я об этом говорю! Разве я первый? Обидно то, что я и не последний.

Действительно, он не был последним. Ровно сто лет прошло с тех пор, как Екатерина II сказала великую истину, поставленную в эпиграфе этой повести, что «*в шестьдесят лет исчезнут все расколы, если только заведутся и утвердятся народные школы и если по отношению к раскольникам не будут употреблять насилия*», но расколы до сих пор не исчезли. А почему? На это я отвечать не решаюсь, тем более что ответ тут ясен для всякого, даже не учившегося в семинарии.



КОММЕНТАРИИ

МАМАЕВО ПОБОИЩЕ

Историческая повесть
(с. 5)

Впервые — Мордовцев Д. Л. Мамаево побоище. Историческая повесть. М., 1881.

1. *Перун* — бог грозы и покровитель князя и дружины, главный в славянском языческом пантеоне.

Ладо — бог веселия, благополучия и любви в славянской мифологии.

Дажбог — бог солнца и небесного огня в славянской мифологии.

2. *Троянова колонна* — сооруженная в 114 г. римским императором Траяном (Трояном; 53—117) колонна 38 м. в честь победы над даками, украшенная изображениями сцен из похода его в Дакию.

Кульобская ваза — получила название от Кульобской скифской царской могилы IV в. до н. э. около г. Керчи.

3. *Темники* — начальники над тьмою, то есть десятком тысяч воинов, в татарском войске. Темник был под непосредственным началом хана и пользовался в Орде большим авторитетом. Темником, например, был Мамай.

Баскаки — татарские чиновники, занимавшиеся сбором дани среди покоренных народов.

4. *Ярило* — бог плодородия, света, восходящего солнца. Игра заключалась в следующем: девушки выбирали из своих подруг одну, наряжали ее в белое, надевали на голову венок, в руку давали колосья ржи, а затем ходили вокруг нее и пели песни.

5. «...Весною 1376 г. великий князь Димитрий Иоаннович послал воеводу своего Димитрия Михайловича Волынского на болгар; с Волынским отправились двое молодых князей нижегородских Василий и Иван Димитриевичи и подступили под Казань. Казанцы вышли против них из города, стреляя из луков и самострелов; другие производили какой-то гром, чтобы испугать русских, а некоторые выехали на верблюдах, чтобы переполошить лошадей. Но все эти хитрости не удались:

русские вогнали неприятеля в город...» (Соловьев С. М. История России с древнейших времен, т. III. М., 1960, с. 282).

6. Имеется в виду хан Озбяк (Узбек) (? — 1342), который казнил в Орде многих русских князей, претендовавших на великокняжеский престол и допускавших в этих целях междоусобные войны.

7. То есть перед владетелем Кипчакских степей.

8. *Мамай* (? — 1380) — татарский темник, захвативший власть в Орде после убиения хана Хидыря в 1361 г. При нем сменилось несколько ханов, во всем ему подчинявшихся: Абдул, Магомет-Султан, Тюлюбек и др., после чего Мамай сам провозгласил себя ханом.

9. В русских летописях упоминается об ордах: Золотой, Волжской, или Большой, Заяицкой и Синей, Казанской, Астраханской, Перекопской и др.

10. Имеется в виду август 1377 г.

11. *Иван Димитриевич* — князь суздальско-нижегородский, в 1367 г. вместе с отцом, дядей Борисом и братьями преследовал Булат-Темира, в 1376 г. участвовал в походе к Казани.

12. В битве на реке Воже 11 августа 1378 г., по известным сведениям, Димитрию помогал князь пронский Даниил и княжеский окольничий Тимофей. Андрей Ольгердович в числе участников этой битвы не упоминается. Он вступил в службу к великому князю позднее, в 1379 г.

13. *Владимир* Андреевич Храбрый (1353—1410) — князь серпуховско-боровский, внук Ивана Калиты, двоюродный брат Димитрия Донского. Братья во избежание междоусобий с юности заключили договор, по которому Владимир Андреевич становился младшим братом Димитрия, признавая над собою верховенство последнего и отказываясь от всяких претензий на великокняжеский престол. Владимир Андреевич добросовестно выполнял условия этого договора.

14. *Димитрий Донской* (1350—1389) вынужден был жестоко подавлять амбиции тверских князей, сеявших на Руси междоусобия.

15. Вымысел автора. Летописные источники утверждают, что Пересвет был некогда боярином брянским и витязем мужественным. Но Ослябя не являлся его братом. Их кровное родство потребовалось Д. Л. Мордовцеву для введения

в повесть романтического сюжета о гибели матери храбрых схимников-витязей.

16. В 866 г. россияне под руководством князей Аскольда и Дира совершили первое нападение на Константинополь (Царьград). По летописному преданию, город спасла от разорения риза Богоматери, которую вынес на берег и погрузил в море патриарх Фотий. Сделалась буря и потопила флот россиян: лишь «слабые остатки» его вернулись в Киев.

17. *Андрей Ольгердович* (1325—1399) — князь полоцкий, трубчевский и псковский, четвертый сын Ольгерда и первой жены его, Марии, княжны витебской. В 1377 г. умер Ольгерд, назначив великим князем литовским младшего брата Андрея Ягайло и передав Андрею княжества Полоцкое и Трубчевское. Андрей не хотел уступать княжения Ягайло, но не получив поддержки в Литве, бежал из нее и с согласия великого князя Димитрия Ивановича, к которому он ездил в Москву, сел на княжение в Псков. В 1379 г. Андрей вместе с зятем своим Владимиром Андреевичем Храбрым отнял у Литвы Стародуб и Трубчевск. Князь трубчевский, Дмитрий Ольгердович, брат Андрея, тоже перешел на службу к московскому князю, и в 1380 г. с псковскими полками они участвовали в Куликовской битве.

18. *Боброк-Волынский* Димитрий Михайлович — сын литовского князя на Волыни Корната-Михаила Гедиминовича. Известно, что уже в семидесятых годах XIV в. он был воеводою у князя Димитрия Ивановича. 14 декабря 1371 г. ходил с ратью от князя московского на Олега Рязанского и разбил рязанцев наголову. Затем в 1376 г. ходил на болгар, а в 1379 г. вместе с Владимиром Андреевичем и Андреем Ольгердовичем брал Трубчевск и Стародуб.

Д. Л. Мордовцев с его «украинофильством» искажает здесь исторические факты. В действительности «Боброк» был давним другом Димитрия Ивановича, испытанным военачальником и ничего «таинственного» для него не представлял.

19. Имеется в виду эпизод с еврейским царем Саулом из первой библейской Книги Царств (гл. 28, § 8—15), где Саул, увидев стан врагов-филистимлян, испугался и обратился к волшебнице с просьбой предсказать исход битвы.

20. Скудость источников и разногласия историков

побудили Н. И. Костомарова усомниться в подвиге Сусанина. Ему резко возражали С. М. Соловьев и М. П. Погодин, а в 1880-х гг., с открытием губернских архивных комиссий, обнаружены новые документы о подвиге Сусанина.

Враждебность Костомарова официальным доктринам русского самодержавия порождала скептическое отношение к самому процессу централизации России под державной рукой Москвы. Подчеркивая «трусость Димитрия Ивановича», Костомаров оставался верен «антимосковскому» пафосу своих взглядов. В известной мере их разделяет и Д. Л. Мордовцев, с чем связана последовательная «дегероизация» Димитрия Донского в этой повести.

21. *Погодин* Михаил Петрович (1800—1875)—русский историк, теоретик «официальной народности», сторонник норманнской теории о призвании на Русь варяжских князей, принципиальный противник исторических взглядов Н. И. Костомарова.

22. Героини «Мертвых душ» Н. В. Гоголя.

ЗА ЧЬИ ГРЕХИ?

Историческая повесть из времени бунта Стеньки Разина

(с. 103)

Впервые — Исторический вестник, 1890, 1—9.

1. Димитрий Самозванец, прибывший в Москву, по народным преданиям, сначала держал Ксению Годунову (дочь царя Бориса Годунова) при своем дворе, а потом, по настоянию Марины Мнишек, отослал ее в Белозерский монастырь. Еще при жизни Ксении в народе пелись приписываемые ей песни, которые записал англичанин Ричард Джеймс (1619 г.) и в которых она оплакивала отца и свои семейные несчастья.

2. *Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич* (ок. 1605—1680) — ближний боярин, сын псковского помещика, обученный отцом немецкому, латинскому языкам и математике. Уже при Михаиле Федоровиче в 1642 г. исправлял пограничную линию между Россией и Швецией. В начале царствования Алексея Михайловича привлек внимание царя распорядительностью в погашении псковского бунта 1650 г. С началом шведской войны показал себя отличным полководцем и дипломатом, за что пожалован в думные бояре. Его усилиями в 1658 г. было заключено перемирие со шведами, сохранившее за Россией все приобретения в Ливонии. Важнейшим предприятием Ордина-Нащокина было заключение Андрусовского договора с Польшей (3 января 1667 г.), после которого он получил в управление посольский приказ. Состоя в 1655—1666 гг. воеводою во Пскове, ввел реформу городского самоуправления и новую беспошлинную торговлю с иностранцами; его взгляды на торговлю отразились в «Ново-торговом уставе». С его именем связывается улучшение садоводства в России и устройство кораблей на Западной Двине и Волге. В 1670 г. он отстоял Киев, который по Андрусовскому договору лишь на два года переходил к России. Ордин-Нащокин имел много врагов среди консервативного боярства — Б. М. Хитрово, И. Д. Милославский и др. В 1672 г. он уступил место новому царскому любимцу

А. С. Матвееву и постригся в монахи Крыпецкого монастыря. Своей деятельностью он готовил Петровские реформы.

3. Речь идет об Андрусовском договоре 1667 г. между Россией и Польшей на 13,5 лет, завершившем русско-польскую войну 1654—1667 гг. за Украину и Белоруссию. Польша возвратила России Смоленское, Черниговское воеводства и признала воссоединение с Россией Левобережной Украины. Правобережная Украина и Белоруссия оставались за Польшей. Запорожская Сечь объявлялась областью совместного управления России и Польши.

4. *Хмельницкий Юрий* Богданович (1641—1685)—сын и преемник на гетманстве Богдана Хмельницкого. Закончил Киевскую духовную академию. В 1659 г. гетман Выговский заключил с поляками гадяцкий договор, вызвавший раздражение казачества. Шурин Богдана Хмельницкого, Яким Самко, созвал казацкую раду, которая низложила Выговского, а гетманом был избран Юрий Хмельницкий. Когда в 1660 г. боярин В. В. Шереметьев выступил с отрядом из Киева против Польши, Юрий с казаками шел за русским войском. Шереметьев был разбит и попал в плен к татарам, выступавшим в союзе с поляками, а Хмельницкий сдался и принял присягу польскому королю. Самко, узнав об измене Юрия, поднял казацкие полки. Борьба с Юрием продолжалась в течение всего 1661 г. Летом 1662 г. Юрий осадил Самко в Переяславле, но наступление русских войск под руководством Г. Ромодановского заставило его бежать в Чигирин. Вызванные Юрием на помощь татары опустошали Украину. Общественное мнение решительно осудило его, и в конце 1662 г., созвав на Корсуне раду, Юрий отказался от гетманства, уступив его Павлу Тетере, а сам постригся в монахи, но в 1664 г. был арестован и посажен в Львовскую крепость.

В это время на левой стороне Днепра тоже совершались большие перемены: Самка сменил Брюховецкий, затем Демьян Многогрешный и, наконец, Иван Самойлович. На правой же вместо Тетери гетманом был избран Дорошенко, а когда он отдался под власть турецкого султана, его сменил Михаил Ханенко. Между Ханенко и Дорошенко началась борьба, которая привела к войне с турками, отвоевавшими у Польши всю Правобережную Украину. Боясь репрессий

Дорошенко, многие казацкие старейшины бежали из Правобережной Украины. Бежал и Юрий, но был схвачен татарами, отправлен в Крым, а потом выкуплен турецким султаном и взят в Константинополь. Когда в 1676 г. Дорошенко, отказавшись от гетманства, отдался во власть России, турки двинулись к Чигирину и в 1678 г. поставили Юрия гетманом. Совместно со своим помощником Яненко Юрий двинулся на север, сжег Канев и опустошил Левобережную Украину. Затем он поселился в Немирове и продолжал гетманствовать под контролем турецкого паши. Начавшиеся припадки помешательства у Юрия заставили турок устранить его от гетманства в 1681 г. и поставить молдавского господаря Дука. В 1683 г. Дук попал в плен к полякам, и турецкие власти вновь утвердили гетманом Юрия. Но в конце 1685 г. народное недовольство Юрием достигло такого накала, что турки вынуждены были арестовать его и казнить.

5. *Чарнецкий* Стефан (1599—1665) — киевский воевода, коронный гетман, первым ввел в польских войсках партизанскую войну.

Собеский Ян (1629—1696) — учился в Кракове, путешествовал по Западной Европе. Военное поприще начал в звании коронного хорунжего (1656), затем маршалком великим коронным, гетманом полным, а с 1668 г. — великим коронным гетманом. 21 мая 1674 г., — под впечатлением блестящей победы Собеского над турками, — шляхта избрала его королем Яном III. Затем Собеский отвоевал две трети Украины у турок. Стремясь продолжить борьбу, заключил союз с Австрией и 2 сентября 1683 г. одержал победу над турками, осадившими Вену. Чтобы закрепить успех, 26 апреля 1686 г. заключил с Москвой «вечный мир», но борьба с турками продолжалась до конца жизни Собеского.

6. *Заруцкий* Иван Мартынович (? — 1614) — атаман донских казаков, сторонник Лжедимитрия II, Тушинского. В 1608 г. казацкий старшина Заруцкий пришел в Орел к Лжедимитрию II с 5000 донских казаков. В начале 1613 г. казаки Заруцкого потерпели поражение от воеводы Одоевского, и Заруцкий с женой Мариной ушел в Астрахань. В июне 1614 г. Заруцкий был схвачен и посажен на кол в Москве.

7. См. примеч. 47 к роману «Великий раскол», т. 1 наст. изд.

8. *Тургенев Тимофей Васильевич* — реальное историческое лицо, дальний родственник Ивана Сергеевича Тургенева, который описал историю гибели Тимофея Васильевича в повести «Призраки».

9. См. примеч. 33 к роману «Великий раскол».

10. *Барятинский Юрий* Никитич (? — после 1682) — князь, воевода. За усмирение бунта Стеньки Разина был пожалован в бояре.

СИДЕНИЕ РАСКОЛЬНИКОВ В СОЛОВКАХ
Архимандрит Никанор и братия, сподвижники «протопопа Аввакума»

Историческая повесть из времен «начала раскола на Руси» в царствование Алексея Михайловича, 1674 (с. 287)

Впервые — с заглавием: Соловецкое сиденье. Историческая повесть из времен начала раскола на Руси. М., 1880.

1. *Вестминстерское аббатство* — усыпальница английских королей, государственных деятелей, знаменитых людей Англии.

2. *Волохов Игнатий* — стряпчий, отправленный в 1668 г. из Москвы для усмирения иноков Соловецкого монастыря, которые отказались принять нового архимандрита Иосифа и написали царю: «Вели, государь, на нас свой царский меч прислать». Волохов прибыл с сотней стрельцов, чтобы усмирить непокорных, но был встречен пушками и вынужден был предпринять многолетнюю осаду. Сам Волохов жил вместе с Иосифом в Сумском остроге. Они перессорились, стали писать друг на друга доносы в Москву, пока не были вызваны в столицу на суд.

Ивлев Корнилий (по другим сведениям — Клим) — голова московских стрельцов, явился уже с 1000 стрельцов, перевел войска на самый остров, отогнал весь рабочий скот, захватил рыболовецкие снасти, сжег строение вне стен монастыря и пресек все сношения братии с их вотчинами. В 1674 г. царь отозвал его за притеснения и насилия, которыми он отягощал монастырских крестьян.

Иван Мещеринов был третьим воеводой, посланным для взятия монастыря.

3. *Филипп* (в миру Колычев Федор Степанович; 1507—1569) — митрополит московский с 1566 г. Принадлежал к одному из знатных боярских родов и начал службу при дворе великого князя Ивана Васильевича, с 1547 г. русского царя. В конце правления великой княгини Елены, в 1537 г., Колы-

чевы приняли участие в попытке Андрея Старицкого поднять восстание против правительницы и великого князя. Один из них был казнен, другие попали в тюрьму, а Федор Степанович тайно бежал в Соловецкий монастырь и, не открывая своего звания, постригся в монахи. В 1548 г. он стал соловецким игуменом и приложил много трудов по благоустройству обители: очистил леса, проложил дороги, осушил болота канавами, завел оленей и домашний скот, рыбные ловли, соляные варницы, железный промысел, укрепил крепостные стены монастыря. См. также примеч. 24 к роману «Великий раскол», т. 1 наст. изд.

4. *Иоанникий Галятовский* (ум. в 1688 г.) — писатель XVII в., ректор Киевско-Могилянской академии, затем архимандрит Черниговского монастыря, схоластический проповедник, издавший свои проповеди в книге «Ключ разумения» (1659).

5. *Теши межукосные* — рыбье брюшко с краем бочков.

6. *Худог* — искусник, мастер.

7. *Кустодия* — на древних грамотах, внизу, на шнурках подвешивались сургучные, восковые или металлические печати, для большей сохранности вкладывавшиеся в металлические, роговые или костяные коробочки, называемые кустодиями.

8. *Беспоповщина* — вопрос о попах возник не по этому частному поводу. Он был связан с общим представлением раскольников о современном состоянии мира, в котором царствует Антихрист. А раз это так, то православие утрачено, на земле нет истинной церкви, истинного священства. Для общения с Богом не нужно ни попов, ни церкви: достаточно молитвы, прямого обращения к Богу без посредников.

9. *Крины сельные* — полевые цветы (крин — растение, цветок).

СОЦИАЛИСТ ПРОШЛОГО ВЕКА

Историческая повесть

(с. 413)

Впервые — Исторический вестник, 1884, № 1,2.

1. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей, поставил его на поле Деире, в области Вавилонской». «...Падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор, а кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем» (Библия. Кн. Даниила, гл. 3).

2. Имеется в виду Емельян Пугачев.

3. При Николае I был учрежден секретный совещательный комитет по борьбе с расколом, с 1838 г. такие же комитеты стали учреждаться по губерниям. Раскольники лишились многих гражданских прав. В 1841 г. у скитов была отнята большая часть земли, в том числе пашенные дворы, подсеки. В 1853 г. министр внутренних дел получил право на полное уничтожение раскольнических скитов и кладбищ.

4. *Храповицкий* Александр Васильевич (1749—1801) — сенатор, статс-секретарь императрицы Екатерины II, которая сделала его советчиком и сотрудником в литературных занятиях и государственных делах. Литературная деятельность самого Храповицкого началась в 1762 г.: переводы с французского, статьи, эпистолы, идиллии, басни, трагедия «Идамант» и опера «Песнолюбие». Ум и талант Храповицкого высоко ценили Державин, Дмитриев и Княжнин. Особенную известность Храповицкому принесли «Памятные записки», вышедшие полным изданием в 1874 г. под заглавием «Дневник Храповицкого». Здесь автор добросовестно записывал, что говорила и делала императрица, с расположением записей по числам и дням.

5. *Литерально* — буквально, точно, слово в слово.

6. Одаренная художественным талантом, Екатерина II принимала деятельное участие в литературном процессе

своего времени как оригинальными произведениями, так и переводами. Здесь речь идет о переводе «Велисария» Мармонтеля.

7. *Ушаков* Андрей Иванович (1672—1747), еще Петром I возведенный в звание тайного фискала, с 1731 г.—начальник канцелярии тайных розыскных дел. Поддерживал Бирона, однако после его падения освободился от обвинений в содействии бывшему временщику. Отказался примкнуть к партии, произведшей переворот в пользу Елизаветы, но удержал свое влияние при новой императрице и даже проводил расследование по делу ее противников, хотя все влиятельные члены прежнего правления были сосланы или лишены мест. Управляя тайною канцелярией, проводил жестокие истязания, но в обществе отличался очаровательным обхождением и особенным даром выведывать образ мыслей собеседников.

8. *Ровоам* — сын царя Соломона и наследник его царства, пришедшего в упадок от чрезмерной роскоши двора. Ровоам, утверждая, что «мизинец его толще чресл отца», еще более усилил народные повинности, введя наказание скорпионами. Ок. 928 г. до н. э. еврейская монархия распалась на два царства — Израильское и Иудейское.

9. *Дашкова* Екатерина Романовна (1744—1810), президент Российской академии, одна из образованнейших женщин XVIII в. По инициативе Дашковой был основан журнал «Собеседник любителей российского слова». Отношения Екатерины II и Дашковой осложнялись частыми размолвками.

10. *«Обманщик»* — комедия, сочиненная Екатериной II.

11. Имеется в виду детская сказка Екатерины II под названием «Сказка о царевиче Февее» (1872).

СОДЕРЖАНИЕ

Мамаево побоище

За чьи грехи?

Сидение раскольников в Соловках

Социалист прошлого века

Мордовцев Д. Л.
М 79 Сочинения. В 2 т. Т. 2. Мамаево побоище; За чьи грехи?; Сидение раскольников в Соловках; Социалист прошлого века / Сост. и коммент. Ю. Лебедева.— М.: Худож. лит., 1992. 509 с.

ISBN 5-280-02677-8 (Т. 2)
ISBN 5-280-02676-X

В том входят повести «Мамаево побоище», «За чьи грехи?», «Сидение раскольников в Соловках», «Социалист прошлого века».

М $\frac{4702010101-184}{028(01)-92}$ без объявл. **ББК 84Р1**

ДАНИИЛ ЛУКИЧ
МОРДОВЦЕВ

СОЧИНЕНИЯ
В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

Зав. редакцией *С. Князева*

Редактор *Ч. Залилова*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Г. Морозова*

Корректор *М. Чупрова*

ИБ № 7377
Подписано в печать с готовых диапозитивов 04.03.92. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 26,88. Усл. кр.-отт. 27,3. Уч.-изд. л. 26,94. Тираж 50 000 экз. Изд. № II-4469. Заказ 178. «С» — 008.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Министерства печати и информации Российской Федерации. 113054, Москва, Валовая, 28.